This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

ex
MP

Б. М. МАРКЕВИЧЪ.

30140
U

Mk
6392

1721

Markevich, B. M.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Б. М. МАРКЕВИЧА.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія (бывшая) А. М. Котомина, Фонтанка, д. № 93.
1885.

PG 3467
M327
1885
v.4

Содержаніе

ЧЕТВЕРТАГО ТОМА:

	стран.
Четверть вѣка назадъ (часть I)	1—463.

ЧЕТВЕРТЬ ВѢКА НАЗАДЪ.

ЧЕТВЕРТЬ ВѢКА НАЗАДЪ.

ПРАВДИВАЯ ИСТОРІЯ *).

Памяти графа Алексѣя Толстаго.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Увы, гдѣ розы тѣ, которыя такой
Веселой радостью и свѣжестью дышали?
Фетъ.
А *тотъ*, *кому* *я* въ дружной встрѣчѣ
Страницы первыя читалъ—
Того ужь нѣтъ.....

I.

Свѣтлымъ вечеромъ, въ началѣ мая 1850-го года, дорожная коляска катилась по шоссе, по направленію отъ Москвы къ одному изъ ближайшихъ къ ней губернскихъ городовъ. Въ коляскѣ, съ слугою на козлахъ, сидѣли два молодые человѣка 23—24-хъ лѣтъ, два пріятеля,—и вели между собою оживленный разговоръ:

— Богъ знаетъ, что̀ ты со мною дѣлаешь, Ашанинъ, говорилъ полуозабоченно, полуусмѣхаясь, одинъ изъ нихъ, свѣтловолосый, съ нѣжнымъ цвѣтомъ кожи и большими сѣрыми, красиваго очерка глазами.

*) Впервые была напечатана въ 4, 6, 7, 8, 10, 11 и 12 книжкахъ „Русскаго Вѣстника“ за 1878 годъ, а въ 1879 году выпущена отдѣльнымъ изданіемъ въ двухъ томахъ, Москва (типографія М. Н. Лаврова и К°).

Тотъ, къ которому относились эти слова, былъ то, что̀ называется *писанный* красавецъ, черноглазый и чернокудрый, съ какимъ-то побѣднымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ лукавымъ выраженіемъ лица, слывшій въ то время въ Москвѣ неотразимымъ донъ-Жуаномъ.

— А что̀ я съ тобою, съ Казанскимъ сиротою, дѣлаю? передразнивая пріятеля, весело разсмѣялся онъ.

— Ну, съ какой стати ѣду я съ тобою въ Сицкое, къ людямъ, о которыхъ я понятія не имѣю?

— Во-первыхъ, ты ѣдешь не въ Сицкое, а куда тебѣ слѣдуетъ,—то есть въ Сашино, къ себѣ домой, къ милѣйшей тетушкѣ твоей, Софьѣ Ивановнѣ, а въ Сицкое ты только *заѣзжаешь* изъ дружеской услуги,—меня довезти. Во-вторыхъ, самъ ты говоришь,—ты князя Ларіона Васильевича Шастунова знаешь съ дѣтства.

Бѣлокурый молодой человѣкъ — звали его Гундуровымъ,— качнулъ головой:

— Знаю!... Десять лѣтъ тому назадъ, когда я мальчишкою изъ дворянскаго института пріѣзжалъ на каникулы въ Сашино, я его два-три раза видѣлъ у тетушки. Важное знакомство!

— Все одно, онъ съ Софьей Ивановной давно и хорошо знакомъ, а тебя онъ теперь по твоей университетской репутаціи знаетъ... Да и я мало-ли про тебя всѣмъ имъ говорилъ зимою!... Ручаюсь тебѣ, что приметъ онъ вашу милость наилюбезнѣйшимъ образомъ: онъ вообще благоволитъ къ молодымъ людямъ, а тебя, тѣмъ болѣе, оцѣнитъ по первому же разговору.

— Если бы мы еще къ нему собственно ѣхали, молвилъ Гундуровъ, — такъ и быть!... А то вѣдь онъ и самъ гоститъ въ Сицкомъ. Оно вѣдь не его?...

— А невѣстки его, княгини Аглаи Константиновны,— знаю. А князь Ларіонъ—братъ ея мужа и опекунъ ея дѣтей, слѣдовательно не гоститъ, а живетъ по праву въ Сицкомъ... А тамъ театръ, во всей формѣ театръ, съ ложами, говорятъ, съ помѣщеніемъ человѣкъ на четыреста, и княжна Лина, восхитительнѣйшая Офелія, какую себѣ можетъ только предста-

вить самое пламенное воображеніе! горячо расходился черно-кудрый красавецъ.

Пріятель его разсмѣялся.

— Ну, поскакалъ теперь на своемъ конькѣ! сказалъ онъ.

— И ни чуточки!... ты знаешь, барышни не по моей части,—это разъ; а затѣмъ, княжна Лина одно изъ тѣхъ созданій,—есть такія! (какая-то серьозная, чуть не грустная нота зазвучала въ голосѣ Ашанина,)—къ которому ты съ нечистымъ помысломъ и подойти не рѣшишься... и нашъ братъ, отпѣтый ходокъ, чуетъ это вѣрнѣе, чѣмъ всѣ вы, *непорочные*, взятые вмѣстѣ! Я на нее поэтому вовсе и не смотрю, какъ на женщину, а говорю тебѣ, единственно, какъ на *Офелію*...

— И съ талантомъ она, ты думаешь? спросилъ Гундуровъ, невольно увлекаясь.

— Не сомнѣваюсь, хотя она всего разъ, говорила мнѣ, играла за границей, въ какой-то французской пьесѣ. Она не можетъ не быть талантлива!

Бѣлокурый молодой человѣкъ задумался.

— Воля твоя, любезный другъ, заговорилъ онъ нерѣшительно,—а, согласись ты съ этимъ, очень неловко выходитъ, что я у совершенно незнакомыхъ мнѣ людей стану вдругъ ломаться на сценѣ?...

— Ломаться! негодующимъ кликомъ воскликнулъ Ашанинъ,—играть *Гамлета* значитъ у тебя теперь *ломаться*!... Это что-же, ты изъ петербургской твоей жизни почерпнулъ?... Гдѣ-же эта горячая любовь къ искусству, о которой ты намъ постоянно проповѣдывалъ? Развѣ не помнишь, какъ мы съ тобою читали Шекспира, какъ ты не разъ говорилъ мнѣ и Вальковскому, что если бы не твои занятія, не университетъ, не каѳедра, къ которой ты готовился, ты бы почелъ себя счастливымъ сыграть роль *Гамлета*, что это было бы для тебя величайшимъ наслажденіемъ!

— Я и теперь такъ думаю! вырвалось у Гундурова.

— Такъ изъ за чего-же ты теперь ломаешься?... Да, засмѣялся Ашанинъ,—*ломанье*-то выходитъ у тебя *теперь*, а не когда ты выйдешь на сцену!... И какой еще тебѣ можетъ луч-

шій случай представиться? Далеко отъ Москвы, никому невѣдомо, въ порядочномъ обществѣ... Каѳедра,—ты самъ говорилъ, что, послѣ того какъ тебѣ отказали въ заграничномъ паспортѣ, о ней пока думать нечего!... Что-же, ты киснуть теперь станешь, болѣть, самоглодать себя будешь?... Вѣдь жить надо, Сережа, просто *жить*, жи—ть! протянулъ онъ, схватывая пріятеля за руку, и, наклонившись къ нему, ласково и заботливо глянулъ ему въ лицо.

Гундуровъ пожалъ его руку и замолчалъ: онъ не находилъ внутри себя отвѣта на доводы Ашанина.

Онъ только наканунѣ вечеромъ вернулся изъ Петербурга, гдѣ провелъ всю зиму и откуда наконецъ бѣжалъ подъ гнѣтущимъ впечатлѣніемъ испытанныхъ имъ тамъ недочетовъ. Вотъ что съ нимъ было:

Окончивъ, за годъ предъ тѣмъ въ Москвѣ, блистательнымъ образомъ курсъ по филологическому факультету, Гундуровъ, котораго университетъ имѣлъ въ виду для занятія должности адъюнкта по каѳедрѣ славянской филологіи, отправился на берега Невы добывать себѣ заграничный паспортъ „въ Австрію и Турцію, для изученія“—такъ прописано было наивно въ поданной имъ о томъ просьбѣ,—„исторіи и быта славянскихъ племенъ“. Объ этомъ путешествіи, на которое онъ полагалъ посвятить три года, онъ мечталъ во все время пребыванія своего въ университетѣ; безъ этого, безъ живаго изученія на мѣстѣ славянскихъ языковъ, безъ личнаго знакомства съ Ганкою, съ Шафарикомъ, съ апостолами славянскаго возрожденія, „какой я славистъ, какой я буду профессоръ!“ основательно разсуждалъ онъ... Къ ужасу его, послѣ нѣсколькихъ недѣль ожиданія, онъ былъ вызванъ въ паспортную экспедицію, гдѣ поданная имъ просьба была возвращена ему въ копіи, съ копіею же на ней слѣдующей резолюціи: „Славянскій *бытъ*“ — слово это было подчеркнуто,—„можно изучать отъ Петербурга до Камчатки“... Гундуровъ ничего не понялъ и страшно взволновался; онъ кинулся ко всѣмъ, кого только мало-мальски зналъ въ Петербургѣ, жаловался, объяснялся, просилъ... У него былъ дядя, занимавшій довольно видное мѣсто въ тогдашней администраціи; этотъ достойный сановникъ

пришелъ, въ свою очередь, въ ужасъ, частью отъ того, что племянникъ его „губитъ себя въ конецъ“, еще болѣе вслѣдствіе такого соображенія, что и самъ онъ, Петръ Ивановичъ Осмиградскій, тайный совѣтникъ и директоръ департамента, можетъ быть, пожалуй, компрометированъ, если узнаютъ, что у него есть близкій родственникъ съ такимъ опаснымъ образомъ мыслей.—„И въ чью голову ты гнешь, какую стѣну думаешь ты прошибить?“ укорялъ и наставлялъ онъ Гундурова,—„самъ же себѣ дѣло напортилъ, а теперь думаешь крикомъ поправить! Въ просьбу, въ оффиціальную просьбу ввернулъ „*бытъ*“ какой-то дурацкій! Какой тамъ *бытъ* въ Турціи, и кто *въ Турцію* ѣздитъ путешествовать? Понимаешь-ли ты, *какъ* это могло быть понято?!“ Бѣдный молодой человѣкъ совершенно растерялся,—дядя мрачно намекнулъ ему даже на какую-то черную книгу, въ которую онъ „за невоздержность языка“ будто уже успѣлъ попасть, благодаря чему ученая карьера навсегда-де для него закрыта. „И вѣдь нашелъ же время о какой-то своей *славянской* наукѣ говорить“, разсуждалъ Петръ Ивановичъ,—„когда еще недавно мятежники Венгерцы своего законнаго государя чуть съ престола не ссадили!“

— То Венгерцы, пробовалъ возражать Гундуровъ, — а Славяне спасли и престолъ, и династію Габсбурговъ...

Но Петръ Ивановичъ только руками махалъ. „Поступай ты сюда на службу, — это твое единственное спасеніе!...“ Увы, все то, что̀ ни видѣлъ, ни слышалъ Гундуровъ въ Петербургѣ, служило ему лишь роковымъ, неотразимымъ подтвержденіемъ доводовъ дяди. „Какая, дѣйствительно, нужна *имъ*, а для насъ какая возможна наука теперь?“ говорилъ онъ себѣ. Онъ вспоминалъ Москву, Грановскаго, лучшихъ тогдашнихъ людей; — „развѣ они не въ опалѣ, не подъ надзоромъ, не заподозрѣны Богъ знаетъ въ чемъ?...“ Что̀ же однако было ему дѣлать съ собою? Съ отчаянія, и поддаваясь внушеніямъ дяди, онъ поступилъ на службу. Но онъ чуть не задохся въ невыносимой для него, свѣжаго студента и Москвича, духотѣ Петербургской канцеляріи: и люди, и то, что̀ они дѣлали тамъ, было для него глубоко, болѣзненно

ненавистно; его тошнило отъ одного вида синихъ обложекъ *дѣлъ*, изъ которыхъ поручалось ему составить *справку;* ему до злости противны были желтый ротъ и обглоданныя ногти поручавшаго ему составлять эти *справки* Владиміра Егоровича Красноглазова, его ближайшаго начальника... Не прошло шести мѣсяцевъ, и Гундуровъ, добывъ себѣ свидѣтельство о болѣзни, подалъ въ отставку и уѣхалъ въ Москву...

Тетки его не было въ городѣ, — она еще въ апрѣлѣ мѣсяцѣ уѣхала въ деревню. Ему нетерпѣливо хотѣлось увидать ее, и онъ тотчасъ же собрался ѣхать въ Сашино, не повидавшись ни съ кѣмъ изъ московскихъ знакомыхъ. Только Ашанинъ, его пансіонскій товарищъ и большой пріятель, прискакалъ къ нему, узнавъ случайно о его пріѣздѣ.

Ашанинъ, когда-то много обѣщавшій юноша, поступилъ въ университетъ изъ дворянскаго института одновременно съ Гундуровымъ, но на первомъ же курсѣ вышелъ изъ него, чтобы жениться на какой-то перезрѣлой дѣвѣ, которая влюбила его въ себя тѣмъ выраженіемъ, съ какимъ пѣла она Варламовскіе романсы, а черезъ два года ревнивыхъ слезъ и супружескихъ бурь отошла въ вѣчность, оставивъ его двадцатилѣтнимъ вдовцомъ и коптителемъ неба. Добрѣйшій сердцемъ и вѣчно увлекающійся, онъ жилъ теперь въ Москвѣ, ничего не дѣлая, или, вѣрнѣе, дѣлая много долговъ, въ ожиданіи какого-то никакъ не дававшагося ему наслѣдства, вѣчно томясь своимъ бездѣйствіемъ и вѣчно не находя для себя никакого занятія, и все время остававшееся ему отъ безчисленныхъ любовныхъ похожденій отдавалъ театру и любительскимъ спектаклямъ, въ которыхъ неизмѣнно держалъ амплуа перваго любовника.

Эта страсть еще болѣе, чѣмъ пансіонская дружба, служила связью между имъ и Гундуровымъ. Не менѣе пылко любилъ и молодой славистъ драматическое искусство, но разумѣя его и выше, и глубже, и строже, чѣмъ это дѣлалъ Ашанинъ, цѣнившій театральныя произведенія прежде всего со стороны ихъ сценической удобоисполняемости. Серьезныя, поглощавшія почти все его время въ университетѣ занятія по его спеціальности, и боязнь повредить *скоморошествомъ* своей

молодой ученой репутаціи заставляли его налагать строгую узду на свои собственныя театральныя хотѣнія; но онъ понималъ Ашанина, онъ не разъ завидовалъ ему, его „безалаберной свободѣ“, при которой онъ, Гундуровъ, „если бы былъ на его мѣстѣ, непремѣнно поставилъ бы на сцену Шиллеровскаго *Валленштейна*, Шекспировскія драмы!...“ Ашанинъ съ своей стороны находилъ въ этой любви Гундурова къ театру какъ бы оправданіе себѣ и серьезно иной разъ, послѣ бесѣды съ нимъ, возводилъ въ собственныхъ глазахъ свои упражненія *перваго любовника* на степень дѣйствительнаго *дѣла*. Онъ при этомъ былъ самаго высокаго понятія о способностяхъ, объ образованности Гундурова, глубоко уважалъ его мнѣніе и любилъ его отъ всей души.

Онъ тотчасъ же со врожденною ему сообразительностью понялъ, что этотъ отказъ Гундурову въ дозволеніи ѣхать за границу, неудавшаяся его попытка найти себѣ другое дѣло, что весь этотъ разгромъ его лучшихъ, чистыхъ, законныхъ желаній припиралъ пріятеля его къ стѣнѣ, оставлялъ его безъ выхода,—но что теперь, сейчасъ, „ничего съ этимъ не подѣлаешь, никакой *изводящей* звѣздочки на небѣ не высмотришь“. *Теперь* представлялась одна задача: не дать объ этомъ пока думать Гундурову, вызвать его на время изъ подъ гнета впечатлѣній, вынесенныхъ имъ изъ Петербурга,—словомъ, говорилъ себѣ Ашанинъ, припоминая чью-то шутовскую выходку: „коли безъ хлѣба, такъ дать хоть маленечко пряничкомъ побаловаться“. Пряничекъ этотъ тотчасъ-же представился Ашанину во образѣ любительскаго спектакля,—единственное „балованье себя“, на которое могъ согласиться Гундуровъ,—спектакль, гдѣ бы пріятель его могъ сыграть „хорошую“, любезную ему роль, въ которую онъ „ушелъ бы весь, ушелъ ото всей этой петербургской мерзости“. А тутъ и случай выходилъ такой великолѣпный: княгиня Шастунова, съ которою Ашанинъ познакомился зимою и въ домѣ которой часто бывалъ, затѣвала у себя въ деревнѣ спектакль, въ которомъ собирались участвовать всѣ почти состоявшіе тогда въ Москвѣ на-лицо актеры-любители. Оказывалось при этомъ, что имѣніе Гундурова, куда онъ уѣзжалъ въ тотъ же день, и Сицкое

Шастуновыхъ находились въ томъ же уѣздѣ, въ какихъ нибудь пятнадцати верстахъ разстоянія, что кромѣ того существовали даже старинныя добрыя отношенія между теткою его пріятеля, Софьею Ивановною Перевязиною, и владѣльцами Сицкаго... „Да это сама благоволящая къ тебѣ судьба такъ удачно устроила“, горячо доказывалъ Ашанинъ;—„вѣдь подумай, Сережа, тамъ можно будетъ *Гамлета* поставить!...“

Онъ попалъ, что̀ говорится, въ самую жилку. *Выйти*, попробовать себя въ *Гамлетѣ*,—какъ пламенно мечталъ объ этомъ Гундуровъ въ оны дни! Во всей человѣческой литературѣ онъ не признавалъ ничего выше *Гамлета*, ни одно великое произведеніе такъ глубоко не „забирало“ его. Онъ зналъ наизусть всю роль датскаго принца и, бывало, увлекаясь до слезъ, читалъ ее въ свободныя минуты Ашанину и общему ихъ пансіонскому товарищу, Вальковскому, бѣдному и малообразованному чиновнику какой-то палаты, но который опять таки былъ дорогъ Гундурову вслѣдствіе уже совершенно фанатической любви своей къ сценѣ...

Къ тому же, поддавался молодой человѣкъ на доводы пріятеля, ему *теперь* дѣйствительно нужно разсѣяться: вѣдь „съума же можно сойти, вертясь, какъ бѣлка въ колесѣ, все на той же мысли: что̀ я съ собой буду дѣлать?...“ Гундурову было двадцать два года:—„не пропадать же въ самомъ дѣлѣ!“ подсказывала ему его здоровая, склонная къ энтузіазму натура... Кончилось тѣмъ, что онъ принялъ предложеніе Ашанина довести его къ Шастуновымъ въ Сицкое, по дорогѣ къ себѣ въ деревню, гдѣ ждала его тетка, воспитавшая его, и къ которой онъ былъ горячо привязанъ,—„а тамъ увидимъ... смотря какъ... я не отказываюсь, но и...“

Ашанину ничего болѣе не нужно было. Онъ мигомъ собрался,—и друзья наши, пообѣдавъ въ Троицкомъ трактирѣ и выпивъ, по предложенію Ашанина, бутылку шампанскаго „во здравіе искусства“, выѣхали, не теряя времени, изъ Москвы.

Они теперь были отъ нея уже довольно далеко; солнце быстро склонялось на западъ...

— Эта твоя княгиня, заговорилъ опять Гундуровъ,—вдова,

должно быть, князя Михаила Васильевича Шастунова, что̀ посланникомъ гдѣ-то былъ. Онъ вѣдь умеръ?...

— Два года тому назадъ. Онъ оставилъ дочь и сына мальчишку. Они всѣ, съ князь Ларіономъ, жили потомъ въ Италіи, а нынѣшнюю зиму провели въ Москвѣ. Княжнѣ Линѣ минетъ 19-ть лѣтъ; ее вывозили въ свѣтъ зимою, но она, говоритъ, на балахъ скучала. Я имъ и предложилъ „*театрикъ*“, какъ выражается Вальковскій...

— Ахъ, что̀ Вальковскій, гдѣ онъ? прервалъ Гундуровъ.

— У нихъ теперь, въ Сицкомъ,—я его познакомилъ,— съ недѣлю какъ туда уѣхалъ съ декораторомъ, полотномъ, красками и цѣлою библіотекою театральныхъ пьесъ, которыя какъ-то умѣлъ добыть изъ Малаго театра.

— Онъ все тотъ-же?

— Неизмѣненъ! молвилъ разсмѣявшись красавецъ;—все также грубъ, та же рожа сорокалѣтняго верблюда и кабаній клыкъ со свистомъ и таже страсть съ этою рожей играть молодыя роли!... Студента *Фортункина* мечтаетъ теперь изобразить въ *Шилъ въ мѣшкѣ не утаишь*. Можешь себѣ представить, какъ милъ будетъ въ этомъ!...

— И ты думаешь, началъ помолчавъ Гундуровъ, — что *Гамлета* дѣйствительно можно будетъ поставить?...

— Еще бы! Какъ разъ по вкусу хозяйки! Она, видишь ты, непремѣнно хочетъ „что-нибудь *классическое*, du Molière ou du Shakespeare, говоритъ, все равно, только que ce soit sérieux“. Она, сказать кстати, молвилъ разсмѣясь Ашанинъ,— княгиня-то Аглая, — глупа какъ курица, а къ тому съ большими претензіями. Ей смерть хочется, чтобы принимали ее за прирожденную большую барыню, а, на ея бѣду, рождена она Раскаталова, дочь милліонера-откупщика, и рожденіе-то ея, несмотря что она всегда въ свѣтѣ жила и даже посланницей была, нѣтъ, нѣтъ, да и скажется... Иной разъ вслѣдствіе этого у князя Ларіона вырываются жесткія слова по ея адресу.

— А что̀ онъ за человѣкъ самъ? спросилъ Гундуровъ, — въ дѣтствѣ онъ мнѣ представлялся всегда какимъ-то очень *важнымъ* и суровымъ.

— Онъ настоящій *баринъ* и рѣдко образованный человѣкъ! Онъ, вѣдь ты знаешь, занималъ большіе посты, за границей и здѣсь; долго въ большой силѣ былъ, говорятъ. Два года тому назадъ, въ 48-мъ году, онъ попалъ въ немилость и вышелъ въ отставку. Въ то же время умеръ его братъ; онъ уѣхалъ къ его семейству, въ Италію, — и вотъ съ тѣхъ поръ живетъ съ ними... Онъ, кажется, княжну очень любитъ, но любезную невѣстушку, видимо, въ душѣ не переноситъ!... И понятно: его барской брезгливости долженъ быть нестерпимъ этотъ—какъ бы тебѣ сказать?—этотъ душокъ Расказаловскаго подвала, пробивающій сквозь ея англійскій ess bouquet... Къ тому-же... Они, надо тебѣ сказать, съ братомъ, въ молодости, — тебѣ вѣрно разсказывала Софья Ивановна? — очень сильно прожились... Шли они по службѣ очень быстро, состояли при графѣ Каподистріа, въ дипломатической канцеляріи самого Императора Александра, ѣздили съ нимъ въ путешествія, на конгрессы, — и вездѣ жили барами, игру большую вели... А тутъ еще Байронъ со своею свободой Греціи; — филеллинами они были, жертвовали, говорятъ, на это несмѣтными деньгами... Старикъ отецъ ихъ, Екатерининскій генералъ-аншефъ, другъ князя Потемкина, съ своей стороны счета деньгамъ не зналъ. Словомъ, распорядились они втроемъ такъ прекрасно, что все ихъ Шастуновское княжество съ молотка бы пошло, если бы князь Михайло, по приказанію отца, не женился на распрекрасной Аглаѣ. Ея милліонами все было выкуплено; но и она не будь глупа, хотя и была какъ кошка влюблена въ мужа, а это его и князь-Ларіона имѣніе,—старикъ князь тутъ-же кстати и померъ, — выкупила все на свое имя. Мужъ такимъ образомъ очутился по состоянію въ ея зависимости, а князь Ларіонъ остался бы, почитай, безъ гроша, если бы не наслѣдовалъ полуторы тысячъ душъ отъ матери, которая не жила съ его отцомъ и умерла католичкой въ какомъ-то монастырѣ въ Римѣ... Князь Михайлѣ жена его, говорятъ, внушала полное отвращеніе, тѣмъ болѣе, что она всю жизнь преслѣдовала его своими нѣжностями... Все одно что меня моя покойница, комически вздохнулъ красавецъ, — съ тою разницею только,

что *моя* просто пѣла мнѣ: „люби меня, люби меня!“, а Аглая своему мужу припѣвала еще къ этому: „я любовь твою купила“, и никакъ не хотѣла помириться съ тѣмъ, что этотъ купленный ею товаръ никакъ не давался ей въ руки... А князь Михайло былъ, говорятъ, человѣкъ прелестный, необычайно счастливый въ женщинахъ. Аглая бѣсилась, умирала отъ ревности, чуть не по начальству жаловалась, всячески компрометировала своего мужа. Долгое время, говорятъ, супружество ихъ было адъ сущій... Но года за два до смерти онъ вдругъ измѣнился, впалъ въ haute dévotion, какъ это было съ его матерью, и сблизился съ женой христіанскаго смиренія ради... Ну, съ князь Ларіономъ — другая пѣсня! засмѣялся Ашанинъ; — передъ этимъ сама она должна смириться...

— Они что-же, въ Москвѣ теперь станутъ жить по зимамъ? заинтересовался Гундуровъ.

— По неволѣ! Княгинѣ-то смерть хочется въ Петербургъ,— да не рѣшается. Князь Ларіонъ ни за какія сокровища не поѣдетъ теперь въ этотъ „ефрейторскій городъ“ — какъ онъ однажды выразился при мнѣ; — ну, а одной ей тамъ поселиться,—не выходитъ! Личныхъ связей у ней никакихъ тамъ, разумѣется; къ тому же съ замужства все за границей жила, кто ее тамъ изъ Петербургскихъ въ Ганноверѣ помнитъ! Богата она очень, могла бы домъ открыть... Но, первое, денегъ она безъ особаго разсчета кидать не любитъ; а затѣмъ, деньгами Петербургъ не удивишь, надо тамъ еще чего-то,—и она это хорошо понимаетъ. Что въ Петербургѣ за открытый домъ, куда Дворъ не ѣздитъ? Ну-съ, а этого она могла бы достигнуть единственно чрезъ князя Ларіона, если бы онъ былъ въ прежнемъ положеніи. Вотъ она и молится о немъ денно и нощно: „пошли ему Господи поменьше гордости, а свыше побольше къ нему милости“, — и, въ ожиданіи исполненія желаній, возитъ скрѣпя сердце дочь въ Московскій свѣтъ, который почитаетъ нестоющимъ вниманія уже потому, что „dans tout Moscou, говоритъ она, il n'y a pas l'ombre d'un женихъ pour ma fille...“

— Удивительный ты человѣкъ, Ашанинъ, замѣтилъ, улы-

боясь его спутникъ,—чтобы про каждаго, куда только вхожъ, всю подноготную разузнать!...

Ашанинъ весело пожалъ плечами:

— И не стараюсь, само какъ-то въ уши лѣзетъ. У Шастуновыхъ живетъ одна не молодая особа дѣвическаго званія, Надеждой Ѳедоровной Травкиной прозывается, весьма не глупая и, знаешь, это особый родъ старыхъ дѣвъ: иронія снаружи и тщательно скрываемая, безконечная сентиментальность внутри... Она князю газеты читаетъ и пользуется вообще извѣстнымъ значеніемъ въ домѣ... На первыхъ же порахъ моего знакомства съ ними сталъ я замѣчать, что она по мнѣ втайнѣ млѣетъ, — такое ужь у меня счастіе на этихъ особъ!—и Ашанинъ поднялъ глаза къ небу...—Что же однако, думаю, пусть себѣ млѣетъ, меня отъ того не убудетъ. Сталъ я ее, знаешь, поощрять. Она мнѣ всю закулисную про этотъ домъ и выложила... И вотъ эту самую Надежду Ѳедоровну, заключилъ онъ, — я заставлю теперь королеву *Гертруду* сыграть; отлично сыграетъ, ручаюсь тебѣ!...

— А *Клавдіо* кто бы могъ? заволновался опять Гундуровъ.

— Разумѣется, Зяблинъ; такъ и смотритъ театральнымъ злодѣемъ!

— Ты *Лаерта?*

— Или *Горація*, мнѣ все равно. Пусть Лаерта лучше сыграетъ Чижевскій,—онъ съ жаркомъ актеръ. А мнѣ роли поменьше учить!...

— Вальковскій *Полонія!*

— Не выгоритъ у него, боюсь, закачалъ головою Ашанинъ;—онъ его сейчасъ *шаржемъ* возьметъ... А тамъ у нихъ, слышно, есть мѣстный актеръ превосходнѣйшій,—исправникъ, Акулинъ по фамиліи, отставной кавалеристъ; такъ вотъ его надо будетъ попробовать. Дочь у него также отличная актриса, говорятъ, институтка Петербургская,—и съ прелестнымъ голосомъ, хоть оперу ставь, говорятъ...

Друзья опять заговорили о *Гамлетѣ*, объ искусствѣ... Юный, бывалый восторгъ накипалъ постепенно въ душѣ Гундурова. „Что-же, не пропадать въ самомъ дѣлѣ“, все громчѣе

говорилось ему. Ему не дозволяютъ быть ученымъ, — онъ не въ состояніи сдѣлаться чиновникомъ... Но вѣдь вся жизнь впереди; онъ не знаетъ, что будетъ дѣлать; но онъ не сложитъ рукъ, не дастъ себя потопить этимъ мертвящимъ волнамъ, онъ найдетъ... А *пока* онъ *уйдетъ*, какъ говоритъ Ашанинъ, отъ всего этого гнета, отъ тревогъ жизненной заботы въ волшебный, свободный міръ искусства; онъ будетъ переживать сладостнѣйшія минуты, какія дано испытать человѣку: его устами будетъ говорить величайшій поэтъ міра и *человѣчнѣйшій* изо всѣхъ когда-либо созданныхъ искусствомъ человѣческихъ типовъ. Погрузиться еще разъ въ его безконечную глубину, стихъ за стихомъ прослѣдить геніальныя противорѣчія этой изумительно сотканной паутины, немощь, безуміе, скептицизмъ, высокій помыслъ, и каждой чертѣ дать соотвѣтствующее выраженіе, *найти* звукъ, оттѣнокъ, жестъ и *пережить* все это въ себѣ, и воспроизвести въ стройномъ, поразительномъ, *животрепещущемъ* изображеніи, — о, какой это великолѣпный трудъ, и какое наслажденіе!...“

И Гундуровъ, надвинувъ покрѣпче отъ вѣтра мягкую шляпу на брови, уютно утонувшись въ уголъ коляски, глядѣлъ разгорѣвшимися глазами на бѣжавшее въ даль сѣроватою лентой шоссе, съ подступавшими къ нему зелеными лугами, только-что обрызганными какою-то одиноко пробѣжавшею тучкою... Все тѣ же неслись онѣ ему на встрѣчу, съ дѣтства знакомыя, съ дѣтства ему милыя картины и встрѣчи. По влажной тропкѣ, за канавкою, идетъ о босу ногу солдатикъ, съ фуражкою блиномъ на затылкѣ, съ закинутыми на спину казенными сапогами; кланяются проѣзжимъ въ поясъ прохожія богомолки въ черныхъ платкахъ, подвязанныхъ подъ *душку*, съ высокими посошками въ загорѣлыхъ рукахъ; лѣниво позвякиваетъ колокольчикъ *обратной* тройки, со спящимъ на днѣ ямщикомъ, и осторожные вороны тяжелымъ взмахомъ крылъ слетаютъ съ острыхъ грудъ наваленнаго по краямъ дороги щебня... А солнце заходитъ за кудрявыя вершины недальняго лѣсочка, и синими полосами падаютъ отъ него косыя тѣни на пышные всходы молодой озими... И солнце, и тѣни, и эта волнующаяся тихая даль родной стороны, и теплыя струи несущагося

навстрѣчу вѣтра, — все это какимъ-то торжествующимъ напоромъ врывалось въ наболѣвшую „въ Петербургской мерзости“ душу молодаго человѣка и претворялось въ одно невыразимо сладостное сознаніе бытія, въ безпричинное, но неодолимое чаяніе какого-то сіяющаго впереди, невѣдомаго, но несомнѣннаго счастія...

Онъ съ внезапнымъ порывомъ обернулся къ товарищу:

— Жить надо, а? Жить, просто *жить*, такъ Ашанинъ?

— И на-слаж-дать-ся! отвѣтилъ ему тотъ пятью звучными грудными нотами въ нисходящей гаммѣ, — и тутъ-же сразу затянулъ во всю глотку старо студенческую пѣсню:

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum su-umus.

— Что, хорошо? засмѣялся онъ въ отвѣтъ на смѣявшійся же взглядъ обернувшагося на эти звуки ямщика,—это, братъ, по-нашенски: валяй по всѣмъ, пока кровь ключомъ бьетъ!...

— Ахъ вы, соколики! тутъ-же мигомъ встрепенувшись на козлахъ, подобралъ разомъ четверку такой же какъ и Ашанинъ черноглазый и кудрявый ямщикъ,—и коляска, взвизгнувъ широкими шинами по свѣже-настланной щебенкѣ, понеслась стремглавъ подъ гору и взлетѣла на пригорокъ, словно на крыльяхъ разгулявшагося орла...

На другой день, рано утромъ, пріятелей нашихъ, сладко заснувшихъ подъ полночь, разбудилъ старый слуга Гундурова. Они подъѣзжали къ Сицкому.

II.

Большой, бѣлый, Александровскаго времени домъ въ три этажа, съ тяжелыми колоннами подъ широкимъ балкономъ и висячими галлереями, соединявшими его съ двумя, выходившими фасадами на дворъ, длинными флигелями, глядѣлъ если не величественно, то массивно, съ довольно крутой возвышенности, подъ которыми сверкала подъ первыми лучами утра довольно широкая, свѣтлая рѣчка, въ полуверстѣ отсюда впадавшая въ Оку. Темными кущами спускались отъ него по склону съ обѣихъ сторонъ густыя аллеи старинnаго сада, а передъ самымъ домомъ стлался ниспадающимъ ковромъ испещренный цвѣтами лугъ, съ высоко бившимъ фонтаномъ на полу-горѣ. Сквозь деревья нарядно мелькали трельяжи и вычурныя крыши Китайскихъ бесѣдокъ, и свѣжеокрашенныя скамейки бѣлѣли надъ тщательно усыпанными толченымъ кирпичемъ дорожками.

— А вѣдь красиво смотритъ! говорилъ Ашанинъ, любуясь видомъ, въ ожиданіи парома, подтягивавшагося съ того берега.

Гундуровъ еле замѣтно повелъ плечомъ.

— А тебѣ не нравится?

— Не приводитъ въ восторгъ, во всякомъ случаѣ, отвѣчалъ онъ не сейчасъ;—мнѣ, засмѣялся онъ,—какъ сказалъ древній поэтъ,—„болѣе всего *уголки* улыбаются.“

— Вѣрю, замѣтилъ Ашанинъ, — только вотъ бѣда: въ *уголкѣ*-то „театрика“ не устроишь.

— Да,—не будь этого...

Ашанинъ глянулъ ему прямо въ глаза:

— А знаешь, что̀, Сережа, я тебѣ скажу,—вѣдь ты ужасный гордецъ!

Румянецъ внезапно вспыхнулъ на щекахъ Гундурова:

— Я гордецъ! Изъ чего ты взялъ?..

— А изъ того, голубчикъ, что я тебя лучше самого себя знаю... Только повѣрь, тебя здѣсь ничто не оскорбитъ!

— Да я и не думалъ...

— Ну, ладно!

И Ашанинъ, не продолжая, побѣжалъ на паромъ.

— Колокольчикъ подвяжи! наставлялъ онъ ямщика,—а то мы, пожалуй, тамъ всѣхъ перебудемъ. Бывалъ ты въ Сицкомъ?

— Какъ не бывать, батюшка! Возили!..

— Такъ какъ бы намъ такъ подъѣхать, чтобъ грохоту отъ насъ поменьше было?

— Да вамъ къ кому, къ самимъ господамъ, аль къ управителю? молвилъ на это уже нѣсколько свысока ямщикъ.

— Къ скотнику, милый мой, къ скотнику! расхохотался Ашанинъ.—Трогай!..

Они поднялись по шоссированной, отлогою спиралью огибавшей гору, дорогѣ—и очутились у ограды на каменныхъ столбахъ, съ желѣзными между ними копьями, остріемъ вверхъ, и высокими по серединѣ воротами аркою, надъ которой словно зѣвала разинутая пасть грубо вытесаннаго изъ мѣстнаго камня льва на заднихъ лапахъ, съ передними опиравшимися на большую позолоченную мѣдную доску, на которой изображенъ былъ рельефомъ княжескій гербъ Шастуновыхъ. Все это было ново и рѣзало глаза свѣжею бѣлою краской и рѣзкостью линій...

— Ишь ты, звѣрища-то какого подняли! проговорилъ ямщикъ, осаживая лошадей предъ полуприкнутыми половинками воротъ и заглядываясь на верхъ.

— Въѣзжать, что-ль? спросилъ онъ, оборачиваясь къ господамъ.

— Безвкусица таки порядочная!.. Также поднявъ глаза на каменнаго звѣря, молвилъ Гундуровъ и смутился...

Передъ ними стоялъ только-что вышедшій изъ воротъ высокій и сухой, въ широкополой сѣрой шляпѣ и длинномъ

сюртукѣ à la propriétaire мужчина, которому по бодрому его виду, едва замѣтной просѣди и живости темныхъ глазъ, свѣтившихъ изъ подъ сѣдоватыхъ, какъ и его волосы, бровей, можно было дать на первый разъ никакъ не болѣе пятидесяти лѣтъ.

Онъ стоялъ, глядя на Гундурова и мягко улыбаясь тонко сложенными губами, какъ бы говорившими: я совершенно съ тобою согласенъ.

— Князь Ларіонъ Васильевичъ! воскликнулъ Ашанинъ, поспѣшно снимая шляпу и выскакивая изъ коляски... Позвольте, заторопился онъ,—представить вамъ спутника моего и лучшаго друга...

— Сергѣя Михайловича Гундурова, не такъ ли? досказалъ самъ князь, съ тою же мягкой улыбкой, и протянулъ этому руку; — Софья Ивановна ждетъ васъ давно, прибавилъ онъ, какъ-то особенно внимательно и привѣтливо продолжая глядѣть въ лицо Гундурову.

— Вы ее видѣли? даже нѣсколько удивился тотъ.

— Непремѣнно-съ! Какъ только узналъ о ея прибытіи въ Сашино, поспѣшилъ навѣстить... Я давно привыкъ любить и уважать вашу тетушку! какъ бы счелъ нужнымъ объяснить князь ту благосклонность, которую онъ теперь видимо оказывалъ незнакомому молодому человѣку.

— Княгиня Аглая Константиновна будетъ очень рада вашему пріѣзду, сказалъ онъ Ашанину, — вы вѣдь, кажется, главный рычагъ въ ея театральной затѣѣ?...

— Позвольте отклонить не подобающую мнѣ честь, весело отвѣчалъ красавецъ,—я только вчинатель, а главная пружина дѣятельности—пріятель нашъ, Вальковскій... Смѣю спросить, ваше сіятельство: какъ онъ ведетъ себя здѣсь? Видите-ли вы его иногда?

Усмѣшка еще разъ скользнула по устамъ князя Ларіона.

— Является къ обѣду, и то не всегда; цѣлый день въ театрѣ,—пилитъ, мажетъ и клеитъ.

— Онъ какъ есть—фанатикъ! засмѣялся Ашанинъ.

— Да, сказалъ на это серьезнымъ тономъ князь,—черта рѣдкая у насъ и всегда говорящая въ пользу человѣка...

Что же ты стоишь, милый мой, онъ глянулъ на ямщика; — въѣзжай!...

— Куда прикажете подъѣхать? спросилъ Ашанинъ.

— Я вамъ укажу.

Онъ вошелъ съ молодыми людьми на дворъ и направился къ одному изъ флигелей.

— Мнѣ говорила почтенная Софья Ивановна, что вы изъ Петербурга бѣжали? обратился онъ снова къ Гундурову, очевидно вызывая молодаго человѣка на откровенный разсказъ.

Гундурову нечего было скрывать; къ тому же этотъ, казавшійся ему въ дѣтствѣ „суровымъ“, человѣкъ влекъ его къ себѣ теперь своею привѣтливостью и обаяніемъ какого-то особаго изящества всей своей особы. Онъ передалъ ему въ короткихъ словахъ все то, что уже извѣстно нашему читателю.

Князь слушалъ внимательно, медленно подвигаясь впередъ и глядя не на него, а куда-то въ сторону, совершенно, казалось, безстрастными глазами; только по изгибу его губъ змѣилось какое-то едва уловимое выраженіе печали...

Гундуровъ давно замолкъ, когда онъ, остановившись посреди двора, проговорилъ вдругъ почти строго:

— Главное—душевная бодрость!... Мнѣ недавно показывали стихи... съ большимъ талантомъ и горечью написанные,— вы ихъ вѣрно знаете?—тамъ говорится: „Разбейтесь силы, вы не нужны“ *). Не вѣрьте, не отдавайтесь этому! Вы молоды!... Рано-ли, поздно-ль, силы эти — онѣ пригодятся... И также внезапно перемѣняя тонъ:—это, кажется, у васъ въ водевилѣ въ какомъ-то поется,—князь обернулся на Ашанина: — „Не все-жь, на небѣ будетъ дождь, авось и солнышко проглянетъ!...“

— Не помню-съ, а съ моралью согласенъ! отвѣчалъ смѣясь Ашанинъ, — даже всю дорогу отъ Москвы сюда проповѣдывалъ ее Гундурову... И если, ваше сіятельство, не откажете въ вашемъ согласіи, мы ее тотчасъ же приложимъ къ дѣлу?

---

*) Стихотвореніе И. С. Аксакова.

— Что̀ такое? спросилъ, слегка нахмурясь, князь.

— Я уговариваю Сережу принять участіе въ нашихъ спектакляхъ здѣсь, и именно сыграть роль *Гамлета*, которую онъ наизусть знаетъ и страстно любитъ...

Князь поднялъ вопросительно глаза на Гундурова, затѣмъ перевелъ ихъ на Ашанина, впившагося въ него, въ свою очередь, своими выразительными черными глазами, и тотчасъ же сообразилъ, въ чемъ дѣло...

— Это прекрасная мысль, Сергѣй Михайловичъ, поощрилъ онъ его,—и затѣя Аглаи Константиновны приметъ такимъ образомъ совсѣмъ иной, серьезный характеръ...

— А ужь какая *Офелія* будетъ у насъ княжна Елена Михайловна! вскликнулъ, торжествуя, Ашанинъ.

Подъ нависшими вѣками князя Ларіона что-то мгновенно сверкнуло и погасло.

— *Офелія*... дда... она дѣйствительно... проговорилъ она, какъ бы думая о чемъ-то другомъ и не глядя на нашихъ друзей...

Онъ опять остановился.

— Такъ вы хотите играть *Гамлета*, молодые люди?... Я видѣлъ *Гамлета* на всѣхъ сценахъ Европы, и между прочимъ въ Веймарѣ, въ то еще время, когда Гёте былъ тамъ директоромъ театра, заговорилъ князь послѣ минуты молчанія съ какимъ-то внезапнымъ оживленіемъ,—и, признаюсь вамъ, выходилъ каждый разъ изъ театра неудовлетворенный... Вѣдь это удивительное произведеніе, господа, и невообразимо-сложный типъ, и Гизо совершенно справедливо сказалъ, что два вѣка не успѣли еще исчерпать всю его глубину...

— Да, это вѣрно, воскликнулъ Гундуровъ,—и потому, можетъ быть, онъ такъ и манитъ, такъ и влечетъ къ себѣ, что каждый подступающій къ нему находитъ въ немъ какъ бы личныя, родственныя ему черты.

— И можетъ-быть именно вслѣдствіе этого, замѣтилъ въ свою очередь князь Ларіонъ,—онъ въ исполненіи такъ рѣдко удовлетворяетъ всѣхъ... У васъ подходящая къ типу наружность, прервалъ онъ себя, оглядывая Гундурова,—бѣлокурое блѣдное лицо, задумчивый обликъ,—князь усмѣхнулся:—

тонки слишкомъ!... Замѣтьте, какъ глубоко и вѣрно схвачено это у Шекспира: *Гамлетъ* — натура вдумчивая, рефлективная,—„мечтанью преданный безмѣрно“, какъ сказалъ когда-то Пушкинъ про современнаго человѣка, къ которому *Гамлетъ* такъ удивительно, такъ невѣроятно близокъ, что. самъ Гейне, его ближайшій представитель, не ближе къ нему; такіе люди мало подвижны, склонны къ раннему ожиренію; онъ тяжелъ на подъемъ, страдаетъ астмомъ,—помните сцену поединка? — „Онъ толстоватъ и дышетъ коротко“ *), говоритъ прямо мать о немъ... Попробуйте, попробуйте себя на этой роли! какъ-то вдругъ оборвалъ князь, словно уставъ или не желая продолжать.

Гундуровымъ овладѣло смущеніе.

— Вы, я вижу, такой знатокъ, князь, проговорилъ онъ робко,—что я, мнѣ кажется, никогда не осмѣлюсь выти передъ вами...

— А вы какъ-же-съ,—и князь съ тѣмъ же строгимъ, почти повелительнымъ выраженіемъ, съ какимъ онъ глядѣлъ, внушая Гундурову бодрость духа, взглянулъ на него опять,—вы бы хотѣли играть для тѣхъ, которые аза въ глаза не понимаютъ?... Такихъ у васъ будетъ полна зала,—можете быть спокойны!...

— Не слушайте его, князь,—Ашанинъ замахалъ руками,—я слышалъ не разъ, какъ онъ читаетъ роль, и заранѣе увѣряю васъ, что онъ удовлетворитъ васъ болѣе, чѣмъ всѣ слышанные вами въ Европѣ актеры!...

— Вѣрю! искреннимъ тономъ отвѣчалъ князь Ларіонъ на эту наивную пріятельскую похвальбу;—вѣрю, какъ бы про себя повторилъ онъ,—потому что одна изъ принципіальныхъ чертъ этого характера, его колебанія и неустой, никому, кажется, такъ непонятна какъ русскому человѣку...

— Который, подхватилъ на лету со смѣхомъ Ашанинъ,—„на всѣ руки,“ какъ сказалъ Брюловъ, „но всѣ руки коротки“!...

---

*) He's fat and scant of breath. Act. V. Sc. II.

— Да-съ, сухо отвѣтилъ князь,—только объ этомъ, пожалуй, скорѣе въ пору плакать, чѣмъ смѣяться...

Колясна молодыхъ людей подъѣхала тѣмъ временемъ къ крыльцу флигеля, у котораго они сами съ княземъ теперь остановились, и слуга Сергѣя Михайловича принялся стаскивать съ козелъ привязанный тамъ чемоданъ Ашанина.

— Потрудись, любезный, сказалъ ему князь,—зайти сюда къ дежурному, направо, и разбуди его, чтобъ онъ шелъ съ ключами скорѣе комнаты отворять. Какъ вамъ удобнѣе, господа, вмѣстѣ или порознь?

— Вы извините меня, князь, сказалъ Гундуровъ,—но я никакъ не разсчитывалъ встрѣтиться съ вами, и потому у насъ положено было съ Ашанинымъ, что я его только довезу сюда, а самъ тотчасъ-же отправлюсь къ тетушкѣ, которую еще не видалъ...

— Вы всегда успѣете выпить здѣсь чашку чаю, прервалъ его князь Ларіонъ;—вамъ до Сашина никакъ не болѣе часа ѣзды, а теперь—онъ вынулъ часы,—половина седьмаго. Софья Ивановна, при всѣхъ ея качествахъ, примолвилъ онъ шутливо,—не имѣетъ вѣроятно моей привычки вставать зимою и лѣтомъ въ пять часовъ утра...

—. Зимою и лѣтомъ! даже вскрикнулъ Ашанинъ.

— Точно такъ-съ,—и совѣтую всѣмъ дѣлать то же. Самъ я веду этотъ образъ жизни съ двадцатипятилѣтняго возраста, по совѣту человѣка, котораго я близко зналъ и высоко цѣнилъ,—Лафатера, и до сихъ поръ благословляю его за это... А вотъ и дежурный!... Показать господамъ комнаты и подать имъ чаю и кофе, куда они прикажутъ!... Вашъ пріятель, господа, живетъ тутъ-же, въ этомъ флигелѣ... Я не прощаюсь съ вами, Сергѣй Михайловичъ, примолвилъ князь,—но вы мнѣ дозволите докончить мою ежедневную двухчасовую прогулку,—это также составляетъ conditionem sine qua non моей гигіены.

И, кивнувъ молодымъ людямъ, онъ удалился.

— Да, онъ дѣйствительно очень уменъ и образованъ! молвилъ Гундуровъ, подымаясь съ Ашанинымъ по лѣстницѣ, вслѣдъ за бѣжавшимъ впереди слугою.

— И ядовитъ! примолвилъ его пріятель: — замѣтилъ ты,

какъ онъ кольнулъ меня моимъ *ничего-недѣланьемъ?*... Что-жь, вдругъ глубоко вздохнулъ красавецъ,—онъ правду сказалъ: плакать надъ этимъ надо, а не смѣяться!...

Гундуровъ улыбнулся,—ему не впервые приходилось слышать эти ни къ чему не ведшія никогда самобичеванія Ашанина...

Они вошли въ корридоръ, по обѣимъ сторонамъ котораго расположены были комнаты, назначаемыя гостямъ...

Не проспавшійся еще слуга ткнулся о первую попавшуюся ему дверь:

— Пожалуйте! приглашалъ онъ зѣвая.

— Мы бы прежде всего хотѣли увидать господина Вальковскаго, сказалъ Ашанинъ.

— Вальковскаго? Это, то есть, какіе они изъ себя будутъ? недоумѣвалъ сонный дежурный.

— А вотъ я тебѣ объясню: волчьи зубы, на головѣ боръ, и въ театрѣ цѣлый день съ рабочими бранится...

— Знаю-съ! широко осклабился понявшій слуга и протеръ себѣ глаза,—пожалуйте!...

III.

Вальковскій спалъ спиною вверхъ, ухвативъ огромными ручищами подушку, едва выглядывавшую изъ-подъ этихъ его рукъ и раскинувшихся по ней, словно ворохъ надерганной кудели, всклокоченныхъ и какъ лѣсъ густыхъ волосъ.

— Гляди, расхохотался Ашанинъ, входя въ комнату съ Гундуровымъ,—*фанатикъ*-то! Вѣдь спитъ совсѣмъ одѣтый,—только сюртукъ успѣлъ скинуть... Пришелъ, значитъ, изъ „театрика“ безъ ногъ и такъ и повалился... Экой шутъ гороховый!..

— Жаль будить его, бѣднягу! говорилъ Гундуровъ.

Но Вальковскій, прослышавъ сквозь сонъ шаги и голоса, встрепенулся вдругъ, быстро перевернулся на постели, сѣлъ и, не открывая еще глазъ, закричалъ:

— Что, подмалевали подзоры?

— Чучело, чучело, помиралъ со смѣху Ашанинъ,—какіе тебѣ подзоры! Гляди, кто передъ тобою!..

— Гундуровъ, Сережа, мамочка! визгливымъ фальцетомъ отъ преизбытка радости заголосилъ Вальковскій,—разумница ты моя писанная!.. Князь говорилъ мнѣ вчера, что тебя ждутъ... Станешь играть *доктора?* такъ и огорошилъ онъ его съ перваго раза.

— Какого доктора? проговорилъ озадаченный Гундуровъ.

— Да въ *Шилѣ*... Зяблинъ отказывается, дрянь эта салонная! Чижевскій еще, чортъ его знаетъ, пріѣдетъ-ли...

— А я тебѣ говорю, такъ и напустился на него Ашанинъ,—чтобъ ты мнѣ про свое *шило* и заикаться не смѣлъ,

а то я тебѣ имъ брюхо пропорю... Станетъ Сережа объ эту твою мерзость мараться, когда мы вотъ сейчасъ порѣшили съ княземъ *Гамлета* ставить...

— *Гамлета!* Съ княземъ!.. Вальковскій даже въ лицѣ измѣнился и—судорожно началъ ерошить свои сбитые волосы;—какая-жь мнѣ тамъ роль будетъ?.. *Горацію* развѣ сыграть мнѣ? неувѣренно, сквозь зубы проговорилъ онъ, изподлобья поглядывая съ постели на Ашанина.

— Ну, съ твоимъ-ли мурломъ, крикнулъ на него тотъ опять,—лѣзть на молодыя роли, да еще на *резонеровъ*! Или не помнишь, какъ ты провалился въ *Герцогѣ* въ *Скупомъ рыцарѣ?*

Сконфуженный „фанатикъ“ опустилъ голову и принялся натягивать сапоги на ноги.

— *Полоній*, вотъ тебѣ роль! Да и то еще надобно тебя пощупать.

— Нечего меня щупать! огрызся на этотъ разъ Вальковскій,—на репетиціяхъ я себя не покажу... Я актеръ нервный, играю *какъ скажется*...

— И лжешь, лжешь, отъ начала до конца лжешь, доказывалъ ему Ашанинъ:—во-первыхъ, у тебя не нервы, а канаты, которые топоромъ не перерубишь; во-вторыхъ, только то у-тебя и выходитъ, что ты у себя въ комнатѣ передъ зеркаломъ продѣлалъ сто разъ, пока добился своего эффекта... А какъ ты только до цыганскаго пота надъ ролью не проработалъ,—такъ и гони тебя вонъ со сцены!..

— И это тебѣ въ похвалу сказывается, Вальковскій, утѣшалъ его Гундуровъ:—роль, что кладъ, дается въ руки лишь тому, кто дороется до нея!..

— Ну вотъ! качнулъ головою „фанатикъ,“ направляясь къ умывальнику,—а Мочаловъ?

У Гундурова заморгали глаза, что всегда служило въ немъ признакомъ охватывавшаго его волненія; онъ опустился въ кресло:

— Мочаловъ, повторилъ онъ,—это я постоянно слышу: Мочаловъ! А я вотъ тебѣ что скажу, Вальковскій—и да проститъ это мнѣ его всѣмъ намъ дорогая память!—Но эта

Мочаловская манера игры *„какъ скажется,“* какъ Богъ на душу положитъ, возведенная въ теорію, погубитъ русскую сцену! Вѣдь это опять все то же наше варварское *авоська*, въ примѣненіи къ искусству,—пойми ты это!..

— Погоди, погоди-ка, Серёжа! прервалъ его Ашанинъ.— А помнишь,—мы съ тобой вмѣстѣ были тогда, на первомъ это курсѣ было,—какъ однажды въ *Гамлетѣ*, послѣ сцены въ театрѣ, онъ, поднявъ голову съ колѣнъ Орловой—Офеліи, поползъ... помнишь?—да, поползъ на четверенькахъ черезъ всю сцену къ рампѣ и этимъ своимъ чуднымъ, на всю залу слышнымъ шопотомъ проговорилъ:

„Оленя ранили стрѣлой“

и засмѣялся... Господи!... Помню, ты даже привскочилъ!... У меня зубы застучали, и я три ночи послѣ этого не могъ заснуть: все слышался мнѣ этотъ шопотъ и смѣхъ.

— Да, но за то, признайтесь, — Гундуровъ даже вздохнулъ,—сколько приходилось намъ цѣлыми представленіями переносить у него нестерпимой вялости, фальши, непониманія роли?... *Минуты* у него были божественныя! — но однѣ минуты! Полнаго образа, типа, цѣльнаго характера онъ тебѣ никогда не давалъ...

— Что—о? такъ и заревѣлъ Вальковскій, отрываясь мокрымъ лицомъ отъ умывальника, въ которомъ плескался онъ, и видаясь на середку комнаты съ этимъ мокрымъ лицомъ и неотертыми рукавами,—въ *Миллерѣ*, въ *Коварствѣ* и *любви*, онъ тебѣ не давалъ *образа?*...

— Въ *Миллерѣ*... началъ было Гундуровъ.

— Что-же ты, въ Петербургѣ Каратыгинымъ объѣлся, видно! Каратыгинъ теперь, по-твоему, великій актеръ? чуть-чуть не съ пѣной у рта подступалъ къ нему тотъ.

— Позволь тебѣ сказать...

— Фельдфебель, трескотня, рутина!... Барабанщикъ французскій,—вотъ онъ что, твой Каратыгинъ! ревѣлъ Вальковскій, ничего не слушая...

— Эко чучело! Эка безобразина! надрывался смѣхомъ Ашанинъ, глядя на него.

— А въ *Заколдованномъ домѣ* видѣлъ ты его? спросилъ Гундуровъ.

— Въ *Заколдованномъ домѣ?* повторилъ „фанатикъ", мгновенно стихая,—видѣлъ!...

— Ну, и что-же?

— Хорошъ былъ, глухимъ баскомъ проговорилъ онъ и, опустивъ голову, опять отошелъ къ своему умывальнику:—король былъ, дѣйствительно, настоящій... страшенъ... правдою страшенъ! отрывисто пропускалъ уже Вальковскій, отфыркиваясь и плеща въ тазу.

— То-то и есть, заговорилъ опять Гундуровъ, — что онъ *образованный* и *думающій* актеръ, и что ты это чувствуешь, какъ только онъ выйдетъ предъ тобою въ подходящей роли. Онъ знаетъ *кого, когда, что* онъ играетъ!... А что ему *Иголкиныхъ*, да *Деньщиковъ* *) приходится вѣчно изображать, такъ въ этомъ, братъ, не онъ виноватъ, а Петербургскія гниль и лакейство...

— Такъ что-же, по-твоему, прервалъ его „фанатикъ", останавливаясь въ раздумьи передъ нимъ съ полотенцемъ въ рукахъ,—вдохновенье актеру надо, значитъ, по боку?...

— Это еще что за вздоръ! горячо воскликнулъ Гундуровъ.—Развѣ мѣшали когда нибудь *вдохновенью* трудъ, подготовка, строгое отношеніе къ своему дарованію? Вспомни Пушкина,—чего тебѣ лучше примѣръ?... Случайное вдохновенье есть и въ дикой калмыцкой пѣсни, и у безобразнаго Третьяковскаго вылились невзначай пять *вдохновенныхъ* стиховъ... **) Но развѣ объ этомъ рѣчь? Мы говоримъ объ искусствѣ, о святынѣ, къ которой нельзя подходить съ неумытыми руками!...

---

*) *Иголкинъ*, драматическое представленіе Полеваго, и 5-ти актная драма Кукольника, *Деньщикъ*, весьма долго, какъ извѣстно, держались на репертуарѣ Александринскаго театра въ прошлое царствованіе.

**) Вонми, о небо, и реку!
Земля да слышитъ устъ глаголы!
Какъ дождь я словомъ потеку,
И снидутъ, какъ роса къ цвѣтку,
Мои вѣщанія на долы!

— Молодчина, Сережа! воскликнулъ увлеченный послѣдними словами Вальковскій.—Дай, влѣплю тебѣ безешку за это!... И онъ полѣзъ обнимать пріятеля, еще весь мокрый...

— А для меня изъ смысла басни сей, комически началъ вздыхать Ашанинъ,—выходитъ то, что вы теперь потребуете отъ меня вызубрить вдолбяшку роль *Лаерта*.

— И вызубришь! засмѣялся Гундуровъ.

— Какже! Держи карманъ! хихикнулъ Вальковскій,—выйдетъ, и, по обыкновенію, ни въ зубъ толконуть!... Онъ у насъ, извѣстно, какъ толстые кучера у купечества, на „фигурѣ“ выѣзжаетъ!...

Ашанинъ весело головою тряхнулъ, какъ бы не замѣтивъ недобраго взгляда, сопровождавшаго эту выходку его пріятеля:

— Каждому свое, Ваня: — я фигурою, а ты волчьимъ ртомъ...

— И лисьимъ хвостомъ! договорилъ самъ Вальковскій, принимаясь громко хохотать; — а вѣдь точно, братцы, княгиню-то я совсѣмъ объѣхалъ!..,

— Какъ такъ! изумился Гундуровъ.

— Да такъ, что что я ни захочу, то она и дѣлаетъ... Шесть *перемѣнъ* новыхъ у насъ въ театрѣ уже готово: двѣ комнаты, зало съ колоннами, улица, садъ, лѣсъ. Старыя декораціи, какія отъ временъ стараго князя остались, тѣ всѣ подновилъ. И какія декораціи, братцы! Старикъ-то, видно, человѣкъ со вкусомъ былъ и страсть къ искусству имѣлъ, труппа своя постоянная была. Самъ Императоръ Александръ, разсказываютъ тутъ старые дворовые, пріѣзжалъ къ нему сюда ростить и на спектаклѣ былъ. Баринъ былъ важный... Ну, а эта — Вальковскій подмигнулъ и оскалилъ свой волчій клыкъ, — какъ есть жидъ-баба, кулакъ; только очень уже чванна при этомъ, такъ этимъ ее какъ рыбицу на удѣ и водишь. Какъ начали мы здѣсь театръ устраивать, потребовала она отъ декоратора смѣты. Я ему и говорю: „ты, братъ, ее не жалѣй, валяй такъ, чтобъ на славу театрикъ вышелъ“. Онъ и вкаталъ ей смѣту въ полторы тысячи. Она такъ и взвизгнула: „ахъ, говоритъ, *комъ се шеръ* и неужто все это нужно?“ И на меня такъ и уставилась. Я ничего, молчу.

Начинаетъ она улыбаться: „и дешевле нельзя, спрашиваетъ, *монъ шеръ* Иванъ Ильичъ?“—Отчего, говорю, можно; вотъ я въ Замоскворѣчьи у купца Телятникова театрикъ устраивалъ, всего расходу на полтораста цѣлкашей вышло. Такъ повѣрите, ее ажъ всю повело: „потрудитесь, говоритъ Александрову, представить это въ мою контору,—сколько вамъ нужно будетъ денегъ, тамъ получите“... Съ тѣхъ поръ, расхохотался „фанатикъ“,—что ни скажу, то свято!... Да что мы здѣсь дѣлаемъ, вскинулся онъ вдругъ,—ходимъ въ театръ! Сами увидите, что за прелесть!...

— Мнѣ ѣхать домой пора, сказалъ Гундуровъ,—лошади ждутъ...

— Лошадей вашихъ князь велѣлъ отправить, доложилъ слуга, входившій въ ту минуту въ комнату съ чаемъ.

— Какъ отправить?

— Сказывать изволили, что, когда пожелаете, всегда наши лошади могутъ васъ отвезти.

— Молодецъ князь! воскликнулъ Вальковскій.—Любезный, неси намъ чай на сцену, да булокъ побольше, я ѣсть хочу... Ну, Сережа, чего ты осовѣлъ? Напьемся чаю, театрикъ осмотришь, а тамъ уѣдешь себѣ съ Богомъ...

— Ладно, сказалъ за Гундурова Ашанинъ, — только дай намъ себя нѣсколько въ порядокъ привести!

Друзья умылись, перемѣнили бѣлье, причесались и отправились вслѣдъ за Вальковскимъ въ „театрикъ“.

IV.

Люблю тебя, люблю, мечты моей созданье,
Съ очами полными лазурнаго огня,
Съ улыбкой розовой, какъ молодаго дня
За рощей первое сіянье.

Лермонтовъ.

Помѣщеніе театра занимало почти весь правый, двухъэтажный флигель дома. Гундуровъ такъ и ахнулъ, войдя въ него. Онъ никакъ не воображалъ его себѣ такимъ объемистымъ, удобнымъ, красивымъ. Широкая и глубокая сцена, зала въ два свѣта амфитеатромъ, отставленныя временно къ стѣнамъ кресла, обитыя стариннымъ, еще мало выцвѣтшимъ, малиновымъ тисненымъ бархатомъ, пляшущія нимфы и толстопузые амуры, расписанные по высокому своду плафона, сверкавшія подъ утренними лучами стеклышки спускавшейся съ него большой хрустальной люстры, проницающій запахъ свѣжаго дерева и краски,—все это подымало въ душѣ молодаго любителя цѣлый строй блаженныхъ ощущеній, всю забирающую прелесть которыхъ поймете лишь тотъ, кто самъ испытывалъ ихъ, кто самъ пьянѣлъ и замиралъ отъ восторговъ и тревоги подъ вліяніемъ того, что̀ Французы называютъ l'enivrante et âcre senteur de la rampe...

И Гундуровъ съ безотчетною, счастливою улыбкою осторожно пробирался теперь, вслѣдъ за Вальковскимъ, промежъ брусковъ, горшковъ съ краскою, гвоздей и всякаго хлама, мимо растянутаго на полу залы полотна, на которомъ сохла только что вчера написанная декорація. „Фанатикъ“ трещалъ, какъ канарейка, и отъ преизбытка всего того, что̀ хотѣлось ему

сообщить друзьямъ, путался и заикался, безпрестанно перебѣгая отъ одного предмета къ другому. Онъ говорилъ объ оркестрѣ, набранномъ имъ изъ музыкантовъ Малаго театра, съ которыми, какъ и со всѣмъ Московскимъ театральнымъ міромъ, состоялъ *на ты*, и тутъ-же поминалъ крѣпкимъ словомъ дворецкаго княгини, съ которымъ уже успѣлъ два раза выругаться; передавалъ о какой-то старой кладовой, открытой имъ, гдѣ онъ нашелъ „самую подходящую"-де къ *Гамлету* мебель, и о почему-то вздорожавшихъ кобальтѣ и охрѣ; сообщалъ, что первый *театрикъ* имѣетъ быть 3-го іюня, въ день рожденія княжны, которой минетъ 19 лѣтъ, и что къ этому дню наѣдетъ въ Сицкое чуть не полъ-Москвы, и даже изъ Петербурга какіе-то генералы обѣщались быть...

Но вся эта болтовня шла мимо ушей Гундурова. Онъ только видѣлъ предъ собою сцену, на которой онъ появится вотъ изъ-за этой второй налѣво кулисы, изображающей теперь дерево съ тѣми подъ нимъ невиданными желтыми цвѣтами, какіе только пишутся на декораціяхъ, а которая тогда будетъ изображать колонну или пилястръ большой залы въ Эльсинорѣ,—появится съ выраженіемъ „безконечной печали на челѣ", съ едва держащейся на плечахъ мантіей и спущеннымъ на одной ногѣ чулкомъ, какъ выходилъ Кинъ, и, скрестивъ на груди руки, безмолвно, не подымая глазъ, перейдетъ направо, подальше отъ Клавдіо...

— „Отбрось ночную тѣнь, мой добрый Гамлетъ", начнетъ *Гертруда*,—

Зачѣмъ искать съ опущенной рѣсницей
Во прахѣ благороднаго отца?
Ты знаешь: все, что̀ живо, то̀ умретъ...

— Да, отвѣтитъ онъ,—и какъ онъ это скажетъ!—...

Да, все умретъ!—„А если такъ,
То что̀-жь тебѣ тутъ кажется такъ странно?"

А онъ... И Гундуровъ, вбѣжавъ на сцену, уже стоялъ съ этими скрещенными на груди руками, на этомъ своемъ мѣстѣ направо, и пробовалъ резонансъ залы:

Нѣтъ, мнѣ не *кажется*, а точно *есть*,
И для меня все *кажется* ничтожно...
Нѣтъ, матушка, ни траурный мой плащъ,
Ни грустный видъ унылаго лица,
Ни слезъ текущій изъ очей потокъ,—
Ничто, ничто изъ этихъ знаковъ скорби
Не скажетъ истины...

читалъ онъ, постепенно повышая голосъ, давая самъ себѣ реплику и безсознательно увлекаясь самъ...

— Вѣрно, хорошо! одобрительно покачивалъ головою глядѣвшій на него снизу Ашанинъ.

— Э, братъ, крикнулъ въ свою очередь Вальковскій,—да ты своего что-ли *Гамлета* читаешь?

— Какъ такъ?

— Я выходъ-то Мочалова хорошо помню,—совсѣмъ не тѣ слова были...

— Ну да, объяснилъ Гундуровъ,—въ театрѣ у насъ играютъ по передѣлкѣ Полеваго, а я читалъ по Кронеберговскому переводу.

— Для чего-же это? недовольнымъ голосомъ спросилъ Вальковскій.

— А потому что онъ и ближе, и изящнѣе...

— А къ тому всѣ привыкли, знаютъ, вся Россія... торговцы въ городѣ его знаютъ, такъ нечего намъ мудровать съ тобою. Тутъ не въ вѣрности дѣло, а чтобы каждый сердцемъ понялъ... запнулся Вальковскій, не умѣя, какъ всегда, договорить свою мысль.

— Да къ тому же и Варламовская музыка, всѣмъ извѣстная, поддерживалъ его Ашанинъ.

И онъ запѣлъ фальцетомъ на всю залу:

Моего-ль вы знали друга?
Онъ былъ бравый молодецъ...

—Въ бѣлыхъ перьяхъ, статный воинъ,
Первый Данiи боецъ,

неожиданно отвѣтилъ ему вблизи чей-то свѣжій, звучный женскій голосъ,—и изъ-за стремительно отворившихся на обѣ половинки ближайшихъ къ сценѣ дверей вылетѣла, останови-

лась на-бѣгу, зардѣлась и вдругъ залилась раскатистымъ не совсѣмъ естественнымъ смѣхомъ быстроглазая, свѣжая и пышная брюнетка, дѣвушка лѣтъ девятнадцати...

— Pardon, заговорила она сквозь смѣхъ пріятнымъ груднымъ голосомъ, — слышу, поютъ знакомое... Я думала... Она не договорила, приподняла длинныя рѣсницы и метнула вызывающими глазами въ недоумѣвающіе глаза Ашанина.—Ахъ, здравствуйте, Иванъ Ильичъ! И она кинулась съ протянутою рукою ка Вальковскому:—это, вѣрно, monsieur Ашанинъ? спросила она его шопотомъ, слышнымъ на всю залу.

— Самъ! нахмурившись пробурчалъ ей въ отвѣтъ „фанатикъ".

— Я такъ и знала! проговорила она, повела еще разъ на красавца своимъ возбудительнымъ взглядомъ и—побѣжала назадъ въ ту дверь, откуда появилась.—Лина, Лина, слышался ея звонкій смѣхъ въ корридорѣ, въ который вела эта дверь,— что же вы меня оставили одну, на съѣденіе?...

— Что за прелесть! Кто такая? съ загорѣвшимися зрачками обратился Ашанинъ къ Вальковскому.

— Стрекоза! отрѣзалъ тотъ, отворачиваясь.

Гундуровъ глядѣлъ на все это со сцены и ничего не понималъ...

Но вотъ опять изъ тѣхъ же дверей вынеслась быстроглазая особа,—и за нею ступила въ залу...

Ашанинъ былъ правъ, говоря о ней Гундурову: болѣе соотвѣтствовавшей *Офеліи* наружности трудно было себѣ представить. Высокая и стройная, съ золотистымъ отливомъ густыхъ косъ, лежавшихъ вѣнцомъ, по модѣ того времени, кругомъ ея маленькой, словно выточенной головы,—въ ней было что-то невыразимо-дѣвственное и свѣжее, что-то *полевое*, какъ васильки, цвѣта которыхъ были ея длинные, тихіе, никогда не улыбавшіеся глаза,—какъ спѣлый колосъ, къ которому можно было приравнить ея тонкій, красиво и мягко, какъ бы отъ слабости, гнувшійся станъ... Словно вся благоухала этою дѣвственною, полевою свѣжестью княжна Лина— Елена Михайловна—Шастунова.

Она остановилась, съ любопытствомъ обводя вокругъ себя

взглядомъ, и тихо, одною головой, съ какимъ-то застѣнчивымъ достоинствомъ, поклонилась нашимъ друзьямъ...

Самъ суровый „фанатикъ“ размякъ отъ этого появленія.

— Пожалуйте, сіятельная, пожалуйте, гостья будете, привѣтствовалъ онъ ее,—только осторожнѣе подбирайте ноженьки, чтобы башмачечковъ и платьица о красочку не замарать...

— Да какая же вы ранняя пташка, княжна? молвилъ, подходя къ ней, Ашанинъ.

— Это я, я, monsieur Ашанинъ, не давъ той отворить рта, защебетала черноглазая ея спутница, относясь къ молодому человѣку, будто всю жизнь была съ нимъ знакома,—я подняла сегодня Лину спозаранку... Князь вчера дразнилъ насъ непробудными сонями,—такъ вотъ мы ему и доказали!.. Ахъ, вотъ и Надежда Ѳедоровна! Несносная! кинула она въ полголоса не то княжнѣ, не то Ашанину,—и темныя, красиво очерченныя брови сдвинулись надъ еще весело сверкавшими глазами барышни.

Надежда Ѳедоровна Травкина,—та, которую Ашанинъ такъ непочтительно называлъ „особою дѣвическаго званія,“—была дѣвушка далеко не молодая, съ довольно правильными, но не привлекательными, подъ натянутою на нихъ, словно полинялою, кожею, чертами лица, мягкимъ выраженіемъ большихъ, нѣсколько подслѣповатыхъ глазъ, и весьма замѣтною, не то презрительною, не то горькою усмѣшкою, постоянно игравшею въ уголку ея рта. Держала она себя чрезвычайно чинно и опрятно. Сухія очертанія ея тѣла скрывались подъ хорошо скроеннымъ, ловко сидѣвшимъ на ней темнымъ платьемъ. Вся она, въ этомъ скромномъ платьѣ, гладкихъ воротничкахъ и нарукавничкахъ ослѣпительной бѣлизны напоминала собою почтенный, малоизвѣстный въ Россіи, типъ француженки-протестанки.

Она холодно обмѣнялась поклономъ съ бойкой дѣвицей и подошла къ княжнѣ.

— Я сейчасъ отъ васъ, Лина; мнѣ сказали... Владиміръ Петровичъ! съ мгновенно сдержаннымъ взрывомъ радости, не договоривъ, протянула она Ашанину свою руку.

— А вы не знали, что monsieur Ашанинъ здѣсь? И лукаво воззрилась на нее быстроглазая барышня.

— Не знала, Ольга Елпидифоровна,—и тѣмъ болѣе рада... А вы знали видно? спокойно и нѣсколько ядовито промолвила та, между тѣмъ какъ вѣки ея нервно помаргивали.

— И тѣмъ болѣе будете рады, Надежда Ѳедоровна, поспѣшилъ заговорить Ашанинъ, — что счастливая моя звѣзда позволила мнѣ привести сюда того, о комъ я такъ часто вамъ говорилъ... Гундуровъ, представляйся дамамъ! Онъ обернулся къ сценѣ, на которой по-прежнему стоялъ его пріятель, не зная, что̀ съ собою дѣлать.

— Такъ позвольте мнѣ, по крайней мѣрѣ, съ подмостковъ сойти, отвѣчалъ онъ, кланяясь и слегка конфузясь, — а то я здѣсь точно звѣрь какой-то, выведенный напоказъ!..

Ольга Елпидифоровна такъ и покатилась. Улыбнулась и княжна, улыбнулась широкою, молодою улыбкою, отъ которой словно все освѣтилось вокругъ нея,—показалось Гундурову.

Вальковскій замахалъ руками:

— Нѣтъ ужь, нѣтъ, пожалуйста! Лучше всѣ вы на сцену переходите,—благо и чай тамъ поданъ... А то вотъ вы мнѣ, накинулся онъ на продолжавшую хохотать барышню,—цѣлую крышу съ декораціи смахнули юбками-то вашими!..

— Ахъ, какой вы дерзкій, какъ я посмотрю! отпарировала Ольга Елпидифоровна, быстро откидывая голову за спину, въ тревогѣ за слѣды этой крыши на ея юбкахъ...

За кулисами оказались три стула, складная лѣстница, какой-то табуретъ и столъ съ чаемъ и огромнымъ количествомъ булокъ, принесенныхъ для Вальковскаго. Общество кое-какъ разсѣлось на сценѣ.

— Прежде всего позвольте извѣстить васъ, княжна, полушутливымъ, полуторжественнымъ тономъ началъ Ашанинъ,— что здѣсь, на этой сценѣ, мы собираемся священнодѣйствовать...

— Что̀ такое? усмѣхнулась она.

— Мы *Гамлета* ставимъ, княжна! объяснилъ онъ.

— *Гамлетъ*, сочиненіе Вильяма Шекспира! проговорила скороговоркой Ольга Елпидифоровна,—мнѣ есть тамъ роль?

— Совершенно справедливо изволили сказать: *Гамлетъ*, сочиненіе Вильяма Шекспира! повторилъ, низко ей кланяясь, Ашанинъ: — и роли для васъ, увы, тамъ не имѣется.

— А почему такъ? Барышня вспыхнула опять и отъ отказа, и отъ нѣжнаго взгляда, который по этому поводу счелъ нужнымъ препроводить ей красавецъ.

— Потому-съ, что тамъ только двѣ роли: *Офеліи*, каковая непремѣнно должна быть блондинка,—вы же очаровательная брюнетка, — и *Гертруды*, матери *Гамлета*, которую мы попросимъ взять на себя милѣйшую Надежду Ѳедоровну.

— Меня! испуганно вскрикнула та: — помилуйте, я въ жизнь свою ни разу не играла!

— Это ничего не значитъ!

— Разумѣется, ничего! поспѣшно подтвердила, слегка заалѣвъ и пожимая ей руку, княжна:—она видимо вся оживилась отъ удовольствія этой предстоявшей ей роли.

— Не радуйтесь заранѣе, Лина, закачала головою Надежда Ѳедоровна:—эти господа рѣшили, но еще невѣдомо, согласится-ли начальство...

— Отчего? живо возразила княжна:—я прочла всего Шекспира, и самъ дядя мнѣ книгу подарилъ.

— Вашъ Шекспиръ съ пропусками,—дѣтское изданіе! съ легкою гримаской замѣтила немолодая дѣвица.

— Что-же, можно и съ пропусками играть, лишь бы княжна могла участвовать! не далъ ей договорить Гундуровъ, самъ не понимая, какъ могъ онъ сдѣлать такую уступку, и чувствуя, какъ кровь выступала у него на щекахъ подъ благодарнымъ взглядомъ, который повела на него за это княжна.

— Позвольте васъ всѣхъ успокоить, вмѣшался Ашанинъ:— *начальство*, въ лицѣ, по крайней мѣрѣ, князь-Ларіона Васильевича, на пьесу согласно: играть ее съ пропусками, или безъ нихъ — вопросъ второстепенный. Намъ-же теперь слѣдуетъ порѣшить распредѣленіе главныхъ ролей. И такъ: *Офелія*—княжна; *Гертруда*—Надежда Ѳедоровна...

— Что вы, что вы! Да я ни за что не буду!...

— Вы не бу-де-те? протянулъ Ашанинъ.

— Нѣтъ, я вамъ сказала, слабо улыбаясь и избѣгая его глазъ, отвѣтила старая дѣва.

— Слушаю-съ! Онъ отвернулся отъ нея.—Такъ не угодно-ли *вамъ* принять эту роль? обратился онъ къ бойкой барышнѣ.

— Что это, я—старуху?—Это было бы оригинально!... А впрочемъ,—и она лукаво закусила губу,—сына моего будетъ играть кто,—вы?

— Къ злополучію моему—нѣтъ: *Гамлета* играетъ Гундуровъ.

Но вѣрное чутье подсказывало, какъ видно, востроглазой дѣвицѣ, что съ этой стороны взять было нечего. Она мелькомъ глянула на бѣлокураго молодаго человѣка и слегка нахмурилась:

— Вѣдь мнѣ главное, чтобъ было пѣніе, — а это драма; тамъ не поютъ?...

— Поетъ одна *Офелія*, сказалъ Ашанинъ. — Ахъ, да, княжна, вѣдь у васъ, не правда-ли, голосъ есть?

— И премиленькій! отвѣчала за нее Ольга Елпидифоровна,—не такой большой, какъ у меня, но...

— Гдѣ-же кому противъ васъ! неожиданно фыркнулъ Вальковскій, все время молча, съ прижатыми между колѣнъ ладонями, поглядывавшій на нее.

Всѣ разсмѣялись невольно; барышня разсердилась было, но вдругъ расхохоталась сама:

— Знаете что, на васъ и сердиться нельзя! Вы все равно, что тотъ красный попугай у княгини, который, какъ только кто мимо пройдетъ, и начинаетъ самымъ глупымъ образомъ кричать: а-ра, а-ра!... Что онъ кричитъ, что вы грубите—совершенно все одно!...

— Браво, браво! зааплодировалъ ей Ашанинъ:—такъ ему и нужно, пугалѣ огородному!...

Вальковскій сконфуженно только покосился на нихъ...

V.

Большая входная въ залу дверь, прямо противъ сцены, отворилась. На порогѣ ея показался князь Ларіонъ. Онъ успѣлъ кончить свою прогулку и переодѣться и, въ смѣнившемъ его длинный сюртукъ свѣтломъ, по-лѣтнему, утреннемъ туалетѣ, казался теперь еще моложе, чѣмъ въ первую минуту его встрѣчи съ нашими друзьями.

— Кня-азь! вскрикнула, завидѣвъ его, Ольга Елпидифоровна,—къ намъ, къ намъ, милости просимъ!...

— Да къ вамъ какъ въ Царство Небесное пройти мудрено! смѣялся онъ, пріостановившись передъ растянутыми на полу декораціями.

— А я вашимъ ангеломъ-хранителемъ буду, проведу, крикнула она ему, сбѣжала опрометью со сцены въ залу, къ великому ужасу Вальковскаго, и, подобравъ на сей разъ осторожно свои юбки, стала пробираться на кончикахъ нѣсколько грубоватыхъ формою, но тщательно обутыхъ ногъ по еще не загрунтованнымъ краямъ полотна.

Она добралась до князя, просунула свою руку подъ его руку, слегка прижалась къ нему и, глядя на него снизу вверхъ со своею вызывающею улыбкою, проговорила полушопотомъ:

— Милый, милый князь, какъ бы я хотѣла быть въ самомъ дѣлѣ вашимъ ангеломъ-хранителемъ?... Но вы сами ангелъ! Вы такой, добрый, умный,—ну, милый, совсѣмъ милый!...

— Вы находите? разсѣянно отвѣлилъ онъ, глядя не на нее, а на сцену, и прищуривъ для этого свои нѣсколько близорукіе глаза.

— Еге, вотъ она куда бьетъ! сказалъ себѣ Ашанинъ, отъ зоркаго взгляда котораго ничто не ускользало, — и подошелъ къ Надеждѣ Ѳедоровнѣ, сидѣвшей у кулисы нѣсколько поодаль отъ стола, за которымъ княжна и Гундуровъ пили чай, а „фанатикъ“ пожиралъ булки одну за другою.

— Такъ вы такъ-таки рѣшительно отказываетесь отъ роли? сказалъ онъ.

Она приподняла на него свои большіе, печальные глаза:

— Я вамъ сказала, я не играла никогда... И не хочу наконецъ!... съ внезапной рѣшимостью промолвила она.

— Даже если бы я васъ очень, очень объ этомъ просилъ? вкрадчиво и мягко проговорилъ нашъ Донъ-Жуанъ, глядя на нее не отрываясь.

Некрасивое лицо бѣдной дѣвы слабо зарумянилось подъ этимъ неуступчивымъ взглядомъ...

— Боже мой, отвѣчала она не сразу и какъ бы перемогая пронимавшую ее дрожь,—какой вы удивительный человѣкъ!... Къ чему вамъ я!... Заставьте...—вы все можете! вырвалось у нея,—заставьте играть эту безстыдную дѣвчонку, отъ которой вы уже безъ ума! И она презрительнымъ движеніемъ указала на востроглазую барышню, медленно подвигавшуюся къ сценѣ объ-руку съ княземъ Ларіономъ.

— Я безъ ума! невиннѣйшимъ тономъ воскликнулъ Ашанинъ.—Помилуйте, я въ первый разъ отъ роду вижу ее сегодня, и даже, кто она, не знаю...

— Она дочь здѣшняго исправника Акулина, нехотя объяснила Надежда Ѳедоровна.

— И, какъ кажется, по части князь-Ларіонъ Васильевича... не договорилъ Ашанинъ.

— Какъ видите! Я и не воображала никогда, воскликнула перезрѣлая дѣвица,—чтобы можно было быть такою дерзкою кокеткой въ ея годы!...

— Что-же, это не дурно, Надежда Ѳедоровна!

— Да, съ горечью возразила она,—я знаю, вамъ *такія* нужны, только такія и нравятся!

— И такія нужны, и такія, это точно! поддакнулъ онъ, поддразнивая ее.

— Знаете, заговорила она послѣ минутнаго молчанія, страстно и въ то же время злобно взглянувъ на него,—я не понимаю, какъ можетъ женщина рѣшиться полюбить васъ!

— Такъ никто же изъ нихъ и не рѣшается, Надежда Ѳедоровна! смиренно вздохнулъ на это Ашанинъ:—вы сами знаете, ну, кто меня любитъ?...

— Подите вы отъ меня! проговорила она, отворачиваясь, и невольно усмѣхнулась.

— А все же вы *Гертруду* играть будете! заключилъ онъ, торжествуя...

Она не отвѣчала.

— Тѣмъ временемъ княжна Лина и Гундуровъ вели слѣдующій разговоръ.

— Когда мнѣ Ольга сказала, что monsieur Ашанинъ пріѣхалъ съ какимъ-то еще молодымъ человѣкомъ, я тотчасъ же догадалась, что это непремѣнно вы, говорила она.

Онъ изумился:

— Почему-же такъ, и какъ могли вы знать обо мнѣ, княжна?

— Я знаю чрезъ m-r Ашанина, который безпрестанно говорилъ намъ о васъ зимою,—Лина усмѣхнулась,—что вы его другъ, а ваша тетушка сказала намъ, что вы должны на дняхъ пріѣхать изъ Петербурга.

— Вы знаете мою тетушку? еще болѣе удивленъ былъ Гундуровъ.

— Да. Мы были у нея съ maman. Дядя давно съ нею знакомъ и очень любитъ ее, а теперь повезъ и насъ. Она и папа покойнаго хорошо знала. Я очень рада, что съ нею познакомилась, промолвила княжна съ какимъ-то особымъ оттѣнкомъ серьезности.

— И я понимаю васъ, съ увлеченіемъ сказалъ Гундуровъ,—тетушка моя чудесная женщина!...

Она отвела голову отъ чашки, низко наклонясь въ которой прихлебывала чай своими свѣжими губами:

— Вы это очень хорошо сказали! съ ласковой улыбкой проговорила она.

У нея были какіе-то *лебединые*, медленные — какъ мед-

женна была и ея рѣчь—повороты шеи, которые приводили въ восторгъ Гундурова.—Какая эта дивная вещь, женская грація! думалъ онъ.

— Я сказалъ, что̀ чувствую, произнесъ онъ громко; — я не помню ни отца, ни матери; тетушка съ пеленъ возрастила меня, спасла мое наслѣдство отъ гибели... Я ей всѣмъ обязанъ!...

Княжна сочувственно покачивала своею осѣненною золотистыми косами головкою:

— Она именно на меня такое впечатлѣніе произвела, ваша тетушка, что она думаетъ и поступаетъ *хорошо*...

— Какъ это ужасно, начала она, помолчавъ, опять,—что васъ за границу не пустили!...

— Да! и глаза Гундурова мгновенно заискрились, — это ударъ для всего моего будущаго! И за что̀, за что̀? вскликнулъ онъ въ неудержимомъ порывѣ:—оторвали человѣка отъ всего, что̀ было для него жизнью, связали по рукамъ и по ногамъ...

Онъ не договорилъ. Княжна внимательно поглядѣла на него...

— Я, тихо промолвила она,—все жила за границей до сихъ поръ, сужу по тамошнимъ понятіямъ, — тамъ даже никому въ голову не придетъ, чтобъ можно было такъ поступить съ невиноватымъ человѣкомъ... Знаете, я очень люблю мое отечество и такъ рада, что мы наконецъ въ Россіи! Но это ужасно, когда...

Она вдругъ задумалась. Гундуровъ, въ свою очередь, поднялъ на нее глаза съ какимъ-то благоговѣніемъ.

— Вы *будете* играть *Гамлета?* спросила она черезъ мигъ.

Онъ помолчалъ, еще разъ глянулъ на ея опущенныя вѣки:

— Буду, княжна! произнесъ онъ, будто только теперь окончательно рѣшившись,—и я какъ-то надѣюсь, что я вамъ отъ этого не покажусь смѣшнымъ... А посмѣетесь, — грѣхъ вамъ будетъ! примолвилъ онъ, налаживаясь на шутливый тонъ и слегка краснѣя. — Признаюсь вамъ, я бы не рѣшился въ другую минуту,—но мнѣ надо уйти отъ тоски... отъ того, что̀

чуть съ ума не свело меня тамъ... въ Петербургѣ... Вотъ тѣмъ оно и дорого, тѣмъ велико искусство, княжна, горячо зазвучалъ голосъ молодаго человѣка, — что въ него, какъ въ святую-святыхъ, можно уйти и позабыть тамъ все, что̀ гложетъ, мутитъ, снѣдаетъ здѣсь наше я...

Онъ остановился вдругъ съ невольнымъ сомнѣніемъ: не покажется-ли ей это слишкомъ горячимъ, *юношескимъ*,—ему вдругъ ужасно страшно стало, что она *не поймет*ъ, не пойметъ того, что̀ именно заставляетъ его рѣшиться выступить на сцену въ незнакомомъ домѣ, приняться за то̀, что̀ обыкновенно почитается дѣломъ однихъ „праздношатающихся пустыхъ свѣтскихъ людей“...

Но въ сосредоточенномъ вниманіи, съ которымъ слушала она его, ему какъ-то разомъ сказалось, что никто въ эту минуту не былъ бы въ состояніи такъ *понять* его, какъ эта *свѣтская* дѣвушка, съ ея спокойнымъ обликомъ и неулыбающимся взглядомъ.

— Постарайтесь сыграть хорошо, сказала она просто, — мнѣ такъ хочется видѣть его на сценѣ. Я читала *Гамлета*... Настоящаго! подчеркнула Лина;—у меня былъ въ Ганноверѣ учитель англійскаго языка, старикъ; онъ меня очень любилъ и подарилъ мнѣ всего Шекспира: „дурное къ вамъ не пристанетъ“, говорилъ онъ. И, въ самомъ дѣлѣ, я всегда такъ думала, что дурное только къ дурнымъ пристаетъ... Вы однако не говорите объ этомъ всѣмъ... многіе не понимаютъ... Да вы и не скажете, — я знаю! своимъ особымъ серьезнымъ тономъ заключила, не договоривъ, княжна,—и пошла навстрѣчу подымавшагося на сцену дяди.

Онъ взялъ ея руку:

— Bonjour Hélène (онъ никогда не называлъ ее уменьшительнымъ именемъ), такъ рано, и здѣсь?... Я никакъ не ожидалъ... Ты здорова? И онъ заботливо, почти тревожно глянулъ ей въ лицо...

— Совершенно здорова! не дала ей отвѣтить Ольга Елпидифоровна,—это мы еще вчера съ Линой сговорились встать въ шесть часовъ,—pour vous faire plaisir, mon prince! низко, по-театральному, присѣла она передъ нимъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, Hélène? Онъ блеснувшимъ на мигъ взоромъ обратился снова къ племянницѣ,—ты... вы *для меня* это сдѣлали?...

— Еще бы! крикнула барышня.

— Для васъ, дядя, именно для васъ! И княжна закивала ему улыбаясь.

Онъ сталъ какъ-то чрезвычайно веселъ и шутливъ:

— Сергѣй Михайловичъ, очень радъ видѣть васъ опять!... Вы познакомились съ Еленой Михайловной?... А этой птичкѣ пѣвчей были вы представлены? указалъ онъ на востроглазую дѣвицу, не переставшую вертѣться около него,—рекомендую,—русскіе романсы поетъ восхитительно!...

Черноглазая барышня сжала свои крупные губы:

— Monsieur Гундуровъ не обратилъ на меня никакого вниманія.

— Онъ слишкомъ молодъ, улыбнулся князь Ларіонъ,—чтобы умѣть оцѣнить всѣ ваши совершенства; только такіе старцы, какъ я...

— Вы старикъ, вы! перебила его барышня, воззрясь на него нѣжно упрекающимъ взглядомъ, — вы просто кокетничаете своимъ старчествомъ!

Князь нахмурился и повелъ на нее холодными глазами,— отъ чего она впрочемъ нисколько не смутилась:

— Да, да, кокетничаете! повторила она.

— Что-же, Сергѣй Михайловичъ, отходя отъ нея спросилъ князь Ларіонъ,—вы порѣшили насчетъ *Гамлета?*

— Ахъ да, дядя, пожалуйста, молвила княжна Лина,— мнѣ этого такъ хочется...

Онъ глянулъ ей опять прямо въ лицо, какъ-то задумчиво усмѣхаясь и не отводя отъ нея взгляда:

— Could beauty, my lord, have better commerce than with honesty? *) медленно проговорилъ онъ, — и обернулся къ Гундурову.

— Удивительно говорила это и вела всю эту великолѣп-

---

*) Офелія: Для красоты, принцъ, не лучшая-ль подруга чистота? Актъ III. Сц. 1.

ную сцену съ принцемъ одна очень молоденькая тогда дѣвочка, дочь, кажется, знаменитой mistriss Siddons, сестры Кембля, которую я видѣлъ въ 1821 г. въ Лондонѣ. До сихъ поръ эти слова, выраженіе ея остались у меня въ памяти...

— Такъ можно будетъ, дядя? спросила его опять княжна.

— Можно, Hélène, можно, — онъ пожалъ ей руку, — и я даже готовъ не пропускать ни одну изъ вашихъ рецетицій,— если только присутствіе мое не будетъ въ тягость вашему молодому обществу, любезно примолвилъ князь, обращаясь къ нашимъ друзьямъ...

— Звонятъ! послышался внезапно голосъ Вальковскаго, который тѣмъ временемъ заснулъ „подъ тѣнію кулисъ“ во всемъ безмятежіи непорочной души.

— Къ завтраку, — это, кажется, по вашей части, Иванъ Ильичъ? досказалъ весело князь Ларіонъ.

— Боже мой, вскликнулъ Гундуровъ—а я еще не уѣхалъ!...

Всѣ разсмѣялись.

— И прекрасно сдѣлали,—княгиня Аглая Константиновна вамъ бы этого никогда не простила!... Mesdames, господа, пожалуйте! приглашалъ князь: — Сергѣй Михайловичъ — вашу руку княжнѣ!...

Бойкая барышня шагнула къ нему:

— Ваше сіятельство не откажете мнѣ въ чести быть моимъ кавалеромъ? прощебетала она „птичкой пѣвчею“...

Князь Ларіонъ поглядѣлъ на нее съ полуулыбкой:

— Позвольте вамъ предложить болѣе *подходящаго* для васъ спутника, подчеркнулъ онъ, указывая на Ашанина... — Пойдемте, Иванъ Ильичъ!...

Надежда Ѳедоровна прошла одна, за всѣми, съ поникшимъ челомъ и своею вѣчно-горькою усмѣшкой и—отправилась къ себѣ, въ третій этажъ.

VI.

Хозяйка дома, — расплывшаяся сорокалѣтняя барыня съ крупнымъ, еще свѣжимъ лицомъ и *сладкими,* томно вращавшимися глазами, которымъ какъ-то странно противорѣчилъ весьма замѣтный пушокъ, темнѣвшій надъ ея твердо очерченными полными губами, — уже кушала чай, когда молодое общество съ княземъ вошло въ столовую. Она была не одна. У длиннаго стола, сверкавшаго лоснящимся блескомъ свѣжей узорчатой скатерти и уставленными на ней всякими серебряными мисками, кастрюлями и приборами, занимали мѣста нѣсколько человѣкъ гостей, прибывшихъ въ Сицкое за нѣсколько дней ранѣе нашихъ пріятелей. Одесную княгини, съ понуреннымъ видомъ обмакивая длинно нарѣзанные ломтики хлѣба въ яйцо, сидѣлъ нѣкто Зяблинъ, *разочарованный* и разоренный московскій левъ, господинъ съ большимъ грузинскимъ носомъ и отличными, цвѣта воронья крыла, бакенбардами,—„неудавшійся Калабрскій бригантъ“, говорилъ про него князь Ларіонъ. — По другую ея руку попрыгивалъ на своемъ стулѣ, что-то разсказывая ей и громко хохоча своему собственному разсказу, „шутъ Шигаревъ“, какъ относился о немъ Ашанинъ, — одинъ изъ тѣхъ счастливцевъ, которыхъ щедрая природа одарила способностью воспроизводить съ изумительнымъ сходствомъ жужжанье мухи подъ ловящими ея пальцами, визгъ отворяемой табакерки на деревянныхъ шалнерахъ, блеяніе овцы и мяуканье кота, доставать языкомъ кончикъ собственнаго носа, и тому подобными салонными талантами; комикъ на сценѣ онъ былъ превосходный, а на-

ружностью своей напоминалъ болотную птицу вообще и пигалицу въ особенности... На противоположномъ концѣ стола, рядомъ съ m-me Crébillon, экс-гувернанткою самой Аглаи Константиновны, живою старушкою съ густыми сѣдыми буклями подъ тюлевымъ чепцомъ, бѣлѣлась золотушная и чухонская физіономія Ивана Карлыча Мауса, молодаго малаго, выпущеннаго недавно изъ училища правовѣдѣнія, въ которомъ отецъ его былъ докторомъ. Юный Иванъ Карлычъ сознавалъ, повидимому, вполнѣ это двойное преимущество: быть нѣмцемъ,—разъ, и выпущенникомъ заведенія, имѣющаго поставлять на Россію государственныхъ мужей, — два: а потому, хотя пока и занималъ лишь скромную должность губернскаго стряпчаго, держалъ себя такъ внушительно важно и разсѣянно дѣльно, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ былъ уже министромъ юстиціи... Одиноко, межъ незанятыхъ еще стульевъ, ежился, словно боясь притронуться къ своему прибору, длинный, невзрачный уѣздный землемѣръ, вытребованный владѣлицею Сицкаго для какого-то размежеванія. Наслаждаясь его робкимъ видомъ, нагло ухмылялся стоявшій прямо противъ него monsieur Vittorio, не то Итальянецъ, не то Бельгіецъ, рослый и видный изъ себя, лѣтъ сорока, франтъ, бывшій курьеръ покойнаго князя, теперь factotum и мажордомъ княгини.

— Откуда вы? съ нѣкоторымъ удивленіемъ спросила она, увидавъ дочь объ-руку съ незнакомымъ ей молодымъ человѣкомъ.

— Сергѣй Михайловичъ Гундуровъ, племянникъ Софьи Ивановны Переверзиной, громко и нѣсколько торжественно указывая на него рукою, представилъ его князь.

Востроглазая барышня не дала княгинѣ отвѣтить; она съразлета бухнулась на колѣни передъ ея кресломъ, схватила ея руку:

— Мимочка моя, княгинюшка, прелесть моя, хорошо-ли вы провели ночь? проговорила она вкрадчивымъ, шутливо-ребяческимъ голосомъ.

— Mercі, petite, mercі, отвѣчала та жалобнымъ тономъ,— я давно разучилась спать, ce qui s'appele dormir, vous savez... но мнѣ лучше сегодня, mercі!...—Настоящая кошечка!

поощрительно улыбнулась Аглая Константиновна и ласково провела рукой по ея щекѣ,—levez vous donc, petite!

— Enchantée de vous voir chez moi, monsieur, нашла она наконецъ время обратиться ко все еще стоявшему передъ ней въ выжидательной позѣ Гундурову.

— Извините, княгиня, заговорилъ онъ,—что я осмѣливаюсь предстать предъ васъ въ такомъ неприличномъ видѣ, — онъ указалъ на свое дорожное пальто, — но я здѣсь совершенно сюрпризомъ, и на виноватаго въ этомъ я прямо вамъ указываю въ лицѣ князя Ларіона Васильевича, которому угодно было удержать меня на пути...

— Безъ извиненій и садитесь, любезно перебила она его: ей понравились и благообразная наружность молодаго человѣка, и это его извиненіе, которое она находила bien tourné, и даже то, что онъ сказалъ „предстать *предъ васъ*“, а не „передъ вами“, — оборотъ, который, въ ея понятіи, употребленъ былъ имъ для выраженія особой къ ней почтительности.

— А у меня и извиненія никакого нѣтъ! заговорилъ Ашанинъ, также не успѣвшій перемѣнить свой дорожный костюмъ,—кладу на плаху повинную голову! Онъ низко наклонилъ ее къ рукѣ княгини.

— Toujours beau!—И она прижала сама эту руку къ его губамъ: она питала слабость къ Ашанину, какъ вслѣдствіе того, что „онъ такъ хорошъ“ былъ, такъ и потому, что онъ неподражаемо умѣлъ сообщать ей на ухо разные скабрезные анекдотцы, до которыхъ она, какъ всякая нѣсколько пожившая женщина, была in petto большая охотница.

Общество между тѣмъ разсаживалось за столъ.

— Позвольте вамъ предложить мое мѣсто, княжна, молвилъ Зяблинъ беззвучнымъ и мягкимъ, напоминавшимъ о сдобномъ тѣстѣ, голосомъ, странно противорѣчившимъ его наружности „Калабрскаго бригантa“.

— Благодарю васъ, улыбнулась ему, проходя мимо, Лина— и, окинувъ столъ быстрымъ взглядомъ, пошла занять мѣсто рядомъ съ одиноко сидѣвшимъ землемѣромъ, съ которымъ тотчасъ же завела какой-то разговоръ.

Заблинъ испустилъ глубокій вздохъ—и налилъ себѣ рюмку портвейну.

— Садитесь подлѣ Лины, тамъ свободно!... сказала княгиня Гундурову, искавшему глазами мѣста...

Онъ поспѣшилъ повиноваться... Сердце у него внезапно забилось,—самъ онъ не рѣшился бы пойти сѣсть подлѣ нея, онъ чувствовалъ...

— Видѣли вы меня во снѣ, какъ обѣщались, monsieur Maus? спрашивала Ольга Елпидифоровна, опускаясь на стулъ между нимъ и Ашаниным и развертывая свою салфетку.

Правовѣдъ повернулъ голову, и подъ уголъ его зрѣнія попало сразу нѣчто очень красивое, упругою волною ходившее подъ прозрачнымъ кисейнымъ лифомъ его сосѣдки. Онъ вспыхнулъ какъ лучина и такъ и замеръ отъ этого зрѣлища.

— Давно-ли вы онѣмѣли? нѣсколько насильственно засмѣялась, опустивъ глаза, барышня, отъ которой никогда не ускользывали впечатлѣнія, производимыя ея красотами.

— Я сегодня очень крѣпко спалъ, отшутился Маусъ, глядя на нее съ телячью страстностью и внушительно уходя подбородкомъ въ неизмѣримо высокіе воротнички своей рубашки.

— Такъ постарайтесь не спать такъ крѣпко въ другой разъ! Il est bête *donc!* шепнула она, обернувшись къ Ашанину.

— Кого вы дуракомъ не сдѣлаете! отвѣчалъ онъ ей на это такимъ же шопотомъ.

— Ну, пожалуйста, только не васъ!

— Почемъ вы знаете?

— Точно я въ Москвѣ не бываю, не слыхала про васъ? Да мнѣ все про васъ извѣстно!

— А что именно? усмѣхнулся Ашанинъ.

— А то, что вы какъ есть—*прожига*! объяснила барышня съ звонкимъ смѣхомъ;—мнѣ еще надобно будетъ вами спеціально заняться, промолвила она, грозя ему пальцемъ...

Ашанинъ такъ и ожегъ ее горячимъ взглядомъ:

— А вы дадите мнѣ слово заняться мною *спеціально?* едва слышнымъ, проницающе-нѣжнымъ голосомъ подчеркнулъ онъ.

Она взглянула на него... Въ глазахъ ея на мигъ блеснулъ тотъ же пламень, которымъ пылали глаза красавца... Она быстро отвела ихъ отъ него и, вся заалѣвъ:

— Не знаю, какъ бы проронила она...—Только вы мнѣ не мѣшайте! вырвалось у нея вдругъ,—а то онъ, кажется, васъ ревнуетъ... И она еле замѣтно кивнула въ сторону князя Ларіона, безмолвно и ни на кого не глядя прихлебывавшаго въ эту минуту чай изъ большой чашки.

— А вы... надѣетесь?.. не договорилъ Ашанинъ и закусилъ губу, чтобы не разсмѣяться...

— Почему же нѣтъ!.. Онъ старикъ: тѣмъ лучше! Вѣдь вы не женитесь на мнѣ! такъ и озадачила она его этою откровенностью. — Не отговаривайтесь, пожалуйста, засмѣялась бойкая особа его невольному замѣшательству,—я вѣдь умна, — и вы тоже, кажется... Вамъ и не слѣдуетъ! Есть такіе мужчины, которымъ никогда не слѣдуетъ связывать себя...

— А женщины есть такія? спросилъ онъ, усмѣхаясь въ свою очередь.

— Женщина только тогда и свободна, когда замужемъ, отвѣчала безъ улыбки она на это.

— Et où est donc le jeune prince? послышался въ это время громкій вопросъ княгини.

Monsieur Vittorio, къ которому относились эти слова, кинулся было къ дверямъ... Но въ ту же минуту въ столовую вошелъ самъ le jeune prince, то есть сынъ княгини, мальчикъ лѣтъ одиннадцати, съ замѣчательно для его лѣтъ опредѣлившимися, холодными чертами лица, очень напоминавшаго лицо матери, тщательно причесанный и разодѣтый. Его сопровождали два его наставника: молодой, здоровый Англичанинъ, гувернеръ, и еще болѣе молодой студентъ, взятый княгинею изъ Москвы на лѣто „для русскаго языка“.

— Ты всегда опаздываешь, Basile, замѣтила княгиня сыну, цѣлуя его въ щеку.

— Я одѣвался, maman! отозвался онъ съ недовольнымъ тономъ, словно правый.

— Очень заботливъ всегда на счетъ своихъ туалетовъ!

въ полголоса и улыбаясь сообщила княгиня сосѣду своему Шѝгареву.

— Мальчикъ, извѣстно, рано встающій, самъ себя умывающій! немедленно загаерничалъ тотъ;—князенька, золота шапочка, шелкова кисточка, дайте свою ручку брильянтовую!

Мальчикъ положилъ нехотя руку въ протянутые пальцы Шѝгарева; онъ ихъ тотчасъ-же стинулъ и щелкнулъ языкомъ, изображая звукъ прихлопнувшагося замка.

Князекъ спокойными глазами глянулъ ему въ лицо, высвободилъ руку и пошелъ садиться, въ сопровожденіи своихъ надзирателей.

— Лина, сказалъ онъ прямо противъ него сидѣвшей сестрѣ,—ты въ театрѣ была?

— Почемъ ты знаешь? улыбнулась она.

— Семенъ Петровичъ мнѣ сказалъ,—онъ кивнулъ на усаживавшагося подлѣ него студента,—онъ все время глядѣлъ на тебя изъ-за занавѣски, когда ты шла.

Студентъ покраснѣлъ до самыхъ волосъ и пробормоталъ что-то, чего никто не разслышалъ...

— Да, я была въ театрѣ, сказала княжна—и опять заговорила съ землемѣромъ.

— И она была! началъ снова мальчикъ, указывая кивкомъ на Ольгу Елпидифоровну;—что вы тамъ всѣ дѣлаете?

— Мы тамъ театръ будемъ играть, душечка! отозвалась бойкая барышня.

— Вы *актерками*, стало быть, будете?

— Актерками, ангелъ мой, актерками. Какая душка! И она расхохоталась на весь столъ.

— А я ни за что не хочу быть актеромъ! съ презрительной гримаской проговорилъ Basile.

— Не актеромъ, бретеромъ будешь, всѣхъ шпагой насквозь, заголосилъ опять Шѝгаревъ,—князекъ-пѣтушокъ, золотой гребешокъ.... длинь, длинь... И, схвативъ два ножа, онъ принялся подражать сабельному лязгу.

— Я флигель-адъютантъ буду! твердо произнесъ князекъ.

Безмолвный до сихъ поръ князь Ларіонъ поднялъ глаза на племянника:

— А чтобъ выбить это изъ твоей одиннадцатилѣтней головы, протяжно проговорилъ онъ, — я бы тебя сѣкъ по два раза въ недѣлю.

Мальчикъ весь перемѣнился въ лицѣ. Слезы выступили у него на глазахъ и, обернувшись къ студенту:

— Когда я буду большой, прошепталъ онъ со злобою въ горлѣ,—я дядю въ тюрьму посажу!...

— Nonsense! *) отрѣзалъ ему на это съ другой его стороны сидѣвшій mister Knocks—и потянулъ къ себѣ кастрюльку съ картофелемъ.

Княгиня Аглая Константиновна сочла нужнымъ вступиться за сына:

— Я не понимаю, за что вы его разбранили, князь Ларіонъ, молвила она, перегинаясь къ нему черезъ столъ, — le pauvre enfant сказалъ только очень понятное въ его годы... и похвальное, je trouve, желаніе... Мнѣ кажется, bien au contraire, — qu'il faut encourager dès le jeune âge les nobles ambitions...

Князь Ларіонъ поглядѣлъ на нее сверху внизъ:

— У васъ такія единственныя есть словечки, княгиня, проронилъ онъ, насмѣшливо склоняя голову,—что остается только ахнуть и смолкнуть...

Аглая Константиновна растерянно заморгала глазами,— она ничего не поняла!...

— Il est unique, *Larion*, n'est ce pas? попробовала она поискать сочувствія у сосѣда своего Зяблина.

Зяблинъ взглянулъ на нее, опустилъ глаза, потомъ опять взглянулъ,—уже нѣжно,—и испустилъ глубокій вздохъ... Онъ тоже ничего не понялъ.

Княжна до сей минуты еще ни единымъ словомъ не обмѣнялась съ Гундуровымъ. Вдругъ она обернулась къ нему... Лицо ея было блѣдно, вѣки покраснѣли...

— Если бы папа былъ живъ, этого бы не было! проговорила она—и снова отвернулась.

Чего *этого*, спрашивалъ себя Гундуровъ, хотѣла она ска-

*) Вздоръ.

зать? Этого-ли суетнаго направленія воспитанія ея брата, или этихъ оскорбительныхъ для ея матери словъ? И того, и другаго, вѣроятно... Онъ уже настолько угадывалъ ее, что, въ его понятіяхъ, она могла, *должна* была страдать и отъ того, и отъ другаго. Но чѣмъ и какъ помочь ей? Что могъ сдѣлать для этого онъ, Гундуровъ?... А между тѣмъ онъ уже ясно чувствовалъ, онъ готовъ былъ на *все*... чтобы только никогда не дрожали слезы на *этихъ* глазахъ.

— Qu'est-ce que vous allez donc jouer à vôtre théâtre? обратилась черезъ столъ къ княжнѣ старушка m-me Crébillon, которая изо всего предшествовавшаго поняла только то, что рѣчь идетъ о театрахъ и актерахъ.

— Hamlet, madame, получила она въ отвѣтъ.

— Ah bien! la tragédie de Ducis! закивала она, предовольная, сѣдою головой.

— Hoô, hoô! De Dioucis... Hamlet de Dioucis! заходилъ вдругъ весь отъ смѣха мирно до сихъ поръ поѣдавшій картофель mister Knocks.

— Eh ben, qu'a t-il donc à rire comme cela, l'Anglais? закипятилась обиженная Француженка;—je dois, pardié, bien le savoir, moi, puisque feu monsieur Crébillon, mon mari, était un descendant direct de Crébillon, le fameux auteur de *Rhadamante*, dont Ducis était le disciple, et que j'ai moi-même vu jouer la pièce à Paris en dix huit cent dix, — *l'omelette*, comme disaient les rieurs du temps...

— Hamlet de Dioucis, hoô, hoô... de Dioucis!! продолжалъ надрываться mister Knocks.

— Il y a deux tragédies, почелъ нужнымъ объяснить своей сосѣдкѣ господинъ Маусъ—и съ достоинствомъ поглядѣлъ на нее съ высоты своихъ воротничковъ,—une française, et une anglaise.

— Ah, bien! on l'aura traduite en anglais alors! успокоилась старушка,—mais il n'est pas poli toujours, le *jaune boule* (т. е. John Bull), проворчала она, поглядывая искоса на все еще покатывавшагося Англичанина.

— Maman, сказала подымаясь со своего стула княжна,—сегодня воскресенье...

— Ахъ, да-а! протянула княгиня, — надо въ церковь!... Vittorio, les voitures! помолчавъ съ минуту, скомандовала она, словно на погребеніе.

— Я уже далъ приказъ, отвѣчалъ съ поклономъ распорядительный итальянецъ.

Она одобрительно и грустно кивнула ему, обернулась къ Зяблину и вздохнула:

— Какъ это непріятно, когда нѣтъ домовой церкви!...

Зяблинъ приподнялъ свое разбойничье лицо, поглядѣлъ на нее нѣжно и тоже вздохнулъ.

— А ѣхать надо! томно проговорила княгиня и поднялась съ мѣста.

Послышался шумъ отодвигавшихся стульевъ... Гости подходили съ поклономъ къ хозяйкѣ... Княжна и Ольга Ешидифоровна пошли надѣвать шляпки... Проходя мимо князя Ларіона, Лина пріостановилась на мигъ:

— Дядя, а я васъ такъ просила! тихо промолвила она, не подымая глазъ.

Онъ понялъ—и смутился:

— Ты сердишься на меня, Hélène! — его голосъ дрогнулъ;—ну, виноватъ, руби голову! добавилъ онъ какимъ-то невѣрно-шутливымъ тономъ.

Она прошла, не отвѣчая.

Гундуровъ тѣмъ временемъ прощался съ княгинею.

Она съ чрезвычайной любезностью благодарила его за посѣщеніе и изъявила желаніе увидѣть его опять какъ можно скорѣе.

— Кланяйтесь, je vous prie, очень, очень вашей тетушкѣ, говорила она,—я весьма благодарна князь-Ларіону за знакомство съ нею. C'est une personne si comme il faut... Она еще *не была* у меня, слегка подчеркнула Аглая Константиновна,—но я надѣюсь, что вы намъ ее привезете, n'est ce pas?... и что вы примете также участіе въ нашемъ театрѣ? Но, перебила она себя вдругъ,—мы ѣдемъ въ церковь, и объ этомъ не слѣдуетъ говорить! Il ne faut pas mêler le profane au sacré, a dit, je crois, Boileau...

И, давъ такимъ образомъ молодому человѣку достаточное понятіе о своей образованности, она величаво наклонила голову въ знакъ того, что ауді̀енція его кончена.

Гундуровъ вышелъ на крыльцо съ Ашанинымъ и Вальковскимъ.

VII.

Who ever lov'd who lov'd not at first sight!
Shakspeare.

— Я бы проводилъ, Сережа, тебя до деревни, сказалъ ему первый,—да у васъ-чай съ Софьей Ивановной много есть кое-чего своего перетолковать на первыхъ-то порахъ, такъ чтобъ не помѣшать вамъ?...

— Дда, пожалуй, отвѣчалъ Гундуровъ,—да и тебѣ-то отсюда не хочется? Онъ засмѣялся.

— Ну вотъ! отнѣкивался тотъ.

— А удалая эта дѣвица, брюнетка, какъ ее звать-то?

— Акулина,—не Акулина, а Ольга, и къ тому-же Елпидифоровна... Да, братъ,—Ашанинъ повелъ губами,—эта особа далеко пойдетъ!..

— Пролазъ-дѣвка, коротко сказать! отрѣзалъ Вальковскій.

— А ты хаять-то ее погоди, чучело китайское! крикнулъ на него красавецъ. — Какъ ты ее грубостями своими доведешь, что она съ тобой играть на-отрѣзъ откажется, что ты тогда скажешь, чурбанъ эдакой? А мало-ль у васъ съ нею водевилей съ хорошими для обоихъ ролями? *Барская спесь, Хороша и дурна...*

— Ну, что въ этой? перебилъ Вальковскій: — стряпчаго роль: „Здравствуй, кумъ ты мой любезный, здравствуй кумушка моя!“ Вѣдь и вся тутъ...

— А *Левъ Гурычъ Синичкинъ?*

— Ну, да. Какъ разъ по тебѣ роль!

— *Левъ Гурычъ!* повторилъ, словно осѣненный свыше,

„фанатикъ“... Да, братцы, это роль хорошая... совсѣмъ она у меня изъ головы вонъ! Давно слѣдовало бы мнѣ попробоваться въ ней! Это точно, хорошая роль, братики!..

И расцвѣтшій думою Вальковскій заходилъ по крыльцу, соображая, *что* онъ сдѣлаетъ изъ роли *Синичкина*...

— Ну, а теперь, Сережа, сказалъ Ашанинъ, глянувъ пріятелю прямо въ лицо,—что ты мнѣ про княжну скажешь?

Гундурову стало вдругъ ужасно досадно на него за этотъ вопросъ.

— Ничего не скажу! отрѣзалъ онъ, отворачиваясь.

Брови Ашанина тревожно сжались; онъ хотѣлъ что-то сказать—и не успѣлъ: сама княжна съ Надеждой Ѳедоровной и бойкой барышней выходили на крыльцо въ шляпкахъ и мантильяхъ, готовыя къ отъѣзду.

— Вы съ нами, или домой? спросила Лина, идя къ Гундурову и застегивая на пути перчатку на своей длинной рукѣ.

— Мнѣ *надо* ѣхать, княжна! черезъ силу отвѣчалъ онъ.

— Да, вамъ надо... Поѣзжайте! сказала она, не отрывая глазъ отъ своей перчатки.—А когда назадъ? спросила она, помолчавъ.

— Скоро, очень скоро! вырвалось у Гундурова.

Отъ нея ускользнуло, или не хотѣла она понять, что именно сказывалось за этими вылившимися у него словами;—безмятежно, по-прежнему, подняла она на молодаго человѣка свои длинные синіе глаза и такъ же безмятежно улыбнулась.

„Les voitures,“ какъ торжественно выражалась княгиня Аглая Константиновна, то есть, большая, открытая, четверомѣстная коляска четверкой съ форейторомъ, и *долгуша*, обитая сѣроватымъ солдатскимъ сукномъ съ шерстяными басонами, въ которой могло усѣсться человѣкъ до двадцати, линейка запряженная парою рослыхъ лошадей,—подъѣхали къ крыльцу. За ними вели кровную англійскую кобылу рыжей масти подъ верхъ князю. Коляска Гундурова, со всѣмъ его багажемъ и слугою на козлахъ, слѣдовала позади.

— Me voilà! послышался голосъ самой хозяйки, тяжеловато—она, какъ говорилъ про нее Ашанинъ, была нѣсколько

„тѣломъ обильна“, — спускавшейся съ лѣстницы. Разубрана она была точно сейчасъ съ модной картинки соскочила...

Щегольски одѣтый грумомъ мальчикъ лѣтъ двѣнадцати бѣжалъ передъ нею съ перекинутымъ на одной рукѣ плэдомъ и богато переплетеннымъ въ бархатъ, съ золотымъ на немъ кованымъ вензелемъ ея подъ княжеской короной, съ молитвенникомъ въ другой.

Она подошла къ колескѣ. Стоявшій у дверецъ видный, высокій лакей въ новенькой ливреѣ однихъ цвѣтовъ съ грумомъ, и monsieur Vittorio во фракѣ и бѣломъ галстукѣ, съ обнаженною головою, почтительно съ обѣихъ сторонъ, подсадили ея сіятельство подъ локотки. Грумъ поспѣшно разостлалъ на ея колѣни толстую ткань пестраго плэда и вскочилъ съ молитвенникомъ къ кучеру на козлы; дюжій лакей сановито полѣзъ на заднее сидѣнье...

— Вы за нами? съ любезною улыбкою обратилась княгиня изъ коляски къ вышедшему на крыльцо съ Шигаревымъ и князькомъ Зяблину, пока подлѣ нея усаживалась Надежда Ѳедоровна и занимали напереди мѣста княжна и дѣвица Акулина.

Зяблинъ нѣжно покосился на нее, уныло кивнулъ головою и испустилъ глубокій вздохъ.

— Et vous, Larion? И Аглая Константиновна заискивающимъ взглядомъ глянула на деверя, садившагося въ это время на лошадь.

— Поручаю себя вашимъ молитвамъ! сухо отвѣтилъ онъ, осаживаясь на стременахъ.

Коляска тронулась. Княжна медленнымъ движеніемъ головы поклонилась Гундурову.

Мужская компанія съ князькомъ и его студентомъ отправились на *долгушу*.

— До свиданья, Сережа, пріѣзжай скорѣе! кричали ему друзья.

Онъ глядѣлъ на удалявшуюся коляску... Онъ ждалъ еще разъ взгляда, „прощальнаго“ взгляда княжны, — точно они на вѣки разставались...

Но коляска заворачивала подъ *льва* и, кромѣ головы ла-

кея въ шляпѣ съ ливрейною кокардой, никого уже въ ней не было ему видно... Онъ отправился къ своему экипажу.

Князь Ларіонъ поглядѣлъ ему вслѣдъ. Какая-то невеселая улыбка заиграла въ устахъ его тонкихъ, поблеклыхъ губъ. Словно что-то давно, давно погибшее, милое и печальное, промелькнуло предъ нимъ... Онъ далъ поводъ и, проѣзжая мимо молодаго человѣка, ласково кивнулъ ему головою.

Гундуровъ поспѣшилъ снять шляпу...

Миновавъ пышно зеленѣвшія на трехверстномъ пространствѣ поля Сицкаго, экипажъ его въѣхалъ въ граничившій съ ними большой казенный лѣсъ, доходившій почти до самаго его Сашина, и о которомъ онъ съ дѣтства хранилъ какое-то жуткое и сладкое воспоминаніе... Лѣсъ весь звенѣлъ теперь весеннимъ гамомъ и птичьимъ свистомъ... Дорога пошла плохая, и коляска пробиралась по ней шажкомъ, хрустя по валежнику, накиданному на топкихъ мѣстахъ. Лошади весело фыркали и потряхивали гривами, потягивая широко раздутыми ноздрями влажный лѣсной воздухъ. Большія мухи, сверкая на солнцѣ изумрудными спинками, прилежно перебирали ножками на листьяхъ еще низкаго лопуха. Межъ корявыхъ сосновыхъ корней роились въ забиравшейся муравѣ бѣлые, какъ снѣгъ, колокольчики ландышей... Гундуровъ велѣлъ остановиться, выскочилъ, нарвалъ ихъ цѣлый пучекъ и жадно погрузилъ въ нихъ лицо. Ихъ раздражающе-свѣжій запахъ кинулся ему какъ вино въ голову... Онъ откинулся затылкомъ въ спинку коляски и сталъ глядѣть вверхъ. Тамъ, надъ нимъ, узкою полоской синѣло небо, бѣжали жемчужныя тучки, и по верхушкамъ березъ, золотимые полднемъ, дрожали нѣжные молодые листы... Ему вдругъ вспомнилась арія, слышанная имъ зимою въ Петербургѣ,—ее вставлялъ Маріо въ какую-то оперу... И Гундуровъ, какъ наканунѣ Ашанинъ, нежданно запѣлъ во весь голосъ:

Jo ti vidie t'adorai!...

Старый Ѳедосей, не привыкшій къ такимъ *пассажамъ* со стороны барина, недоумѣло поглядѣлъ на него съ козелъ... А-і-і... отвѣтило гдѣ-то вдали, въ самой глубинѣ лѣса. Испу-

ганный тетеревъ, словно свалясь съ вѣтки, зашуршалъ въ кустахъ торопливыми крыльями... А запахъ ландышей все такъ же невыносимо-сладко билъ въ голову Гундурову, и лѣсъ гудѣлъ вокругъ него всѣми весенними голосами своими...

О молодость, о невозвратныя мгновенія!...

VIII.

„*Хорошая*“, дѣйствительно, была женщина Софья Ивановна Переверзина, тетка Гундурова. И наружность у нея была соотвѣтствующая,—почтенная и привлекающая. Воспитанница Смольнаго монастыря лучшихъ временъ Императрицы Маріи Ѳедоровны, она, не смотря на долголѣтнюю жизнь въ деревнѣ, сохранила всѣ привычки, вкусы, весь складъ хорошаго воспитанія. Врожденная въ ней живость нрава умѣрялась постоянною привычкою сдержанности и обдуманности, пріобрѣтенною ею въ тяжелой жизненной битвѣ. Софья Ивановна съ-молоду перенесла много горя. Дочь небогатыхъ потомковъ когда-то боярскаго рода Осмиградскихъ, вышла она, лѣтъ подъ тридцать, замужъ за пожилаго, изувѣченнаго генерала, стараго друга ея семейства, къ которому искренно привязалась она въ благодарность за глубокое, богомольное обожаніе, которое онъ съ самаго дѣтства ея питалъ къ ней. То, что въ этомъ бракѣ замѣняло счастіе, спокойное, безбѣдное существованіе, продолжалось для нея не долго. Мужъ ея занималъ довольно важное мѣсто въ военной администраціи. Довѣрчивый и недалекій, онъ былъ опутанъ своимъ правителемъ канцеляріи, дѣльцомъ и мошенникомъ, и,— что говорится, какъ куръ во щи,—попалъ въ одинъ прекрасный день подъ судъ за растрату въ его управленіи значительной казенной суммы, постепенное исчезновеніе которой виновный умѣлъ необыкновенно ловкими и дерзкими продѣлками, впродолженіе цѣлыхъ годовъ, скрывать отъ близорукаго своего начальства. Бѣдный старикъ не перенесъ павшаго на него

удара, не перенесъ ужасныхъ для него словъ, сказанныхъ ему по этому поводу однимъ очень высокопоставленнымъ лицомъ, покровительствомъ котораго онъ долго пользовался: „Ваше превосходительство, вы обманули *личное* къ вамъ довѣріе Государя Императора;“—онъ скончался скоропостижно, не успѣвъ принять никакихъ мѣръ къ обезпеченію судьбы своей жены. Все его состояніе пошло на удовлетвореніе наложеннаго на него начета... Послѣ трехъ лѣтъ замужства, Софья Ивановна осталась вдовою чуть не нищею. Родителей ея уже не было на свѣтѣ; братъ, человѣкъ семейный, служилъ въ Петербургѣ и, на извѣщеніе сестры о постигшемъ ея горѣ, отвѣчалъ письмомъ на четырехъ страницахъ, исполненнымъ чувствительныхъ фразъ, но въ которомъ ни о помощи, ни о пристанищѣ ни словомъ не упоминалось. Но въ то же время она получила другое, сердечное письмо отъ младшей сестры своей, Гундуровой, горячо звавшей ее къ себѣ, „въ Сашино, въ свой рай земной“, какъ выражалась она. Александра Ивановна Гундурова, почти одновременно съ Софьей Ивановной вышедшая замужъ по любви за молодаго, образованнаго сосѣда-помѣщика, была красивое, восторженное и нѣжное созданіе, страстно любимое мужемъ, для котораго, дѣйствительно, жизнь до тѣхъ поръ была земнымъ раемъ... Не успѣла поселиться у нихъ Софья Ивановна, какъ однажды осеннимъ утромъ Михаила Сергѣевича Гундурова принесли бездыханнаго съ охоты:—онъ самъ застрѣлилъ себя, неосторожно перескакивая чрезъ канаву съ ружьемъ, взведеннымъ на оба курка... Александра Ивановна увидала это безжизненное тѣло, кровь еще сочившуюся сквозь прострѣленную охотничью куртку, — и, не крикнувъ, упала какъ снопъ на трупъ мужа... Черезъ три мѣсяца не стало и ея. Ей было двадцать лѣтъ, мужу двадцать семь. Какъ двѣ падучія звѣзды, мелькнули на мигъ эти молодыя жизни — и исчезли... На рукахъ Софьи Ивановны остался полуторагодовой Сережа... Надъ имѣніемъ малолѣтняго назначена была опека. Въ опекуны напросился и назначенъ былъ двоюродный братъ покойнаго Михаила Сергѣевича, отставной гусаръ, игрокъ и кандидатъ предводителя. Въ три года достойный этотъ родствен-

никъ чуть не разорилъ въ-конецъ ввѣренное ему сиротское имѣніе. Неопытная Софья Ивановна нашла въ сознаніи своего долга, въ любви къ младенцу, котораго она осталась матерью, достаточно силы, чтобы войти съ этимъ господиномъ въ открытую и упорную борьбу. Благодаря отчасти нѣкоторымъ связямъ, имѣвшимся у нея въ Петербургѣ, отчасти старику князю Шастунову, отцу князя Ларіона, пользовавшемуся большимъ вліяніемъ въ губерніи, и котораго заинтересовало положеніе молодой вдовы, побѣда осталась за нею. Опекунъ былъ удаленъ и смѣненъ другимъ, избраннымъ самою Софьею Ивановной, которая, на самомъ дѣлѣ, сдѣлалась единственною управительницею наслѣдства племянника. Обязанностямъ, возлежавшимъ теперь на ней, она отдалась вся,—а обязанности эти были не легки. Въ послѣдніе мѣсяцы своего управленія опекунъ-гусаръ, отчаявшись сохранить долѣе власть въ рукахъ, запуталъ со злости дѣла такъ, „чтобы самъ чортъ“, говорилъ онъ, „концовъ въ нихъ не доискался“. Софья Ивановна послѣ него не нашла въ конторѣ ни гроша денегъ, ни книгъ, ни счетовъ, ни документовъ первой важности по процессу, затѣянному еще дѣду малолѣтняго однимъ крючкотворомъ-сосѣдомъ, и который въ это время находился на разсмотрѣніи сената... Какими чудесами терпѣнія, смѣтливости, бережливости, какимъ неустаннымъ трудомъ, какою ежечасною заботою успѣла выпутаться изъ этого положенія молодая женщина, мы читателю передавать не будемъ. Ему достаточно будетъ знать, что ко времени вступленія Сережи въ отрочество процессъ его былъ выигранъ, и тетка его располагала уже достаточными средствами для широкихъ расходовъ на его образованіе; къ его совершеннолѣтію имѣніе его было чисто отъ долговъ: онъ владѣлъ, по тогдашнему способу опредѣленія, пятью стами незаложенныхъ душъ, и правильное устройство его хозяйства давало отъ восьми до десяти тысячъ рублей серебромъ дохода. Какъ безконечно счастлива была, передавая ему въ этотъ день отчеты, Софья Ивановна!...

Она любила племянника со всѣмъ пыломъ горячей, всю себя сосредоточившей на одномъ предметѣ, души; она гордилась имъ, его здоровой головою, его чистымъ, гордымъ сердцемъ.

Его успѣхи, карьера имъ избранная были ея дѣломъ, — дѣломъ, неуклонно веденнымъ съ самыхъ юныхъ его лѣтъ. Съ тѣхъ поръ еще изъ деревенской глуши своей Софья Ивановна вѣрнымъ и зоркимъ взглядомъ слѣдила за событіями. 1825-й годъ былъ не далекъ и памятенъ ей; роковыя послѣдствія его для русскаго общества были для нея очевидны. Запуганная мысль пряталась по угламъ; на свѣтъ Божій выступало казарменное, тупое безмолвіе... Не разъ просиживала по цѣлымъ часамъ Софья Ивановна надъ кроватью заснувшаго Сережи, задумавшись надъ вопросомъ: „какъ воспитать въ этомъ ребенкѣ *человѣка* и тѣмъ самымъ въ то же время не приготовить ему гибели въ будущемъ?“ По мѣрѣ того, какъ росъ Сережа—мальчикъ оказывался даровитымъ и прилежнымъ, — возростала и тревога ея за него, за это его будущее... Случайный разговоръ разрѣшилъ ея недоумѣніе. Пріѣхавъ однажды навѣстить больного старика Шастунова, — къ которому сохраняла она доброе чувство со временъ войны своей съ опекуномъ-гусаромъ, — она застала у него сына его, князя Михайлу, прискакавшаго изъ-за границы по первому извѣщенію о болѣзни отца, съ тѣмъ, чтобы отвезти его въ Карлсбадъ, куда старикъ ѣздилъ каждый годъ, и гдѣ вскорѣ за тѣмъ онъ и умеръ... Молодой тогда еще дипломатъ и Софья Ивановна, видѣвшая его въ тотъ день въ первый разъ, проговорили вдвоемъ цѣлый вечеръ. Онъ былъ недавно женатъ, занималъ уже видное мѣсто при посольствѣ въ Лондонѣ, но изъ-за его небрежно-насмѣшливыхъ рѣчей просвѣчивала какая-то глубокая внутренняя тоска и недовольство своимъ положеніемъ. „Если бы мнѣ теперь приходилось начинать жизнь сначала,“ говорилъ онъ между прочимъ, невесело смѣясь,—„я бы непремѣнно сдѣлалъ изъ себя какого нибудь ученаго геолога и кристаллографа. Во-первыхъ, это благонамѣреннѣйшая изо всѣхъ спеціальностей,—и я еще не знаю ни одного примѣра, чтобы такой господинъ попалъ въ Сибирь иначе, какъ по собственной охотѣ, науки ради; а во-вторыхъ, — и это главное,—человѣкъ поглощается весь интересами абстрактнаго содержанія, которые,... которые не даютъ ему времени додумываться до отчаянія,“ глухо, какъ

бы про себя, примолвилъ князь Михайло... Софья Ивановна вернулась къ себѣ въ этотъ вечеръ, какъ озаренная. „Помоги мнѣ Богъ“, разсуждала она, „направить Сережу къ ученой карьерѣ; наука спасетъ его и отъ отчаянія, и отъ холопства!“... И съ этой минуты всѣ помыслы ея, всѣ силы были устремлены къ достиженію этой цѣли. Постоянно стараясь вызывать любознательность ребенка, она съ лихорадочнымъ вниманіемъ наблюдала за тѣмъ, куда клонились его природные дары, къ какой области вѣдѣнія тянули они его. Скоро должна была она убѣдиться, и не безъ сожалѣнія, что къ точнымъ наукамъ у Сережи было мало расположенія, и что едвали могла она надѣяться увидѣть его когда либо „благонамѣреннымъ кристаллографомъ“, какъ выражался князь Михайло. Мальчикъ за то оказывалъ самыя рѣшительныя лингвистическія способности. „Что же“, подумала Софья Ивановна,—„и это *дѣло*, и это можетъ сдѣлаться „интересною *поглощающею* спеціальностью!“ Надежды ея съ этой стороны осуществились вполнѣ,—и новымъ счастливымъ днемъ въ ея жизни былъ тотъ день, когда Сережа, съ горделивымъ румянцемъ на щекахъ, пришелъ объявить ей, что университетъ имѣетъ его въ виду для занятія каѳедры по Славянской Исторіи...

Громовымъ ударомъ для этой сердечной и мыслившей женщины была вѣсть, полученная ею изъ Петербурга отъ племянника, объ отказѣ ему въ заграничномъ паспортѣ. Она огорчена и поражена была этимъ гораздо болѣе, чѣмъ самъ Гундуровъ,—она была испугана. Всѣ ея упованія, все это зданіе, которое она съ такою любовью, съ такою заботою воздвигала впродолженіи столькихъ лѣтъ,—все это разлеталось въ прахъ отъ одного почерка пера!... „Что онъ будетъ дѣлать теперь?“ спрашивала она себя съ мучительною тревогою,—„чѣмъ наполнитъ жизнь?...“ Не знать, „чѣмъ наполнить жизнь“, чему „отдать душу“,—она, вѣчно дѣятельная и мыслящая,—ничего ужаснѣе она себѣ представить не могла. Отсутствіе живыхъ интересовъ, серьезной задачи, и эта душевная пустота и унынiе, которыя замѣчала она въ лучшихъ людяхъ, съ какими случалось ей встрѣчаться,—что бы ни доводило ихъ до того,—ничего, въ ея понятіяхъ, не существовало болѣе позорнаго и

печальнаго... Боже мой, и неужели *это же* должно ждать Сережу, ея питомца, ея надежду, жизнь ея?...

Извѣщеніе его о томъ, что онъ, по совѣту ея брата, вступилъ на службу въ Петербургѣ, не успокоило ее,—напротивъ! Она лучше, чѣмъ онъ самъ себя, знала его, знала, что это для него не спасеніе, не исходъ, а еще ближе путь къ тому *унынію*, которому она, со своею энергическою натурой, придавала буквально весь тотъ ужасающій смыслъ смертнаго грѣха, въ какомъ его понимаетъ христіанская церковь... Но слѣдовало-ли ей мѣшать ему искать этотъ исходъ, отзывать его изъ Петербурга? Нѣтъ!... У нея еще въ первый разъ въ жизни опускались руки,—нѣтъ, „какъ Богу будетъ угодно"! рѣшила она.

И съ какимъ-то двойнымъ ощущеніемъ радости и тревоги ждала она его теперь, въ Сашинѣ, въ этомъ спасенномъ и вовсозданномъ ею гнѣздѣ его, послѣ того какъ получила она отъ него наконецъ извѣстіе, что чиновникомъ онъ рѣшительно быть не въ силахъ, что онъ возвращается къ ней, къ своимъ книгамъ, къ своимъ занятіямъ, что онъ „положилъ терпѣливо ожидать лучшихъ временъ..."

Она сидѣла на своемъ обычномъ мѣстѣ, въ своей прохладной и просторной спальнѣ, у окна, выходившаго въ старый, тѣнистый липовый садъ, и провѣряла какіе-то счеты. Ручная канарейка весело попрыгивала по ея столику, взлетала ей на плечо и, поглядывая избока ей въ лицо своими блестящими глазками, усиленно чирикала, будто спрашивала: отчего ты мною такъ мало занимаешься?... Былъ часъ двѣнадцатый. Въ цвѣтникѣ, подъ окномъ, на пышно распускавшіеся шары пунцовыхъ піоновъ падалъ отвѣсно горячій свѣтъ солнца...

Софья Ивановна вдругъ приподняла голову, насторожила ухо... Какой-то далекій гулъ донесся до нея изъ-за сада...

Она не знала, когда именно долженъ пріѣхать племянникъ, не знала даже о прибытіи его въ Москву. Но это былъ *онъ*,—сердце ея такъ сильно не забилось бы, если бы это былъ *не онъ*!...

Она поднялась съ мѣста, перекрестилась широкимъ крестомъ и пошла было къ дверямъ, но не могла. Дрожавшія

ноги отказывались двигаться... Она опустилась снова въ свое кресло, нажимая обѣими руками до боли трепетавшую грудь...

Послышались въ домѣ крики, возгласы, возня... Въ спальню ворвалась горничная Софьи Ивановны. „Баринъ, Сергѣй Михайловичъ!“ визжала она какъ подъ ножемъ... Подъ крыльцомъ уже грохотала подъѣзжавшая его коляска...

Еще мгновеніе—и онъ стоялъ на колѣняхъ на скамеечкѣ у ея кресла и горячо цѣловалъ ея руки...

IX.

Ее точно что-то кольнуло, когда узнала она, что онъ прямо отъ Шастуновыхъ.

— Какъ ты попалъ туда? спрашивала она изумляясь.

Онъ началъ разсказывать подробно,—слишкомъ ужь подробно...

Театръ, Ашанинъ, князь Ларіонъ,—все это странно звучало въ ея ушахъ. Она никакъ не ожидала, что первымъ предметомъ бесѣды ея съ *Сережей* будетъ это. Въ *этомъ* было на ея глаза что-то легкомысленное и необычное ему.

— Онъ знаетъ, что меня тревожитъ, и нарочно отдаляетъ разговоръ, чтобы не навести на меня тоску, на первыхъ же порахъ, объяснила она себѣ *это*.

Но она никогда не отступала передъ тѣмъ, отъ чего ей бывало тяжело и больно.

— Что же ты будешь теперь дѣлать, Сережа? поставила она прямо вопросъ, о которомъ она денно и нощно думала полгода сряду.

— Я вамъ писалъ, тетя... отвѣчалъ онъ какимъ-то разсѣяннымъ тономъ, очень удивившимъ ее.

— Что-жь ты писалъ,—я тебя спрашиваю *теперь*, сказала она, съ недоумѣніемъ глядя на него;—неужели же для тебя всѣ надежды на *профессорство* кончены?

— Нѣтъ, молвилъ Гундуровъ, какъ бы цѣпляясь за убѣгавшую отъ него мысль,—я познакомился съ однимъ... я встрѣтился въ послѣднее время случайно... съ однимъ вліятельнымъ человѣкомъ въ министерствѣ...

— Что же этотъ вліятельный человѣкъ? нетерпѣливо подгоняла его Софья Ивановна.

—.Онъ говорилъ мнѣ, что если университетъ вступится... то есть, если онъ войдетъ съ рѣшительнымъ ходатайствомъ обо мнѣ, то тогда...

— Фу, какъ ты нескладно разсказываешь! прервала его она;—что-жь, ты видѣлся теперь, въ Москвѣ, съ какимъ нибудь изъ университетскихъ?...

— Ни съ кѣмъ, тетя,—я къ вамъ спѣшилъ...

— И просидѣлъ все утро у Шастуновыхъ! упрекнула она его съ полуулыбкой;—а я видѣлась, говорила... Университетъ ходатайствовать о тебѣ едва-ли рѣшится: каѳедра занята, безъ адъюнкта можно и обойтись, а къ тому, мнѣ говорили навѣрное, есть какое-то предписаніе университетамъ, чтобъ за границу, впредь до новаго повелѣнія, никого изъ молодыхъ людей не посылать...

Гундуровъ пожалъ плечами.

— И ты такъ легко миришься съ этимъ? пылко воскликнула за этимъ движеніемъ Софья Ивановна.

— Что же мнѣ дѣлать! усмѣхнулся онъ слегка,—противъ рожна не прать! Все, что отъ меня зависѣло, я сдѣлалъ, спеціальности своей я не кину,—я и въ Петербургѣ проводилъ полжизни въ Публичной Библіотекѣ за разборомъ славянскихъ рукописей,—къ тому, что я знаю, много, очень много еще могу я добавить и въ Москвѣ... А тамъ... „Не все-жь на небѣ будетъ дождь, тетя,“ вспомнилъ онъ слова князя Ларіона,—„авось и солнышко проглянетъ!...“

Она глядѣла на него, ушамъ своимъ не вѣря... Такъ вотъ какъ *философски* относился онъ теперь къ этой несбывшейся поѣздкѣ въ славянскія земли, къ которой онъ готовился, о которой мечталъ съ такимъ восторгомъ, безъ которой, писалъ онъ ей еще изъ Петербурга, все, что могъ бы еще пріобрѣсти „изъ книгъ“, было бы только однимъ безполезнымъ „ученымъ хламомъ“, безжизненнымъ матеріаломъ, лишеннымъ всякаго плодотворнаго и оплодотворяющаго духа.“ Откуда же вдругъ это равнодушіе, это *поверхностное отношеніе* къ тому, что

было, что̀ должно быть ему такъ дорого?... Неужели Петербургъ успѣлъ его такъ скоро испортить?...

Но относительно самаго факта онъ былъ правъ и не заслуживалъ никакого упрека. Дѣйствительно, имъ было сдѣлано „все, что̀ отъ него зависѣло“, и оставалось единственно ждать, когда „на небѣ опять проглянетъ солнышко“... Тѣмъ не менѣе на душѣ у Софьи Ивановны не было покойно: она боялась *уныніе*, а тутъ онъ вернулся вдругъ, весь сіяющій, „сіяющій какою-то непонятною *фривольностью*,“ говорила себѣ она...

Она внимательно слѣдила за нимъ изъ-подъ опущенныхъ вѣкъ, между тѣмъ какъ онъ, поднявшись съ мѣста, принялся ходить по спальнѣ, останавливаясь передъ шкафами и этажерками, заглядываясь на ея саксонскія куколки, на фарфоровые горшки съ мѣсячными розами, разставленные по окнамъ, на обвитый вѣчной зеленью плюща портретъ Императрицы Маріи Ѳеодоровны въ золоченой рамкѣ подъ стекломъ,—самый драгоцѣнный для Софьи Ивановны предметъ въ ея комнатѣ,—и улыбался какою-то умиленною и радостною улыбкою...

— Онъ счастливъ, что вернулся домой, и ни о чемъ другомъ не можетъ думать въ эту минуту! объснила себѣ Софья Ивановна съ успокоеннымъ чувствомъ—и улыбнулась тоже.

— Позвони, Сережа, сказала она,—ты мнѣ пыли нанесъ въ комнату, ужасъ!

Вошедшему слугѣ она приказала отереть пыль съ сапоговъ Сергѣя Михайловича и подмести полъ.

— Вы не измѣнились, милая тетя, весело разсмѣялся Гундуровъ,—все та же у васъ мономанія чистоты!...

— Вотъ ты надо мною трунишь, также весело отвѣчала она,—а я отъ твоей княгини Шастуновой аппробацію за это получила, когда была она здѣсь... И все охала она, громко разсмѣялась Софья Ивановна,—и ахала, удивляясь, какъ это я, не смотря на „провербіальную грязь“ русской прислуги, какъ я успѣваю „obtenir ces effets là“, то-есть, по-просту, какъ достигаю держать домъ въ опрятности. Уморилъ меня князь Ларіонъ; „а это“ пресерьезно объясняетъ онъ ей за меня эти мои „*effets*“, „это иначе не достигается“ говоритъ,

„какъ посредствомъ геометріи; совѣтую", говоритъ, „вамъ учителя взять"... А она слушаетъ его и ничего не понимаетъ...

— Онъ удивительно что̀ иногда позволяетъ себѣ отпускать ей, сказалъ Гундуровъ,—образъ княжны какъ живой промелькнулъ передъ нимъ въ эту минуту, и онъ передалъ Софьѣ Ивановнѣ эпизодъ съ князькомъ за завтракомъ.

— Да, онъ умный человѣкъ, но... *терпкій*, молвила она, выслушавъ, своимъ обычнымъ, серьезнымъ тономъ и какъ бы отыскивая подходящее выраженіе...

— Князь-Михайлу онъ дѣтямъ его собою не замѣнитъ! примолвила Софья Ивановна, помолчавъ, и вздохнула.

— И какъ это чувствительно для княжны Лины! вырвалось у Гундурова.

Въ звукѣ его голоса было что-то, что̀ опять такъ и кольнуло Софью Ивановну. Она уставилась на него:

— А ты почему думаешь? спросила она, стараясь произнести эти слова какъ можно скокойнѣе.

Но онъ стоялъ къ ней спиною и глядѣлъ въ садъ: она не могла видѣть его лица...

— Княжна въ разговорѣ, отвѣчалъ онъ не сейчасъ на вопросъ тетки,—сказала нѣсколько словъ про отца, и изъ нихъ я могъ заключить...

— Что ей дорога его память, договорила Софья Ивановна, не дождавшись конца фразы племянника,—это ей приноситъ честь!... Онъ стоилъ этого!...

— Вы его любили, тетя? спросилъ Гундуровъ, обращаясь къ ней.

Странное дѣло,—эти слова какъ бы смутили Софью Ивановну. Она нѣсколько времени не находила отвѣта... Кто извѣдаетъ изгибы женскаго сердца? Быть можетъ, въ эту минуту совсѣмъ въ иномъ значеніи представлялся для нея безхитростный вопросъ племянника, и въ душевной глубинѣ своей старалась разобрать она, какое въ дѣйствительности чувство внушалъ ей этотъ человѣкъ, съ которымъ она встрѣчалась на нѣсколько часовъ въ длинные интервалы трехъ, четырехъ лѣтъ, не разумѣя его никогда иначе, какъ за умнаго и пріят-

наго собесѣдника, но котораго каждое слово въ эти рѣдкія ихъ встрѣчи хранила ея память до сихъ поръ, а смерть глубоко и долго щемила ей сердце...

— Онъ такой же былъ, какъ князь Ларіонъ, промолвила она наконецъ,—образованный и блестящій,— они оба очень хорошо учились, сначала въ Англіи, потомъ въ нѣмецкихъ университетахъ,—но болѣе теплоты въ немъ было, сердца... Счастіемъ въ жизни онъ похвалиться не могъ! Эта его женидьба... Они совсѣмъ было разорились; у отца ихъ были счеты со старикомъ Раскаталовымъ,—онъ въ одинъ прекрасный день выписалъ князь-Михайлу изъ-за границы и женилъ его безъ церемоніи... *на этой Аглаѣ*... Тяжела, говорятъ, была ему жизнь съ нею, очень тяжела... да и онъ, по правдѣ, мужъ-то былъ не образцовый... Въ службѣ тоже, — началъ великолѣпно, а кончилъ ничѣмъ. Нѣмецкое начальство давило его всю жизнь, боялось его остраго ума и русской души... Подъ конецъ ужь, года за три до смерти, попалъ онъ посланникомъ къ ничтожному нѣмецкому двору. — „Я похороненный человѣкъ“, говорилъ онъ мнѣ, — мы тогда, передъ его отъѣздомъ туда, видѣлись съ нимъ... ты былъ тогда въ пансіонѣ,—„я похороненный человѣкъ—и могу теперь говорить о себѣ, какъ о мертвомъ и чужомъ. У меня были способности, а—главное—горячее желаніе служить отечеству, служить настоящимъ, *русскимъ* пользамъ. Былъ случай—во время войны Грековъ за независимость,—я имѣлъ возможность сказать свое, положительное слово. На меня было обращено вниманіе. Но съ тѣхъ поръ за то я былъ, повидимому, записанъ въ число *опасныхъ*, и къ *дѣлу* уже меня больше не допускали... Такихъ какъ я много у насъ“, говорилъ онъ по этому случаю;—„такова, должно быть, судьба Россіи, что еще долго должны томиться подъ спудомъ и матеріальныя, и духовныя ея силы!...“ Никогда не видала я его такимъ печальнымъ, какъ въ этотъ—въ послѣдній—разъ... домолвила Софья Ивановна, помолчавъ опять;—„у меня“, говорилъ онъ, „осталась одна радость—дочь! Дай Богъ мнѣ дожить“...

— Да, тетя, перебилъ ее неожиданно Гундуровъ, — она необыкновенная дѣвушка!

— Необыкновенная... повторила безсознательно Софья Ивановна,—и такъ и обмерла...

Эти сверкавшіе глаза, зазвенѣвшій какъ натянутая струна голосъ,—у нея не оставалось сомнѣній... Это былъ пожаръ, всего его разомъ охватившій въ эти два, три часа, проведенные въ Сицкомъ, и съ которымъ—она сейчасъ это почуяла,—приходилось серьезно считаться.

Открытіе это застигло ее совершенно въ-расплохъ. Умная женщина была Софья Ивановна, но, какъ это часто случается съ умными людьми, она въ своихъ соображеніяхъ позабывала о *случайностяхъ*, вѣчнымъ игралищемъ которыхъ бываетъ наша бѣдная человѣческая жизнь. Она въ неустанной заботѣ своей о судьбѣ племянника, казалось ей, все предвидѣла, все, кромѣ *этого!*...

— Сережа! испуганно вскликнула она подъ первымъ впечатлѣніемъ, но тутъ же сдержала себя, — не даромъ была умна... — Она тебѣ очень понравилась? примолвила, улыбаясь ему черезъ силу, Софья Ивановна.

Но онъ былъ насторожѣ. Онъ зналъ тетку такъ же, какъ и она его знала. Вырвавшееся у нея восклицаніе, и теперь эта натянутая улыбка,—онъ понялъ и сжался, какъ цвѣтокъ подъ холоднымъ вѣтромъ.

— Да, проговорилъ онъ почти равнодушно,—она дѣйствительно замѣчательная... я, по крайней мѣрѣ, такой еще не встрѣчалъ, съ такимъ здоровымъ и благороднымъ образомъ мыслей... Мнѣ большое удовольстіе доставило бесѣдовать съ нею...

— Она мнѣ самой очень понравилась, тотчасъ же впадая въ его тонъ, молвила Софья Ивановна, — такая красивая и *порядочная!*...

— И вы, тетя, почелъ не безполезнымъ сообщить ей Сергѣй,—произвели на нее самое лучшее впечатлѣніе!...

— Да? Что же, я очень рада!... Она очень похожа на отца этимъ своимъ изящнымъ спокойствіемъ... Ты говоришь, она его поминаетъ?

— Да....

— Она успѣла тебѣ говорить о немъ?

— Что-же *„успѣла?“* вдругъ заволновался Гундуровъ, — у нея вырвалось невольно... И не *мнѣ* одному, она бы, вѣроятно, всякому сказала... только я ближе къ ней сидѣлъ... Когда князь-Ларіонъ отпустилъ эту колкость ея матери, она сказала, что еслибъ отецъ ея былъ живъ, этого бы не было!...

— Она права!...

Софья Ивановна одобрительно кивнула—и тяжко задумалась. Чѣмъ достойнѣе ея сочувствій могла оказываться эта княжна, тѣмъ страшнѣе была она для нея!...

Прошло довольно долгое молчаніе. Гундуровъ опять заходилъ по комнатѣ.

— Что-же, ты думаешь скоро опять въ Сицкое? спросила его наконецъ тетка.

Онъ остановился:

— Мнѣ говорила княжна, что она ждетъ меня съ' *вами*, тетя, проговорилъ онъ чуть не умоляющимъ голосомъ.

— А тебѣ скоро *надо*? подчеркнула она.

— Да, я тамъ играю... *Гамлета*, глухо добавилъ онъ;— онъ себѣ почему-то показался въ эту минуту очень мелкимъ и смѣшнымъ.

— И она... княжна,—тоже играетъ?

— Да, *Офелію*...

— И ты, улыбнулась Софья Ивановна, — будешь просить ее... какъ бишь тамъ: „Сударыня“, или „прекрасная дѣвица, помолитесь о моихъ грѣхахъ?“

— О, нимфа! помяни

Мои грѣхи въ твоихъ святыхъ молитвахъ! *).

процитовалъ онъ.

— Странно какъ-то, и только у Шекспира можно встрѣтить, замѣтила она,—*святая* молитва и *нимфа!*...

— Да, но прелестно! воскликнулъ Гундуровъ.

— Не спорю, улыбнулась она опять. — А не хочешь-ли ты отдохнуть, спросила она его,—послѣ дороги... и этого *визита?* Мы, какъ всегда, будемъ обѣдать въ три часа.

---

*) Nymph, in your orisons,
Be all my sins remember'd!

— Если позволите, тетя, поспѣшно отвѣтилъ онъ,—я дѣйствительно немного усталъ...

Она долго, сжавъ руки, глядѣла ему вслѣдъ. Глубокая морщина сложилась между ея бровями, и нижняя губа слегка шевелилась, будто шептала она что-то про себя... Да, она *это* не предвидѣла, — и глубоко упрекала себя за то... Но чѣмъ могла бы *отвести* она отъ него *это?*.. Она уберегала его до сихъ поръ отъ всѣхъ соблазновъ молодости. Чистая и строгая жизнь его не знала до сихъ поръ тѣхъ увлеченій, которымъ отдается обыкновенно юность въ его годы... Ужь не ошибка-ли была это съ ея стороны? спрашивала себя теперь въ тревогѣ Софья Ивановна; то, что такъ легко удавалось ей сдерживать въ немъ, прорвалось и польется теперь кипящимъ, неудержимымъ потокомъ... Она предвидѣла: *онъ весь теперь тамъ будетъ*, онъ отдастся *ей* всѣмъ этимъ дѣвственнымъ сердцемъ своимъ!... И что сказать, какъ упрекнуть его за то? Онъ правъ; къ несчастію правъ,—*она*, эта дѣвушка, она прелестна; она ее, *старуху*, очаровала съ перваго раза; она похожа на отца своего, который... Они стоятъ другъ друга съ Сережей... Но вѣдь это не возможно,—достаточно только разъ взглянуть на *эту Аглаю*, на это дѣтище разбогатѣвшаго кабатчика: можно-ли допустить, чтобы она дочь свою, *княжну*, согласилась когда нибудь отдать за *профессора!* Она къ тому же порѣшила судьбу своей дочери,—Софья Ивановна имѣла основаніе предполагать это... Горе, униженія, одно мучительное горе принесетъ ему эта любовь... И нечѣмъ теперь оторвать, некуда увезти, услать его отъ неотразимаго соблазна! Какъ же спасти его, спасти отъ ожидающаго его отчаянія? Неужели нѣтъ средства?...

Она судорожно хрустнула сжатыми пальцами, обернулась на образа подъ наплывомъ какой-то смертельной тоски — и прошептала:

— Владычица Небесная, осѣни его Твоимъ покровомъ!...

X.

Долѣе трехъ дней не въ силахъ была Софья Ивановна удержать племянника въ Сашинѣ. Онъ видимо томился, скучалъ, избѣгалъ разговоровъ, уходилъ съ утра въ дальнія поля, опаздывалъ къ обѣду... „Онъ весь тамъ, онъ уже весь *ея*, намъ съ тобою уже ничего не осталось отъ него, Биби“, отвѣчала она, подавляя слезы, на вопросительное чириканье своей канарейки, сидя съ ней по цѣлымъ часамъ одна въ уютной свѣжей комнатѣ, въ которой онъ — тутъ, рядомъ съ ея постелью, за этими старыми лаковыми китайскими ширмами,— спалъ до девятилѣтняго возраста въ своей маленькой кроваткѣ, гдѣ каждый уголъ напоминалъ ей его дѣтство, его первый лепетъ и первыя ласки... Но не въ характерѣ Софьи Ивановны было тосковать и плакать. „Волку прямо въ глаза гляди!“ любила говорить она въ трудныя минуты жизни, — и прямо шла на него, на этого волка. И въ этотъ разъ поступила точно также: встрепенулась разомъ, отерла слезы, надѣла свое праздничное, шелковое, не то табачнаго, не то гороховаго цвѣта, платье, которое называлось у нея поэтому „la robe feuille morte de Madame Cottin,“ *) — велѣла зало-

*) Подъ этимъ заглавіемъ помѣщенъ въ книгѣ воспитательнаго характера, пользовавшейся въ 30-хъ годахъ огромною популярностью въ русскихъ семействахъ, *Conseils á ma fille*, соч. *Bouilly*, разсказъ одного эпизода изъ жизни творца знаменитаго Малекъ-Аделя (въ романѣ *Mathilde ou les Croisades*) и мн. др. сентиментальныхъ героевъ и героинь г-жи *Cottin*, женщины весьма благотворительной. Г-жа *Cottin* носила постоянно одно и тоже темное, цвѣта *опавшаго листа* платье, по которому и узнаётъ ее въ этомъ разсказѣ тайно спасенная ею отъ гибели дѣвушка.

жить фаэтонъ и послала горничную сказать Сергѣю Михайловичу, что она собирается въ Сицкое...

Онъ тотчасъ же прибѣжалъ и безъ словъ кинулся обнимать ее. Глядя на его молодое, радостно сіявшее лицо, Софья Ивановна вдругъ упрекнула себя въ эгоизмѣ. „Въ сущности“, молвила она внутренно,—„я во всемъ этомъ болѣе о себѣ чѣмъ о немъ думала, и вслѣдствіе этого преувеличивала, можетъ быть, препятствія, которыя ожидаютъ его *тамъ*... Неодолимы ли-они въ самомъ дѣлѣ? Или это только мнѣ кажется такъ потому, что тогда я лишусь его, лишусь совсѣмъ... Но развѣ эта минута не должна была притти для меня рано или поздно, развѣ я давно не готовилась къ ней?... Нѣтъ, тутъ дѣло идетъ не о моемъ, а о его счастіи, надо дѣйствовать!... А тамъ—посмотримъ!...“

Черезъ часъ тетка и племянникъ выѣхали вдвоемъ въ новенькомъ, легкомъ фаэтонѣ, запряженномъ четверкою молодыхъ, выхоленныхъ караковыхъ лошадокъ въ щегольской сбруѣ, и Гундуровъ съ какимъ-то еще не испытаннымъ имъ доселѣ чувствомъ ребяческаго тщеславія подумалъ, что „вотъ они какъ *парадно* подкатятъ подъ широкое крыльцо Сицкаго,“—и тотчасъ же, слегка покраснѣвъ, сказалъ себѣ; „какъ мелко бываетъ однако на душѣ человѣка, даже въ лучшія его минуты.“ Онъ какъ-то очень ясно сознавалъ, что для него пришли эти „лучшія минуты.“

Добрыя лошадки домчали ихъ безъ передышки до самаго казеннаго лѣса, уже знакомаго нашему читателю, за которымъ начинались владѣнія Шастуновыхъ. Тамъ, по узкой и изрытой подсыхавшими колеями дорогѣ, приходилось по неволѣ плестись шажкомъ.

Громкій крикъ понесся имъ на встрѣчу, едва въѣхали они въ лѣсъ. Чей-то надрывающійся голосъ лился перекатами по лѣсному пространству, еще не внятный, но несомнѣнно грозный... Кто-то гнѣвался противъ кого-то очень сильно.

— Что тамъ такое? привсталъ невольно Гундуровъ.

— *Левизоръ*, стало быть, дѣйствуетъ; на счетъ порубки, стало быть, объяснилъ съ козелъ Ѳедосей. Кучеръ дернулъ возжами, четверня прибавила шагу...

Послышались уже явственно слова:

— Не видишь, распротоканалья ты эдакая, не видишь? А вотъ я тебѣ покажу! звенѣлъ, словно надтреснутая труба, разъяренный начальственный баритонъ.

— Батюшка, ваше благородіе.... помилуйте!... Куда-жь свернуть прикажете? раздался подначальный перепуганный фальцетъ,—кладь свалишь!...

— И вали, сто ершей тебѣ въ глотку, вали, сиволапый чортъ! слышалось все яснѣе и звончѣй.

За ближнимъ уклономъ дороги открылось слѣдующее зрѣлище:

Посередь самаго проѣзда, межъ тѣсно сходившимися здѣсь съ обѣихъ сторонъ стѣнами лѣса, стояли другъ противъ друга тройка въ тарантасѣ и застрявшая колесами въ глубокой колеѣ извощичья телѣга. Высоко нагроможденные на нее деревянные жбаны, миски и кадушки неуклюже торчали и кренили на бокъ изъ-подъ дырявой рогожи и плохо увязанныхъ кругомъ веревокъ. Хозяинъ безъ шапки — явно только-что сброшенной съ его головы,—прижавшись къ своей клади, стоялъ, съ приподнятыми къ лицу, растопыренными ладонями, въ огражденіе его отъ чаемаго немедленно удара подступавшей къ нему руки въ красномъ обшлагѣ... Рука принадлежала господину въ форменномъ сюртукѣ и фуражкѣ, необыкновенно быстрому и зоркому въ своихъ движеніяхъ, хотя животъ начинался у него отъ самаго горла и коротенькія ножки съ трудомъ, казалось, могли поддерживать грузъ насѣдавшаго на нихъ объемистаго туловища. Онъ, видимо, только-что выскочилъ, для кратчайшей расправы, изъ своего экипажа, въ которомъ сидѣлъ спутникъ его, плотный молодой человѣкъ въ сѣромъ плащѣ и бѣлой волосяной фуражкѣ.

— Исправникъ! доложилъ, оборачиваясь къ барину Ѳедосей.

— Я его знаю! проговорила спѣшно Софья Ивановна, которую всю коробило отъ этой сцены.—Господинъ Акулинъ, господинъ Акулинъ! крикнула она громко, между тѣмъ какъ экипажъ ихъ остановился за тарантасомъ исправника.

Рука въ обшлагѣ машинально спустилась съ высоты лица

извощика. Господинъ Акулинъ обернулся. Обернулся и молодой человѣкъ, сидѣвшій въ тарантасѣ.

— А, Гундуровъ, здорово!

— Гнѣвъ, о поэтъ, ты воспой Елпидифора Павлова сына!— крикнулъ онъ, закатываясь оглушительнымъ хихиканьемъ и кивая на исправника.

— Это кто? нахмурясь спросила племянника Софья Ивановна.

— Свищовъ, юристъ бывшій... Нахалъ! примолвилъ онъ сквозь зубы.

— Это видно...

Господинъ Акулинъ тѣмъ временемъ ковылялъ къ фаэтону на своихъ коротенькихъ ножкахъ.

— Ваше превосходительство, Софья Ивановна...

Она не дала ему договорить.

— Драться, можетъ быть, и очень пріятно, отрѣзала она ему прямо,—только это нисколько дѣлу не помогаетъ...

— Pardon, madame, нѣсколько обиженно и слегка сконфузясь отвѣчалъ онъ,—я образованный человѣкъ... mais ces canailles, эти сиволапыя бестіи...

Она прервала его еще разъ:

— Все это прекрасно, только вы видите, что этотъ „сиволапый“ засѣлъ въ колею, и пока онъ тамъ будетъ сидѣть, ни вашему, ни нашему экипажу проѣхать нѣтъ никакой возможности. Слѣдовательно прежде всего вытащить его телѣгу надо, а затѣмъ, можетъ быть, и бить его не окажется нужнымъ.

— Ѳедосей, пойдемъ, поможемъ! молвилъ Гундуровъ, выскакивая изъ фаэтона. Онъ едва сдерживался..

Исправникъ, надувъ губы, быстро отковылялъ къ своему тарантасу. Спутникъ его присоединился къ Гундурову и его слугѣ. Они вчетверомъ съ кучеромъ Акулина долго бились, пытаясь сдвинуть заднія колеса тяжело нагруженной телѣги, между тѣмъ какъ извощикъ, усердно уськая и подхлестывая подъ брюхо свою скользившую въ вязкой глинѣ лошадь, то отчаянно тянулъ ее справа за узду, то, перебѣжавъ налѣво, наваливался всѣмъ тѣломъ на оглоблю... Кончилось тѣмъ, что

бѣдный конь, рванувшись въ бокъ послѣднимъ усиліемъ, вывезъ телѣгу,—и тутъ же свалился съ нею на край дороги, споткнувшись о какой-то корень. Миски и кадушки покатились подъ ноги исправниковой тройки.

— Ну, теперь проѣдемъ; садитесь, Николай Игнатьевичъ, звалъ Акулинъ Свищова. — За уронъ получи! величественно крикнулъ онъ.

Смятая имъ въ комъ красненькая бумажка завертѣлась въ воздухѣ и опустилась къ ногамъ растеряннаго извощика.

— Алкантара—Калатрава, грандъ Испанскій! расхохотался на весь лѣсъ Свищовъ, подсаживаясь къ Акулину въ тарантасъ и подмигивая оттуда на него Гундурову. — Ты также въ Сицкое? тутъ же спросилъ онъ его.

Гундуровъ не безъ удивленія поднялъ глаза: онъ никогда не былъ на *ты* со Свищовымъ.

— Ну, такъ до свиданія! преспокойно кивнулъ ему тотъ, не дождавшись отвѣта.

Тройка покатила, гремя бубенцами наборной сбруи...

— Извольте и ваша милость проѣзжать! обернулся къ нашему герою извощикъ, успѣвшій тѣмъ временемъ съ помощью Ѳедосея отпустить дугу и поднять свою лошадь.

— А какъ же съ кладью-то твоею быть, свалилась вѣдь она вся?

— Ничего батюшка, ваше сіятельство, спасибо вашей милости, самъ управлюсь. Живо справлю... на радостяхъ-то, примолвилъ онъ, улыбнувшись во весь ротъ.

— Грозёнъ, небось, на вашего брата, неисправнаго, исправникъ-то? сострилъ въ свою очередь Ѳедосей.

— Бѣда! Извощикъ тряхнулъ головой;—какъ сорветъ это онъ съ меня шапку... Одначе, дай имъ Богъ здоровья, не обидѣли!...

XI.

На балконѣ Сицкаго, охватывавшемъ весь фасадъ дома со стороны двора и соединявшемся съ боковыми висячими галлереями, которыми, въ свою очередь, соединялись съ главнымъ корпусомъ флигеля его, можно было отличить еще издалека присутствіе цѣлаго общества. У Гундурова такъ и заходило въ груди.—Тутъ-ли княжна? сгаралъ онъ мучительнымъ нетерпѣніемъ, также мучительно стараясь не дать это замѣтить сидѣвшей съ нимъ рядомъ теткѣ, и въ тоже время съ глубокимъ смущеніемъ чувствуя, что тетка „видитъ его насквозь"...

Ни княжны, ни матери ея и дяди тутъ не было, и общество разгуливавшее по балкону—всякіе сосѣди обоего пола,—было едва знакомо Софьѣ Ивановнѣ и ея племяннику. Только Надежда Ѳедоровна, узнавъ ихъ, побѣжала на лѣстницу встрѣчать „генеральшу" (Софью Ивановну иначе не звали въ уѣздѣ,) и тотчасъ же привела ихъ въ собственный апартаментъ хозяйки, куда допускались только „порядочные гости (къ мелкой сошкѣ—„le menu fretin", какъ выражалась она въ *интимите,*—сіятельная Аглая выходила сама, большимъ выходомъ, передъ завтракомъ и обѣдомъ,) и гдѣ она теперь сидѣла вдвоемъ съ „Калабрскимъ бригантомъ".

Разсыпавшись въ разныхъ любезностяхъ и изъявленіяхъ предъ Софьей Ивановной, импонировавшей ей своимъ спокойнымъ достоинствомъ, а главное тѣмъ, что „она когда-то съ Императрицей Маріей Ѳеодоровной въ перепискѣ была", княгиня усадила ее въ самое мягкое кресло своего щегольскаго

съ иголочки ситцеваго кабинета, а „monsieur Serge'a“ любезно отослала „къ молодымъ“.

— Васъ давно ждутъ, обратилась она къ нему,—репетиціи начались, и всѣ они теперь въ театрѣ avec Larion. Вамъ гораздо веселѣе тамъ будетъ qu'avec une vieille femme comme moi. Monsieur Зяблинъ, и вы... Ступайте, ступайте! Я васъ не удерживаю...

Зяблинъ вздохнулъ, повелъ на нее телячьимъ взглядомъ, какъ бы говоря: „жестокая!“—и не тронулся съ мѣста.

— Восхитительная женщина! думалъ Гундуровъ тѣмъ временемъ, чуть не со слезами умиленія чмокая жирную руку съ цѣлымъ арсеналомъ колецъ на короткихъ пальцахъ княгини, которую протянула она ему при семъ не безъ нѣкотораго покровительственнаго оттѣнка,—и вышелъ изъ кабинета сдержанно и спокойно.

За то съ лѣстницы онъ чуть не скатился кубаремъ...

Въ театрѣ, дѣйствительно, шла та невообразимая неурядица, что̀ у актеровъ-любителей называется „первая репетиція“. Суетня была страшная, всякаго ненужнаго народу множество; на сценѣ бѣгали, толкались, искали чего-то; смѣхъ, писк, горячія слова спора неслись, звуча какимъ-то пронзающимъ звукомъ, подъ высокій сводъ залы. Успѣвшій уже охрипнуть режиссеръ вызывалъ то-и-дѣло, по кличкѣ роли, то одного, то другаго изъ дѣйствующихъ лицъ *Льва Гурыча Синичкина* (шла проба этого водевиля).

— *Раиса Минишна, Борзиковъ! Катя! Надя! Маша! Варя!* перекликалъ онъ имѣвшихъ *выходить* въ эту минуту актеровъ.

Слышались возгласы:

— Развѣ мнѣ выходить?

— Конечно вамъ!...

— Ахъ, виноватъ, я не дослышалъ...

— *Варя! Варя!* Кто *Варя*, mesdames?...

— Нѣтъ ея!...

— Какъ нѣтъ? А ты?

— Я *Надя*.

— Не правда,—я *Надя*...

— Ахъ, Боже мой, я твою роль захватила! А гдѣ же моя?... Не видалъ-ли кто моей роли?

— Шш, ради Бога, господа, ничего рѣшительно не слышно...

— Ни за что, ни за что я этого не скажу! звенѣлъ голосъ Ольги Елпидифоровны,—надо это вычеркнуть!...

— А куда-жь я реплику-то мою дѣну? гудѣлъ Вальковскій.

Всѣ были такъ заняты, что никто не замѣтилъ, какъ вошелъ Гундуровъ.

— Четвертое дѣйствіе... Сударыни, куплетъ! хрипѣлъ выписанный изъ Москвы режиссеръ Малаго театра, ансамбль: *графъ Зефировъ* и дѣвицы... Пожалуйте!

— Я не знаю этой музыки...

— И я не знаю...

— Ха, ха, ха... А вчера цѣлый вечеръ за фортепьяномъ повторяли!

— Позвольте, музыкантъ сейчасъ вамъ подыграетъ.

Одинокая скрипка запиликала мотивъ вальса.

— *Графъ Зефировъ*, вамъ!...

Шигаревъ, занимавшій сцену съ какими-то четырьмя барышнями, на которыхъ онъ каррикатурно выпучилъ глаза, запѣлъ, подражая разбитому старческому голосу:

„А! это вы, мои пулярки!.."

Хохотъ отвѣчалъ ему изо всѣхъ угловъ.

— Извольте, вамъ-съ!—Сейчасъ же за графомъ всѣ вмѣстѣ:

— „Спѣшила каждая изъ насъ..."

кричалъ барышнямъ режиссеръ, хлопая себя въ такъ по ладони рукописью пьэсы.

Барышни сбились всѣ въ одну кучку и, выглядывая изъ-за спины одна другой, открыли рты, собираясь пѣть...

— Позвольте, позвольте-съ! кинулся между нихъ несчастный распорядитель, — такъ невозможно! Вы должны кружкомъ стоять около графа!...

— И даже „присѣдать съ граціозностью", сказано у Лен-

скаго! кричалъ имъ снизу Свищовъ, бывшій тутъ же и что-то очень суетившійся.

— Хи, хи, какъ смѣшно, хи, хи! заголосили ему въ-ладъ барышни, которыхъ успѣли кое-какъ разстановить кругомъ Шѝгарева.

— Извольте же сначала!

— „А, это вы, мои пулярки!
А это что̀ у васъ? подарки?“

запѣлъ опять Шѝгаревъ.

— „Спѣшила каждая изъ насъ
Съ днемъ ангела поздравить васъ...“

немилосердно запищали хоромъ *Катя*, *Маша*, *Варя* и *Надя*.

— Ай, ай, ай, ай, какъ рѣжутъ насъ!

запищалъ, въ подраженіе имъ, Свищовъ, затыкая себѣ пальцами уши.

Хохотъ въ залѣ раздался пуще прежняго...

Одна изъ *пулярокъ* сильно разобидѣлась:

— Что̀ же это? Просятъ, а потомъ смѣются!... Я не буду играть!...

— И я!... И я! О-охъ! О-о-охъ!...

— Ни... за что̀... не бу-у-демъ! принялись онѣ хныкать уже все вчетверомъ.

Режиссеръ растерянно поглядѣлъ на зрителей.

Изъ перваго ряда креселъ отдѣлилась высокая, полная барыня, жена окружнаго начальника государственныхъ имуществъ, игравшая роль *Раисы Минишны*, самая „образованная дама“ въ уѣздѣ, и побѣжала къ сценѣ:

— Феничка, Eulampe, finissez, quelle honte! Je vous ai *donc* amenées ici! (Двѣ изъ *пулярокъ* были ея племянницы)...

Но Eulampe, — Евлампія-то-жь — и Феничка оставались глухи на ея внушенія:

— Потому что мы не свѣтскія... не графини!... всхлипывали онѣ.

Вальковскій, стоявшій все время въ кулисѣ, весь поглощенный, повидимому, чтеніемъ своей роли *Синичкина*, однимъ прыжкомъ очутился у рампы:

— Вонъ! Пошелъ вонъ! съ расширившимися не въ мѣру зрачками и дрожавшею губою вскинулся онъ на Свищова, главнаго виновника этихъ слезъ, который, со свойственнымъ ему нахальнымъ спокойствіемъ лица, глядѣлъ ухмыляясь на разобиженныхъ барышень.

— Ты съ ума сошелъ! вскликнулъ онъ, поднявъ блѣднѣя на Вальковскаго свою, коротко à la malcontent остриженную голову.

— Ты разстраивать, ты только разстраивать! бѣшено кричалъ на него тотъ.

Все переполошилось въ залѣ...

— Господинъ Вальковскій! раздался вдругъ рѣзкимъ и отчетливымъ звукомъ голосъ князя Ларіона Васильевича,— вы въ домѣ княгини Шастуновой!...

„Фанатика“ точно чѣмъ-то приплюснуло; онъ покосился на уголъ, откуда донесся до него этотъ голосъ, повернулся на длинныхъ ногахъ и, безъ словъ, опустивъ голову, какъ перепуганный волкъ, отправился назадъ въ свою кулису.

Гундуровъ воспользовался смятеніемъ, чтобы незамѣченно пододвинуться ближе къ диванчику у окна, на которомъ сидѣла княжна, рядомъ съ Ашанинымъ. Оба они, показалось нашему герою, такъ увлечены были своею бесѣдою, что ничего того, что происходило вокругъ, не достигало ни до слуха ихъ, ни до зрѣнія. Подойти прямо къ Линѣ,—„а это была его прямая обязанность, какъ къ хозяйкѣ,“ говорилъ онъ себѣ,—мѣшало ему овладѣвшее имъ вдругъ чувство какой-то неодолимой робости. Ему было невыразимо досадно на Ашанина за то, что онъ такъ всецѣло поглощаетъ ея вниманіе,— и въ то же время онъ какимъ-то необъяснимымъ чутьемъ отгадывалъ, *былъ увѣренъ*, что Ашанинъ говорилъ о немъ, Сергѣѣ Гундуровѣ, и что у Ашанина съ нею никакого серьезнаго разговора и быть не можетъ, кромѣ о *немъ*, Гундуровѣ...

— Да вотъ и онъ, легокъ на поминѣ! какъ бы въ явное

подтвержденіе его догадокъ, обернувшись и увидавъ его, кивнулъ на него княжнѣ Ашанинъ.

Она поклонилась ему съ мѣста своимъ милымъ долгимъ поклономъ сверху внизъ.

Гундуровъ подошелъ.

— Здравствуйте! сказала она, улыбаясь, какъ всегда, однѣми губами, и не подавая ему руки (онъ замѣтилъ, что она никому не подавала руки, и это ему очень нравилось въ ней: „женщина“, разсуждалъ онъ, „никогда ни съ кѣмъ не должна быть *фамильярна*“).

— Ты только-что пріѣхалъ? спросилъ, обнимаясь съ нимъ его пріятель.

— Да, съ полчаса... съ тетушкою...

— А, и ваша тетушка здѣсь? молвила Лина съ какимъ-то оживленіемъ и прибавила: — вы теперь совсѣмъ сюда... *играть!*...

— У насъ все устроилось, и еслибы ты самъ не явился, я сегодня долженъ былъ ѣхать за тобою, спѣшилъ передать ему новости Ашанинъ. — Въ воскресенье, послѣ того какъ ты уѣхалъ, прибыло сюда много народу: Чижевскій, Духонинъ изъ Москвы, сосѣди здѣшніе... Вотъ эта крупная дама— онъ кивнулъ на жену окружнаго, — очень хорошая актриса оказывается... Мы съ Вальковскимъ воспользовались этимъ и, съ разрѣшенія и при помощи княгини и княжны Елены Михайловны, набрали полную труппу и на драму, и на водевиль. Это все, что, видишь, сидитъ въ креслахъ, — родственницы и родственники, близкіе и дальніе, актеровъ нашихъ и актрисъ, съѣхались на репетицію посмотрѣть.

— И maman, вы знаете, согласилась на *Гамлета*, съ тѣми только пропусками, какіе нужными сочтетъ сдѣлать дядя, сообщила въ свою очередь княжна; — я почти уже всю роль свою знаю.

— И *Гертруда* будетъ? спросилъ Гундуровъ Ашанина.

— Есть,—Надежда Ѳедоровна... Но чего это мнѣ стоило! быстрымъ шопотомъ проговорилъ ему тотъ на ухо, — только для пріятеля можно это сдѣлать!...

Въ это время къ княжнѣ, расшаркиваясь и крутя усомъ,

съ ловкостью бывалаго и *прожженаго* гусара, прошмыгнулъ мимо толпившихся у сцены толстый исправникъ Елпидифоръ Акулинъ.

— Позвольте пожелать вамъ добраго утра, princesse, заговорилъ онъ сладкимъ, искательнымъ голосомъ, раздувая свои отвислыя щеки, — и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ человѣку прежде всего откровенному и *страстному*, засмѣялся онъ вдругъ, — прямо обратиться къ вамъ съ просьбой: позвольте мнѣ посоперничать съ моею Ольгой, пользующейся, къ чести ея, а моему неизреченному счастію, благорасположеніемъ княгини-матушки вашей и, осмѣливаюсь думать, и вашимъ собственнымъ...

— Что такое? слегка смѣшавшись и не понимая, взглянула на него Лина.

— Рольки прошу-съ, самую крошечную ролечку! Что дѣлать, страсть-съ, съ дѣтства... неодолимая! Родился актеромъ... а насмѣшница-судьба вотъ чѣмъ повелѣла быть!...

И господинъ Акулинъ негодующимъ движеніемъ вытянулъ впередъ красные обшлага своего полицейскаго мундира.

— Ваша артистическая слава здѣсь извѣстна, поспѣшилъ отвѣтить за княжну находчивый Ашанинъ, любезно улыбаясь исправнику, между тѣмъ какъ Гундуровъ морщилъ лобъ, вспоминая свѣжую сцену въ лѣсу, — и вы съ самаго начала имѣлись у насъ въ виду на роль *Полонія* въ *Гамлетѣ*... если только вы не предпочитаете водевильныя роли...

— Да какъ же это можно-съ! съ искреннимъ увлеченіемъ воскликнулъ на это исправникъ; — Шекспиръ!... Да это мой богъ, моя единственная религія!

Брови у княжны какъ-то болѣзненно сжались вдругъ, — она отвернулась...

— Искренно, душевно благодарю васъ! Осчастливили, можно сказать, вскликнулъ, схвативъ руку Ашанина и принимаясь горячо мять ее въ толстыхъ пальцахъ своихъ, Акулинъ; — а Полонія я вамъ *выражу-съ*, смѣю думать, въ настоящемъ видѣ...

— Я хочу вашу тетушку повидать, сказала, вставая съ мѣста, княжна Гундурову и вышла изъ залы.

Молодой человѣкъ чуть не съ ненавистью глянулъ на отдувшіяся ланиты господина Акулина. „Это онъ заставилъ ее уйти“, не могъ онъ простить ему...

Исправникъ самъ замѣтилъ непріятное впечатлѣніе, произведенное имъ на дѣвушку, хотя еще менѣе, чѣмъ Гундуровъ, способенъ былъ объяснить себѣ *чѣмъ* именно.

Онъ отошелъ отъ нашихъ друзей и проковылялъ прежнимъ путемъ на противоположный конецъ залы, гдѣ, рядомъ съ княземъ Ларіономъ, сидѣла его дочь и щебетала не умолкая, заглядывая ему въ самые зрачки своими вызывающими глазами.

Остановившись отъ нихъ въ нѣсколькихъ шагахъ, господинъ Акулинъ принялся изподтишка слѣдить за всей этой продѣлкой съ наслажденіемъ настоящаго артиста, — какимъ онъ на самомъ дѣлѣ и былъ.

— *Лиза!* Гдѣ *Лиза?* раздалось со сцены.

— Я? отозвалась, вскакивая съ мѣста, Ольга Елпидифоровна,—увидала отца и направилась въ его сторону.

— Ну что, клюетъ? кинулъ онъ ей въ полголоса.

— Да вотъ, подите, попробуйте! И она прошла мимо, досадливо дернувъ плечемъ.

— А ты не плошай! наставлялъ ее достойный родитель.

— Намъ сейчасъ выходить будетъ! объявилъ, подбѣгая къ барышнѣ, Маусъ,—онъ игралъ въ *Синичкиной* роль *Борзикова*,—слѣдившій со сцены ревнивыми глазами за нею во все продолженіе ея разговора съ княземъ.

— Иду!...

Взбунтовавшихся *пулярокъ* успѣли тѣмъ временемъ укротить. Онѣ стояли опять на сценѣ въ позиціи, окружая Шигарева и хихикая въ-перегонку фиглярничаньямъ, которыя выдѣлывалъ онъ теперь съ сугубымъ усердіемъ, ради вящаго поощренія ихъ.

— Я вамъ связала ко-ше-лечекъ,

шептала „говоркомъ“ по совѣту Вальковскаго, и все-таки заикаясь отъ робости, *Надя*.

— Спасибо миленькій дружочекъ,

пѣлъ въ отвѣтъ ей Шѝгаревъ, сѣменя ножками и подбѣгая къ ней *пѣтушкомъ*.

— Вамъ пецышко связала я,

завизжала тономъ выше скрипки картавая *Варя*, приподымая чуть не къ самымъ волосамъ огромныя черныя брови.

— Спасибо, косецька моя!

сюсюкнулъ ей въ отвѣтъ графъ Зефировъ и обнялъ ее за талію.

— Ахъ, ахъ, что̀ это, какъ вы смѣете! визгнула она уже совсѣмъ неестественно.

— Я по пьесѣ, я *долженъ* васъ цѣловать; и васъ, и васъ, и васъ, всѣхъ долженъ перецѣловать!...

— Неправда, неправда, мы не позволимъ! заголосили онѣ опять всѣ.

— Это точно-съ, въ пьесѣ! заявилъ, кидаясь къ нимъ съ тетрадью режиссеръ.

— Нѣтъ, нѣтъ, ни за что̀! Мы лучше совсѣмъ пѣть не будемъ.

Новый, чреватый грозами, бунтъ цѣломудренныхъ *пулярокъ* усмиренъ былъ на этотъ разъ мудростью „образованной“ *окружной:* она согласила ихъ на томъ, что *Зефировъ*-Шѝгаревъ „долженъ только *faire semblant* ихъ цѣловать“, и что такимъ образомъ „*и ситуація* будетъ соблюдена, и *конвенансы* спасены“.

— А на представленіи я все же васъ *по-настоящему* чмокну, обѣщалъ имъ вполголоса Шѝгаревъ.

— А я васъ за это тогда тресну! обѣщала ему, въ свою очередь, Eulampe, самая рѣшительная изъ *пулярокъ*...

— Пойдемъ въ садъ покурить, сказалъ Гундурову Ашанинъ,—князь здѣсь, при дамахъ, не позволяетъ. Они сейчасъ кончатъ *Синичкина*, а затѣмъ наша репетиція: хорошо, что ты пріѣхалъ, а то мы хотѣли ужь безъ тебя считку сдѣлать; время дорого...

— Но княжна ушла... съ нѣкоторымъ усиліемъ проговорилъ Гундуровъ.

— Придетъ! коротко отвѣтилъ красавецъ, направляясь къ дверямъ.

Они вышли въ садъ.

XII.

Гундуровъ втайнѣ надѣялся, что пріятель его непремѣнно начнетъ съ того, что перескажетъ ему свой разговоръ о немъ съ княжною. Но тотъ, къ его удивленію, не только не началъ съ этого, но какъ будто старался даже обходить все, что̀ касалось княжны въ томъ перечнѣ театральныхъ новостей, который онъ торопился теперь досказать ему. Нашему герою показалось даже, что Ашанинъ какъ бы избѣгалъ смотрѣть ему въ лицо, и что его обычный смѣхъ не звучалъ прежнею его искренностью. Что̀-то кольнуло въ сердце Гундурова. „Ужь не самъ-ли онъ?...“ зашевелилось—и не досказалось въ его встревоженной мысли. И онъ безпокойными глазами ловилъ эти, казалось ему, избѣгавшіе ихъ глаза Ашанина.

А тотъ дѣйствительно торопясь, какъ бы съ намѣреніемъ не давать Гундурову времени заговорить о чемъ-то другомъ, подробно передавалъ ему о костюмахъ для *Гамлета*, за которыми съ письмомъ отъ него и отъ Вальковскаго къ Петру Степанову *) посланъ былъ наканунѣ нарочный отъ княгини въ Москву.

— Прошлой зимою, когда дворъ былъ въ Москвѣ, объяснялъ Ашанинъ, — на ряженомъ балу у *графа* (тогдашняго главнаго начальника столицы,) была *Россія въ костюмахъ*, и *дворъ Елисаветы* изъ Вальтеръ-Скоттовскаго *Кенильворта*. Я вспомнилъ, что англійскіе костюмы почти всѣ теперь пе-

*) Извѣстный тогда, весьма даровитый актеръ Малаго театра; онъ держалъ на Чистыхъ Прудахъ большой костюмерный магазинъ.

решли къ Степанову; я ему такъ и написалъ, чтобы прислалъ *всѣ*, какіе только у него есть. Онъ, по дружбѣ, дастъ ихъ на прокатъ намъ за самую сходную цѣну; какъ разъ, что намъ нужно,—костюмы Шекспировскаго времени, именно такіе, въ какихъ, по всей вѣроятности, играли въ *Гамлетѣ* онъ и его товарищи, — свѣжіе, всего два раза надѣванные. Тамъ какъ разъ для тебя костюмъ есть старика *Суссекса* *), весь черный, бархатъ и атласъ. А я возьму костюмъ Четвертинскаго,— онъ *Лейчестера* **) изображалъ,—пунцовый съ бѣлымъ. Прелесть!... У Чижевскаго его синій съ золотомъ остался отъ бала, онъ не продавалъ его... Одѣты всѣ мы будемъ великолѣпно! Только вотъ не знаю, туша эта исправникъ, которому я сейчасъ *Полонія* отдалъ, найдется-ли для него что-нибудь по мѣркѣ? Въ трико-то онъ ужь, навѣрно, ни въ чье не влѣзетъ...

— Да роли всѣ-ли распредѣлены? спрашивалъ Гундуровъ, все продолжая ловить нырявшіе по сторонамъ глаза Ашанина.

— Всѣ, всѣ... придется, можетъ быть, какого нибудь *Волтиманда* или *Франческо* похѣрить, да и то найдутся и на нихъ. Вальковскій въ восторгѣ, — я ему *Розенкранца* далъ, *молодую роль!*... Могильщики будутъ у насъ превосходные, одного играетъ Посниковъ, — землемѣръ тутъ есть одинъ,— онъ мнѣ вчера роль читалъ, — талантъ, настоящій талантъ! Другаго — студентъ при князькѣ, Факирскій по фамиліи, не глупый малый и рьяный Жоржъ-Сандистъ...

— Это тотъ, неловко улыбаясь промолвилъ Гундуровъ,— что изъ-за занавѣски княжну высматриваетъ?

— Можетъ быть... И кто же ему можетъ помѣшать! какъ-то нетерпѣливо повелъ плечами его пріятель.—Однако, словно спохватился онъ, кидая свою папироску,—мнѣ надо въ контору за ролями, актерамъ роздать...

— И только? такъ и вырвалось у Гундурова.

— Что только? спросилъ тотъ, останавливаясь на-ходу.

— Отзвонилъ—и съ колокольни долой!... Тебѣ... тебѣ нечего болѣе передать мнѣ? робко договорилъ онъ.

---

*) Count Sussex,—Суссексъ, первый Министръ Елисаветы.

**) Dadley count of Leicester—Лейчестеръ, извѣстный фаворитъ ея.

— Ахъ, да! засмѣялся красавецъ, возвращаясь, — я тебѣ говорилъ про *Гертруду*, чего мнѣ стоило...

— Ну?

— Я вѣдь опять вляпался, Сережа!...

— Какъ такъ?

— Да такъ что... Ну, не хочетъ женщина, ни за что не соглашается играть! А я чую, вижу, что лучшей *Гертруды* намъ не сыскать!... Я ей и посвятилъ два дня, два цѣлыхъ дня посвятилъ ей исключительно... Вотъ, вчера это вечеромъ случилось, вздохнулъ Ашанинъ, — ночь была такая чудесная, вышелъ я послѣ ужина сюда, въ садъ погулять... Сѣлъ на скамью, соловьи такъ и заливаются, воздухъ нѣжитъ... Только слышу, чьи-то шаги скрипятъ по песку. Она, моя Надежда Ѳедоровна идетъ, прогуливаетъ свои обветшалыя красы... „Ахъ, ахъ, это вы?“—Ахъ, ахъ, это я! отвѣчаю ей въ тонъ... Гляжу, она и дрожитъ, и улыбается... Взялъ я ее подъ руку,—пошли. Я опять про *Гертруду*, внушительныя рѣчи ей держу: „что за ночь, за луна, когда друга я жду“, и такъ далѣе... А тутъ, на бѣду, бесѣдка,—зашли, сѣли... Вотъ она слушала меня, слушала, да вдругъ голову мнѣ на плечо, и такъ и залилась... А я, ты знаешь, женскихъ слезъ видѣть не могу... Ну и...

— Господи! даже вскрикнулъ Гундуровъ.

Московскій Донъ-Жуанъ комически вздохнулъ опять:

— Должно-быть на-роду ей уже такъ написано; любила она, говоритъ, впервой какого-то учителя; обѣщалъ онъ ей жениться, — надулъ, подлецъ! Она возьми да и отравись!... Да, самымъ настоящимъ манеромъ отравилась, — мышьяку хватила... „Пятнадцать лѣтъ, говоритъ, замаливала я этотъ грѣхъ... А теперь, говоритъ, я не снесу! Если ты, говоритъ, меня обманешь, для меня все кончено!...“ Помилуйте-скажите, вдругъ разгнѣванно всклинулъ Ашанинъ,—да вѣдь я же ее непремѣнно обману, да вѣдь я же ни одной еще женщинѣ въ мірѣ не оставался вѣрнымъ! Помилуйте, да вѣдь это хуже, чѣмъ съ моею покойницей!...

— Ты ее съ толку сбилъ, несчастную, и на нее же сердишься! строго и озабоченно говорилъ Гундуровъ; — что ты будешь дѣлать теперь?

— Что̀ буду дѣлать? повторилъ тотъ; — ярмо надѣла она на меня, пока не отбудемъ спектакль,—вотъ бѣда! Такія натуры не шутятъ: пожалуй, въ самомъ дѣлѣ, съ-дуру въ воду кинется... Поневолѣ оглядываться приходится!... А тутъ какъ на смѣхъ, эта черноокая Акулина... Замѣтилъ ты ея глаза, а? Вѣдь мертваго поднять способны!... И какъ подумаю, что влѣзъ я въ эту штуку единственно изъ-за того, чтобы *Гамлетъ* нашъ не разстроился... между тѣмъ какъ...

И Ашанинъ, съ такимъ только-что легкомысліемъ относившійся къ судьбѣ бѣдной перезрѣлой дѣвы, имѣвшей несчастіе полюбить его, воззрился вдругъ теперь на пріятеля съ выраженіемъ какой-то глубокой тревоги о немъ въ большихъ, говорившихъ глазахъ...

А Гундуровъ, въ свою очередь, съ тою болѣзненною чуткостью, что̀, рядомъ со слѣпотою, дана въ удѣлъ влюбленнымъ, тотчасъ же понялъ, что̀ говорили эти глаза, и также испугался теперь, чтобы Ашанинъ не произнесъ имени княжны, какъ за минуту предъ тѣмъ страстно желалъ услышать изъ устъ его это имя.

— Что̀-же наша *считка*, поспѣшно заговорилъ онъ,—ты говорилъ, надо роли роздать?...

— Господа, васъ просятъ на сцену! въ то же время раздался за ними чей-то голосъ.

Это былъ тотъ студентъ, „Жоржъ-Сандистъ“, юноша лѣтъ двадцати, въ которомъ чуялъ себѣ соперника Гундуровъ. Скажемъ здѣсь кстати, что онъ смотрѣлъ прямымъ московскимъ студентомъ тѣхъ временъ: что̀-то заразъ открытое и вдумчивое, серьезное и мягкое въ пошибѣ, чертахъ, во взглядѣ большихъ карихъ глазъ, неряшливо падавшіе на лобъ волосы, и потертый уже на швахъ рукавовъ *новый* сюртукъ съ синимъ воротникомъ и форменными съ орлами пуговицами...

Онъ, съ своей стороны, не чуялъ, видимо, ничего похожаго на нерасположеніе къ себѣ въ нашемъ героѣ:

— Позвольте вамъ себя представить,—Факирскій, молвилъ онъ ему, подходя и кланяясь,—кланяясь даже съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ почтительности, — я также былъ филологъ, теперь на юридическій перешелъ, но вы меня вѣроятно не

помните; я былъ на первомъ курсѣ, когда вы кончали... Только я васъ очень уважаю! скороговоркой добавилъ онъ, какъ-то неловко отворачиваясь и въ тоже время протягивая свою руку Гундурову.

— Я вамъ очень благодаренъ, сказалъ тотъ, пожимая ее,— но не знаю, чѣмъ заслужилъ...

— Я вашу кандидатскую диссертацію имѣлъ случай прочесть, пояснилъ студентъ,—превосходная вещь-съ! Хотя я и не славистъ, а истинное наслажденіе мнѣ доставила. Ученость ученостью, а пріемъ у васъ такой... теплый... Тамъ, гдѣ вы это о братствѣ народовъ по поводу славянъ развиваете...

— То есть о племенной славянской связи, поправилъ улыбаясь Гундуровъ.

— Да-съ, да-съ, закивалъ головой Факирскій,—только это у васъ гораздо шире понимать слѣдуетъ... Я, по крайней мѣрѣ, такъ понялъ. Тутъ между строкъ прямо выясняется вашъ идеалъ: чтобы „народы, распри позабывъ“, — *всѣ* народы-съ, не одни славянскіе, — „въ великую семью соединились.“ Такъ говорилъ великій Пушкинъ со словъ великаго Мицкевича, такъ думаютъ въ наше время и всѣ великіе мыслители на Западѣ... И изъ вашей диссертаціи я понялъ, что вы именно проводите мысль объ этомъ братствѣ народовъ на началахъ свободы и равен...

— Конечно, если угодно вамъ такъ понимать... перебилъ его нашъ герой, который въ эту минуту всѣ народы и всѣхъ мыслителей Запада отдалъ бы за то, чтобъ отъ него поскорѣе отдѣлаться;—но вы, кажется, звали насъ на сцену?...

— Да-съ, тамъ князь и княжна просили всѣхъ участвующихъ въ *Гамлетѣ*... Да вотъ-съ уже прямо, искусство, ухватился опять студентъ за видимо любезную ему мысль,—вотъ-съ уже первая и неразрывная международная связь! Шекспиръ, возьмемте, развѣ онъ исключительно *англійскій*, а не общечеловѣческій поэтъ? Вѣдь онъ для Нѣмцевъ еще дороже и выше, чѣмъ для Англичанъ, а для насъ...

Но Гундуровъ уже не слушалъ его болѣе и, вслѣдъ за Ашанинымъ, направился въ театральную залу.

XIII.

Репетиція *Синичкина* отошла. На сценѣ не оставалось уже никого, кромѣ режиссера и Вальковскаго, отмѣчавшихъ по экземпляру *Гамлета* нужныя для драмы бутафорскія принадлежности. Участвовавшіе въ ней актеры разбирали свои роли, только-что принесенныя изъ домовой конторы. Въ залу зрителей набралось еще болѣе прежняго, но смѣха и говора слышно уже не было; на всѣхъ лицахъ ясно читалось нетерпѣніе, съ примѣсью какой-то торжественности, словно, дѣйствительно, готовилось, по выраженію Ашанина, „священнодѣйствіе“. Но, увы, долгъ правдиваго повѣствователя заставляетъ насъ признаться, что великій Шекспиръ былъ тутъ не при чемъ: общее любопытство относилось не къ *Гамлету*, а къ княжнѣ Линѣ, которая должна была принять въ немъ участіе,—о чемъ много было тогда рѣчей по окрестнымъ весямъ и селамъ. Мужчины, въ особенности пріѣзжіе Москвичи, готовы были заранѣе отвѣчать за ея талантъ; провинціальныя барыни и барышни, сжавъ губы сердечкомъ, ожидали, въ свою очередь, выхода „заграничнаго чуда“...

Въ переднихъ креслахъ возсѣдала сама хозяйка между неизбѣжнымъ Зяблинымъ и Софьей Ивановной. Княжна, стоя передъ ними со свернутою трубочкою ролью своею въ рукѣ, равнодушно улыбалась, отвѣчая на какія-то, очевидно любезныя рѣчи „бригадта“...

При видѣ тетки Гундурова передернуло; присутствіе ея его смущало. Для нея все *это*—„скоморошество“; онъ зналъ... онъ чувствовалъ, что она все *это* осуждаетъ, что ей „совѣстно“ за него...

— Сергѣй Михайловичъ, обратился къ нему тутъ же

князь Ларіонъ, сидѣвшій у столика, спиною къ сценѣ и перелистывавшій лежавшую передъ нимъ книгу, — согласны ли вы будете на нѣкоторыя купюры?

— На что именно? спросилъ, подходя, молодой человѣкъ, на котораго тотчасъ же и обратились глаза всей залы.

— Это требуетъ нѣкотораго изъясненія, заговорилъ князь своимъ изысканно изящнымъ тономъ,—и прежде всего прошу вѣрить въ глубокое мое уваженіе къ великому произведенію, которое мы взялись теперь исполнить. Я бы не рѣшился выкинуть изъ него ни іоты, если бы, во-первыхъ, это уже не было сдѣлано господиномъ Полевымъ,—князь, слегка скрививъ губы, кивнулъ на свою книгу,—а главное, еслибъ я не могъ сослаться на другой, посильнѣе этого, авторитетъ...

— На Гёте? улыбнулся Гундуровъ.

— Вы сказали! улыбнулся и князь, слегка наклонивъ голову;—благодаря вашей доброй затѣѣ, я въ эти два послѣдніе дня доставилъ себѣ наслажденіе перечесть самого *Гамлета*, и всѣ мѣста въ *Вильгельмѣ Мейстерѣ*, гдѣ о немъ идетъ рѣчь...

— Il est si savant, Larion, онъ *все знаетъ!* прислушавшись къ этимъ словамъ, сочла нужнымъ вздыхая сообщить княгиня Софьѣ Ивановнѣ.

— Très savant! бровью не моргнувъ, отвѣчала ей та.

— Вы помните, продолжалъ тѣмъ временемъ князь Ларіонъ, — что Гёте устами своего героя говоритъ о тѣхъ „внѣшнихъ, не истекающихъ изъ *внутреннихъ* отношеній лицъ и событій мотивахъ“ въ Гамлетѣ, къ которымъ онъ относитъ всю эту скучную исторію Фортинбраса, посольство къ его дядѣ, походъ его въ Польшу и возвращеніе... Вильгельмъ Мейстеръ признаетъ все это „ошибками“ Шекспира и предлагаетъ даже цѣлый планъ передѣлки драмы...

— Это совершенно такъ, возразилъ Гундуровъ.—Но этотъ предлагаемый Гёте планъ никогда никѣмъ исполненъ не былъ, и мнѣ кажется...

Онъ заикнулся, замѣтивъ какой-то, показалось ему, неодобрительный взглядъ княжны Лины: она незамѣтно подошла къ столику, за которымъ сидѣлъ дядя, и внимательно слушала...

И князь Ларіонъ замѣтилъ этотъ взглядъ.

— Прекрасно-съ, отрывисто проговорилъ онъ,—но надо сообразоваться со средствами нашего персонала, а—главное—съ публикой, понизилъ голосъ князь:—наскучитъ, зѣвать начнутъ... Я предлагаю исключить *Фортинбраса* и все, что до него относится... Первую сцену съ *Тѣнью* можно также вонъ; non bis in idem: о ней подробно докладываютъ *Гамлету Горацію* съ товарищами, и затѣмъ она повторяется при его участіи...

Новое движеніе княжны остановило возраженіе на устахъ Гундурова.

— И отлично будетъ, молвилъ подходя Ашанинъ,—начнемъ прямо съ выхода двора... Я воображаю заранѣе, какъ вы будете величественно возсѣдать на тронѣ? Онъ обернулся смѣясь къ Зяблину.

„Калабрскій бригантъ“ уныло усмѣхнулся и скромно потупилъ очи.

— C'est vrai, vous serez très bien en costume! поощрила его княгиня Аглая, устремивъ на него свои круглые глаза.

— Mon Dieu, шопотомъ проговорилъ онъ, осторожно наклоняясь къ ея плечу,—если бы только *вы*...

Онъ не досказалъ, но намѣреніе его дошло по адресу: княгиня подарила его снова поощрительно сладкимъ взглядомъ.

— А *Тѣнь*-то у насъ кто же играетъ? чуть не злобно обратился со сцены къ Ашанину Вальковскій, подходя къ рампѣ съ режиссеромъ.

— А то нѣтъ развѣ?

— Извѣстно нѣтъ, буркнулъ „фанатикъ,“—на то у тебя и дворянская голова, чтобы ею не думать никогда!

— А нѣту, такъ мы сейчасъ кличъ кликнемъ, беззаботно засмѣялся красавецъ.—Господа, обернулся онъ къ кресламъ:—кому угодно взять на себя роль *Тѣни отца Гамлета*? Она, какъ извѣстно, должна походить на свой портретъ *) и имѣть слѣдовательно:

„И Марса взоръ, и кудри Аполлона...“

*) Сцена *Гамлета* съ матерью. Дѣйствіе III.

Ему отвѣчали дружнымъ хохотомъ.

— Какъ разъ по васъ роль! молвила въ унисонъ этому смѣху Ольга Елпидифоровна сидѣвшему подлѣ нея на кончикѣ стула здоровому молодцу въ новенькомъ фракѣ, гладко причесанные височки котораго, подфабренные усы и вздрагивавшія плечи свидѣтельствовали съ перваго взгляда о его недавней принадлежности къ доблестнымъ рядамъ россійской арміи.

— Чего-съ? переспросилъ онъ, не понявъ, и выпрямился на своемъ стулѣ.

— Я говорю, вамъ надо предложить себя на роль *Тѣни отца Гамлета*.

— Вы полагаете-съ?...

— Еще бы! Кудрей у васъ, правда, нѣтъ, за то настоящій „Марса взоръ“.—Марсъ былъ богъ войны, вы знаете?

— Какже-съ, проходили еще въ корпусѣ!...

— Вотъ видите!... Ну, и наружность... и самая фамилія у васъ даже воинственная...

— Это дѣйствительно-съ, весело разсмѣялся и онъ:—Ранцовъ,—у каждаго рядоваго, извѣстно, *ранецъ* бываетъ... Чтоже-съ, если только прикажете, я всегда... съ покорностью, примолвилъ онъ внезапно дрогнувшимъ голосомъ—и робко поднялъ на нее такъ же мгновенно загорѣвшіеся глаза.

Отставной капитанъ Ранцовъ,—еще недавно изъ бѣднаго пѣхотнаго офицера неожиданно превратившійся, вслѣдствіе смерти дальняго, невѣдомаго ему, родственника, въ помѣщика одного изъ лучшихъ по устройству имѣній въ уѣздѣ,—былъ уже годъ цѣлый страстно влюбленъ въ быстроглазую Ольгу Елпидифовну, жилъ изъ-за нея гораздо чаще въ городѣ, чѣмъ въ наслѣдованномъ имъ прекрасномъ помѣстьи, и находилъ средство вѣчно какъ изъ-подъ земли вырости вездѣ, гдѣ бы она ни находилась. Такъ и теперь, къ немалому ея удивленію, очутился онъ въ Сицкомъ, куда, вздѣвъ съ утра новый фракъ, являлся „съ первымъ визитомъ“ въ качествѣ „сосѣда“... Окончательнаго признанія бравый капитанъ „своему предмету“ дѣлать до сихъ поръ не рѣшался: бойкая барышня обращалась съ нимъ свысока, въ лицо глумилась надъ нимъ,

дѣлала изъ него чуть не шута. Онъ сносилъ ея насмѣшки и фырканья со смиреніемъ лягавой собаки, ниспадалъ въ прахъ предъ ея „умомъ и образованіемъ“ и, когда оставался „одинъ со своею мечтою“, вздыхалъ такъ громко, что вдова-купчиха, у которой онъ нанималъ квартиру въ городѣ, и до которой долетали его вздохи сквозь стѣну, каждый разъ вздрагивала и крестилась...

— Monsieur Ашанинъ, громко крикнула съ мѣста Ольга Елпидифоровна,—Владиміръ Петровичъ!...

Словно остріе шпаги сверкнули по направленію бойкой особы два глаза,—глаза Надежды Ѳедоровны, одиноко сидѣвшей въ дальнемъ углу, — и тревожно тутъ же перекинулись на красавца.

— Что прикажете? отозвался онъ на кликавшій его голосъ.

— Вотъ, извольте познакомиться: господинъ Ранцовъ, Никаноръ Ильичъ Ранцовъ! Онъ, по скромности своей, не рѣшается самъ сказать, но, какъ мнѣ извѣстно, сгараетъ желаніемъ изобразить собою тѣнь *Гамлета*... папеньки *Гамлета* то-есть, поправилась барышня съ новымъ хохотомъ.

Бѣдный капитанъ вскочилъ на ноги и покраснѣлъ до самыхъ бровей:

— Помилуйте-съ, Ольга Елпидифоровна, залепеталъ онъ,— какъ же это мнѣ сгарать-съ, когда я, можетъ быть, и вовсе не въ состояніи, а единственно изъ-за вашего желанія.

Барышня только покатывалась.

— Такъ роль прикажете считать за вами? оффиціальнымъ тономъ спросилъ Ашанинъ.

— Ну, разумѣется! отвѣчала за капитана все та же барышня.

Тотъ поклонился въ подтвержденіе.

— Значитъ, теперь, всѣ на лицо! обернулся Ашанинъ къ сценѣ.

Вальковскаго всего даже повело отъ злости. Онъ круто повернулъ на каблукахъ и ушелъ въ кулиссу, чуть не громко фыркая:

— Этакихъ капраловъ въ труппу набирать... Тьфу!...

— Такъ можно бы теперь записать, Владиміръ Петро-

вичъ? спросилъ режиссеръ,—предварительную афишечку составили бы?...

— Сдѣлайте милость!... Господа участвующіе въ *Гамлетѣ*, позвольте легкую перекличку!

Изъ креселъ поднялись, зашаркали...

Режиссеръ сталъ читать наскоро набросанную имъ афишу. Актеры отвѣчали съ мѣста: „я“, или „здѣсь“.

— *Тѣнь отца Гамлета*... Господинъ, господинъ...: запамятовалъ режиссеръ.

— Ранцовъ, Никаноръ Ильичъ, герой Венгерскій! визгнула съ мѣста опять бойкая барышня.

— Помилуйте-съ, за что̀ конфузите! прошепталъ зардѣвшись еще разъ бѣдный капитанъ, — дѣйствительно получившій свой чинъ за отличіе въ прошлогоднюю Венгерскую кампанію.

Толстый исправникъ, безмолвно погруженный все время въ чтеніе своей роли *Полонія*, поднялъ голову и воззрился издали на дочь, какъ будто побить ее собирался:

— Дура! пропустилъ онъ про себя по ея адресу, — и снова погрузился въ *Полонія*.

— Господа, кто участвуетъ въ первомъ выходѣ, не угодно ли на сцену! звалъ Ашанинъ;—*Клавдіо*, руку вашу Надеждѣ Ѳедоровнѣ, *Гамлетъ*, *Полоній*, *Лаертъ*, дворъ, — за ними. Пожалуйте!...

Проба началась.

XIV.

Съ перваго выступа *Полонія* на сцену, вслѣдъ за королевскою четою, оказалось, что толстый Елпидифоръ Акулинъ дѣйствительно „родился актеромъ“. Онъ былъ изъ тѣхъ нервныхъ исполнителей, которые *сказываются* съ первой репетиціи, которыхъ съ первой же минуты охватываетъ и уноситъ горячая волна лицедѣйства. Онъ еще не зналъ слова изъ своей роли и прищуренными глазами пробѣгалъ ее по высоко-приподнятой къ лицу тетрадкѣ, но онъ *игралъ* уже каждымъ фибромъ этого лица, каждымъ движеніемъ своего громоздкаго, но удивительно поворотливаго туловища. Онъ былъ комиченъ съ головы до ногъ, но ни тѣни буфонства не было въ этомъ комизмѣ. Старый, преданный и *убѣжденный* царедворецъ, взросшій и искушенный въ дворскихъ обычаяхъ и передѣлкахъ, — петербургскія воспоминанія, очевидно, помогали отставному гвардейцу, — суетливый и осторожный, простодушно-лукавый и лукаво-простоватый, пустой болтунъ, глубоко-вѣрующій въ непогрѣшимость своей дюжинной морали и придворной своей тонкости, тонкій на столько, чтобы всегда быть мнѣнія сильнаго и не замѣчать, когда этотъ сильный дѣлаетъ изъ него шута, полуплутъ и полудобрякъ,— такимъ уже ясно, понятно для каждаго, обрисовывался *Полоній* въ исполненіи Акулина. Онъ сразу завоевалъ себѣ „сочувствіе публики“: при каждомъ его появленіи слышался смѣхъ, возгласы одобренія... Восторгу Вальковскаго не было конца: онъ замеръ за кулисою, прислушиваясь и хрустя пальцами до боли, — и не выдержалъ наконецъ, кинулся къ

исправнику (съ которымъ даже знакомъ не былъ), схватилъ его за плечи:

— Ну, и чортъ тебя возьми, какъ хорошъ! прохрипѣлъ онъ задыхающимся голосомъ,—и поцѣловалъ его въ самыя губы...

Какъ это всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, *игра* Акулина *подняла* всѣхъ остальныхъ актеровъ. Камертонъ былъ данъ. Самолюбіе каждаго изъ участвующихъ было возбуждено: въ чаяніи *такого* исполненія относиться къ своей роли спустя рукава становилось невозможнымъ. Оживленіе стало всеобщимъ; то, что предполагалось быть простою, первою *считкою*, вышло настоящею репетиціею; актеры становились въ позы, читали съ жестами, старались *давать настоящій тонъ*...

— Гляди-ко, какъ ихъ всѣхъ поддуваетъ! говорилъ, потирая себѣ руку, „фанатикъ“ исправнику, съ которымъ съ перваго разу сталъ на *ты*.

Для такихъ опытныхъ театраловъ-любителей, какими были онъ и Ашанинъ, успѣхъ *Гамлета* въ Сицкомъ былъ съ этой первой репетиціи обезпеченъ.

Одинъ, сначала, Гундуровъ не чувствовалъ „приближенія бога“. Присутствіе Софьи Ивановны леденило его. Она это понимала и старалась не глядѣть на него, поддерживая разговоръ съ словоохотливою сосѣдкой,—но это еще болѣе его смущало. Онъ читалъ вяло, запинался,—чувствовалъ это и безконечно досадовалъ на себя,—но не былъ въ состояніи встряхнуться. Его сбивалъ къ тому же незнакомый ему текстъ Полеваго, по которому онъ долженъ былъ говорить роль, между тѣмъ какъ вся она сидѣла у него въ памяти по Кронебергскому переводу...

Такъ продолжалось до перваго выхода *Офеліи*. Княжна въ этотъ день была въ свѣтломъ лѣтнемъ платьѣ, и, когда она, объ руку съ Чижевскимъ—*Лаэртомъ*, выступивъ изъ темной глубины сцены, подошла къ рампѣ, горячій свѣтъ солнца обвилъ, какъ вѣнцомъ, ея золотистые волосы. Обаятельная прелесть ея лебединой красоты какъ бы впервые открывалась всѣмъ въ это мгновеніе. Въ залѣ заахали; „какъ изящна!“ громко вскликнула *образованная окружная*...

Она успѣла уже выучить роль и отвѣчала наизусть на прощальныя наставленія *Лаерта:*

— А о Гамлетѣ и его любви
Забудь,

говорилъ ей братъ,

„Повѣрь, что это все мечта,
Игрушка дѣтская, цвѣтокъ весенній,
Который пропадетъ какъ тѣнь,
Не болѣе.—
— Не болѣе?“

повторила Офелія, поднявъ глаза, и такъ искренно сказалось это ею,—сказалась тревога, и молодая грусть, и неизсякаемое упованіе въ эту „мечту“, въ этотъ „цвѣтокъ весенній“,—что ей невольнымъ взрывомъ откликнулись со всѣхъ сторонъ рукоплесканія... А полный той же грусти и тревоги взглядъ княжны, скользнувъ по *Лаерту*, пробѣжалъ далѣе, остановился на мигъ на внимавшемъ ей въ кулисѣ Гундуровѣ и— потухъ... Сердце ходуномъ заходило у молодаго человѣка. „Нѣтъ, не можетъ быть! Этотъ взглядъ! Это случайность, случайность одна!“ спѣшилъ онъ отогнать отъ себя обольстительный помыселъ... А въ то же время онъ весь замиралъ отъ неизъяснимаго блаженства и слушалъ, — слушалъ, упиваясь звуками ея тихаго голоса:

— „Онъ о любви мнѣ говорилъ,

печально признавалась отцу Офелія,

— Но такъ былъ нѣженъ, такъ почтителенъ и робокъ!...“

И неотразимо лились ему въ грудь эти слова... *Онъ* былъ Гамлетъ,—о *немъ* говорила *Офелія!...*

Не онъ одинъ внималъ ей съ этимъ трепетомъ, съ этимъ замираніемъ. Повернувшись бокомъ къ зрителямъ, опершись локтемъ о стоявшій подлѣ него столикъ, безмолвно и недвижно сидѣлъ князь Ларіонъ, прикрывъ лицо свое рукою. Онъ видимо избѣгалъ докучныхъ взглядовъ, но зоркій глазъ исправника Акулина разглядѣлъ со сцены, какъ слегка дро-

жали длинные пальцы этой руки, а сквозь нихъ пылали устремленные на княжну неотступные зрачки...

Все смущеніе теперь соскочило съ Гундурова; сильною, вѣрною, полною живыхъ драматическихъ оттѣнковъ, интонаціею повелъ онъ слѣдующую за тѣмъ сцену свою съ *Тѣнью*, не смотря на то, что эта бѣдная *Тѣнь* устами храбраго капитана Ранцова читала такимъ дубоватымъ и могильнымъ голосомъ, будто не для того являлась она на землю, чтобъ возбудить сына ко мщенію, а за тѣмъ, чтобы прочесть надъ нимъ отходную. Храбрый капитанъ ужасно старался и чѣмъ болѣе старался, тѣмъ хуже выходило; онъ не дочитывалъ, пропускалъ цѣлые стихи, обрывалъ на полусловѣ, кашлялъ и сморкался,—все это къ невыразимому негодованію Вальковскаго и къ немалой потѣхѣ бойкой барышни, помиравшей на своемъ диванчикѣ, безо всякой жалости къ своему пламенному обожателю. Она смѣялась впрочемъ не столько потому, что ей было смѣшно, сколько для того, чтобы приковывать вниманіе Ашанина, который, въ свою очередь, пожиралъ ее украдкою со сцены. Вся эта игра, какъ ни былъ остороженъ нашъ Донъ-Жуанъ, не ускользала отъ ревнивыхъ взоровъ Надежды Ѳедоровны. Цѣлый адъ кипѣлъ въ душѣ бѣдной дѣвы... На минуту очутились они вдвоемъ за кулисами:

— Скажи мнѣ, вскинулась она вдругъ, схватывая его за руку, — скажи хотя разъ въ жизни правду: любишь-ли ты меня, или съ твоей стороны *все это* было обманъ, одинъ обманъ?...

— Прочь, мой другъ, слова!
Къ чему клятвы, обѣщанья?

пропѣлъ онъ ей на это въ отвѣтъ словами романса Глинки, глядя ей прямо въ лицо и освобождая свою руку.

— Безъ шутовства, прошу васъ! блѣднѣя и дрожа, заговорила она опять;—отвѣчайте, вы меня затѣмъ лишь погубили, чтобы кинуть меня къ ногамъ этой презрѣнной дѣвчонки?

— Прекрасный другъ мой, комически вздохнулъ красавецъ,—послѣ пьянства запоемъ я не знаю порока хуже ревности!

Слезы брызнули изъ глазъ перезрѣлой дѣвицы:

— О, это ужасно! всхлипнула она, едва сдерживая истерическое рыданіе...

— Да, ужасно! повторилъ внутренно Ашанинъ,—и чортъ меня дернулъ!...

Репетиція шла своимъ чередомъ. Пройдены были два первые акта. Гундуровъ сознавалъ себя все болѣе и болѣе хозяиномъ своей роли. Монологи свои онъ читалъ наизусть, по заученному имъ тексту; его молодой, гибкій голосъ послушно передавалъ безконечные извивы, переходы и противорѣчія, по которымъ, какъ корабль межъ коралловыхъ острововъ, бѣжитъ Гамлетовская мысль. Ему уже жадно внимали слушатели; князь Ларіонъ покачивалъ одобрительно головою; сама Софья Ивановна пріосанилась и не отводила болѣе отъ него глазъ. Всѣми чувствовалось, что онъ давно освоился съ этою передаваемою имъ мыслью, съ этихъ своеобразнымъ языкомъ, что онъ вдумался въ эту скорбную иронію, прикрывающую какъ блестящимъ щитомъ глубокую язву внутренней немощи... Но самъ онъ въ эту минуту исполненъ былъ ощущеній, такъ далеко не ладившихъ съ безысходнымъ отчаяніемъ Датскаго принца!... Княжна была тутъ, онъ чувствовалъ на себѣ взглядъ ея, она внимала ему какъ другіе, — болѣе чѣмъ другіе, сказывалось въ тайникѣ его души... И, помимо его воли, прорывались у него въ голосѣ звенящія ноты, и не разъ не тоскою безмѣрной, а торжествующимъ чувствомъ звучала въ его устахъ иронія Гамлета...

— Не забудьте классическаго опредѣленія характера, который вы изображаете, замѣтилъ ему князь Ларіонъ послѣ монолога, слѣдующаго за сценой съ актерами:—„въ драгоцѣнный сосудъ, созданный быть вмѣстилищемъ однихъ лишь нѣжныхъ цвѣтовъ, посажено дубовое дерево; корни его раздаются,—сосудъ разбитъ“ *). У васъ слишкомъ много *силы;* при такой энергіи, усмѣхнулся князь, вы бы, не задумавшись, тутъ же зарѣзали господина Зяблина, если бы онъ имѣлъ

*) Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dreizehntes Capitel.

несчастіе быть вашимъ отчимомъ; а вотъ на это-то именно *Гамлетъ* не способенъ...

Гундуровъ только склонилъ голову; князь былъ тысячу разъ правъ, и самъ онъ это зналъ точно такъ же хорошо, какъ князь... Но гдѣ же взять ему было безсилія, когда въ глазахъ его еще горѣло отраженіе *того* взгляда тѣхъ лазоревыхъ глазъ?...

— Ne vous offensez pas, успокоивала тѣмъ временемъ Зяблина княгиня Аглая Константиновна, — il plaisante toujours comme cela, Larion!

— У васъ сейчасъ, кажется, будетъ сцена съ *Офеліею*, какъ бы вспомнилъ князь Ларіонъ; — тамъ есть нѣкоторыя... *неудобныя* мѣста... Ее надо было бы предварительно почистить...

— Я хотѣлъ только-что напомнить вамъ объ этомъ, сказалъ Гундуровъ,—и покраснѣлъ до самыхъ ушей.

Лицо князя словно передернуло...

— Oui, oui, Larion, залепетала, услышавъ, княгиня Аглая,—je vous prie qu'il n'y ait rien de scabreux!...

— Господа, обратился онъ къ сценѣ, — я предлагаю отложить продолженіе вашей пробы до вечера. Во всякомъ случаѣ, до обѣда не далеко, кончить не успѣли бы. — Пройдемъ ко мнѣ, Сергѣй Михайловичъ!

Нашъ герой послѣдовалъ за нимъ съ Ашанинымъ.

XV.

Was ist der langen Rede kurzer Sinn?

Князь Ларіонъ Васильевичъ занималъ въ Сицкомъ бывшіе покои своего покойнаго отца. Это былъ цѣлый рядъ комнатъ, омеблированныхъ въ началѣ нынѣшняго вѣка, во вкусѣ того времени, и съ того времени остававшихся нетронутыми. Длинноватые размѣры и узкія очертанія столовъ, консолей и диванова на ножкахъ въ видѣ львиныхъ лапъ, золоченые сфинксы и орлы полукруглыхъ креселъ въ подражаніе консульскимъ сѣдалищамъ древняго Рима, вычурныя вырѣзки тяжелыхъ штофныхъ занавѣсей съ бахрамою изъ перебранныхъ золотымъ снуркомъ и синелью продолговатыхъ витушекъ, чернобронзовыя туловища, поддерживающія на головахъ изогнутые рукава свѣтлыхъ канделябръ,—все это невольно приводило на память походъ Бонапарта въ Египетъ, нагихъ гладіаторовъ и Ахиллесовъ академиста Давида, Тальму въ Корнелевомъ Циннѣ и пардмъ Тильзитскаго свиданія въ описаніи Дениса Давыдова... Ото всего этого вѣяло чѣмъ-то сухимъ, но важнымъ,—поблеклымъ, но внушительнымъ. Кабинетомъ служила огромная библіотека въ два свѣта, въ которой собрана была цѣнная наслѣдственная движимость Шастуновыхъ, доставшаяся лично князю Ларіону по раздѣлу съ братомъ. Тутъ, между старинными рѣзными баютами и шкафами чернаго дуба, полными рѣдкихъ, дорогихъ изданій, висѣлъ большой портретъ стараго князя на боевомъ конѣ, въ генералъ-аншефскомъ мундирѣ, со шпагою въ рукѣ и Андреевскою лентой, волнующеюся по бѣлому камзолу. Рядомъ съ

нимъ, глядѣли изъ почернѣлыхъ рамъ товарищи его по Ларгѣ и Италіянской кампаніи: Румянцевъ, Суворовъ, Кутузовъ, Багратіонъ... Мраморный Потемкинъ, красивый и надменный, стоялъ на высокомъ цоколѣ изъ чернаго дерева, на которомъ, въ вѣнкѣ изъ серебряныхъ лавровъ, читались, начертанные такими же серебряными буквами, два извѣстные стиха Державина:

Се ты-ли счастья, славы сынъ.
Великолѣпный князь Тавриды?

—а на противоположной стѣнѣ сама „Великая жена", въ фижмахъ, на высокихъ каблукахъ, съ брильянтовымъ орденомъ на лѣвомъ плечѣ, писанная Лампи, улыбалась съ полотна своего очаровательною улыбкой.... Нѣсколько картинъ миѳологическаго содержанія опускались надъ карнизами библіотеки. Копія съ *Психеи* Кановы, дѣланная имъ самимъ, отражалась въ зеркалѣ на яшмовомъ каминѣ. На глянцовыхъ доскахъ столовъ тончайшей флорентійской мозаики разставлена была цѣлая коллекція фамильныхъ женскихъ портретовъ,—прелестныя акварели на кости, работы Изабея и Петитò, темноокія красавицы въ высокихъ пудреныхъ прическахъ à la jardinière, или съ разсыпанными, à la Récamier, кудрями по обнаженной груди и плечамъ...

Глаза Ашанина такъ и разбѣжались на роскошныхъ нимфъ и Кипридъ, словно возрадовавшихся ему со стѣнъ, какъ своему человѣку, едва вошли они вслѣдъ за хозяиномъ въ его покои...

— Ваше сіятельство, засмѣялся онъ,—это навѣрное вамъ писалъ Пушкинъ:

„Книгохранилище, кумиры и картины"

И *прочее тутъ все*, прибавилъ отъ себя Ашанинъ, обводя кругомъ рукою,—

„Свидѣтельствуютъ мнѣ,
Что благосклонствуешь ты музамъ въ тишинѣ!"

— Къ сожалѣнію, не мнѣ, улыбнулся и князь;—а музамъ, не скрываю, служилъ и я когда-то... Время наше было

таково,—я старый Арзамасецъ!... Гдѣ бы намъ удобнѣе усѣсться, господа? спросилъ онъ, окидывая взглядомъ кругомъ.

— Да не прикажете-ли вотъ тутъ? указалъ Ашанинъ на большой, покрытый до-полу сукномъ рабочій столъ князя, приставленный къ одному изъ оконъ и уложенный портфелями и кипами всякаго печатнаго и писаннаго матеріала,—тамъ, кажется, все, что̀ намъ нужно, карандаши, бумага...

Онъ не договорилъ: и въ синей бархатной рамѣ большой, очевидно, женскій, акварельный портретъ,—на который ужасно манило его взглянуть поближе.

— Пожалуй! съ видимою неохотою согласился князь, направляясь къ столу.

— Княжна! вскликнулъ Ашанинъ, подойдя;—какъ хорошъ, и какое удивительное сходство! Это вѣрно въ Римѣ дѣлано?

Гундуровъ не смѣлъ поднять глазъ...

— Въ Римѣ! отвѣчалъ князь Ларіонъ тономъ, явно не допускавшимъ продолженія разговора объ этомъ... Онъ усѣлся на свое плетеное кресло передъ столомъ.—И такъ, господа...

Они принялись „*очищать Гамлета*—ad usum Delphini“, съ несовсѣмъ искреннею насмѣшливостью говорилъ князь. Но Гундуровъ оказался здѣсь еще болѣе строгимъ, чѣмъ онъ самъ: онъ урѣзалъ въ своей роли всѣ слова, всѣ намеки, которыми Гамлетъ въ унылом разочарованіи оскорбляетъ чистоту *Офеліи*. Въ первомъ разговорѣ его съ нею выкинуты были двусмысленныя его рѣчи о несовмѣстимости женской красоты съ „*добродѣтелью*“ (слово—неправильно передающее въ русскихъ переводахъ англійское *honesty*). Въ сценѣ *театра* герой нашъ безжалостно пожертвовалъ традиціонною, со временъ Гаррика, и эффектнѣйшею для актера, позою *Гамлета*, который слушаетъ представленіе, откинувшись затылкомъ на колѣни *Офеліи*. Положено было, что вмѣсто словъ, „могу ли прикоснуться къ вашимъ колѣнямъ?“ *Гамлетъ* скажетъ: „позволите-ли мнѣ прилечь къ вашимъ ногамъ“, и, вслѣдъ за ея согласіемъ, тотчасъ же перейдетъ къ репликѣ: „и какое наслажденіе покоиться у ногъ прелестной дѣвушки!“ и усядется, какъ указано въ драмѣ, у ея ногъ,

но не прямо передъ нею, а нѣсколько сбоку,—такъ, какъ онъ представленъ на соотвѣтствующемъ рисункѣ въ извѣстномъ *Гамлетовскомъ* альбомѣ *Ретча*. Такимъ порядкомъ, употребляя выраженіе *образованной окружной*, „и ситуація была соблюдена, и конвенансы спасены...“ Князь Ларіонъ, знакомый съ *Гамлетомъ* только по англійскому тексту, напомнилъ было о пѣсни про *Валентинову день*, которую поетъ въ безуміи своемъ *Офелія*,—но выходило, что въ передѣлкѣ Полеваго изъ пѣсни этой изъятъ былъ тотъ „скабрезный“ смыслъ, какой она имѣетъ у Шекспира, и, благодаря хорошенькой музыкѣ Варламова, она пѣлась въ то время россійскими дѣвицами во всѣхъ углахъ государства:

„Милый другъ, съ разсвѣтомъ яснымъ
Я пришла къ тебѣ тайкомъ.
Валентиномъ будь прекраснымъ,
Выглянь,—здѣсь я, подъ окномъ!
Онъ поспѣшно одѣвался,
Тихо двери растворилъ,
Быть ей вѣрнымъ страшно клялся,
Обманулъ и разлюбилъ!“ и т. д.

Покончивъ съ этимъ,—Ашанинъ отмѣчалъ на режиссерскомъ экземплярѣ урѣзанныя ими мѣста,—собесѣдники на мигъ замолкли. Князь слегка откатилъ свое плетеное кресло отъ стола и повернулся всѣмъ лицомъ къ Гундурову:

— Къ дѣлу отъ бездѣлья, началъ онъ неожиданно, очевидно, наладивъ свои уста на улыбку;—что вы думаете изъ себя дѣлать теперь, Сергѣй Михайловичъ?

Какъ потокомъ холодной воды обдало Гундурова. Изъ міра золотыхъ сновъ его сразу опрокидывало въ самую неприглядную дѣйствительность. Онъ остался безъ отвѣта.

— Смѣю надѣяться, продолжалъ князь Ларіонъ съ тою же дѣланною улыбкой,—что вы не почтете мой вопросъ за нескромное любопытство. Я зналъ еще вашего покойнаго батюшку,—и очень цѣнилъ его... Старыя отношенія нашихъ семей... наконецъ мои годы,—я вамъ чуть не дѣдомъ могъ бы быть,—все это, если не даетъ мнѣ правъ, то въ нѣкоторой мѣрѣ можетъ служить мнѣ извиненіемъ. Къ тому же

сегодня, изъ нѣсколькихъ словъ, которыми я успѣлъ обмѣняться съ Софьей Ивановной, я могъ предположить, что она очень о васъ безпокоится...

Онъ пріостановился. Гундуровъ сосредоточенно внималъ ему... Еще внимательнѣе слушалъ Ашанинъ.

— Я самъ не знаю, что мнѣ предпринять! сжавъ брови, проговорилъ наконецъ герой.

— Я думалъ о васъ эти дни, заговорилъ снова князь.— Когда я, въ тотъ разъ, имѣлъ удовольствіе бесѣдовать съ вами, я вамъ говорилъ: терпѣніе и душевная бодрость!... Сегодня повторяю вамъ то же. Теперешнее...—онъ искалъ слово,—теперешнее... *теченіе* должно наконецъ измѣниться... такъ или инако... Ненормальныя положенія долго не длятся, словно проглотилъ онъ.—Но не въ этомъ дѣло. Прося о заграничномъ паспортѣ въ той формѣ, въ какой вы это сдѣлали, вы поступили, какъ неопытный юноша, обратили на себя вниманіе, когда теперь у насъ только тому и жить можно, кто проходитъ не замѣченнымъ. Дѣло вашей профессуры можетъ отъ этого пострадать, я отъ васъ не скрою... Все это однако дѣло поправимое. Мнѣ не нужно вамъ говорить, что я и... отношенія мои въ Петербургѣ къ вашимъ услугамъ съ этой же минуты... Но я прямо вамъ говорю, что ранѣе года возобновить дѣло о вашей поѣздкѣ за границу и думать нельзя...

— Если бы еще черезъ годъ! вскликнулъ Гундуровъ.

— Вы имѣете для этого, по-моему, въ рукахъ вѣрное средство.

— Я? какое? съ изумленіемъ спросилъ тотъ.

— Отправляйтесь, не медля, путешествовать по Россіи!

Ашанинъ закусилъ себѣ губы до боли. Пріятель его растерянно поглядѣлъ на князя:

— По Россіи? могъ только повторить онъ.

— Точно такъ-съ! Формально повинуясь резолюціи, воспослѣдовавшей на вашей просьбѣ; тамъ—какъ бишь было сказано: „изучать славянскій бытъ можно отъ Москвы и до Камчатки?...“ До Камчатки доѣзжать вамъ, разумѣется, не для чего, усмѣхнулся князь Ларіонъ,—а побывать на Уралѣ, въ Оренбургскомъ краѣ и на Кавказѣ, увѣряю васъ, принесло

бы вамъ столько же удовольствія, сколько и пользы. А черезъ годъ,—я берусь за это,—о васъ будетъ сдѣлано представленіе, въ которомъ пропишется, что вотъ вы, съ покорностью пріемля сдѣланное вамъ указаніе, совершили этнографическую поѣздку по Россіи, а теперь проситесь, для той же цѣли, въ славянскія земли... И повѣрьте моей старой опытности,— это будетъ очень хорошо принято, и васъ не только отпустятъ, но будутъ имѣть въ виду какъ молодаго человѣка *благонадежнаго*...

— Конечно, это можетъ быть, бормоталъ Гундуровъ, не успѣвъ еще собрать свои мысли,—но ѣхать такъ, безъ опредѣленной цѣли... У меня есть спеціальность...

— Спеціальность ваша остается при васъ, возразилъ ему князь, и еще разъ дѣланная улыбка зазмѣилась вдоль его длинныхъ губъ;—но позвольте одно замѣчаніе: вамъ двадцать-три года, вы носите старинную фамилію, у васъ хорошее состояніе; — думаете-ли вы отдать всю вашу жизнь этой вашей спеціальности?

— Почему же нѣтъ?

— Просто потому, что это, я полагаю, васъ удовлетворить не можетъ,—да еще потому, что не таковъ еще у насъ общій уровень просвѣщенія, чтобы вообще наука могла быть у насъ для человѣка тѣмъ, что называютъ карьерой. И въ Германіи Савиньи и Бунзены мѣняли свои каѳедры на министерскія кресла; а въ Россіи подавно для молодыхъ людей, какъ вы, каѳедра можетъ быть только ступенью...

— Я не честолюбивъ, сказалъ сухо Гундуровъ, — и на министерское кресло не претендую.

— Прекрасно-съ, — и губы князя словно судорожно повело, — вы не честолюбивы, вы единственно желаете быть профессоромъ; но профессуры вамъ пока не даютъ, и вы можете получить ее лишь при извѣстной разстановкѣ шашекъ, которую я имѣлъ сейчасъ честь представить вамъ, но пользу которой, какъ кажется, вы не совсѣмъ признаѣте. Затѣмъ, любезнѣйшій Сергѣй Михайловичъ, примолвилъ онъ, видимо сдерживаясь,—я позволю себѣ спросить васъ: что же предстоитъ вамъ теперь въ Москвѣ, какая дѣятельность, ка-

кіе живые интересы? Ваши книги, „спеціальность“ ваша, какъ вы говорите; — чудесно! Спеціальность эта, кстати замѣтить, имѣетъ, такъ сказать, два фаса: съ одной стороны, тѳ, чтѳ у васъ называется „славянская наука“; съ другой—политическаго рода стремленія, которыя разумѣются теперь подъ именемъ *славянскаго вопроса*. Тамъ, гдѣ все это имѣетъ положительное, разумное значеніе,—въ славянскихъ земляхъ, въ Прагѣ,—на первомъ планѣ стоитъ, разумѣется, послѣднее, а не первое. Сама эта „славянская наука“—послѣдствіе пробудившагося тамъ національнаго самосознанія, а не наоборотъ... Вы русскій, имѣющій корни въ русской землѣ, а не на берегахъ Валдавы... Тѳ, чтѳ тамъ — живая дѣйствительность, для васъ — насилованная фантазія и дилеттантизмъ!... И мечтаете-то вы всѣ здѣсь по этому поводу вовсе не о томъ, о чемъ *они тамъ* мечтаютъ!...

Онъ говорилъ спѣшно, отрывисто, нѣсколько желчно и только изрѣдка взглядывая на своего собесѣдника:

— Стихи Алексѣя Степановича *) прелестны, и самъ онъ замѣчательно умный человѣкъ, съ которымъ я имѣлъ случай довольно часто бесѣдовать нынѣшнею зимой... Но вѣдь все это — одна поэзія, къ несчастію!... Славянское *единство!* Кто его хочетъ въ дѣйствительности?... Какъ у насъ на это глядятъ *сверху*, лучшимъ отвѣтомъ можетъ вамъ послужить резолюція на вашемъ прошеніи... А *они тамъ*, я полагаю, „на яркій свѣтъ“ *нашей* „свободы“ **) не согласятся промѣнять свои, даже австрійскіе, порядки! снова точно проглотилъ князь и, нахмурясь, отвернулся къ окну, какъ бы недовольный собою...

— Я не могу съ вами согласиться, началъ было возражать Гундуровъ, — славянское единство, это все будущее наше!...

---

*) Хомяковъ.

**) О, вспомни ихъ, орелъ полночи,
Пошли имъ звонкій свой привѣтъ,
Да ихъ утѣшитъ въ мрачной ночи
Твоей свободы яркій свѣтъ.

Сѣверный орелъ. Стихотв. Хомякова.

— Виноватъ-съ, прервалъ его князь,—объ этомъ мы когда нибудь съ вами въ другой разъ... Я совершенно напрасно уклонился въ сторону... Мы говорили о васъ, о томъ, что васъ ожидаетъ. Я хотѣлъ только сказать, что для васъ, какъ для русскаго, отпадаетъ самая интересная, живая сторона вашей „спеціальности“. Остаются вамъ, слѣдовательно, — не совсѣмъ естественно засмѣялся князь Ларіонъ, — *Любушинъ Судъ* и историческіе памятники Святаго Вячеслава... Воля ваша, этимъ нельзя наполнить жизнь въ ваши лѣта? Что же-съ затѣмъ, въ теперешнемъ положеніи вашемъ, дастъ вамъ Москва? Что вы будете дѣлать? Изнывать въ безполезныхъ сѣтованіяхъ въ тѣсномъ кружкѣ друзей, слушать каждый вечеръ все ту же болтовню московскихъ умницъ, играть въ *дѣтской* въ Англійскомъ клубѣ?... Не думаете же вы, я полагаю, съ новымъ смѣхомъ примолвилъ онъ,—*обзавестись своимъ домкомъ* отъ скуки, жениться, какъ женятся въ Москвѣ, въ 23 года отъ роду, не создавъ себѣ положенія, ничего еще не сдѣлавъ ни для общества, ни для себя самого?...

И старый дипломатъ временъ Вѣнскаго конгресса—словно только и ждалъ онъ этой минуты,—остановилъ теперь на молодомъ человѣкѣ долгій, пристальный взглядъ.

— Вотъ онъ, „длинной рѣчи краткій смыслъ!“ проговорилъ внутренно Ашанинъ и, въ свою очередь, съ безпокойствомъ воззрился въ лицо пріятелю.

Но ни онъ, ни князь не прочли на немъ того, чего ожидали. Гундурокъ не понялъ; — пойми онъ, его молодое самолюбіе разразилось бы, вѣроятно, какимъ нибудь горячимъ, неосторожнымъ отвѣтомъ... Но развѣ онъ думалъ о „женитьбѣ,“ развѣ у него были какіе нибудь планы, какая нибудь опредѣленная мысль? „Ловкій подходъ“ князя, какъ говорилъ себѣ въ эту минуту Ашанинъ, прошелъ мимо, даже незамѣченный нашимъ героемъ. Въ прослушанныхъ имъ рѣчахъ для Гундурова звучало лишь отраженіе мнѣній и доводовъ его тетки, съ которою, надо быть, объяснялъ онъ себѣ, князь говорилъ о немъ, пока они съ Ашанинымъ курили въ саду... Никакихъ личныхъ намѣреній онъ со стороны князя не предполагалъ,—да и что онъ могъ предполагать? Князь говорилъ

дѣло, — кромѣ развѣ о „славянскомъ вопросѣ“, который онъ „разумѣлъ по-Меттерниховски“, на что у Гундурова и были готовы возраженія „на будущій разъ“. А затѣмъ то, какъ предлагалъ князь „разставить шашки“, чтобы устроить на будущій годъ его поѣздку за границу, даже очень понравилось Гундурову... Только „не теперь, не теперь, и поскорѣе кончить съ этимъ разговоромъ!“ внутренно восклицалъ онъ...

— Князь, сказалъ онъ громко, — я поставленъ теперь въ такое положеніе, что мнѣ, дѣйствительно, кажется, ничего болѣе не остается, какъ послѣдовать вашему совѣту. Я переговорю съ тетушкою, и она, вѣроятно, ничего не будетъ имѣть противъ такого моего путешествія... А на будущій годъ позвольте ужь мнѣ серьезно разсчитывать на ваше содѣйствіе?...

Морщины разомъ сгладились съ чела князя Ларіона. Онъ всталъ и протянулъ руку Гундурову.

— Я вамъ отъ души добра желаю, Сергѣй Михайловичъ, знайте это! искренно, почти горячо, проговорилъ онъ.

Молодой человѣкъ былъ тронутъ—и съ безмолвнымъ поклономъ пожалъ поданную руку...

Въ это время по всему дому раздался трескучій звонъ китайскаго гонга.

— Одѣваться! весело и насмѣшливо объяснилъ князь;—я долженъ предварить васъ, Сергѣй Михайловичъ, что княгиня Аглая Константиновна бывала въ англійскихъ замкахъ и ихъ обычаи перенесла теперь въ Сицкое: къ обѣду у нея являются не иначе, какъ во фракѣ и бѣломъ галстукѣ. Звонъ этого гонга обозначаетъ: къ туалету; черезъ часъ позвонятъ на дворѣ — къ обѣду. Соображайтесь....

Пріятели наши поклонились и вышли.

Князь Ларіонъ прошелъ за ними нѣсколько шаговъ, медленно оборотился и, когда они изчезли въ сосѣдней комнатѣ, вернулся къ своему рабочему столу, сѣлъ противъ портрета племянницы и, подперевъ голову обѣими руками, погрузился въ глубокую, сладкую и мучительную, старческую думу...

XVI.

— Каково ядовитъ старикъ-то этотъ? заговорилъ Ашанинъ, какъ только сошли они съ лѣстницы на дворъ, по пути къ своимъ комнатамъ.

Гундуровъ съ изумленіемъ поднялъ голову...

— Да что ты, лицемѣръ, или простофиля? даже разсердился его пріятель. — Ты въ самомъ дѣлѣ не разобралъ, къ чему онъ велъ рѣчь?

— Къ чему? разсѣянно повторилъ нашъ герой:—онъ совѣтовалъ мнѣ ѣхать по всей Россіи...

— Боже мой, какъ безтолковъ этотъ ученый народъ! воскликнулъ Ашанинъ, — да вѣдь это-жь онъ тебѣ въ ротъ положилъ! Весь этотъ разговоръ о его участіи къ тебѣ, о старыхъ связяхъ, о Славянофилахъ, о твоей карьерѣ, и чего онъ тутъ не наплелъ? — неужто-жь онъ даромъ сталъ бы кидать свои слова?... Вѣдь все-же это подведено было къ тому, чтобы какъ можно любезнѣе предварить тебя заранѣе, что „княжну не выдадутъ за 23-хъ-лѣтняго человѣка“, который „не создалъ себѣ еще никакого положенія“—и чтобъ ты, значитъ, отложивъ всякое попеченіе, отправился „не медля“ путешествовать по Киргизскимъ степямъ!... Или ты пропустилъ мимо ушей его слова?...

Гнѣвомъ, стыдомъ и страданіемъ исказилось все лицо Гундурова.

— Къ чему ты мнѣ это говоришь? обернулся онъ на пріятеля съ поблѣднѣвшими губами.

— Какъ къ чему, Сережа?...

— Да, къ чему? Вѣдь ты знаешь... что я никакихъ намѣреній... княженъ сватать не... имѣю, едва находилъ онъ силу выговаривать.

— Я знаю, Сережа, но...

— Ты... ты привезъ меня сюда играть... играть, а не... Ты... или этотъ князь... вы... Что вы хотите отъ меня на конецъ! почти взвизгнулъ Гундуровъ.

— Да ничего же отъ тебя не хотятъ... Сумасшедшій!

— А не хотите, такъ оставьте вы меня всѣ въ покоѣ!...

И, махнувъ отчаянно рукою, онъ побѣжалъ ко флигелю, на крыльцѣ котораго давно его ждалъ Ѳедосей.

Чернокудрый пріятель его остановился посреди двора, не зная, итти-ли за нимъ, или дать простыть его первому пылу.

— Однако, говорилъ онъ себѣ мысленно,—какъ онъ врѣзался, бѣдняга!... И это съ двухъ... чего? — съ одного разу! Вотъ эти *дѣвственные*, загорятся сразу, какъ копна горятъ!... И отвести его теперь поздно... Станетъ онъ теперь мучиться, безумствовать,—и я вѣдь знаю его, онъ на все способенъ; я помню, какъ въ пансіонѣ онъ изъ втораго этажа выскочить хотѣлъ, когда его вздумалъ высѣчь инспекторъ... Весь вопросъ теперь въ томъ, что *она*, раздѣляетъ-ли?... Сегодня она меня что-то очень подробно разспрашивала о немъ... Съ другой стороны, эта нотація князя... Такъ или иначе, Жаръ-птицу по-моему добыть легче!... Эхъ, Сережа мой бѣдный, надо же... И это они называютъ жизнью? Нѣтъ! И въ подвижномъ воображеніи Ашанина закопошились тутъ-же обычныя представленія, — нѣтъ; вотъ эту быстроглазую Акулину, напримѣръ, „къ груди прижать во тьмѣ ночной“—дѣло будетъ другое!... А все же такъ этого оставить нельзя! Разъ Сережа избѣгаетъ даже говорить со мной, надо предварить его тетушку.

И Ашанинъ вернулся въ домъ — отыскивать г-жу Переверзину.

Въ это же время, въ одной изъ садовыхъ бесѣдокъ, куда, по выходѣ изъ театральной залы, исправникъ Акулинъ увелъ свою дочь, происходилъ между ними слѣдующій разговоръ:

— Потрудитесь объяснить мнѣ, сударыня, говорилъ роди-

тель, отдуваясь отъ спѣшной ходьбы, — на что тебѣ нужно Ранцова предъ всѣмъ обществомъ шутомъ выставлять,—а?

— А вамъ-то что до этого? отвѣчала на это дочка, — и для этого только вы меня сюда и увели? Я даже понять не могла, что за смѣхъ такой!...

— А что я тебѣ скажу? возразилъ исправникъ,—что онъ, видя твое грубіянство, плюнетъ и откланяется тебѣ!...

— Во-первыхъ, не говорите „плюнетъ", потому что это въ высшей степени mauvais genre, и вы, какъ сами служили въ гвардіи, должны знать это! Во-вторыхъ, мой капитанша откажется отъ меня только, когда я сама этого захочу. Въ-третьихъ, ну, онъ откажется: что-жь за бѣда такая?

— А такая, что послѣ кащея этого, Тарусова, что ему четвероюроднымъ какимъ-то приходился, досталось ему нежданно-негаданно богатѣйшее имѣніе, да тысячъ сто на старыя ассигнаціи денегъ, что онъ любую княжну въ Москвѣ за себя можетъ взять, — вотъ что! А у насъ съ тобой жаворонки въ небѣ поютъ, да и вся тутъ!...

Бойкая барышня вспыхнула, какъ піонъ:

— Что-жь, это вы мнѣ никого лучше найти не могли, какъ армейскаго, необразованнаго *Ваше Благородіе?* Развѣ я на то воспитывалась въ Институтѣ, чтобъ *капитаншею* быть? Развѣ...

— И, матушка! перебилъ ее, махая руками, толстый Елпидифоръ, — васъ тамъ, что цыплятъ у ярославскаго курятника, штукъ шестьсотъ заразъ воспитывается; такъ на всѣхъ-то на васъ, пожалуй, *Вашихъ Свѣтлостей* и не хватитъ.

— Да развѣ я была какъ всѣ, какъ всѣ *шестьсотъ?* Когда вы меня брали, вы не помните развѣ, что вамъ сказала maman? назвала она институтскимъ языкомъ начальницу заведенія. — „Notre cher rossignol", сказала она вамъ про меня; она чуть не плакала, что вы меня взяли до выпуска... Я на виду бывала! Меня всѣ знали, баловали, всѣ изъ grand monde'a, кто ни пріѣзжалъ... Сама Государыня сколько разъ заставляла пѣть!... Если бы вы не взяли меня тогда, я могла съ шифромъ выйти, я изъ первыхъ училась, — могла бы ко

двору попасть за голосъ, какъ фрейлина Бартенева; grande dame была бы теперь!... И послѣ этого я должна, по-вашему, *отставною капитаншею* сдѣлаться.

Она чуть не рыдала; но вдругъ вспомнила, оборвала — и, подступая ближе къ отцу:

— Да что вамъ вздумалось мнѣ теперь про него говорить, спросила она,—когда вы знаете, *кого* я имѣю въ предметѣ?

— Вотъ то-то, матушка, вздохнулъ на это исправникъ,— когда-бъ ты не такъ пылка была, да не закидывала меня твоими *грандъ-дамами*, такъ у насъ, пожалуй, ладъ бы вышелъ иной.—Ты съ чего взяла, во-первыхъ, что *онъ* къ тебѣ склонность имѣетъ?

— Я же говорила вамъ:—когда я сюда пріѣхала гостить, въ первый же день *старуха* (увы, что сказала бы княгиня Аглая Константиновна, если бы знала, какъ ее обзывала барышня!) заставила меня пѣть, и я спѣла: „я помню чудное мгновенье". Онъ былъ внѣ себя отъ восторга, подошелъ, нѣсколько разъ жалъ мнѣ руку, даже поцѣловалъ одинъ разъ, кажется, и потомъ каждый вечеръ заставлялъ пѣть, — все опять „я помню", шутилъ, любезенъ былъ... Ну, извѣстно, какъ когда человѣкъ занятъ женщиною... Вы тогда пріѣхали, и я вамъ разсказала... И вы тогда сами мнѣ сказали: „гляди, Оля, умна будешь, большаго осетра можно выловить!" Вѣдь говорили вы?

— Говорить говорилъ, не отказываюсь, — Елпидифоръ Павлычъ почесалъ себѣ за ухомъ,—говорилъ потому, что эту Шастуновскую породу знаю, — слышалъ! Покойный князь Михайло Васильевичъ въ свое время пропадалъ изъ-за женщинъ... *Этотъ* опять, когда товарищемъ министра былъ,—я въ Лейбъ-Уланскомъ полку еще служилъ,—въ Петергофѣ по лѣтамъ жила его тогдашній предметъ, замужняя, одного доктора жена, красавица!... Я всю эту исторію зналъ... Мужъ ни за что разводной ей дать не хотѣлъ, а то бы онъ на ней непремѣнно женился. Всѣмъ пренебрегъ, имя свое, мѣсто, въ фаворѣ какомъ былъ тогда,—все это ему было ни почемъ! Всѣмъ жертвовать былъ готовъ ей... Только она въ скорости

тутъ умерла; такъ его самъ Государь, говорятъ, послѣ этого за границу послалъ, а то мало съ ума не сошелъ отъ горя... Такъ вотъ, зная, разъ, какіе они люди страстные; во-вторыхъ, что подъ старость еще сильнѣй бываетъ эта слабость,— что-жь, думаю, попытка не пытка; авось и съ нашей удочки клюнетъ!... Ты же у меня уродилась такая, что у тебя на мужчину въ каждомъ глазу по семи чертей сидитъ...

— Я васъ и послушалась, молвила Ольга Елпидифоровна, невольно усмѣхнувшись такому неожиданному опредѣленію ея средствъ очарованія,—и все повела, какъ слѣдуетъ...

— Ну, и...? крякнулъ, подмигнувъ, исправникъ.

— Что „ну?“...

— Ни съ мѣста?...

— Да, дѣйствительно, сжавъ въ раздумьи брови, созналась барышня,—я въ эти послѣдніе дни стала замѣчать...

— То-то!... И, по-твоему, какъ это понимать надо?

— Старъ... выдохся! Она презрительно повела плечомъ.

— Анъ и ошиблась!... И я ошибся, повинился достойный родитель.

— Что же, по-вашему? Она остановила на немъ разширенные зрачки.

— И не выдохся, и даже очень пылаетъ... да только не про насъ!...

— Что-о? протянула Ольга Елпидифоровна, — онъ влюбленъ... въ другую?..

— А сама-то и не замѣтила! Онъ закачалъ головою. — Эхъ вы! Прозорливы, только пока самолюбіемъ глаза вамъ не застелетъ!...

— Да въ кого, въ кого же, говорите? И она нетерпѣливо задергала отца за рукавъ.

Толстый Елпидифоръ поднялся со скамьи, обошелъ кругомъ бесѣдки, заглянулъ въ сосѣдніе кусты, сѣлъ опять, привлекъ къ себѣ за руку дочь и шепнулъ ей на ухо:

— Въ княжну!

— Въ племянницу? вскрикнула барышня. — Не можетъ быть!...

Исправникъ зажмурилъ глаза и повелъ головою сверху внизъ:

— Есть! прошепталъ онъ:—по полицейской части не даромъ двѣнадцатый годъ служу, съ меня одного взгляда довольно!...

— Ахъ онъ противный! еще разъ вскрикнула Ольга Елпидифоровна.

— Ссс!... Halt's Maul! говорятъ нѣмцы. И Боже тебя сохрани хотя видомъ показать, что ты объ этомъ прочуяла!.. Ты тамъ себѣ, матушка, *гранддамствуй* сколько тебѣ угодно, только помни одно, что отецъ у тебя — горшокъ глиняный; такъ чугунные-то ему, только притронься, всѣ бока протычутъ... А брюхо у меня объемное, сама видишь, ѣсть много проситъ...

Барышня примолкла и опустила голову. И у нея теперь, какъ у Лафонтеновской *Перреты*, лежала въ ногахъ разбитая молочная кринка, на которой строила она свое воздушное княжество...

— Какъ же быть теперь? проговорила она озабоченно.

— Какъ быть? повторилъ толстякъ;—очень просто! я тебѣ сейчасъ...

— Нѣтъ! перебила она и топнула ногою, — вы мнѣ про Ранцова и говорить не смѣйте!... Хоть бы сами подумали: ну, *что* я изъ него могла бы сдѣлать?... Нѣтъ, я ужь лучше за Мауса пошла бы!...

— За стряпчаго-то? Исправникъ скорчилъ гримасу.

— Онъ не стряпчій просто,—онъ правовѣдъ! На тридцать первомъ году онъ будетъ статскій совѣтникъ, онъ мнѣ самъ на бумажкѣ высчиталъ. Я всѣ чины знаю, и производство,— выходило вѣрно!... И у отца его большая практика, и онъ одинъ сынъ...

— Какъ знаешь! пожалъ плечами Акулинъ:—только вотъ что, Оля, примолвилъ онъ какъ-то странно помаргивая своими заплывшими глазками, — ты ужь Ранцева не срами!... Для меня хоть!...

Она глянула ему прямо въ лицо:

— Опять профершпилились?

— Такое чертовское несчастье! вскрикнулъ онъ, ударяя

себя что-мочи по боку; — третьяго дня у Волжинскаго пять талій сряду,—въ лоскъ!... Послѣдніе десять цѣлкашей, сюда ѣдучи, отдалъ... То есть, à la lettre, ни гроша!...

— Вы капитану сколько ужь должны? спросила барышня.

— Семьсотъ... кажется! неувѣренно пробормоталъ онъ.

— А теперь сколько вамъ надо?

— Да еслибъ... полтысячки далъ...

— Хорошо, я ему скажу.

— Ахъ ты мой министръ финансовъ! восторженно возгласилъ толстый Елпидифоръ, схватилъ обѣими руками дочь за голову и звучно чмокнулъ ее въ лобъ.

— То-то министръ! досадливо промолвила она, поправляя прическу, — а вы-то... Она не договорила и ушла изъ бесѣдки...

— А ты все-же погоди, старикашка противный, утѣшала она себя по пути,—я тебѣ отомщу!...

Какъ она ему отомститъ, она, разумѣется, не знала...

XVII.

Ашанинъ стоялъ передъ Софьей Ивановной въ комнатѣ, которую она занимала въ большомъ домѣ, со шляпою въ рукѣ, готовый уйти. Онъ только-что успѣлъ передать ей разговоръ ихъ съ княземъ, „припадокъ“ Сергѣя и свои опасенія за него...

На умномъ лицѣ Софьи Ивановны читалось заботливое раздумье;—она обсуждала и соображала:

— Что онъ (то-есть, князь Ларіонъ), говорила она,—сказалъ это въ *томъ* намѣреніи, вы не ошибаетесь, и я даже не могу на него за это сердиться... Предварилъ заранѣе—дѣло сдѣлалъ!... хотя я опять таки не пойму, изъ-за чего онъ такъ заранѣе обезпокоился!... Вѣдь не могъ же Сережа дать ему повода... Я его знаю,—что̀ бы ни происходило у него теперь на душѣ, онъ слишкомъ благовоспитанъ, чтобы показать...

— Онъ ничѣмъ и не показывалъ, завѣрилъ Ашанинъ,—и ни бровью не моргнулъ; мы же все вмѣстѣ на сценѣ были... а вы изъ залы видѣли...

— Такъ съ чего же вздумалъ этотъ старый мудрецъ?... размышляла Софья Ивановна.

— Я начинаю подозрѣвать... не замѣтилъ-ли онъ чего нибудь со стороны...

— Со стороны княжны! договорила она, быстро вскинувъ глазами на молодаго человѣка: — едва-ли!... Она такъ сдержанна!... Да и много-ли они видались-то съ Сережей?... А мила-то она, ужь какъ мила! вздохнула, помолчавъ, тетка Гундурова;—нѣтъ, это онъ такъ, съ большой хитрости... Каподистрію вспомнилъ! засмѣялась она привычнымъ своимъ, коротким̀ъ, обрывистымъ смѣхомъ.

Ашанинъ положилъ шляпу, пододвинулъ стулъ и сѣлъ подлѣ нея:

— Софья Ивановна, началъ онъ шопоткомъ,—а что же... если бы княжна дѣйствительно... отчего же бы?...

— И, милый мой, махнула она рукой,—развѣ объ этомъ возможно думать? Развѣ они такіе люди? *Эта Аглая* — ну, само собою!... А то, вы видите, и онъ... бояринъ опальный,— и онъ туда же!...

— Я все это очень хорошо знаю и понялъ съ перваго раза, молвилъ красавецъ; — но вѣдь, если посмотрѣть поближе, съ фанаберіею этой можно же и сладить. Вѣдь ничего же существеннаго они противъ Сережи сказать не могутъ. „Положеніе?“ Да какое тамъ „положеніе“ бываетъ въ наши года?... А если только княжна захочетъ, чѣмъ же Сережа ей...

— А тѣмъ, не давъ ему договорить, съ сердцемъ возразила Софья Ивановна, — что такая ужь у насъ безобразная страна вышла, что *Гундуровъ* — а Гундуровы-то, вы знаете, все одно, что Всеволожскіе, да Татищевы, только титла не носятъ, а тѣ же Рюриковичи, — Гундуровъ не *партія* для княжны Шастуновой; а вотъ какой нибудь Фитюлькинъ въ аксельбантахъ—тотъ женихъ, и аристократъ, потому что повезетъ жену на балъ въ Концертную залу!...

— На то онъ и Фитюлькинъ; зазмѣялся Ашанинъ, — у насъ, извѣстно, „чѣмъ новѣе, тѣмъ знатнѣй!“

— „Тѣмъ знатнѣй,“ машинально повторила Софья Ивановна:—кто бишь это сказалъ?

— Пушкинъ.

— Да, да!... Прекрасно сказано... Очень ужь ихъ любятъ *тамъ*, этихъ новыхъ!... Они надежнѣе, видите-ли, вѣрнѣе старыхъ родовъ... Мы, видите-ли, революціонеры!...

Софья Ивановна пожала плечеми и торопливо нюхнула табаку изъ крошечной золотой табакерки, которую носила подъ перчаткой; перчатки же, по старой привычкѣ, — и не иныя какъ *шведскія*,—никогда не сымала, когда была въ гостяхъ.

— И чутьемъ чую, продолжала она,—да и вскользь слышала даже отъ кого-то въ Москвѣ, не помню, что какого-

либо такого да непремѣнно ужь имѣютъ они въ предметѣ для княжны... *Эта Аглая*, то-есть! поправилась Софья Ивановна. Она хоть и сердилась на князя Ларіона и въ душѣ чувствовала себя очень оскорбленною имъ за племянника, но все-жь онъ былъ для нея не „*Эта Аглая...*“

— А мы съ Фитюлькинымъ *прю* заведемъ! сказалъ смѣясь Ашанинъ, почитывавшій иногда издававшійся въ тѣ годы покойнымъ Погодинымъ *Москвитянинъ*.

Софья Ивановна не весело закачала головой:

— Бѣдный мой Сережа!... Вы говорите, онъ и не догодался?... Чистъ — и простъ! коротко засмѣялась она, — какъ голубь!... И совѣтъ о путешествіи принялъ съ благодарностью? Что же? Это хорошо, очень хорошо! Только скорѣе бы, скорѣе его отправить!... Знаете, мой милый, я чѣмъ болѣе думаю... я даже очень рада, что князь Ларіонъ прочелъ ему эту, какъ вы говорите, „нотацію“. И вы очень хорошо сдѣлали, что ему объяснили... Только ужь теперь ни слова болѣе! На него насѣдать не надо! Онъ гордъ и самолюбивъ до крайности... вы ужь оставьте его со всѣмъ съ этимъ, пусть онъ самъ... И я, сегодня же, сейчасъ послѣ обѣда, уѣзжаю къ себѣ въ Сашино,—мнѣ къ тому же *эта Аглая* не по силамъ... Это важничанье, глупость!... Предоставимъ его себѣ, его собственному разсудку, вотъ какъ Mentor, когда онъ оставилъ Телемака на островѣ Калипсо, улыбнулась милая женщина:—я такъ думаю, что съ нимъ произойдетъ... какъ это говорится?—une réaction. Ахъ, еслибъ этотъ не вашъ дурацкій спектакль, я бы его, кажется, завтра же въ дорогу снарядила!...

— Однако мнѣ пора, Софья Ивановна, сказалъ, подымаясь, Ашанинъ, — одѣваться; да и вамъ также... Здѣсь, вы знаете, къ обѣду—какъ на балъ!...

— У меня моя robe feuille-morte неизмѣнно, живо возразила она,—другаго для beaux yeux Аглаи не надѣну!...

Она встала проводить его...

— Сережа влюбленъ! начала она опять, останавливаясь у дверей; — признаюсь вамъ, я до сихъ поръ помириться съ этой мыслью не могу. Съ каждымъ молодымъ человѣкомъ это бываетъ, но при его характерѣ... это можетъ быть опасно...

очень опасно!... Мнѣ даже представляется теперь, что, кажется, лучше было бы, если бы онъ...

— На меня походилъ? договорилъ со смѣхомъ Ашанинъ;— признайтесь, генеральша, что вы именно объ этомъ подумали въ эту минуту?

— Ну, нѣтъ, полушутливо, полусурьезно отвѣчала она,— отъ этого Боже сохрани каждаго! Очень ужь вы безнравственны, мой милый! Только Богъ васъ знаетъ, какъ это вы дѣлаете, что на васъ сердиться нельзя... Сердце-то у васъ золотое, вотъ что! И я вамъ отъ сердца благодарна за вашу дружбу къ Сережѣ...

— Нѣтъ, генеральша, комически вздохнулъ неисправимый шалунъ,—я больше за добродѣтель мою погибаю! И тяжкія наказанія за это несу, очень тяжкія!...

Софья Ивановна взглянула на него:

— Господи, да ужь не напѣли-ли вы чего гувернанткѣ здѣшней? внезапно пришла ей эта мысль.

— Вы почемъ знаете? съ удивленіемъ спросилъ онъ.

— Да она тутъ сейчасъ была: Аглая ее ко мнѣ приставила, и она меня устраивала въ этой комнатѣ... Гляжу, а на ней лица нѣтъ.—Что съ вами, говорю, моя милая? Вы, кажется, чѣмъ-то разстроены? А она—въ слезы и выбѣжала вонъ...

— Въ слезы, непремѣнно-съ! закивалъ утвердительно Ашанинъ,—слезъ у нея много! Вотъ если-бъ у меня столько же денегъ было!...

— Ахъ, вы, негодникъ! Да вѣдь она и не молода ужь?

— Не молода, Софья Ивановна! повторилъ онъ съ новымъ вздохомъ.

— И даже не очень хороша?

— Даже очень не хороша, Софья Ивановна!

— Никому-то у него пощады нѣтъ, безсовѣстный человѣкъ! Ну, на что она вамъ, несчастная, нужна была?

— А у насъ, видите-ли, матери *Гамлета* не было, и некому кромѣ нея играть. А она уперлась какъ коза: не хочу, да и все тутъ!... Я собою и пожертвовалъ!...

Софья Ивановна не на шутку разсердилась:

— Подите вы отъ меня съ вашими гадостями! И хороша

причина — *Гамлетъ*! Да если бы вы этого вздора здѣсь не затѣяли, Сережѣ поводу не было-бъ безумствовать!...

— Чему быть, тому не миновать, Софья Ивановна, смиренно замѣтилъ на это Ашанинъ,—не здѣсь, такъ у васъ въ Сашинѣ встрѣтился бы онъ съ княжною.

Она не нашла возраженія на этотъ доводъ.

— А все же вы безстыдникъ! проговорила она еще сердито.

Шалунъ отвѣчалъ ей глубокимъ поклономъ и побѣжалъ въ свою комнату. Гундурова онъ уже не засталъ; по словамъ Ѳедосѣя, онъ, одѣвшись, ушелъ въ садъ прогуляться до обѣда.

XVIII.

Vanitgs'fair!

Княгиня Аглая Константиновна съ жизнью англійскихъ замковъ была, дѣйствительно, какъ говорилъ князь Ларіонъ, знакома; то есть, въ сущности, она была однажды въ *Шипмоунткаслѣ*, замкѣ лорда Динмора, въ Кемберлендѣ, куда приглашена была „на восемь дней“ *) съ мужемъ, состоявшимъ тогда при Лондонскомъ посольствѣ, года полтора послѣ своего замужства. Но эти восемь дней, проведенные въ обществѣ чистокровнѣйшихъ *вискоунтовъ* и элегантнѣйшихъ marchionesses (маркизъ), остались навсегда лучезарнѣйшимъ воспоминаніемъ ея жизни, и она гордилась имъ болѣе, чѣмъ всѣми почестями, довлѣвшими ей впослѣдствіи при томъ маленькомъ германскомъ дворѣ, при которомъ князь Михайло Шастуновъ состоялъ представителемъ Россіи... Не на розовомъ ложѣ, сказать кстати, прошло для новобрачной Аглаи пребываніе ея въ Лондонѣ. Князь Михайло, самъ воспитанный въ Англіи, принятый тамъ въ обществѣ какъ свой, не измѣнилъ ни своего образа жизни, ни отношеній, женившись противъ воли на россійской дѣвицѣ Раскаталовой; онъ, на первыхъ же порахъ, предоставилъ ей проводить жизнь, какъ ей заблагоразсудится, а самъ проводилъ ее у ногъ одной, тогда весьма извѣстной, обаятельной умомъ и красотою и эксцентричной лэди,—которая, упомянемъ мимоходомъ, послѣ двухлѣтней съ нимъ связи, въ одинъ прекрасный Божій день уле-

*) Такія приглашенія въ Англіи бываютъ всегда на срокъ, по истеченіи котораго гостившіе уступаютъ мѣсто новымъ приглашеннымъ.

тѣла отъ него въ Италію, вышла тамъ отъ живаго мужа за немолодаго уже, но еще сладкозвучнаго тенора, кинула его черезъ полгода, вступила въ третій бракъ съ однимъ очень красивымъ, но очень глупымъ греческимъ офицеромъ, дала ему плюху на другой же день послѣ свадьбы за то, что онъ ѣлъ оливки руками, бросила и его и умерла наконецъ отъ побоевъ четвертаго супруга, шейха одного Бедуинскаго племени, заставшаго въ своемъ кочевомъ шатрѣ in criminal conversation съ какимъ-то Французомъ, путешествовавшимъ по Аравійской степи... Дерзость и насмѣшки этой сумасбродной, но блестящей женщины, съ которою ревнивая Аглая имѣла неосторожность гдѣ-то сцѣпиться, оскорбленное самолюбіе, скука одиночества, неудовлетворенная страсть къ красавцу-мужу чуть было совсѣмъ съ ума не свели ее тогда. Но за то она провела „восемь дней“ въ Шипмоунткаслѣ и во всѣ эти восемь дней, въ своемъ качествѣ princess, *) брала, по іерархическимъ обычаямъ англійскаго peerage, шагъ къ обѣду надо всѣми тутъ бывшими герцогинями и маркизами, и—что̀ въ ея Раскаталовскихъ понятіяхъ было гораздо для нея лестнѣе,—даже надъ женою одного изъ тогдашнихъ англійскихъ министровъ,—„figurez Vous cela, ma chère!“ долго еще потомъ удивлялась она, разсказывая объ этомъ пріятельницамъ своимъ на континентѣ... Политическая и культурная Англія ничего не прибавила къ умственному запасу нашей princess'ы; проживъ тамъ болѣе трехъ лѣтъ, она трехъ фразъ не могла сложить по-англійски; для чего, „когда есть тамъ свой король“, собираются еще люди въ какой-то *парламентъ*, значеніе котораго, когда она еще дѣвочкой была, madame Crébillon, воспитательница ея и бонапартистка, объясняла ей такими словами: „*un parlement*, ma chère amie,—ainsi nommé parcequ'on y *parle* et qu'on y *ment*“, и какъ этотъ англійскій король позволяетъ этимъ людямъ „болтать и лгать“ въ этомъ парламентѣ,—она до конца уяснить себѣ не могла. Разница между *вигами* и *торіями*, почему *лордъ-мэръ* „не настоящій

*) *Съ княжескимъ* титуломъ въ Англіи, какъ и вообще на Западѣ, всегда соединяется понятіе царственнаго происхожденія.

лордъ, когда онъ называется лордомъ", что̀ значитъ „Оранскій домъ", и „что̀ такого хорошаго въ этомъ Байронѣ, dont parle toujours Michel", т. е. ея мужъ,—всѣ эти хитросплетенныя мудрости такъ и остались для нея на всю жизнь не разобранными гіероглифами. Но за то въ эти незабвенные восемь дней, проведенные ею въ Шипмоунткаслѣ, Аглая Константиновна постигла высшимъ наитіемъ всѣ тайны внѣшняго облика англійской аристократической жизни, уразумѣла всѣ порядки богатаго англійскаго дома, отъ drawing room'a (гостиной) и до конюшни, отъ столовой *сервировки* и до покроя выѣздныхъ ливрей. Чинный, чопорный, важный складъ этихъ порядковъ, эта широкая, преемственная, величавая обстановка существованія, презрительно относящаяся ко всякой эффектности, но въ которой, отъ стараго слуги и до игорной щетки, все носитъ на себѣ характеръ какой-то незыблемости и почтенности (respectabillty), поразили ее своимъ глубокимъ противорѣчіемъ съ безалаберною, полутатарскою, шероховатою, всегда словно случайною и вчерашнею, русскою роскошью, — тою дикою роскошью, среди которой взросла она сама подъ раззолоченными карнизами своего отчаянно икавшаго послѣ обѣда „папаши"... Въ силу какихъ историческихъ и нравственныхъ условій все это сложилось и могло держаться тамъ такъ величаво и почтенно и такъ безтолково и распущенно въ родныхъ палестинахъ, Аглая сообразить была не въ состояніи, да и не думала объ этомъ. Вся сумма ея впечатлѣній выразилась въ одной мысли: „вотъ какъ должны жить les gens comme nous!"... И съ этой минуты, съ этихъ блаженныхъ „восьми дней" въ Шипмоунткаслѣ, предъ нею выросъ идеалъ: „поставить домъ мой на англійскую ногу". Каждому свое, сказалъ древній мудрецъ. Кто знаетъ, какъ безъ этого идеала совладала бы Аглая съ муками своей ревности, съ тѣмъ „délaissement", какъ выражалась она, въ какомъ оставлялъ ее мужъ до того дня, когда, почувствовавъ въ груди первые признаки унесшей его два года потомъ болѣзни, онъ воротился, усмиренный и кающійся, къ семейному очагу,—къ очагу, устроенному ею „на англійскую ногу"? Кто знаетъ, отъ какихъ соблазновъ спа-

сали Аглаю глубокомысленныя соображенія о выборѣ вензеля на новый фарфоровый сервизъ къ столу, или цвѣта матеріи для заказаннаго въ Лондонѣ кэба? А сколько несказанныхъ утѣшеній доставляло ей изумленіе и тотъ даже нѣкоторый терроръ, которые, бывши уже посланницей, внушала она пышнымъ устройствомъ своего дома разсчетливымъ нѣмцамъ, при которыхъ мужъ ея былъ аккредитованъ, и корреспонденціи изъ обитаемаго ею города въ парижскія газеты, въ которыхъ говорилось: „la grande existence, le luxe intelligent de monsieur le prince de Szastounof, ministre de Russie“, или уже прямо о ней, о томъ, что было ей такъ близко: „la tenue *toute anglaise* de la maison de madame la princesse de Szastounof„, и т. п....

Въ Сицкомъ, еще до пріѣзда, приняты были ею мѣры для устройства жизни въ то же подобіе незабвеннаго Шипмоунткасля. Заказаны были новая каменная ограда и левъ съ гербомъ на воротахъ, знакомые уже нашему читателю. Многочисленная, оплывшая отъ бездѣйствія въ продолженіе долгаго отсутствія господъ, дворня была заранѣе обмыта, выбрита, острижена, облечена въ безукоризненные черные и ливрейные фраки, обута въ сапоги безъ каблуковъ, — „чтобъ на-ходу не стучали“, писала княгиня своему управляющему,—и мягко выступала теперь по коврамъ и паркетамъ, внимательная, степенная и безмолвная... Изъ-за границы ожидались оставленные тамъ всякіе экипажи. Присланнымъ изъ Москвы живописцемъ изготовлена была для большой гостиной копія съ портрета старика князя Шастунова, такъ какъ князь Ларіонъ не соглашался на перенесеніе оригинала изъ своихъ покоевъ, а по понятію Аглаи Константиновны „dans un premier salon надо непремѣнно un portrait d'ancêtrs“... Monsieur Vittorio, главный исполнитель ея распоряженій и мажордомъ, велъ бдительный надзоръ за порученными наемнымъ и дворовымъ мастеровымъ всякими передѣлками и починками по дому, и ходилъ каждое утро со своими книгами и доносами къ княгинѣ, которая провѣряла первыя до малѣйшей копѣйки, а по вторымъ клала собственноручныя, большею частію строгія, резолюціи... Распредѣленіе вре-

мени „однажды навсегда“ велось по хронометру покойнаго князя Михаила Васильевича, который Vittorio приказано было носить въ карманѣ жилета „въ особомъ кожаномъ мѣшечкѣ“, и по которому повѣрялись черезъ день всѣ часы дома. Трапезы имѣли чисто англійскій характеръ: утромъ въ 10 часовъ сервировался первый завтракъ, breaufast — чай, масло, яйца, картофель и холодная говядина; въ 2 часа пополудни подавали второй завтракъ, luncheon,—вѣрнѣе, цѣлый обѣдъ изъ 4 блюдъ, только безъ супа и безъ сладкаго. Обѣдали въ шесть, „car ces estomacs russes ne pourraient jamais attendre plus longtemps“, разсудила Аглая Константиновна. Между завтраками предоставлялось каждому дѣлать изъ себя, что угодно; отъ 3-хъ часовъ до обѣда предполагались прогулки или поѣздки „en commun, любоваться на виды“, — время это теперь занято было репетиціями. „Для серьезныхъ людей“ подлѣ столовой устроена была readingroom, читальня, гдѣ на большомъ кругломъ столѣ разложены были *Indépendance* belge и *Journal de St. Petersburg*, какія-то выписываемыя по старой памяти бывшею посланницей *Hannoversnachrichten*, и изъ русскихъ *Сѣверная пчела* и *Современникъ*, „pour être au courant de la littérature national“, покровительственно говорила владѣлица Сицкаго...

Но англійскіе порядки княгини Аглаи Константиновны приходились, видно, „не по зубамъ“, какъ выражался исправникъ Акулинъ, большинству соотечественниковъ, подъ предлогомъ репетиціи наѣхавшихъ къ ней изъ окрестностей, въ разсчетѣ на безцеремонные обычаи стародавняго барскаго хлѣбосольства. Пораженные вѣстью о бѣлыхъ галстукахъ и платьяхъ *декольте* къ обѣду, отяжелѣвшіе помѣщики и распустившіяся въ деревенской лѣни сосѣдки поспѣшили убраться по домамъ и, трясясь въ своихъ доморощенныхъ бричкахъ, долго и злобно, съ высоты своего оскорбленнаго дворянскаго достоинства, обзывали бывшую посланницу *„кабацкою павой“* и „зазнавшимся *Раскаталовскимъ отродьемъ*“, — что впрочемъ нисколько не помѣшало тому, что въ тотъ же вечеръ, на двадцать пять верстъ кругомъ, вытаскивались изъ старыхъ сундуковъ залежалые фраки и отстав-

ные мундиры, и всякія Аришки и Палашки кроили при свѣтѣ сальной свѣчи разновиднѣйшихъ фасоновъ кисейныя и барежевыя платья, „на случай“; приказывали имъ господа, „соберемся какъ нибудь къ Шастуновымъ опять“... Въ Сицкомъ остались обѣдать почти исключительно участвовавшіе въ спектаклѣ. *Пуляркu*, во избѣжаніе новой обиды ихъ, или новаго скандала съ ихъ стороны, заботливо поручены были отъѣзжавшими мамашами ближайшему надзору и покровительству *образованной окружной*.

XIX.

Люблю я часъ
Опредѣлять обѣдомъ, чаемъ...
Пушкинъ.

Обѣдъ былъ отличный, а сервировка его еще лучше. Хозяйка, сидѣвшая между Чижевскимъ, генералъ-губернаторскимъ чиновникомъ и Зяблинымъ, съ самодовольною улыбкою поглядывала на свое великолѣпное серебро отъ *Стора* и *Мортимера* *), богемское стекло и саксонскія тарелки, на безупречную tenue своихъ гостей и переносилась мыслью къ далекому Шипмоунткаслю: „c'est presque aussi *cossu* chez moi que chez les Deanmore!“ думала она свою ежедневную въ эту пору думу, въ то же время приклоняя ухо къ сладкимъ рѣчамъ, которыя нашептывалъ ей слѣва „Калабрскій бригантъ...“ Разоренный московскій левъ, много денегъ и трудовъ положившій въ свое время на успѣшное впрочемъ *Печоринство* въ московскихъ салонахъ, велъ съ самой зимы правильную осаду милліонамъ княгини Аглаи Константиновны. Представленный ей вскорѣ послѣ возвращенія ея изъ-за границы, онъ направилъ было баттареи свои на княжну Лину, но, весьма скоро сообразивъ, что изъ этого ничего не выйдетъ, началъ громить ими самое маменьку и, какъ имѣлъ онъ поводы думать, не безуспѣшно. Сорокалѣтней барынѣ нравились его разочарованные аллюры, его молчаливыя улыбки и сдержанные вздохи, сопровождаемые косыми взглядами направляе-

*) Въ то время особенно славившіеся лондонскіе фабриканты серебряныхъ издѣлій.

мыхъ на нее, нѣсколько воловьихъ, глазъ. И когда князь Ларіонъ, который терпѣть его не могъ, спросилъ ее однажды: „что вамъ очень весело бываетъ съ господиномъ Заблинымъ?— она покраснѣла и недовольнымъ тономъ отвѣчала: ne le touchez pas, Larion, je vous prie, c'est un être incompris!“ Князь прикусилъ губу, покосился на нее съ тою сардоническою усмѣшкой, какую постоянно вызывали въ немъ ея трюизмы, и отрѣзалъ: „болванъ и тунеядецъ, ищущій приданаго!“ Съ тѣхъ поръ онъ вовсе пересталъ замѣчать „бригантa“; Заблинъ уже не отставалъ отъ княгини и съ каждымъ днемъ почиталъ себя ближе и ближе къ своей цѣли... Онъ былъ теперь особенно въ ударѣ, послѣ того какъ она сказала ему въ театрѣ, что онъ будетъ очень хорошъ въ костюмѣ *Клавдіо*, и отпускалъ ей нѣжность за нѣжностью.

Чижевскій, высокій, рыжеватый, молодой человѣкъ лѣтъ 26-ти, со смѣлыми карими глазами и высоко приподнятою головою, вслѣдствіе чего почитался московскими *львицами* за непроходимаго фата, былъ на самомъ дѣлѣ *душа-малый*, веселый и въ то же время мечтательный, вѣчно влюбленный платонически въ какую нибудь женщину и всегда готовый выпить бутылку шампанскаго съ хорошимъ пріятелемъ. Неистощимый разсказчикъ, онъ передавалъ сосѣдкѣ своей, Софьѣ Ивановнѣ, одинъ изъ удачнѣйшихъ своихъ анекдотовъ и внутренно удивлялся, что, вмѣсто ожидаемаго имъ громкаго смѣха, на лицѣ ея едва скользила снисходительная улыбка. Но Софьѣ Ивановнѣ было не до анекдотовъ. Она украдкою слѣдила взглядомъ за племянникомъ, сидѣвшимъ на концѣ длиннаго обѣденнаго стола, и тосковала всею той тоскою, которую читала на его лицѣ. Онъ сидѣлъ между Духонинымъ и Факирскимъ, блѣдный и безмолвный, не подымая ни на кого глазъ и едва притрогиваясь къ своей тарелкѣ, и безучастно внималъ какому-то оживленному спору, затѣявшемуся, казалось, между его сосѣдями.

Болѣе счастливая, чѣмъ Чижевскому, доля выпала Шигареву, котораго хозяйка, съ тайною мыслью обезпечить за собою любезность „Калабрскаго бригантa“ на все время обѣда, посадила по другую сторону одной московской тридцатилѣтней

княжны, своей пріятельницы, только-что передъ самымъ столомъ пріѣхавшей въ Сицкое. Шѝгаревъ, слышавшій о ней, какъ объ очень умной дѣвушкѣ, счелъ нужнымъ повести съ нею „серьезный“ разговоръ. Темъ для такого „серьезнаго“ разговора было у него исключительно двѣ: о томъ, во-первыхъ, что у него „тысяча безъ одной,“ т. е. 999 душъ и конскій заводъ въ Харьковской губерніи, а, во-вторыхъ, о его родномъ братѣ, который такъ же былъ харьковскій помѣщикъ и тоже имѣлъ тысячу душъ и заводъ, но не конскій, а мыловаренный. Шѝгаревъ былъ чрезвычайно братолюбивъ и объ этомъ братѣ разсказывалъ съ такими подробностями и такъ нѣжно, что слушателей его обыкновенно начинало въ это время тошнить. Но, вслѣдствіе-ли того, что предварительно было имъ сообщено о числѣ владѣемыхъ имъ душъ, или просто потому, что для тридцатилѣтней дѣвицы и Шѝгаревъ— человѣкъ, только умная московская княжна внимательно глядѣла на него маленькими прищуренными глазками и поощрительно улыбалась. На этотъ разъ варіація на тему брата заключалась въ томъ, что у этого брата необыкновенно развиты были мускулы правой руки, такъ что „когда онъ протянетъ ее крѣпко, сейчасъ и выскочитъ у него на ней клубокъ величиною съ апельсинъ.“

— Да, я слышала, подтвердила княжна,—это бываетъ... у мущинъ, словно захлебнулась она.

— Не у всѣхъ! горячо возражалъ Шѝгаревъ,—у брата моего, да! Но не у всѣхъ... Вотъ на моемъ заводѣ у двухъ моихъ лошадей сдѣлались такія же, какъ апельсинъ, гули у самыхъ ноздрей... Онъ не выдержалъ и вдругъ загаерничалъ: — *гуля*, вы не знаете, это у насъ такъ по-хохлацки... а вы думали, голубей кличутъ? Гули, гули, гуленьки, гули, гули, голубокъ... Онъ заходилъ носомъ, губами, изображая голубиное воркованье...

И московская княжна, закрывъ уже совсѣмъ свои маленькіе глазки, смѣялась до-упаду, восхищаясь этимъ милымъ „оригинальничаньемъ...“

Въ сторонѣ молодежи велся инаго рода разговоръ!

— Да-съ, въ Одессѣ вышла небольшая книжка, говорилъ

Факирскому маленькій господинъ, котораго звали Духонинымъ, — онъ принадлежалъ къ „соку московской умной молодежи,“—поправляя золотые очки на носу,—имя совершенно неизвѣстное: какой-то *Щербина*... Общее заглавіе — просто: *Греческія стихотворенія*.

— Знаю! крикнулъ ему черезъ столъ Свищовъ,—со мною даже есть она, изъ Одессы получилъ... Хорошо!

— Это, что̀ мы съ вами вечеромъ вчера читали? спросилъ сидѣвшій подлѣ Свищова толстый Елпидифоръ,—первый сортъ, скажу вамъ-съ! Наизусть даже помню...

И онъ не громко сталъ декламировать:

Я всему здѣсь повѣрить готовъ,
Въ семъ чудесномъ жилищѣ боговъ,
Подсмотрѣвъ, какъ склонялись ціаны,
Будто смятые ножкой Діаны,
Пробѣжавшей незримо на ловъ.
Я всему здѣсь повѣрить готовъ...

— Да, да, такъ! закивалъ Духонинъ, до котораго донеслись нѣкоторыя рифмы, не безъ нѣкотораго удивленія глядя на этого страстнаго къ искусству уѣзднаго капитанъ-исправника.

— Каковъ Эпикуреецъ? подмигнулъ, съ своей стороны, Свищовъ?

— Ну-съ, и что̀ же эти стихотворенія? пожелалъ узнать Факирскій,

— А то „*ну-съ*,“ нѣсколько обидчиво отвѣтилъ благовоспитанный Духонинъ,—что это прелесть!

— Антологія-съ! съ пренебреженіемъ сказалъ студентъ.

— Да-съ, новая мысль въ античной формѣ, то̀ именно, чего желалъ Шенье:

Sur des penseurs nouveaux faisons des vers antiques!

— Не знаю-съ, сказалъ студентъ, — только нынѣшнему человѣку пѣть на античный ладъ не приходится.

— Это почему-съ?

— Да потому... Студентъ искалъ, какъ бы ему яснѣе выразиться,—потому что ему тогда *сузить* себя надо...

— Ахъ, сдѣлайте милость, засмѣялся Духонинъ, — подите, *сузьтесь* до Гомера!...

— Современному человѣку Жоржъ-Санды нужны, а не Гомеры! со всѣмъ пыломъ и искренностью молодаго увлеченія возгласилъ Факирскій.

— Скриба ему нужно! громко хихикнулъ ему на это Свищовъ,—и именно Скриба *на музыку* Обера!.!.

Студентъ ужасно оскорбился за своего кумира:

— Это что же-съ! проговорилъ онъ, подергивая плечами,— вѣдь такъ, пожалуй, можно и роднаго отца на площади охаять!...

— Совсѣмъ нѣтъ-съ, это я, напротивъ, въ смыслѣ вашемъ же говорю, замигалъ ему Свищовъ и правымъ, и лѣвымъ глазомъ; — вамъ извѣстно, или нѣтъ, что въ Брюсселѣ, послѣ перваго представленія Фенеллы *), толпа вышла изъ театра, поя хоромъ: „amour sacré de le patrie“, дуэтъ втораго дѣйствія, и въ ту же ночь выгнала изъ города Голландцевъ?... Вотъ-съ они каковы, Скрибъ-то съ Обероmъ!...

— А вы, батенька, потише при мнѣ, шепнулъ, толкнувъ его слегка въ бокъ, исправникъ: — я вѣдь здѣсь въ нѣкоторомъ родѣ правительственная власть!...

— Ну, какая вы власть! расхохотался Свищовъ, не безъ нѣкоторой тревоги, впрочемъ, заглядывая въ лицо Акулину;— вы у насъ *жупелъ*, а не власть!...

— Нельзя, услышитъ пожалуй! объяснилъ толстый Елпидифоръ, кивнувъ на князя Ларіона.

А князь Ларіонъ, сидѣвшій по другую сторону Софьи Ивановны, говорилъ ей тѣмъ временемъ:

— Не знаю, успѣлъ-ли передать вамъ Сергѣй Михайловичъ о нашемъ сегодня съ нимъ разговорѣ и о моемъ совѣтѣ ему?

— Знаю;—очень вамъ благодарна! отвѣтила она.

Онъ взглянулъ на нее, нѣсколько удивленный сухостью, показалось ему, ея тона.

— Очень! повторила она, кивая головой:—вы правы, ему

*) La muette de Portici.

здѣсь нечего дѣлать! подчеркнула она... Особенно если вы устроите ему потомъ...

— Это непремѣнно! не далъ онъ ей кончить:—и это мы въ Москвѣ же устроимъ. Не понимаю даже, для чего вашъ племянникъ ѣздилъ въ Петербургъ подавать свою просьбу: вашъ главноначальствующій, при дружбѣ своей съ... — князь назвалъ одного очень высокопоставленнаго въ то время сановника,—все можетъ теперь... Я черезъ него обдѣлаю...

Софья Ивановна наклонила голову въ знакъ признательности.

— Я очень интересуюсь вашимъ племянникомъ, заговорилъ опять князь Ларіонъ;—мнѣ много говорили въ Москвѣ зимою о его блестящихъ способностяхъ и познаніяхъ, и, сколько я могъ самъ судить за это короткое время, онъ, дѣйствительно, далеко не дюжинный молодой человѣкъ. Если бы я былъ еще во власти, я бы непремѣнно...

— Ничего для него бы не сдѣлали! быстро промолвила Софья Ивановна, которую уже давно подмывало сказать ему что-нибудь непріятное.

— Почему же вы такъ думаете? недовольнымъ тономъ спросилъ онъ.

Она поспѣшила обратить слова свои въ шутку:

— Я Писанія держусь: *не уповай ни на князя, ни на сына человѣческаго*...

— Я не могу вамъ воспрепятствовать почитать меня за эгоиста, сказалъ, слегка усмѣхаясь, князь Ларіонъ,—но прошу васъ вѣрить только въ то, что я *по принципу* старался бы проложить Сергѣю Михайловичу дорогу. Мудрое правительство должно было бы всегда, по-моему, имѣть такихъ *намѣченныхъ* имъ, такъ сказать, заранѣе, для занятія въ будущемъ высшихъ должностей въ государствѣ, молодыхъ людей, которые, какъ вашъ племянникъ, къ счастливой случайности рожденія и независимости по состоянію присоединяютъ еще пріобрѣтенное самими ими солидное высшее образованіе.

— „Очень красно, только ты племянницы-то своей этому „намѣченному“ дать не намѣренъ!“ подумала Софья Ивановна,

и опять неудержимо захотѣлось ей кольнуть чѣмъ нибудь „стараго лукавца...“

— Я о правительствѣ не сужу, громко проговорила она,— но у насъ, по Писанію тоже, и *своя своихъ не познаша*!...

Захотѣлъ-ли, или нѣтъ, понять князь Ларіонъ этотъ намекъ, но онъ прекратилъ разговоръ справа и обратился съ какимъ-то вопросомъ къ сидѣвшей у него по лѣвую руку *образованной окружной*.

Глаза еще взволнованной Софьи Ивановны обѣжали кругомъ стола и съ какою-то безсознательною, но глубокою нѣжностью остановились на княжнѣ Линѣ, съ обѣхъ сторонъ которой двѣ изъ *пулярокъ*, чуть не повисши ей на плечи, ужасно торопясь и перерывая другъ друга, передавали ей какой-то вздоръ. Софьѣ Ивановнѣ самой себѣ не хотѣлось признаться въ томъ чувствѣ, которое неотразимо влекло ее къ этой дѣвушкѣ. Давно-ли, когда Сергѣй пріѣхалъ изъ Сицкаго, и она его исповѣдывала, она не только ужасалась мысли предстоявшихъ ему недочетовъ, но и самый успѣхъ его, думала она, былъ бы, кажется, для нея тягостенъ? Тогда она обѣими руками, не задумавшись, подписалась бы подъ разумнымъ приговоромъ князя Ларіона: „не женятся въ 23 года, не создавъ себѣ никакого положенія, не сдѣлавъ ничего ни для общества, ни для себя...“ Теперь всѣ соображенія ея перепутывала и смущала одна упорно, неотступно набѣгавшая ей въ голову мысль: „а что же, если и *она*, это милое созданіе, полюбитъ Сережу, что же тогда?...“ И она, сама себѣ въ этомъ не давая отчета, досадливо отгоняя этотъ „соблазнъ“ каждый разъ, когда представалъ онъ передъ нею, страстно, съ какимъ-то молодымъ біеніемъ сердца, жаждала теперь, чтобъ это случилось... чтобъ „это милое созданіе“, эта синеокая, изящная, тихая дѣвушка... такъ напоминающая его, отца своего, чтобъ и она... да... И Софья Ивановна отуманенными глазами глядѣла, любуясь на тонкій обликъ Лины, и въ головѣ ея проносилось, что, „если бы ужь *на то* была воля Божья“, она и не знаетъ, кого бы изъ „нихъ двухъ“ она болѣе любила!...

Княжна какъ бы почувствовала на себѣ проникающую

струю этого взгляда: она подняла голову, встрѣтилась глазами съ Софьей Ивановной и улыбнулась... „Да, люби меня, я хорошая!“ такъ и говорила эта улыбка.

У Софьи Ивановны забилось въ груди, какъ въ двадцать лѣтъ...

— Господи, точно я сама влюблена въ нее! подумала она, дружески кивая ей черезъ столъ.

Княжна тихо отвела отъ нея глаза, вскинула ихъ на мгновеніе въ сторону, гдѣ сидѣлъ Гундуровъ, и опять, вопросительно будто, взглянула на нее:

— „О чемъ *онъ* тоскуетъ?“ прочла въ нихъ ясно Софья Ивановна...

Старый офиціантъ съ сѣдыми бакенбардами и строгою физіономіей, наклонясь тѣмъ временемъ къ уху исправника, передавалъ ему на тарелкѣ продолговатый конвертъ подъ казенною печатью и шепталъ ему таинственно и внушительно:

— Сею минутою изъ города къ вамъ разсыльный; наказывалъ-съ, что очень нужное...

Исправникъ торопливо вскрылъ на колѣняхъ конвертъ, вынулъ изъ него бумагу и какое-то вложенное въ нее письмо, прочелъ надписанный на немъ адресъ и, такъ же торопливо обернувшись къ слугѣ:

— Князю Ларіону Васильевичу сейчасъ! передалъ онъ ему письмо и, слегка дрожащими руками развернувъ подъ столомъ полученную имъ бумагу, принялся читалъ ее.

Слуга съ тѣмъ же таинственнымъ видомъ и молча поднесъ письмо по назначенію.

Князь съ нѣкоторымъ удивленіемъ взглянулъ на него, узналъ почеркъ на адресѣ, тотчасъ же взялъ его съ тарелки и спросилъ:

— Кѣмъ доставлено?

— Господинъ капитанъ-исправникъ приказали вашему сіятельству вручить-съ, отчетливо, нѣвуче и протяжно доложилъ старый дворовый, отъ преизбытка почтительности совсѣмъ ужь неестественно приподымая сѣдыя брови.

— Вамъ съ нарочнымъ прислано? громко обратился черезъ столъ князь къ Акулину.

— Точно такъ-съ, приподымаясь на половину со своего стула, отвѣчалъ толстый Елпидифоръ:—получилъ сейчасъ въ пакетѣ, съ извѣщеніемъ, что ихъ сіятельство изволятъ прослѣдовать чрезъ нашъ уѣздъ въ сосѣднюю губернію,—въ имѣніе свое, въ Нарцесово, надо полагать, ѣхать изволятъ. Отъѣздъ изъ Москвы назначенъ по маршруту въ пятницу, 19-го числа, а въ субботу утромъ *они* намѣреваются быть здѣсь въ Сицкомъ-съ...

— Le comte? Къ намъ? вопросительно протянула княгиня Аглая Константиновна, скрывая причиняемое ей этой вѣстью удовольствіе подъ равнодушною улыбкой.

— Oui, ваше сіятельство, поспѣшилъ подтвердить исправникъ.

— Офиціальности, офиціальности-то на себя что напустилъ! хихикнулъ вполголоса Свищовъ, подмигивая черезъ столъ Духонину,—эпикуреецъ, а?

— Отстаньте, служба! такимъ же, но сердитымъ шопотомъ осадилъ его Акулинъ.

— Я его знаю — *графа!* громко возгласила Ольга Елпидифоровна, которая сидѣла между двумя обожателями своими, Ранцовымъ и Маусомъ, и въ продолженіе всего обѣда занималась тѣмъ, что дразнила и натравливала ихъ другъ на друга;—когда я была на балѣ въ Благородномъ Собраніи съ генеральшей Дьябловой, она меня познакомила... Онъ очень добрый старикъ и смѣшной такой: голова точно арбузъ, лысая вся кругомъ. Онъ мнѣ руку далъ, любезный очень былъ и сказалъ мнѣ, чтобы я чаще пріѣзжала въ Москву, домолвила самодовольно барышня,—при чемъ почтеннаго родителя ея такъ и повело, такъ какъ *графъ* (чего не сказала вслухъ Ольга), приглашая ее чаще бывать въ Москвѣ, прибавилъ къ этому: „а отцу скажите, чтобы въ карты меньше игралъ"!..,

— А мнѣ придется отсюда скрыться куда нибудь на время, засмѣялся Чижевскій: — я у него насилу выпросился

на 28 дней, родныхъ повидать,—и вдругъ онъ меня найдетъ здѣсь на сценѣ... Бѣда какого дастъ нагоняя!...

— Ne craignez pas, я ему скажу et il ne vous fera rien! обнадежила его съ высоты своего величія княгиня.

Князь Ларіонъ читалъ тѣмъ временемъ письмо отъ *графа*. Оно писано было крупными растянутыми буквами, какъ пишутъ начинающія дѣти и грамотные лавочники, и занимало всѣ четыре страницы большаго почтоваго листа. Содержаніе его, повидимому, представляло значительный интересъ, потому что князь то хмурился, то разжималъ брови и сосредоточенно вникалъ, казалось, въ смыслъ каждой строки. Онъ добрался до конца, сложилъ письмо.

— Извините за мою неучтивость, своимъ любезнымъ и повеселѣвшимъ тономъ проговорилъ онъ, обводя легкимъ поклономъ своихъ сосѣдокъ, — я такъ безцеремонно занялся чтеніемъ... Вотъ и ближайшій случай обдѣлать дѣла Сергѣя Михайловича, шепнулъ онъ тутъ же Софьѣ Ивановнѣ. И, поднявъ голову:

— Нарочный вашъ еще здѣсь? спросилъ онъ опять громко у исправника.

— Здѣсь еще, ваше сіятельство!...

— И можетъ подождать нѣсколько?

— Сколько прикажете-съ!

— Такъ я послѣ обѣда напишу и попрошу васъ письмо мое распорядиться доставить скорѣе на почту...

— Я самъ, если дозволите, ваше сіятельство, доставлю его въ городъ сегодня же, отвѣчалъ Акулинъ, — и для большей скорости не прикажете-ли отправить его съ эстафетою?

— Очень хорошо-съ!...

— А *Полонія* что-жь, по-боку, значитъ? раздался вдругъ какъ изъ бочки, къ общему смѣху, встревоженный и раздраженный голосъ, — голосъ „фанатика“, безмолвно до сихъ поръ лишь отваливавшаго себѣ огромные куски съ блюдъ, которые пожиралъ съ алчностью, достойною Гомеровскаго Полиѳема.

— Я вернусь завтра же къ полудню, сказалъ смѣючись

исправникъ, — а на сегодня ужь извините: служба прежде всего-съ...

— Дороги не въ исправности? шутливо спросилъ князь Ларіонъ.

— На этотъ счетъ смѣю просить извиненія вашего сіятельства, возразилъ почтительно-обиженнымъ тономъ толстый Елпидифоръ:—по губерніи, смѣло могу сказать-съ, нѣтъ дорогъ исправнѣе моихъ! А пардомъ на рѣкѣ Нарѣ осмотрѣть нужно. Съ торговъ отдается, изволите знать; возятъ, не жалуются... Только подъ проѣздъ ихъ сіятельства, чтобъ не задержали какъ-нибудь, заранѣе приказаніе отдать, чтобы къ 19-му числу народъ нагнать на рѣку на всякій случай...

Князь Ларіонъ усмѣхнулся съ тѣмъ полупрезрительнымъ, полускучающимъ видомъ человѣка, которому изъ долголѣтней практики службы въ высшихъ чинахъ до тошноты вѣдома вся эта исторія начальническихъ поѣздокъ по только-что закиданнымъ колеямъ отечественныхъ дорогъ, съ бѣшено скачущимъ впереди на тройкѣ исправникомъ и „нагнаннымъ“ народомъ на переправахъ,—но который изъ той же практики давно убѣдился, что ничего съ этимъ не подѣлаешь, и что этими порядками стояла и будетъ стоять Святая Русь до скончанія вѣковъ...

XX.

Любви всѣ возрасты покорны...
Пушкинъ.

Тотчасъ же послѣ обѣда князь ушелъ къ себѣ, попросивъ прислать кофе къ нему наверхъ. Это значило, что онъ не скоро намѣренъ вернуться къ обществу... То, что имѣлъ онъ отвѣтить на полученное имъ письмо, требовало размышленія. *Графъ*—съ которымъ онъ былъ въ дружескихъ связяхъ еще со временъ Отечественной войны, когда, юношею, прямо со скамьи Лейпцигскаго университета, онъ поступилъ дипломатическимъ чиновникомъ въ походную канцелярію князя Кутузова,—писалъ ему о *предложеніяхъ*, имѣющихъ быть ему сдѣланными изъ Петербурга, и о которыхъ онъ, т. е. *графъ*, передастъ ему подробнѣе при личномъ свиданіи въ Сицкомъ, но что его, *графа*, просятъ заранѣе узнать: согласенъ-ли будетъ вообще князь снова вступить въ службу, „потому", говорилось въ письмѣ,—„если *вообще переменитъ* своего покоя не хочешь то *нѣчево тебѣ* и предлагать. А потому отпиши сейчасъ, *штобъ* и я могъ *нѣмѣдля* про тебя *што просютъ* отвѣчать..." Князь зналъ, *кто* проситъ объ этомъ его отвѣтѣ его почтеннаго, хотя и не очень грамотнаго, стараго друга: онъ зналъ, что оттуда могли итти лишь вѣскія по своему источнику *предложенія*... Онъ могъ опять попасть во власть,— и невольно проносились у него въ головѣ знакомыя имена облеченныхъ въ высшія должности государства... „Кого же думаютъ *тамъ* замѣнить мною?" спрашивалъ онъ себя съ безотчетнымъ любопытствомъ, медленными шагами подымаясь

по лѣстницѣ въ свои покои... Онъ еще далеко не зналъ, какого рода отвѣтъ онъ дастъ *графу*. Власть?... Онъ сознательно, потому что признавалъ долгомъ своей совѣсти, отказался отъ нея два года тому назадъ... Ему было тяжело тогда: этотъ міръ власти, въ которомъ съ юныхъ лѣтъ было предназначено ему мѣсто, въ которомъ онъ такъ долго былъ *своимъ*,—онъ былъ ему дорогъ... Но онъ отказался отъ нея и уѣхалъ въ Италію... Въ воспоминаніи князя мелькали подробности этого отъѣзда: скверный октябрьскій петербургскій вечеръ съ пронзительнымъ вѣтромъ и дождемъ, полуосвѣщенное зало въ зданіи почтовыхъ каретъ въ Большой Морской, два исполненные гражданскаго мужества бывшіе его чиновника, пришедшіе проводить его, охрипшая труба кондуктора... Затѣмъ опять дождь, свинцовое небо, нескончаемый путь до Таурогена, безсонныя ночи въ тѣсномъ экипажѣ, упреки и сожалѣнія незасыпавшаго честолюбія и на границѣ равнодушный голосъ таможеннаго чиновника, провѣрявшаго паспорты,—голосъ, словно и теперь звенѣвшій въ его ухѣ и показавшійся ему тогда такимъ дерзкимъ: „князь Шастуновъ, отставной тайный совѣтникъ, не угодно-ли получить!..“

Онъ проѣзжалъ черезъ Германію,—Германію, почти ему родную во времена Тугендбунда и пѣсней Кёрнера... Она вся теперь, отъ Одера до Майна и Дуная, горѣла огнемъ междоусобія. „Отъ нашихъ пергаменовъ священнаго союза вскорѣ, можетъ быть, не останется ни клочка“, думалъ князь Ларіонъ... „Но что же до этого *намъ?* Развѣ мы свою, *русскую*, политику преслѣдовали тамъ, на Вѣнскомъ конгрессѣ, удивляя міръ нашимъ великодушіемъ?...“ Родина необъятнымъ исполиномъ вставала передъ нимъ... „Colosse aux pieds d'argile?“ вспоминалъ онъ слово Mauguin'a... „Нѣтъ, у насъ одна задача—просвѣщеніе, одинъ опасный врагъ—невѣжество, и мы его-же теперь призываемъ въ помощь себѣ на борьбу съ тѣмъ, что, въ ребяческомъ перепугѣ мнимъ мы, грозитъ намъ отсюда!...“ И снова закипали на душѣ его недавнія волненія, пробѣгали въ памяти живые образы его петербургскихъ враговъ, и точно слышались ему звуки пререканій ихъ съ нимъ въ совѣтахъ и гостиныхъ въ тѣ дни, когда все темнѣе и

темнѣй набѣгали тучи безсмысленнаго страха, и надъ бѣднымъ русскимъ образованіемъ висѣлъ неминуемый ударъ...

Да, тяжело ему было тогда... И вотъ онъ достигъ цѣли своего пути,—пріѣхалъ въ Ниццу и велѣлъ вести себя въ Hôtel Victoria, гдѣ, онъ зналъ по письмамъ, стояла семья его недавно умершаго брата. Vittorio, котораго онъ помнилъ курьеромъ у князя Михайлы, встрѣтился съ нимъ на лѣстницѣ, узналъ и побѣжалъ доложить... Дверь отворилась, онъ вошелъ... „Larion!“ вскрикнула княгиня Аглая—и за нею высокая дѣвушка, въ черномъ съ головы до ногъ, съ глухимъ рыданіемъ упала ему головой на плечо...

Какъ живо теперь припоминалъ онъ это мгновеніе?... Онъ не видалъ ея лѣтъ шесть. Какъ мало походило на тогдашнюю впалогрудую, длинную дѣвочку это стройное созданіе, блѣдное и прекрасное въ своей нѣмой печали, какъ мраморъ Ніобеи, съ тихимъ пламенемъ мысли въ васильковыхъ глазахъ!... Она его прежде всего поразила сходствомъ своимъ съ его братомъ, съ которымъ онъ всегда былъ очень друженъ и который всегда съ глубокою любовью говорилъ о ней въ своихъ письмахъ къ нему. Тотъ же неулыбавшійся взглядъ, то же изящное спокойствіе внѣшняго облика, подъ которымъ у князя Михайлы скрывалась въ молодости неудержимая страстность... „А дальше“? спрашивалъ себя въ первые дни налаженный на сомнѣнія князь Ларіонъ,—„насколько тутъ къ той чистой крови примѣси отъ грубой натуры ея матери?...“

Не долго задавалъ онъ себѣ подобные вопросы... Ихъ сблизила прежде всего эта дорогая имъ обоимъ память о князѣ Михайлѣ. Они каждый день говорили о немъ... Онъ умиралъ, медленно угасая, въ полномъ сознаніи своего состоянія, переписывался съ пасторомъ Навилемъ въ Женевѣ и въ то же время съ однимъ старымъ итальянскимъ аббатомъ, бывшимъ духовникомъ его матери, о будущей жизни, читалъ каждый день Евангеліе и молился по цѣлымъ часамъ. „Онъ былъ чрезвычайно ласковъ и *покоренъ* maman, но никогда ничего не говорилъ ей о себѣ, чтобы не испугать ее“, объясняла Лина,—„только когда мы оставались съ нимъ вдвоемъ онъ

не таился, и будто легче бывало ему оттого...“ Князь Ларіонъ договаривалъ себѣ то, чего не поняла, или не хотѣла сказать ему Лина: „покоряясь“, его бѣдный братъ до послѣдней минуты не могъ побѣдить того чувства, которое въ продолженіе всей его жизни удаляло его отъ этой женщины, связанной съ нимъ невольными узами. Онъ томился ею до конца и въ набожномъ настроеніи своемъ тѣмъ мучительнѣе тосковалъ и каялся въ винахъ своихъ передъ нею. Въ полубреду предсмертныхъ часовъ, онъ, уцѣпившись костенѣвшими пальцами за поледенѣвшую отъ ужаса руку Лины, говорилъ ей: „мать... не огорчай... Искупи... искупи меня, грѣшнаго!...“ Онъ не вѣдалъ, умирая, на что обрекалъ этимъ ея молодую жизнь!...

А князь Ларіонъ былъ вскорѣ весь охваченъ благоуханіемъ этой разцвѣтающей жизни. Чѣмъ-то невыразимо-чистымъ, свѣтлымъ, примиряющимъ вѣяло отъ нея на его наболѣвшую и возмущенную душу. Онъ уже не разсуждалъ, онъ отдавался этому обаянію... Итти объ руку съ племянницей къ морскому берегу, куда нибудь подалѣе отъ promenade des Anglais *) и, усѣвшись на камнѣ у самаго прибоя, глядѣть по цѣлымъ часамъ на паруса, скользившіе вдали по голубому простору средиземныхъ волнъ, читать съ нею по вечерамъ Уордсворда и Уланда, а по утрамъ учиться вмѣстѣ итальянскому языку у стараго, смѣшнаго учителя, на длинныхъ, дряблеькихъ ножкахъ, который при каждомъ объясненіи лукаво моргалъ глазами и таинственно спрашивалъ ихъ: „sentiano, Eccelenze? **),—такова была идиллія, которую переживалъ теперь, на склонѣ лѣтъ, этотъ посѣдѣвшій въ тревогахъ и разочарованіяхъ дѣловой жизни человѣкъ. И то, что теперь замѣняло, въ силу чего забывалъ онъ все свое прежнее, недавнее былое, казалось ему то тихое, святое отцовское чувство, котораго онъ, одинокій самолюбецъ, не зналъ всю жизнь, и которое за то исполняло его теперь какою-то никогда имъ еще не испытанною, безпредѣльно захватывавшею его нѣжностью... Да, говорилъ онъ себѣ, онъ любилъ ее, какъ

*) Главное мѣсто гулянья въ Ниццѣ.
**) Понимаете, ваши сіятельства?

родную дочь, и не могъ бы желать, не могъ бы создать въ воображеніи лучшей себѣ дочери: ничего, ничего *Аглаинаго*, а вся грація, изящество, тонкость воспріиманія и вдумчивая сдержанность избранныхъ натуръ... Какъ глубоко она чувствуетъ и какъ гордо-стыдливо хоронитъ отъ чужаго взгляда завѣтный кладъ чувствъ своихъ и мысли! „Счастливецъ тотъ, кому...“

Князь Ларіонъ не договаривалъ и все чаще задумывался о *ней*... и о томъ „счастливцѣ...“ И что-то еще темное, но уже мучительное все сильнѣй примѣшивалось къ этимъ помысламъ, вливало какую-то тайную горечь въ ту чашу чистаго счастья, къ которой въ первые дни приникалъ онъ неотступными устами...

А время бѣжало, трауръ по его братѣ приходилъ уже къ концу; княгиня Аглая заговорила о „devoirs de société“, о необходимыхъ выѣздахъ, о Россіи... На князя Ларіона это произвело впечатлѣніе нежданнаго и сокрушительнаго удара; въ уносившемъ его теченіи онъ какъ бы никогда не думалъ о томъ, что эта блаженная, одинокая, почти вдвоемъ съ Линой, жизнь его въ Ниццѣ должна была измѣниться не сегодня, такъ завтра; ему какъ бы въ голову не приходило, что *ее* могутъ *отнять* у него... А теперь—завѣса падала съ его глазъ,—а теперь *отдать ее* значило для него вырвать у себя сердце!...

Въ первую минуту онъ не повѣрилъ себѣ, онъ хотѣлъ вѣрить въ право свое на то, что жгучимъ огнемъ палило теперь его душу. Онъ спрашивалъ себя: не то-ли же самое испыталъ бы князь Михайло на его мѣстѣ, не тою-ли же тревогой исполнился бы онъ, если бы его тѣснымъ, нѣжнымъ, счастливымъ отношеніямъ къ дочери грозило чье-либо мертвящее вмѣшательство?... Увы, внутренній голосъ отвѣчалъ ему, что отцовская нѣжность не вѣдала бы подобныхъ опасеній, что это чувство все даетъ и ничего не требуетъ, что ему не грозно никакое соперничество, потому что соперниковъ у этого чувства быть не можетъ... А онъ,—онъ весь исполненъ былъ тоски и страданія, и подъ устремленными на нее горячечно пылавшими его глазами Лина однажды, вся

заалѣвъ и опустивъ вѣки, почти испуганно спросила его: „что съ вами, дядя, зачѣмъ смотрите вы на меня такъ?...“

Онъ ужаснулся, дрогнулъ... „Бѣжать, бѣжать скорѣе!“ было его первою мыслью...

— Намъ, вѣроятно, скоро придется разстаться, сказалъ онъ ей, перемогая себя и потухая взоромъ,—твоя мать желаетъ ѣхать въ Россію, а мнѣ... мнѣ тамъ нечего дѣлать,—я уѣду въ Римъ...

Она съ новымъ испугомъ подняла теперь голову:

— Дядя, что же мы безъ васъ дѣлать будемъ?...

Онъ понялъ: что ей было бы дѣлать одной съ матерью, которой она съ такимъ смиреніемъ покорялась и съ которой у нея было такъ мало общаго?...

Князь Ларіонъ ожилъ... Онъ „былъ нуженъ ей, онъ былъ необходимый *ингредіентъ* въ ея жизни, онъ былъ для нея преемникомъ всего того высшаго, сочувственнаго, просвѣтительнаго, что представлялось Линѣ въ ея покойномъ отцѣ, что связывало ее съ нимъ духовными неразрывными узами, и безъ чего ей жить нельзя...“ Онъ жадно уцѣпился за эту мысль: да, онъ ей нуженъ и *„не имѣетъ по этому права ее оставить*; онъ будетъ, онъ *долженъ* оберегать это нѣжное растеніе отъ грубыхъ, невѣжественныхъ прикосновеній, будетъ ревниво охранять тотъ священный огонь, возженный братомъ его въ душѣ дочери; онъ по праву единственный ея покровитель; онъ же одинъ и въ состояніи понять, чего стоитъ эта душа...“ А ему,—что ему нужно? Чего проситъ онъ отъ судьбы? Продолжить, по возможности, на нѣсколько мѣсяцевъ, на нѣсколько недѣль, эту блаженную, одинокую жизнь подъ итальянскимъ небомъ, на берегахъ сіяющаго моря, гдѣ заслушивался онъ ея тихихъ рѣчей объ отцѣ, о Богѣ, о дальней, холодной родинѣ, которую едва помнила Лина, и о которой не позволяла она никогда „говорить дурно“ дядѣ,—и забывать весь міръ, внимая этимъ рѣчамъ, погружаясь украдкой въ эти глаза, глубокіе и лазурные, какъ глубь и лазурь того моря, того неба...

Онъ остался,—и весь старый свой дипломатическій опытъ употребилъ онъ теперь въ дѣло, чтобы отсрочить отъѣздъ ихъ

изъ Италіи, чтобы не дать разыграться воскресавшимъ свѣтскимъ вожделѣніямъ своей невѣстки. Онъ пугалъ ее русскими холодами, петербургскою сыростью, опасными для ея дѣтей, взросшихъ подъ умѣреннымъ небомъ Германіи; племянницѣ онъ говорилъ о тщетѣ свѣтской жизни, о безсмысленномъ тщеславіи Петербурга; индифферентъ, онъ поощрялъ замѣченную имъ въ ней религіозную восторженность; онъ растравливалъ горечь и безъ того живучихъ сожалѣній ея о страстно любимомъ отцѣ: на этой почвѣ, онъ зналъ, у него не могло быть соперниковъ...

Онъ достигъ своей цѣли: еще годъ оттянулъ онъ у Аглаи Константиновны. Вмѣсто Россіи онъ увезъ ее съ дѣтьми въ Римъ... Какъ наслаждался онъ тамъ сосредоточенными восторгами Лины предъ чудесами Святаго Петра и Ватикана! Какъ сама она своимъ чистымъ и задумчивымъ обликомъ подходила въ его глазахъ къ этому міру католическаго искусства, которое единственно было ей понятно и влекло ее въ Римъ!... Но за то среди тѣхъ чудесъ ея красота была какъ бы еще замѣтнѣе: жадные молодые взоры чаще останавливались на ней, чѣмъ среди больнаго населенія Ниццы... „Ее отымутъ отъ меня!“ все мучительнѣе отдавалось въ сердцѣ князя Ларіона...

А свѣтская жизнь уже забирала свои права. Княгиня Аглая завела много знакомствъ, между прочимъ съ одною графинею Анисьевой, петербургскою дамой, жившею въ Римѣ для своего здоровья. Князь Ларіонъ очень не жаловалъ ея и чуялъ въ ней „интригантку.“ Аглаѣ Константиновнѣ она, напротивъ, пришлась очень по вкусу: онѣ безпрестанно видались и вѣчно о чемъ-то шушукались. Лину графиня не звала иначе, какъ „mon idole,“ и томно вздыхала, глядючи на нее, въ изъявленіе своего восхищенія ею. Все это коробило князя Ларіона... А княгиня въ то же время все настоятельнѣе приставала къ нему вернуться въ Россію. „Ея дѣла... et puis Lina va avoir dix-huit ans“, многозначительно намекала она,—и ея сынъ, Basile... „онъ долженъ получить une éducation russe“... Подъ „éducation russe“ она разумѣла Пажескій корпусъ, а подъ „Россіею“ Петербургъ,—и ужасно

поражена была, когда „Larion“ на отрѣзъ объявилъ ей, что въ Петербургъ онъ не поѣдетъ. Безъ него, она понимала, „ce n'est plus du tout la même chose *тамъ*...“ Много было по этому поводу у нея *интимныхъ* совѣщаній съ графинею Анисьевой, результатомъ которыхъ было то, что она, тяжело при этомъ вздыхая, предложила князю ѣхать на зиму „s'établir à Moscou...“ Онъ могъ бы еще на время отдалить, отсрочить, но сама *она*, Лина, всей душою рвалась въ Россію...

Онъ согласился съ сокрушеннымъ сердцемъ...

Они пріѣхали, стали *принимать*. Княжну повезли на первый балъ къ *графу*... О, какъ сказать, что почувствовалъ князь Ларіонъ, когда въ первый разъ рукавъ гвардейскаго офицера обвилъ дѣвственный станъ Лины, и самъ онъ съ казенною улыбкой подъ форменными усами помчалъ ее съ собою по залѣ!... Древній жрецъ съ такимъ мучительнымъ ужасомъ не глядѣлъ бы на поруганіе своего кумира!... „Да, вотъ оно, *настоящее*,—вотъ та via dolorosa“, скорбный путь, по которому суждено было ему брести отнынѣ до той минуты—вся внутренность переворачивалась у него, думая объ этомъ,—когда ее, *Hélène*, совсѣмъ, совсѣмъ *отымутъ*... *вырвутъ* у него, кинутъ въ объятія... предадутъ поцѣлуямъ молодаго, заранѣе ненавистнаго ему, „счастливца...“ Что же съ нимъ, съ нимъ что тогда будетъ!...“ Сердечныхъ бурь не избѣжалъ въ свое время князь Ларіонъ: у него было нѣсколько связей, двѣ, три привязанности, которымъ онъ тогда готовъ былъ пожертвовать всѣмъ дорогимъ въ жизни... Но теперь онъ спрашивалъ себя, какъ Шекспировскій Ромео: „любило-ль сердце мое до сихъ поръ?“ *) и ничего въ своемъ прошедшемъ не находилъ онъ подобнаго пламени и мукамъ этой послѣдней, безумной, чуть не преступной страсти...

Догадывалась-ли о ней Лина? Онъ боялся этого пуще грома небеснаго. Одно необдуманное слово, невольный взглядъ могли замутить тотъ чистый міръ родственныхъ, довѣрчивыхъ отношеній, въ которомъ единственно возможно было для него близкое общеніе съ нею... И такъ уже, казалось ему иногда,

*) Did my heart love till now? Act. 1 Sc. III.

она не прежнимъ, яснымъ взглядомъ глядѣла ему въ лицо,—говоря съ нимъ, улыбалась еще сдержаннѣе на его ласковыя рѣчи... Нѣтъ, онъ былъ обреченъ на одинокое, безмолвное, нескончаемое страданіе...

И вотъ неожиданно извѣщаютъ его о какихъ-то *предложеніяхъ*... зовутъ его опять къ дѣлу, къ власти, отъ которой онъ ушелъ тому два года... Не спасеніе-ли это? Въ *томъ* омутѣ заботъ, интригъ и треволненій онъ можетъ отдохнуть, забыться отъ этой теперешней, неустанно гложущей его муки; подъ тяжестью дѣловаго труда уляжется поневолѣ его эта бунтующая не по лѣтамъ кровь; онъ найдетъ силу смириться передъ неизбѣжнымъ... Да, но какъ понимать этотъ призывъ его обратно. Перемѣнилось-ли „теченіе,“ какъ онъ выражался, или думаютъ *тамъ*, что онъ, *получивъ урокъ*, подчинится теперь безусловно тому, что̀ порицалъ онъ *тогда?*... „Въ этомъ случаѣ—нѣтъ, онъ не пойдетъ, разсуждалъ съ собою князь Ларіонъ,—онъ вѣрный слуга, а не рабъ нѣмой; въ саду хозяина онъ не станетъ косить тамъ, гдѣ очевидно слѣдуетъ насаждать!...“ Онъ невольно усмѣхнулся, вспомнивъ, что эти именно слова, сказанныя имъ въ одной гостиной въ Петербургѣ, были главною причиной неудовольствія на него, и, вслѣдствіе того, выхода его въ отставку. „Какимъ былъ, такимъ онъ и умретъ,—Шастуновы не податливы!... За то Биронъ и отсѣкъ имъ цѣлымъ троимъ головы,“ еще разъ усмѣхнулся онъ, вспомнивъ опять...

Но, такъ или инако, отвѣта отъ него ждутъ,—и надо дать его!...

Что̀ же онъ напишетъ?

Онъ снова сѣлъ за свой письменный столъ, передъ портретомъ племянницы, и, опершись головой объ руку, снова задумался крѣпкою и невеселою думою.

XXI.

Общество послѣ обѣда перешло пить кофе на балконъ, обращенный въ садъ. Въ Шипмоунткаслѣ лэди Динморъ всегда готовила кофе сама послѣ обѣда и готовила по-арабски—съ гущею, какъ научилъ ее это дѣлать мужъ, долго странствовавшій по востоку. По этому и у княгини Аглаи Константиновны кофе не подавался готовый, а готовился при всѣхъ и разливался въ великолѣпныя севрскія чашки, съ гербомъ Шастуновыхъ на неизбѣжномъ голубомъ фонѣ, но только безъ гущи, въ уваженіе все тѣхъ же „estomacs russes“, не разумѣющихъ такихъ гастрономическихъ квинтэссенцій; готовить же его, вслѣдствіе прирожденной лѣни и неуклюжести своей, княгиня предоставляла „à cette bonne Надежда Ѳедоровна“, которая и вообще завѣдывала всѣмъ *маленькимъ хозяйствомъ* дома.

Надежда Ѳедоровна принялась за свое дѣло съ особеннымъ оживленіемъ. Розы цвѣли у нея на душѣ: подлѣ нея за обѣдомъ сидѣлъ Ашанинъ и, послѣ нѣсколькихъ успокоительныхъ увѣреній, пролившихъ сладостный елей въ ея взволнованную грудь, все время затѣмъ, къ довершенію ея благополучія, нещадно глумился надъ бойкой барышней и сидѣвшими по бокамъ ея обожателями, сравнивалъ ее съ московскимъ гербомъ „на грудяхъ друглаваго орла“, съ господиномъ, сидящимъ на двухъ стульяхъ, и тому подобнымъ вздоромъ. Смѣялся онъ такъ искренно и просто, что задней мысли бѣдная влюбленная въ него дѣва—а „кто любитъ, хочетъ вѣрить“, сказано давно,—предположить въ немъ была не въ

состояніи и простодушно разсудила, что она, дѣйствительно, должно быть, ошиблась, и что такая „пустая дѣвчонка, какъ эта исправникова дочь“, не можетъ *серьезно* нравиться такому умному человѣку, какъ *ея Владиміръ*“. А между тѣмъ *ея* Владиміръ руководился при этомъ двумя побужденіями: прежде всего, въ виду дальнѣйшихъ соображеній, надо было ему отдалить подозрѣнія и усыпить ея ревность; во-вторыхъ, онъ дѣйствительно злобствовалъ на барышню за то, что она такъ возбудительно глядѣла въ глаза своимъ сосѣдямъ, такъ весело сверкала своими блестящими зубами, такъ откровенно шевелила свои пышныя плечи... А злобствовалъ онъ потому, что никогда еще такъ, какъ въ эту минуту, не нравилась она ему, — а нравилась она ему такъ вслѣдствіе того, что у самого его были въ эту минуту крылья связаны, и занималась она другими, а не имъ. Соперники и препятствія, — это давало ей двойную цѣну въ его глазахъ.

Онъ продолжалъ, усѣвшись за столомъ, за которымъ готовили кофе, потѣшать на ту же тему свою перезрѣлую жертву.

— Мнѣ очень хочется спросить эту дѣвицу, заговорилъ онъ ей, — подъ какимъ вѣнкомъ желаетъ она, чтобъ ей воздвигло статую благодарное потомство: подъ лавровымъ или подъ оливковымъ?

— Она не пойметъ, что̀ это значитъ? съ высоты своей начитанности улыбнулась Надежда Ѳедоровна, раскладывая сахаръ въ чашки.

— Я ей объясню: Рапцовъ, воинъ, — это лавръ; Маусъ, судейскій,—олива! И затѣмъ спрошу: что̀ вы, сударыня, предпочитаете: оливковое масло, или лавровый листъ?

Та разсмѣялась до того, что уронила щипцы на подносъ...

— Подите, подите, спросите! попавшись въ ловушку, послала она его сама къ своей соперницѣ.

Ашанину только того и нужно было.

Онъ медленно привсталъ, отыскалъ глазами Ольгу Елпидифоровну,—она стояла, опершись о перила балкона, и болтала съ Eulampe, *самою рѣшительною* изъ *пулярокъ*,—подошелъ къ ней и, уставившись ей прямо въ глаза:

— Прошу васъ сейчасъ же громко разсмѣяться! сказалъ онъ.

— Это что такое? чуть не привскочила барышня.

— Смѣйтесь, повторилъ онъ торжественно, — отъ смѣха вашего зависитъ счастье мое и самая жизнь!

Она, а за нею Eulampe, расхохотались не въ шутку.

Онъ избока глянулъ на чайный столъ: — Надежда Ѳедоровна довѣрчиво смѣялась тоже этому доносившемуся до нея смѣху.

— Жизнь мою вы спасли, продолжалъ Ашанинъ;—теперь вопросъ о счастіи: *который* изъ двухъ?

И онъ кивнулъ съ балкона внизъ, гдѣ на ступенькахъ спускавшейся съ него лѣстницы, въ числѣ другихъ молодыхъ людей, дымили папиросками, на благородномъ разстояніи другъ отъ друга, Ранцовъ—*лавръ и Маусъ—олива.*

Она тотчасъ же поняла:

— Евлаша, душечка, обернулась она къ ней, — мнѣ холодно въ кисейномъ; сбѣгай, ангелъ мой, въ столовую: тамъ бурнусъ мой лежитъ, ты знаешь...

Пуляржа слегка поморщилась,—Ашанинъ казался ей очень „интересенъ,"—однако побѣжала за бурнусомъ, неуклюже перебирая ступнями, и съ *развальцемъ* на-ходу...

— Къ чему вашъ вопросъ? спросила тогда Ольга Елпидифоровна.

— Къ тому, молвилъ Донъ-Жуанъ, сопровождая слова свои комическимъ жестомъ,—чтобы убить того, *который*...

— Что за вздоръ! засмѣялась она;—я вамъ въ тотъ разъ еще говорила: вѣдь вы на мнѣ не женитесь?

— Не смѣю... Страшно! засмѣялся онъ.

— И не нужно! промолвила она съ невольной вспышкою досады.

— Вѣрно! подтвердилъ онъ.

— Что-о?

— И я говорю: *не нужно!* подчеркнулъ Ашанинъ.

Она опять разсмѣялась:

— Вы съ ума сошли!...

— Совершенно такъ изволили сказать!

И онъ принялся вполголоса пѣть изъ какого-то водевиля, подражая обрывистой манерѣ и хриплому голосу бывшаго тог-

да на московской сценѣ на роляхъ комическихъ любовниковъ актера Востокова:

Э-ти глаз-ки, какъ хо-ти-те,
Хоть ко-го съ у-ма све-дутъ!...

— Знаете что̀, сказала она, помолчавъ, — я такого, какъ вы, еще и не встрѣчала!

— И я такой, какъ вы, не встрѣчалъ! вздохнулъ Ашанинъ. Шутовство въ сторону, — онъ не могъ смотрѣть на нее равнодушно.

— Чего-же вы отъ меня хотите? спросила Ольга, закусывая алую губу.

— Это я вамъ предоставляю угадать!...

Она повела глазами въ сторону Надежды Ѳедоровны:

— А тамъ же что̀?...

— Тамъ—неволя; здѣсь—магометовъ рай! отвѣтилъ онъ, не смущаясь.

— Какая неволя?

— *Она* все, что̀ дѣлается въ домѣ, передаетъ княгинѣ, безсовѣстно сочинилъ Ашанинъ, — я ея боюсь и потому задобриваю, и вамъ то же совѣтую дѣлать...

— Вы все лжете, я вижу! молвила со смѣхомъ быстроглазая дѣвица.

— Кромѣ того, что̀ вы внушаете мнѣ!...

Eulampe запыхавшись бѣжала къ нимъ съ бурнусомъ.

— А теперь довольно! сказала Ашанину Ольга.

— Когда это вы мнѣ скажете: *еще?* отвѣчалъ онъ ей на это долгимъ, говорящимъ взглядомъ, и отправился назадъ къ Надеждѣ Ѳедоровнѣ.

— Ну что̀, сказали? спросила та, передавая ему чашку кофе.

— Сказалъ.

— Что̀ же она?

— А она говоритъ: „это, вѣрно, не вы сочинили,—а эта злющая Травкина?“

— Какъ глупа! И она презрительно повела плечами.

— И я то же замѣтилъ! подтвердилъ Ашанинъ, преспо-

койно пошевеливая ложечкой въ своемъ кофе;—съ нею прескучно!..

Только послѣ того, какъ онъ отошелъ отъ нея, сообразила ясно быстроглазая Ольга прямой смыслъ тѣхъ рѣчей, которыя онъ держалъ ей, и когда вернувшаяся Eulampe съ жаднымъ любопытствомъ въ глазахъ спросила ее:

— Скажи душка, что онъ говорилъ тебѣ?

— Онъ дерзкій! отвѣчала она и покраснѣла.

— Всѣ мужчины — дерзкіе! замѣтила на это опытная, какъ видно, *пулярка*.

Онѣ обѣ громко разсмѣялись...

Посреди гостинной, выходившей на балконъ тремя большими, настежь открытыми дверями, ставили ломберный столъ. Княгиня, со времени пріѣзда своего въ Россію, пристрастившаяся къ преферансу, собиралась играть. Софья Ивановна, которой она предложила карту, отказалась было, говоря, что она до ночи хочетъ вернуться домой, но потомъ уступила. Княжна ее окончательно очаровывала и, словно сознавая это, не отходила отъ нея. Когда она сѣла за партію съ хозяйкой, московской княжной и неизбѣжнымъ „бригантомъ“, Лина умѣстилась подлѣ нея и, глядя ей въ карты, очень смѣшила ее, давая ей совѣты вкривь и вкось.

Чрезъ нѣсколько минутъ она поднялась съ мѣста... Софья Ивановна безсознательно подняла глаза по направленію открытыхъ противъ нея дверей и отгадала скорѣй, чѣмъ различила, унылую фигуру проходившаго мимо племянника. Княжна его также увидала, Софья Ивановна не сомнѣвалась...

— Господи, что изо всего этого выйдетъ! съ новымъ взрывомъ тревоги промолвила она мысленно, безпощадно покрывая тузомъ короля вистовавшаго вмѣстѣ съ нею противъ княгини Зяблина... Тотъ только очи къ небу воздѣлъ.

Княжна прошла на балконъ.

Тамъ было людно и шумно. Курившая молодежь вернулась изъ саду. Сидѣли кружками... Слышался звонкій голосъ анекдотиста Чижевскаго и провинціальныя взвизги потѣшаемыхъ имъ барышень. Въ углу Факирскій и Духонинъ продолжали горячо препираться объ искусствѣ и о Жоржъ-

Сандѣ. Исправникъ тихо совѣщался со Свищовымъ; оба они были записные игроки, и оба въ эту минуту безъ гроша: рѣчь между ними шла о томъ, какъ бы имъ отыграться у Волжинскаго, постоянно обиравшаго ихъ въ пухъ, и котораго оба они знали за отъявленнаго шулера... Гундуровъ одинъ сидѣлъ ото всѣхъ поодаль и, обернувшись къ саду, разсѣянно глядѣлъ на виднѣвшуюся съ балкона рѣку, по которой, крадучись изъ-подъ тучи, бѣжалъ золотою полосой сверкавшій лучъ солнца... Онъ былъ угрюмъ до злости и до сихъ поръ не могъ справиться съ тѣмъ подавляющимъ впечатлѣніемъ, какое произвели на него слова Ашанина въ объясненіе рѣчей князя Ларіона. И чувство его, и самолюбіе были задѣты за живое. „Онъ разгорячился, наговорилъ вздору пріятелю, открывшему ему глаза. Чѣмъ же тотъ виноватъ, что онъ ребенокъ до сихъ поръ, что самъ онъ не понялъ, далъ поводъ прочесть ему это *наставленіе*, не понялъ, что“... Да развѣ я подавалъ въ самомъ дѣлѣ поводъ? вскипало у него снова на душѣ, требовалъ-ли чего нибудь, просилъ, надѣялся? Развѣ и *смотрѣть* ужь на *нее* нельзя?... Вѣдь вотъ это вѣчное солнце, оно свѣтитъ и мнѣ, и вотъ этой чайкѣ, что̀ взвилась сейчасъ тамъ, надъ рѣкою, и послѣднему червяку въ лужѣ... И наконецъ, если бы я даже... Скорѣе уѣхать изъ этихъ мѣстъ, сказывалось у него внезапными взрывами, и пріѣзжать совсѣмъ не нужно было! Я не хотѣлъ, все Ашанинъ... Привезъ, а теперь самъ... Кину я все это, скажу, что не здоровъ, Богъ съ нимъ и съ *Гамлетомъ!* Видно не судьба!... И нужно было тетушкѣ сѣсть за карты,— такъ бы сейчасъ и уѣхали въ Сашино“!...

Лина пошла прямо къ нему:

— Сергѣй Михайловичъ!

Онъ вздрогнулъ отъ неосторожнаго звука этого голоса, обернулся, поднялся съ мѣста!...

Она сѣла... Онъ съ тревогой въ сердцѣ опустился снова на стулъ.

— Вы не здоровы! заговорила она, участливо глядя ему въ лицо.

— Я?... Нѣтъ... Я здоровъ... совершенно здоровъ...

— Что̀ съ вами, Сергѣй Михайловичъ, скажите! настойчиво начала она опять, продолжая смотрѣть ему въ лицо.

— Ничего, княжна, увѣряю васъ; я не знаю...

— Вы на репетиціи... совсѣмъ другой были! Потомъ вы ушли, съ дядей, да?

— Точно такъ.

— Къ нему на верхъ?

— Къ нему.

— И что̀ же вы дѣлали у него?

— Мы условливались на счетъ урѣзокъ...

— Да, я знаю... И больше ничего? спросила Лина.

— Нѣтъ, мы еще... бесѣдовали, черезъ силу проговорилъ Гундуровъ, у котораго при этомъ воспоминаніи вся кровь кинулась въ голову.

Она примолкла.

— И вы *такой* сдѣлались послѣ этой... *бесѣды?* начала она послѣ довольно долгаго молчанія.

Онъ не находилъ отвѣта...

— Онъ очень добрый, дядя Ларіонъ, заговорила опять княжна,—только слова его могутъ иногда показаться...

— Нѣтъ, напротивъ, я ему долженъ быть очень благодаренъ за совѣтъ, примолвилъ съ невольною ироническою улыбкою Гундуровъ.

— Какой совѣтъ? Она съ необычною ей живостью подняла на него вопрошающіе глаза.

— Онъ обѣщалъ выхлопотать мнѣ паспортъ за границу на будущій годъ, а для этого совѣтовалъ мнѣ теперь ѣхать путешествовать по Россіи.

— По Россіи, медленно повторила Лина,—скоро?...

— Онъ говорилъ: „не медля“...

— И вы поѣдете? еще тише спросила она.

— Да, отвѣчалъ Гундуровъ твердымъ голосомъ и избѣгая въ то же время ея глазъ,—поѣду!

— А нашъ Гамлетъ? промолвила она съ какимъ-то особымъ удареніемъ.

— Послѣ... Онъ не договорилъ.

Она опять замолкла и опустила голову.

— Что же, подняла она ее опять и тихо улыбнулась,— по крайней мѣрѣ, *Гамлета отыграемъ!...*

— Это мигъ одинъ! вырвалось у молодаго человѣка.

— Все въ жизни—мигъ... И сама она—мигъ одинъ! зазвенѣлъ какою-то еще неслыханною имъ нотою голосъ Лины.

Онъ недоумѣло поглядѣлъ на нее:

— Да, но тогда жить не стоитъ?...

— Слѣдуетъ! тономъ глубокаго убѣжденія молвила она,— *нести* надо!...

— Бороться надо! сказалось у него какъ-то невольно опять.

— Да, и бороться! раздумчиво закивала она золотистою головкой... И вдругъ перемѣнила разговоръ:

— Это должно быть очень интересно — путешествіе по Россіи... Какъ бы я была рада, если-бъ сама могла...

— Да, сквозь зубы промолвилъ Гундуровъ,—въ этнографическомъ отношеніи интересно...

Она не поняла, что онъ хотѣлъ сказать:

— Мнѣ кажется... кто только любитъ свое... отечество...

Глаза Гундурова заморгали:

— Именно тотъ... Въ другихъ странахъ любовь къ родинѣ—гордость; у насъ она — мука, княжна! досказалъ онъ свою мысль.

Она, въ свою очередь, удивленно остановила на немъ взглядъ, пораженная горечью его тона.

Онъ понялъ, что она требовала объясненія.

— Куда бы вы ни направили путь, заговорилъ онъ съ возрастающимъ оживленіемъ, — все то же зрѣлище представитъ вамъ русская земля. Отъ моря до моря, отъ Нѣмана и до Урала, все тотъ же позоръ рабства и тягота неволи!...

Голосъ его теперь былъ почти грубъ, но онъ глубоко проникалъ въ душу дѣвушки; въ немъ звучали теперь, она чувствовала, лучшія струны этой молодой мужской души, и на нихъ откликалось все лучшее въ ея существѣ...

— Ахъ, какъ часто, почти вскрикнула она,—какъ часто съ тѣхъ поръ, какъ я живу въ Россіи, приходили мнѣ эти мысли въ голову!... И скажите, неужели вотъ только вы...

и я—краска на мигъ вспыхнула въ ея лицѣ: въ другую минуту она не прибавила бы этого „я“,—думаемъ объ этомъ?... Мнѣ никогда не случалось слышать ни отъ кого... будто это совсѣмъ не нужно... Я разъ говорила объ этомъ съ дядей, онъ мнѣ отвѣтилъ что-то, что, я помню, меня не удовлетворило... Онъ какъ-то говорилъ, что „разомъ нельзя; что надо готовить ис... „исподволь“, произнесла съ нѣкоторымъ усиліемъ Лина необычное ей слово.

— Желѣзная рука Петра, сказалъ на это Гундуровъ, — оторвала насъ отъ народа. Мы, высшее, такъ называемое образованное, сословіе, мы давно перестали быть Русскими!... Мы давно стали нѣмы на его вѣковой стонъ, глухи къ его вѣковымъ страданіямъ... Мы сыты отъ голода его... Что же васъ удивляетъ это общее кругомъ васъ равнодушіе къ нему, княжна?...

— Но вѣдь тогда онъ самъ, сказала она, — самъ можетъ потребовать наконецъ...

— Какъ на Западѣ? возразилъ молодой славистъ.—Нѣтъ. Онъ закачалъ головою.—Нѣтъ народа въ мірѣ, который былъ бы такъ чутокъ къ своему историческому предопредѣленію. Въ немъ лежитъ инстинктъ своего великаго будущаго. Онъ вѣритъ въ него, вѣритъ въ исконную связь свою со своимъ законнымъ, *земскимъ* Царемъ, подчеркнулъ Гундуровъ, — и ждетъ... Онъ перетерпѣлъ удѣльную усобицу, татарскую неволю, перетерпѣлъ Петровскій разгромъ. Онъ перетерпитъ со своимъ святымъ смиреніемъ и нынѣшнее неразуміе, нынѣшнюю постыдную близорукость...

— Вотъ видите, *смиреніе!* произнесла неожиданно княжна;—покойный папа всегда говорилъ: „смиреніе—сила...“

Она какъ бы уличила его въ противорѣчіи его личнаго, бунтующаго при первой неудачѣ, чувства съ этимъ вѣковымъ „святымъ смиреніемъ“ народа... Гундуровъ такъ понялъ это, по крайней мѣрѣ, и нѣсколько смутился.

— Да, сказалъ онъ, не совсѣмъ справясь съ собою, — а между тѣмъ эта бѣдная... великая и бѣдная родина наша, повторилъ онъ,—вся она изнемогла подъ гнетомъ крѣпостнаго [illegible]ава, вся она кругомъ изъязвлена неправдою, насиліемъ...

до мозга костей ея уже проникла и пожираетъ ее эта проказа рабства... А годы летятъ, крылья связаны, и знаешь, ничѣмъ, ничѣмъ не въ силахъ послужить ей, ничѣмъ, даже въ виду отдаленнаго, лучшаго будущаго. Вѣдь вотъ что̀ ужасно, чего нѣтъ иногда силъ вынести, княжна!...

— Знаете,—Лина тихо улыбнулась,—я вѣрю въ предчувствія; мнѣ что̀-то говоритъ, что не всегда будутъ у васъ... у всѣхъ... крылья связаны, какъ вы говорите. Вы такъ молоды, вы еще можете увидѣть это „лучшее время“...

— Оковы рухнутъ, и свобода
Васъ встрѣтитъ радостно у входа,

пронеслась въ памяти Гундурова запрещенная Пушкинская строфа...

— О, если бы вашими устами, да медъ пить, Елена Михайловна! вскликнулъ онъ съ мимолетной улыбкой.—Вотъ дядюшка вашъ, онъ *государственный* все-таки человѣкъ, говоритъ также, что это „теченіе должно измѣниться...“ О, еслибы суждено мнѣ было когда-нибудь послужить освобожденію моего народа!... Но когда, когда вздумается этому „теченію измѣниться?“ Князь Ларіонъ Васильевичъ сегодня показался мнѣ удивленнымъ, когда я сказалъ ему, что я не честолюбивъ. Но, скажите сами, какое же честолюбіе достойно честнаго человѣка,—я говорю о людяхъ моего поколѣнія и понятій,—когда оно должно итти въ разрѣзъ съ тѣмъ, что̀ дороже, что̀ *должно быть* дороже ему всего на свѣтѣ?... У меня было свое, скромное дѣло, но все же, хотя побочнымъ, не близкимъ путемъ, оно могло служить... Я надѣялся, многое могло быть разъяснено, дойти, перейти въ общее сознаніе... И то̀ вырвали изъ рукъ!... Поневолѣ теперь, закончилъ онъ, тяжело вздохнувъ, — приходится стиснуть зубы и искать забвенія въ *Гамлетѣ!*

— Бѣдный *Гамлетъ!* робкимъ какъ бы упрекомъ послышалось ему въ голосѣ Лины...

У Гундурова ёкнуло въ груди...

Но княжна какъ будто не хотѣла дать ему случая къ от-

вѣту. Она заговорила о своей роли *Офеліи*. Роль эта ей очень нравилась.

— Во всемъ Шекспирѣ, кажется, нѣтъ болѣе поэтическаго женскаго характера... Да, *Корделія!* вспомнила она.

— А *Джульета?* сказалъ Гундуровъ.

— Нѣтъ,—она покачала головой,—они тамъ оба съ *нимъ* такіе... она искала слова и не находила его, — такіе *безумные!* И она засмѣялась; — можно-ли представить себѣ *ихъ* стариками? Оттого Шекспиръ, можетъ быть, и заставляетъ ихъ умереть такъ рано...

— Отчего же, возразилъ онъ,—и у стариковъ можетъ такъ же горячо биться кровь...

Она вдругъ задумалась.

— Да, это правда!... Только все же мнѣ больше нравится *Офелія*... Какой поэтъ этотъ Шекспиръ! Какъ умираетъ она у него чудесно! молвила она, устремивъ безотчетно глаза впередъ, въ тотъ уголъ, гдѣ препирались Духонинъ, Факирскій и подсѣвшій къ нимъ Свищовъ.

А изъ того угла, не прерывая разговора, жадными глазами слѣдилъ за каждымъ ея движеніемъ студентъ:

— Читали вы ея послѣдній романъ? спрашивалъ онъ у Духонина.

— Какой?

— *Le compagnon du tour de France*, проговорилъ онъ заглавіе коверканнымъ французскимъ произношеніемъ.

— Нѣтъ, не читалъ. Онъ, кажется, запрещенъ?

— У насъ, извѣстно, всѣ хорошія вещи запрещаютъ! Я его все-таки имѣю!..

— Здѣсь?

— Да. Желаете прочесть?

— Одолжите, если можно.

— Съ моимъ удовольствіемъ... Эта вещь тѣмъ замѣчательна, пояснилъ Факирскій,—что кромѣ обычныхъ качествъ этого великаго передоваго таланта, на значеніе котораго такъ горячо указывалъ незабвенный Виссаріонъ Бѣлинскій...

— Ну! скорчилъ гримасу Духонинъ.

— Что-съ? Вы не уважаете Бѣлинскаго? вскликнулъ студентъ.

— Уважаю-ль? повторилъ тотъ: — ничего, человѣкъ былъ хорошій... горячій... Только въ сущности, одно то у него и было — горячность!... Остальное вѣдь все съ чужаго голоса: Станкевичъ разъ, Боткинъ два, Герценъ три!... Кто послѣднее сказалъ, съ трубы того и трубилъ! Вспомните, что онъ писалъ въ *Молвѣ* и до чего договорился въ Петербургѣ?...

— Учи-тель-съ! внушительно протянулъ на это Факирскій,—вѣдь только и есть у насъ, что онъ, да *Тимоѳей Николаевичъ* *), и тому теперь ротъ зажали... Такъ вотъ-съ я началъ говорить про *компаньенъ дю туръ де-Франсъ*. Тѣмъ-съ эта вещь замѣчательна, что показываетъ намъ, какъ далеко успѣло уйти образованное французское общество на пути новыхъ соціальныхъ идей.

— Разсказывайте! скорчилъ опять гримасу неугомонный Духонинъ, поправляя очки на носу.—Но я по этому поводу не желаю спорить... Вы начали о романѣ. И такъ...

— И такъ, подхватилъ на-лету студентъ, метнувъ новымъ взглядомъ по направленію княжны,—два такіе *компаньона*, то есть, странствующіе ремесленники, *Пьеръ* и пріятель его, приглашаются работать,—они мастерствомъ столяры,—въ замокъ одного богатѣйшаго стараго графа... У этого стараго, вдоваго графа — внучка, *Изельта*, произнесъ по-своему Факирскій французское имя *Изё* (Iseult), — и эта дѣвушка, героиня романа, влюбляется въ Пьера.

— Какъ! вскликнулъ Свищовъ, — такъ-таки графиня, въ простаго рабочаго, столяра?

— Да-съ, именно, и что же вы находите въ этомъ удивительнаго? закипятился вдругъ пылкій поклонникъ Жоржъ-Санда, — этотъ столяръ, это французскій *увріеръ*, человѣкъ, можетъ быть, сто разъ образованнѣе какого нибудь нашего губернатора!...

— Ну, ужь какъ вамъ угодно, а только онъ непремѣнно

*) Грановскій.

долженъ былъ клеемъ вонять, вашъ *увріеръ*, расхохотался вовсю мочь Свищовъ.

Студентъ разсердился не на шутку:

— Съ вами говорить нельзя-съ! Вы все прекрасное и высокое готовы изъ легкомыслія закидать грязью... Такъ нельзя-съ!... нельзя такъ-съ! едва могъ онъ выговорить отъ волненія.

Свищовъ принялся унимать его:

— Ну, полно, душечка, полно, ну, пошутилъ... А вы плюньте. Плюньте и продолжайте!

Факирскій передохнулъ и еще не успокоеннымъ голосомъ:

— Изельта, заговорилъ онъ снова, — выражаетъ собою тотъ идеалъ, до котораго додумываются теперь благороднѣйшіе умы Запада. Богатая, она презираетъ свое богатство; аристократка, она хочетъ равенства, да-съ!... Дѣвственная, она первая рѣшается сказать Пьеру, что она его любитъ и хочетъ за него итти замужъ, потому что онъ „*изъ народа*“, и „я, говоритъ она ему, хочу быть *народомъ*“, — понимаете-съ?...

— А столяръ, поддразнилъ его Духонинъ, — соглашается жениться на ней и, въ свою очередь, изъ „народа“ дѣлается *графомъ?*

— Вы ошибаетесь, вы очень ошибаетесь! Тутъ-то и сказывается вся сила Жоржъ-Санда и вся мощь изображаемыхъ ею характеровъ! Пьеръ любитъ *Изельту* страстно, безконечно, всею душой и всею мыслію своей, но онъ отказывается отъ нея. „Пока мнѣ невѣдомо“, говоритъ онъ,—„дѣйствительно-ли богатство—право, а бѣдность—долгъ, я хочу оставаться бѣднымъ...“ И онъ жертвуетъ всѣмъ, любовью своею, счастіемъ — слезы слышались почти въ голосѣ студента,—во имя своей бѣдности, своей *святой* бѣдности!

— Удивительное дѣло-съ, безпощадно возразилъ на это Духонинъ,—какъ эти всѣ герои „*изъ народа*“, алчущіе „равенства“, не ищутъ себѣ героинь между своей сестрой—швеями и корсетницами, а все облюбливаютъ графинь какихъ-то, да маркизъ!...

— Что же-съ, запнулся Факирскій, — это несомнѣнно,

что пока... аристократическое, такъ сказать, воспитаніе даетъ это... эту прелесть внѣшней формы... манеры, — и глаза его невольно опять устремились на княжну, — а это не можетъ не цѣнить всякій... всякій эстетически развитый человѣкъ...

Свищовъ подмигнулъ Духонину, какъ бы приглашая его ко вниманію.

— „Несомнѣнно“ во всякомъ случаѣ то, сказалъ онъ, что очень было бы пріятно быть — какъ бишь вы называете столяра вашего? глянулъ онъ въ глаза Факирскому, — да, *Пьеръ*,—очень было бы пріятно быть *Пьеромъ* княжны здѣшней, напримѣръ,—какъ вы полагаете?...

Бѣдный юноша не выдержалъ: онъ сорвался съ мѣста, словно готовясь кинуться на зубоскала, но сдержался и, красный какъ ракъ:

— Я съ вами говорить не хочу-съ! вскрикнулъ онъ и побѣжалъ вонъ съ балкона.

— Эко молодо,—зелено! расхохотался ему вслѣдъ Свищовъ.

— И охота же вамъ! недовольнымъ тономъ промолвилъ Духонинъ.

— Ничего-съ, осторожнѣе будетъ! Вѣдь туда же, о княжнахъ мечтаетъ!... Довольно съ нея и этого педанта! кивнулъ онъ въ сторону Гундурова.—Эхъ, вотъ до кого бы добраться! неожиданно вырвалось у него...

Духонинъ съ удивленіемъ глянулъ на него изъ-подъ очковъ:

— А что онъ вамъ сдѣлалъ? спросилъ онъ.

— Ничего, нагло оскалилъ зубы тотъ, — а учинять пакость ближнему никогда не мѣшаетъ.

— Гм! промычалъ Духонинъ, всталъ и пошелъ къ кружку ликовавшихъ отъ анекдотовъ Чижевскаго *пулярокъ*.

— Ну, и убирайся! проговорилъ себѣ подъ носъ Свищовъ, продолжая наблюдать изъ своего угла за Гундуровымъ и княжной и становясь все злѣе, по мѣрѣ того, какъ все очевиднѣе дѣлалось ему, что она находитъ удовольствіе въ бесѣдѣ съ нашимъ героемъ.

Свищовъ его ненавидѣлъ. За что? Между ними не было ничего общаго: нечего имъ было дѣлить, не о чемъ соперн-

ничать. Но Свищовъ принадлежалъ къ числу тѣхъ безалаберныхъ Яго, которыхъ такъ много на Руси: онъ ненавидѣлъ людей „здорово *живешь*“, за то, что̀ есть у этихъ людей, и чего ему самому вовсе не нужно было, а слѣдовательно чему, казалось бы, онъ не имѣлъ никакой причины завидовать. Самъ онъ, напримѣръ, смахивалъ наружностью на короткошейнаго, грудастаго испанскаго быка и очень гордился этимъ выраженіемъ силы въ своей наружности; но Гундуровъ былъ тонокъ, строенъ и нѣсколько тщедушенъ съ виду, и Свищовъ его ненавидѣлъ за это. Гундуровъ готовился на каѳедру, а Свищовъ, кромѣ картъ и московскаго балета, ни о чемъ знать не хотѣлъ и за это ненавидѣлъ Гундурова... Въ настоящую минуту онъ несказанно злился на него за то, что вотъ онъ бесѣдуетъ съ княжной Шастуновой, и она слушаетъ его съ видимымъ вниманіемъ, а ему, Свищову, никогда въ голову не приходило вступить съ нею въ бесѣду, и въ Сицкое-то онъ пріѣхалъ, привезенный Акулинымъ, въ качествѣ любителя-актера, единственно потому, что былъ въ эту минуту безъ гроша и не на что̀ было ему вернуться въ Москву...

Онъ отправился изливать свою желчь предъ пріятелемъ своимъ Елпидифоромъ.

— Поглядите-ка, батенька, началъ было Свищовъ, какъ въ эту минуту подошла къ отцу бойкая барышня:

— Можете получить! коротко сказала она ему.

— Что̀? не понялъ сразу отяжелѣвшій послѣ обѣда исправникъ.

— Ступайте къ капитану!...

— Даетъ? Онъ радостно вскочилъ со стула.

— Еще бы смѣлъ не дать! отвѣчали приподнявшіяся плечи Ольги.

— Ахъ, ты моя разумница!... Сейчасъ?...

— Идите, говорю вамъ...

Онъ поспѣшно заковылялъ на своихъ коротенькихъ ножкахъ. Она за нимъ...

— Ольга Елпидифоровна! остановилъ ее Свищовъ.

— Чего вамъ? спросила она его черезъ плечо: она его терпѣть не могла.

— Спектакль сей изволили видѣть? И онъ осторожно повелъ глазами по направленію княжны и Гундурова.

— Какой же тутъ спектакль?

— Воркуютъ-то какъ! хихикнулъ онъ.

— А вамъ до этого что?

— А мнѣ ничего; какъ другимъ, а мнѣ даже пріятно, нагло посмѣивался Свищовъ, — даже поучительно: вотъ оно, значитъ, иностранное воспитаніе...

— А у васъ языкъ слишкомъ длиненъ, отрѣзала ему на это Ольга;—Лина—мой другъ, и вы не смѣйте!... А то я разскажу княгинѣ, что вы ея дочь браните, и васъ попросятъ отсюда вонъ... Можете къ вашему Волжинскому отправляться!...

Она повернула ему спину и ушла.

— А чортъ бы ихъ побралъ всѣхъ! рѣшилъ послѣ такой неудачи Свищовъ, — хоть бы съ кѣмъ-нибудь по маленькой въ пикетецъ сразиться...

Но замѣчаніе его не прошло мимо ушей смышленой особы. Она пристально, на-ходу, воззрилась на забывавшаго весь міръ въ эту минуту Гундурова, на „друга своего Лину“, и довольная улыбка пробѣжала по ея губамъ:

— Вотъ оно, чѣмъ тебя допечь, противный старикашка! послала она мысленно по адресу князя Ларіона.

XXII.

А голосъ самого князя послышался въ это время въ дверяхъ гостинной.

— Господинъ Акулинъ? Елпидифоръ Павлычъ?

— Здѣсь! отвѣчалъ исправникъ, торопливо засовывая подъ мундиръ деньги, только-что полученныя имъ отъ „капиташки“.

Князь Ларіонъ отдалъ ему написанное имъ къ *графу* письмо. Исправникъ тотчасъ же собрался ѣхать и, откланявшись княгинѣ, вышелъ изъ гостинной.

Свищовъ побѣжалъ за нимъ:

— Что, батенька, не заѣдемъ-ли по пути? подмигнулъ онъ ему, разумѣя усадьбу Волжинскаго, въ которой съ утра до вечера велась игра.

— Что вы, что вы,—толстый Елпидифоръ отмахнулся отъ него обѣими руками; — и васъ съ собою не возьму... отъ соблазна подальше! Тысячу дѣловъ, *графъ*, *Полонія* учить надо, а онъ съ чѣмъ подъѣхалъ!... Сидите, сударикъ, здѣсь, да рольку проглядите, а я завтра сюда на репетиціи... Ранѣе полудня, полагаю, не начнется...

И онъ поспѣшно спустился съ лѣстницы.

— Вотъ поди-на! подумалъ Свищовъ, — *хапуга* вѣдь завзятый, а тоже себя артистомъ мнитъ... И артистъ, дѣйствительно, чортъ его возьми! злобно хихикнулъ онъ въ заключеніе.

За отъѣздомъ Акулина продолженіе репетиціи *Гамлета*, предполагавшееся въ тотъ же вечеръ, отложено было на

завтра. Кромѣ Вальковскаго, который, услыхавъ о такомъ рѣшеніи, воспылалъ негодованіемъ и ушелъ со злости пить чай въ пустой театръ, захвативъ съ собою туда пріятеля своего, режиссера, никто изъ молодежи на это не ропталъ...

— Не поѣхать-ли намъ кататься? предложила Лина, прерывая бесѣду свою съ Гундуровымъ и подымаясь съ мѣста.

— Поѣдемъ, поѣдемъ! вскинулись разомъ всѣ.

— Дождь сейчасъ пойдетъ! сказалъ кто-то.

— Что вы, откуда? запищали *пуляpки.*

— Откуда онъ всегда идетъ, сверху! загаерничалъ Шйгаревъ, принимаясь подражать языкомъ звуку барабанившихъ уже по ступенькамъ лѣстницы дождевыхъ капель...

Черезъ минуту крупный весенній дождь полилъ, какъ изъ ведра.

— Ай, ай, ай! Съ визгомъ и хохотомъ побѣжало молодое общество съ балкона въ гостиную.

— Mon управляющій sera très content, объявила своимъ партнерамъ княгиня Аглая Константиновна,—онъ говоритъ, что дождь c'est excellent pour les посѣвы.

— Et pour l' исправникъ, котораго теперь мочитъ до костей, подшутилъ „бригантъ," которому ужасно везло въ преферансъ.

— Вы такой злой всегда, такой злой! также шутливо погрозила она ему толстымъ своимъ пальцемъ.

Онъ нѣжно покосился на нее...

— Я очень радъ этому случаю заполонить васъ, молодая особа, весело молвилъ, подходя къ бойкой барышнѣ, князь Ларіонъ:—вы противъ соловья имѣете то преимущество, что можете пѣть и въ ненастье. А мы вотъ ужъ третій день какъ не слышали васъ...

— Ah, oui Olga, faites nous de la musique! крикнула ей, въ свою очередь, княгиня.

— Слушаю-съ. Барышня присѣла передъ ней танцмейстерскимъ присѣданіемъ и, обернувшись къ князю:

— И пѣть все то же опять? спросила она, лукаво глядя на него.

— Непремѣнно! засмѣялся онъ.

— „Я помню чудное мгновенье?“

— Само собою.

— Вы это очень любите, ваше сіятельство?

— Чрезвычайно!

— И что̀ именно: музыку, или слова?

— И то, и другое. Я нахожу, что мысль поэта передается здѣсь музыкою въ такомъ совершенствѣ, что иной и нельзя написать на это стихотвореніе...

— А сами вы?...

— Что̀ „самъ?“

— Сами вы при этомъ не вспоминаете какого нибудь „чуднаго мгновенья?“

Онъ засмѣялся опять:

— Непремѣнно вспоминаю:—то́, когда вы мнѣ это въ первый разъ пропѣли.

— Ни, ни, ни! Она медленно закачала головой,—меня провести не легко! Что̀ вы *вспоминаете*, это я знаю; что вспоминать вамъ сладко, оттого вы такъ часто заставляете меня это пѣть... Но что не я, а кто-то другой тотъ „геній *чистой* красоты“, о которомъ вы вспоминаете, подчеркнула Ольга,—я тоже знаю...

Она подняла на него глаза—и обомлѣла... Онъ былъ блѣденъ, какъ холстъ; судорога кривила его губы...

— Про кого это вы говорите? еле-слышнымъ голосомъ промолвилъ онъ.

Бойкая барышня страшно перепугалась: слова отца про глиняный горшокъ пришли ей на память; она полѣзла въ бой, не справившись со своими силами, и только теперь поняла, какимъ разгромомъ могло это кончиться для такихъ горшка и горшечка, каковы были отецъ ея и сама она сравнительно съ людьми, какъ Шастуновы...

Но она была находчива:

— Сказать? Она смѣло взглянула на него еще разъ.

— Говорите! пропустилъ онъ сквозь стиснутые зубы.

— Далеко отсюда это воспоминаніе, молвила она, сопровождая эти слова соотвѣтствующимъ движеніемъ руки,—къ *Сампсону*, въ Петергофъ надо бѣжать...

— Въ Петергофъ? повторилъ онъ недоумѣло, впился въ нее глазами... вспомнилъ и вздохнулъ, — вздохнулъ своей грудью, какъ вздыхаетъ человѣкъ, котораго только-что миновала смертельная опасность...

— Отгадала? спрашивала его между тѣмъ смышленая особа.

— Вы что объ этомъ можете знать? сказалъ онъ, хмуря брови.

— Мало-ль что я знаю! уже свободно расхохоталась она.

— Это я вижу, съ язвительною усмѣшкою вымолвилъ ей на это князь Ларіонъ,—и, къ сожалѣнію, не могу васъ никакъ съ этимъ поздравить!

Онъ нагнулся въ знакъ поклона и отошелъ отъ нея.

Она нѣсколько растерянно глянула ему вслѣдъ: „глупость“ ея совсѣмъ не такъ удачно сходила ей съ рукъ, какъ она вообразила себѣ это въ первую минуту.

— Eh bien, Olga? раздался снова голосъ княгини.

Она побѣжала къ фортепіано, на которомъ съ пріѣзда ея въ Сицкое лежала папка съ ея нотами.

— А Надежда Ѳедоровна гдѣ-же? спросила она, обведя кругомъ глазами,—я не могу сама себѣ аккомпанировать...

— Если позволите, вызвался подбѣгая Чижевскій,—я музицирую довольно порядочно...

Онъ сѣлъ за фортепіано. Она запѣла: „я помню чудное мгновенье.“

Пѣла она, дѣйствительно, такъ, что, какъ говорилъ про глаза ея Ашанинъ, „мертваго могла бы воскресить.“ Неутихшее еще въ ней волненіе сказывалось въ ея слегка дрожавшемъ, но никогда еще, можетъ быть, такою проницательною силою не звучавшемъ, густомъ и *яркомъ* контральтовомъ голосѣ. Онъ, казалось, звенѣлъ въ молодой шири своей изо всѣхъ концовъ пространной гостиной, лился неотразимымъ обаяніемъ въ ухо каждаго изъ слушателей... Пѣла она *по-своему*, какъ поютъ иныя чисто русскія пѣвицы, какъ пѣла знаменитая въ то время исполнительница Глинки и Даргомыжскаго, Марья Васильевна III-ая, съ тою сладко-томительною, неотступною, насквозь прожигающею страстностью,

тѣмъ особымъ, капризнымъ, полуцыганскимъ пошибомъ, что прямо хватаетъ и бьетъ по всѣмъ живымъ струнамъ русской души...

— „И сердце бьется въ упоеньи,
И для него настали вновь
И божество-о... и вдохно-венье,
И жизнь, и слезы, и—и любовь!...

Все примолкло, все слушало... У аккомпанировавшаго ее Чижевскаго дрожали отъ волненья руки. Ашанина—когда-то женившагося изъ-за Варламовскаго романса—била лихорадка...

Онъ первый кинулся къ ней, когда она кончила:

— Что хотите, то и дѣлайте со мною! бормоталъ онъ, самъ себя не помня... Никогда еще такъ всевластно не говорили въ немъ восторгъ и желаніе!...

Но ее уже обступали всѣ... *Образованная окружная* душила ее въ своихъ жирныхъ объятіяхъ. Чижевскій безъ словъ жалъ ея руки...

— Charmant, charmant! словно ходъ фагота въ визгѣ маленькихъ флейтъ слышался поощрительный голосъ княгини Аглаи въ хорѣ возгласовъ восхищенныхъ *пулярокъ*.

— Віардо нумеръ второй! подбѣжалъ къ ней Маусъ съ фразою, которую неукоснительно повторялъ онъ ей каждый разъ, когда она при немъ пѣла.

— Не знаю-съ, не слыхалъ, отрѣзалъ ему на это тутъ же очутившійся храбрый капитанъ Ранцовъ, у котораго отъ пробиравшаго его чувства всѣ усы, какъ у кота, взъерошены были кверху,—а только что онъ лучше Ольги Елпидифоровны пѣть не въ состояніи, я за это готовъ прозакласть мою честь!...

— *Она*, а не „онъ“—Віардо! презрительно отпустилъ ему правовѣдъ.

— Все равно „она“-съ, или *онъ*-съ, а только что не можетъ спѣть лучше-съ! И капитанъ поглядѣлъ на Мауса такъ, что „вотъ молъ я тебя, чухонца, сейчасъ и съ косточками проглочу!...“

„Олива“, какъ и слѣдуетъ, стушевалась предъ „лавромъ“.

Маусъ только плечами пожалъ и величественно ушелъ въ глубину своихъ нескончаемыхъ воротничковъ.

— А вы, капитанъ, не бурлите! И барышня повела на него строгимъ взглядомъ;—что это вы въ своихъ казармахъ выучились такъ неприлично выражать ваши восторги?

— И не живалъ въ нихъ никогда-съ, мы все по деревнямъ квартировали, сконфуженно и покорно объяснилъ влюбленный воинъ,—только ужь позвольте мнѣ, Ольга Елпидифоровна, всею моею душою и сердцемъ вѣрить, что такъ, какъ вы, никто не споетъ-съ, никто!...

Но она не слушала его и, прищурившись, отыскивала глазами князя Ларіона.

Онъ сидѣлъ поодаль отъ всѣхъ, на угловомъ диванѣ, и разсѣянно игралъ большою кистью подушки, положенной имъ себѣ подъ бокъ... „Магнетизмъ воли“ ея не дѣйствовалъ: онъ не подымалъ головы...

Досада и тревога опять завладѣли Ольгою. Она повела взглядомъ кругомъ...

Ашанинъ, опершись локтемъ о фортепіано, не сводилъ съ нея глазъ...

Она шагнула къ нему:

— Мнѣ нужно будетъ вамъ сказать два слова!

— Развѣ вы еще не будете пѣть? воскликнулъ, словно обиженный, Маусъ.

— Потомъ... потомъ... А теперь надо Лину попросить...

Княжна опять сидѣла подлѣ Софьи Ивановны и глядѣла ей въ карты. Съ приходомъ князя Ларіона, Гундуровъ все мучился желаніемъ подойти къ ней и все не рѣшался...

— Лина, милая, за вами теперь очередь... всѣ просятъ! говорила, подбѣжавъ къ ней, Ольга.

— Oui, ma chère, chantez nous quelque chose! предписала и княгиня.

Чижевскій предложилъ опять свои услуги...

Она запѣла очень извѣстный, тогда еще новый, романсъ Гордиджіани: „O Santissima Vergine Maria!“ Тихою, несложною модуляціею словно журчитъ сквозь слезы молитва бѣдной поселянки къ Пречистой Дѣвѣ Маріи. Она проситъ о

своемъ *Дженнаро*, объ исцѣленіи ея „poverino“, ея опасно заболѣвшаго Дженнаро: „исцѣли его, Пресвятая,—и за то, обѣщаетъ она, я отдамъ тебѣ ту ленту, что мнѣ подарила мама, и каждую субботу передъ Твоимъ Пречистымъ Ликомъ будетъ горѣть зажженная мною свѣча...“

Точно откуда-то сверху, изъ воздушныхъ пространствъ, несся нѣжный и трогательный какъ у ребенка, чистый какъ звонъ стекла голосъ Лины. Онъ не возбуждалъ восторговъ, не вызывалъ невольныхъ рукоплесканій... Но князь Ларіонъ, откинувшись головой въ спину своего дивана, едва переводилъ дыханье... Слезы туманили глаза Софьи Ивановны. Гундуровъ кусалъ себѣ губы до боли...

— Да, молитва, чистое... *неземное*... Это все *ея!*... Другаго она не понимаетъ,—и не пойметъ... говорилъ онъ себѣ съ какимъ-то смѣшаннымъ чувствомъ благоговѣнія и печали,—нѣтъ, я не встрѣчалъ, да и есть-ли еще на свѣтѣ подобное созданье?... Она совсѣмъ особенная, непонятная... недосягаемая...

А Лина, допѣвъ свой романсъ, и ласково проговоривъ „спасибо“ Чижевскому, поспѣшно отошла отъ фортепіано.

— Княжна, больше и не будетъ? сказалъ ей съ улыбкою Гундуровъ, мимо котораго она проходила.

— Ахъ, нѣтъ, пожалуйста!...

Она слегка покраснѣла:

— А вы не любите пѣть?

— При другихъ—нѣтъ, не люблю... Для чего?...

— Для того... началъ было онъ—и пріостановился...— Знаете-ли, княжна, о чемъ я думалъ, слушая ваше пѣніе? заговорилъ онъ опять съ какою-то самого его удивившею смѣлостью.

— Что я плохо пою? усмѣхнулась она въ отвѣтъ.

— Нѣтъ, и вы сами знаете, что я *этого* не могъ думать... Я думалъ послѣ нашего разговора... Мнѣ представлялось, что васъ влечетъ какъ будто къ себѣ одно печальное въ жизни, а всѣ ея радости, ея свѣтлую сторону вы какъ бы намѣренно желаете обойти...

— Я... обойти? повторила она и тихо опустилась въ крес-

ло подлѣ него, — нѣтъ, я не святая... Но гдѣ онѣ, эти радости? задумчиво примолвила Лина.

— Въ осьмнадцать лѣтъ, и вы спрашиваете? воскликнулъ Гундуровъ... Вы впрочемъ *Джульеты* не понимаете! замѣтилъ онъ съ нѣсколько натянутою улыбкою.

— Не понимаю? Она подняла и остановила на немъ свои никогда не улыбавшіеся глаза;—я вамъ этого не говорила...

Фортепіано зазвучало снова. Послышалась ритурнель извѣстнаго романса Глинки на слова Павлова:

— „Она безгрѣшныхъ сновидѣній
Тебѣ на ложе не пошлетъ,
И для небесъ, какъ добрый геній,
Твоей души не сбережетъ,—

пѣла Ольга своимъ страстнымъ, забористымъ голосомъ;

Съ ней міръ иной, но міръ чудесный!
Съ ней гибнетъ вѣра въ лучшій край...
Не называй ее небесной,
И отъ земли не отрывай!...

Княжна, примолкнувъ, слушала...

— Вотъ *этого* я не понимаю, это правда! вся заалѣвъ, сказала она Гундурову по окончаніи куплета, — и отошла къ карточному столу.

— Ты очень хорошо пѣла, Hélène, молвилъ подойдя къ ней князь Ларіонъ.

— Mercі, oncle! Она шутливо кивнула ему въ знакъ благодарности.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ... И знаешь, пѣла даже съ какимъ-то особеннымъ выраженіемъ, котораго я и не подозрѣвалъ въ тебѣ, прибавилъ онъ, видимо налаживая себя также на шутливый тонъ.

— А именно? спросила Лина.

— Да ты будто дѣйствительно молилась о чьемъ-то исцѣленіи? Онъ засмѣялся дѣланнымъ смѣхомъ.

Что-то неуловимое пробѣжало у нея по лицу.

— У меня, слава Богу, никого больнаго нѣтъ! сухо отвѣтила она.

— Elle aurait bien dû prier le bon Dieu de vous guérir

de vôtre antipathie pour Petersbourg! отпустила неожиданно княгиня Аглая тоже въ видѣ шутки.

Князь Ларіонъ закусилъ языкъ, чтобы не отвѣтить ей грубостью. У него было не хорошо, очень не хорошо на сердцѣ...

Ольга въ это время, пропѣвъ свой послѣдній куплетъ и объявивъ кругомъ, что „на сегодня баста, пѣть больше не буду,—и не просите!“—поманила рукою Ашанина:

— Владиміръ Петровичъ, пожалуйте!...

У Мауса и у Ранцова запрыгали искры въ глазахъ... Они почти нѣжно глянули другъ на друга въ виду этого, новаго, для обоихъ ихъ грознаго соперника...

Бойкая барышня взглянула на нихъ, въ свою очередь, какъ бы спрашивая: ну, чего вамъ еще нужно?...

Они послушно отошли. Она усѣлась съ Ашанинымъ около инструмента, на которомъ замечтавшійся Чижевскій переводилъ изъ тона въ тонъ мотивъ только-что спѣтаго ею романса... Онъ никакъ не могъ рѣшить въ головѣ своей, *кто* ему больше нравится: княжна, или эта соблазнительная пѣвица?...

— Послушайте, быстро заговорила Ольга, — вы, я знаю, очень *тонкій* человѣкъ; вы можете мнѣ дать совѣтъ. Я, вотъ видите, совсѣмъ, кажется, поссорилась съ моимъ старикомъ...

Ашанинъ не отвѣчалъ и только жадно глядѣлъ на нее.

— Не смотрите на меня такъ! Она нетерпѣливо отвернула свое лицо отъ него;—я вамъ о дѣлѣ говорю...

— Не могу! прошепталъ онъ черезъ силу.

— Послѣ, послѣ! невольно засмѣялась барышня; — а теперь вы мнѣ скажите, какъ мнѣ быть: я, кажется, оскорбила его...

Она передала Ашанину разговоръ свой съ княземъ Ларіономъ, намекъ на его „петергофскую“ привязанность, его ѣдкій отвѣтъ ей... О томъ, что побудило ее къ этому намеку, *кого* она первоначально имѣла въ виду, дѣлая его, она не сообщила. Она боялась сдѣлать новую неосторожность... Въ сущности она сама не знала, къ чему передавала все это Ашанину и какого „совѣта“ могла ждать отъ него; но она

тревожилась и чувствовала потребность высказаться передъ кѣмъ-нибудь...

— Сердится, пересердится,—и сердиться-то будетъ недолго, смѣясь отвѣчалъ на ея торопливыя рѣчи Ашанинъ;—какой гнѣвъ устоитъ передъ этими глазами! ..

— Нѣтъ, перебила его Ольга Елпидифоровна, — онъ обо мнѣ не думаетъ... Я теперь знаю! утвердительно кивнула она, какъ бы желая сказать, что это вопросъ внѣ спора...

— Если такъ, то вамъ еще менѣе причинъ безпокоиться, замѣтилъ молодой человѣкъ.

— Я не о себѣ... и какое мнѣ до него дѣло! съ горячимъ взрывомъ досады возразила она, — но онъ можетъ повредить моему отцу...

— Полноте! Ашанинъ пожалъ плечами,—онъ слишкомъ порядочный человѣкъ для этого.

— Да, вы думаете? быстро проговорила Ольга; — я сама думаю... онъ не способенъ на гадость... Боже мой, какъ это все унизительно! вырвалось у нея вдругъ.

Красавецъ въ свою очередь вопросительно на нее взглянулъ.

— Да, продолжала она, высказывая громко все, что въ эту минуту неудержимо всплывало у нея со дна души, — быть *дочь исправника*, отъ всѣхъ зависѣть, во всѣхъ искать... этого я переносить не могу!... Я не для этого рождена... Да, не для этого! Я рождена для блеска,—она чуть не плакала,— мнѣ надобно une position... О, дайте мнѣ только быть *знатною!*... Взгляните на эту Лину... она княжна, за нею полмилліона приданаго. Къ чему ей это все? Она тяготится своимъ богатствомъ; если бы не княгиня, она бы каждый день ходила въ одномъ и томъ же платьѣ; посмотрите на ея комнату,—точно келья въ монастырѣ!... А я!... Для чего же ей *все*, а мнѣ ничего? Отчего эти несправедливости?... О, если бы мнѣ только половину, половину только, я знаю, *что* бы я сдѣлала и *чѣмъ* была бы! восклицала Ольга, сверкая глазами...

— И я знаю, прервалъ ее страстнымъ взрывомъ Ашанинъ,—знаю, что вы меня съ ума сведете!...

— Перестаньте, пожалуйста, вы мною увлечены,—вѣрю... всѣ мною увлекаются. Ольга засмѣялась вдругъ, — но вы сейчасъ сами, на балконѣ, говорили мнѣ...

— Я говорилъ вздоръ! горячо вскликнулъ онъ,—я не слыхалъ, какъ вы поете... я не зналъ васъ!... А теперь,—голосъ у него прерывался, — теперь скажите слово, и я васъ... завтра же... поведу къ вѣнцу!...

Она вскинула на него свои блестящіе глаза и опустила ихъ опять подъ огнемъ его взгляда... Самодовольная, почти счастливая улыбка заиграла на ея губахъ. Ашанинъ видѣлъ, какъ подъ прозрачною кисеею заходила волной ея молодая грудь... Онъ ждалъ...

— Нѣтъ, сказала она наконецъ,—вы мнѣ не мужъ!...

Онъ чуть не вскрикнулъ...

— Нѣтъ, повторила она, и, еще разъ поднявъ на него глаза, окутала его такимъ взглядомъ, что у него сердце запрыгало, — я бы васъ слишкомъ любила... а вы бы меня измучили! Ваша любовь на одинъ часъ!...

— И часъ цѣлый рай! вскликнулъ Ашанинъ.

Она закачала головой и, полувздохнувъ, полуулыбнувшись:

— Нѣтъ, и я для васъ не *подходящая*... слишкомъ *дорогая* была бы для васъ жена... Вы, кажется, не богаты?...

Онъ, забывшись, схватилъ ее за руку:

— Но это невозможно! Такъ между нами не можетъ кончиться!

Ольга тихо отдернула изъ руки его свою...

— Я и не говорю... чтобъ это кончилось, проговорила она какъ бы безсознательно, и горячею краскою покрылось все ея лицо; — но объ этомъ послѣ... послѣ!... *Она* насъ увидитъ! кивнула она по направленію двери, откуда выходила Надежда Ѳедоровна съ пачкою писемъ и газетъ, только-что привезенныхъ изъ города...

Въ этотъ вечеръ Софья Ивановна уѣхала изъ Сицкаго въ такомъ состояніи духа, въ какомъ себя еще никогда не помнила. Она не знала, чего хотѣла, чего въ данномъ положеніи

вещей слѣдовало ей желать, что̀ должна она была теперь дѣлать, или не дѣлать... Нравъ у нея былъ не менѣе пылокъ, чѣмъ у ея племянника. Одаренная силою для сопротивленія, она была безсильна противъ обольщенія чувства. Она была безсильна — и сознавала это — противъ обаянія Лины... „Она *его* любитъ, или близка къ тому!“ говорила она себѣ и съ ужасомъ спрашивала себя: „а потомъ что̀ же, — что̀ ждетъ *ихъ*?... Но оторватъ *его* отъ *нея* она была не въ состояніи... Нервы были у нея возбуждены до крайности; прощаясь въ передней съ Сергѣемъ, при всѣхъ, она призвала на помощь всю власть свою надъ собою, чтобы не разразиться слезами, и только шепнула ему на ухо: „да хранитъ тебя Царица Небесная!“... Но едва отъѣхали отъ крыльца ея лошади, она прижалась къ углу приподнятаго фаетона и зарыдала... Съ Ашанина передъ отъѣздомъ взято было ею слово внимательно наблюдать за пріятелемъ и, „въ случаѣ малѣйшей важности“, тотчасъ же извѣстить ее въ Сашино, или, еще лучше, „урваться и пріѣхать самому, хотя бы ночью“... Себѣ она обѣщала, „если Богъ благословитъ *ихъ* на добрый конецъ“, сходить пѣшкомъ изъ Сашина къ Троицѣ,—полтораста верстъ...

XXIV.

Die Engel, die nennen es Himmelsfreud,
Die Teufel, die nennen es Höllenleid,
Die Menschen, die nennen es Liebe!
Heine.

Мучительные дни настали для князя Ларіона. Онъ угадывалъ, онъ чуялъ встревоженнымъ чутьемъ, что племянница его, Лина, *уходитъ* отъ него. Между имъ и ею что-то внезапно стало невидимою, но неодолимою стѣною, — и въ то же время, говорило ему это чутье, между ею и тѣмъ молодымъ человѣкомъ, котораго онъ, въ виду грядущихъ случайностей, удалялъ изъ Сицкаго, что-то уже спѣлось, и пѣло на душѣ каждаго изъ нихъ несомнѣннымъ и, можетъ быть,— онъ содрогался при этой мысли, — уже неразрывнымъ созвучіемъ... И тѣмъ сильнѣе сказывалось ему это *что-то*, чѣмъ неуловимѣе, неосязательнѣе были его признаки... Лина казалась еще холоднѣе, еще сдержаннѣе, чѣмъ прежде. Съ Гундуровымъ она говорила не болѣе, — менѣе, быть можетъ, чѣмъ съ другими; спокойные глаза ея такъ же безмятежно, казалось, останавливались на немъ, какъ на Ольгѣ, на Ашанинѣ, на Шигаревѣ... Но князь Ларіонъ съ глубокой тоскою замѣчалъ, что она избѣгала *его* глазъ... избѣгала разговоровъ съ *нимъ*. Давно уже, съ самаго возвращенія въ Россію, перестали они быть неразлучными; давно долженъ онъ былъ отказаться отъ тѣхъ долгихъ, дружныхъ, блаженныхъ для него бесѣдъ, что вели они въ Ниццѣ, сидя вдвоемъ на камнѣ у морскаго берега... Но до сихъ поръ все же урывались на дню хотя нѣсколько мгновеній, когда они оставались наединѣ, когда свѣтлая душа ея раскрывалась передъ

нимъ съ прежнимъ довѣріемъ и нѣжностью... Теперь она закрывалась для него, — она *уходила*, уходила... И онъ уже не смѣлъ спросить, не смѣлъ болѣе допытываться. Онъ зналъ ее, эту чуткую и гордую душу; онъ *тогда*, тѣмъ намекомъ на выразительность ея пѣнія—а тогда онъ не въ силахъ былъ сдержаться,—нанесъ себѣ самъ неисцѣлимый ударъ: въ отвѣтѣ ея онъ прочелъ надолго, навсегда, быть можетъ, конецъ всему *прежнему*. Теперь она укутывалась въ свою холодность и безмолвіе, какъ то растеніе, что боязливо сжимаетъ лепестки свои при отдаленномъ шумѣ идущей непогоды. Ему не было уже тамъ мѣста, и другой... другой... Кто онъ, зачѣмъ, какими обольщеніями, въ силу какого права завладѣетъ онъ ею? Безпощадныя змѣи немощной старческой ревности сосали сердце князя Ларіона... И онъ долженъ былъ молчать, таиться, не замѣчать... А онъ все видѣлъ, все угадывалъ!... Онъ видѣлъ, когда на сценѣ Гундуровъ читалъ свои монологи, какъ каждый разъ поникала взоромъ Лина, чтобы никто не могъ прочесть того, что сказали бы, можетъ быть, ея глаза,—какъ одному его неотступному взору замѣтнымъ трепетомъ вздрагивали ея плечи отъ горячаго взрыва, отъ инаго вырывавшагося у *Гамлета* слова... Онъ блѣднѣлъ каждый разъ отъ выраженія ихъ голосовъ, когда въ первой сценѣ своей съ *Офеліей*, Гундуровъ говорилъ ей: „я любилъ тебя когда-то“,—а она ему отвѣчала: „я вѣрила этому, принцъ!“— Неправда! готовъ онъ былъ бѣшено крикнуть имъ,—твой голосъ говоритъ ей: *я люблю* тебя, а ея: я тебѣ *вѣрю;* вы по-своему передаете Шекспира... А онъ улыбался, и ободрялъ, и искалъ случая къ поправкѣ, къ замѣчанію, чтобы хотя на мгновеніе остановились на немъ эти теперь нѣмые для него глаза...

Онъ страдалъ невыносимо — а все сидѣлъ тутъ, на репетиціяхъ, глотая каплю за каплей изъ этого отравленнаго кубка... „*Онъ* уѣдетъ“,—индѣ прорвались у него лучи надежды,— „черезъ двѣ недѣли отойдетъ это проклятое представленіе... а затѣмъ *ему* дадутъ понять... И сама Лина,—она знаетъ, что мать ея никогда не согласится, — она поймета“... Но развѣ онъ, князь Ларіонъ Шастуновъ, то же, что ея мать! подыма-

лась у него на душѣ прежняя буря,—развѣ у него съ нею тѣ же побужденія, то же чувство къ *ней*, къ Линѣ. *Онъ* уѣдетъ, этотъ молодой человѣкъ, все равно,—нѣтъ, еще хуже, — онъ унесетъ съ собою *ея* душу... Князь Ларіонъ зналъ *ее:* она не забудетъ *его*, какъ не забыла отца, и, подчиняясь материнской волѣ, съ памятью о князѣ Михаилѣ будетъ хранить память о *немъ* до самого гроба!... Легче-ли отъ того будетъ ему, князю Ларіону?...

„Театрикъ“ между тѣмъ шелъ впередъ и впередъ. То, что̀ на языкѣ сцены называется *ансамблемъ*, уже достаточно обрисовывалось—и обрисовывалось удачно: исполненію драмы можно было заранѣе предсказать несомнѣнный успѣхъ. Роли уже всѣ были разучены; участвовавшіе относились къ дѣлу своему съ добросовѣстностью и прилежаніемъ, рѣдко встрѣчаемыми между любителями... Но вѣдь къ чему они и приступали, за что̀ брались! сказывалось невольно въ сознаніи каждаго изъ нихъ. Шекспиръ, Гамлетъ,—„каждый торговецъ въ *городѣ*“, какъ справедливо говорилъ Вальковскій, зналъ эти имена тогда и валилъ за толпою въ театръ, прочтя ихъ на афишѣ,—это были въ тѣ дни такія вѣскія, обаятельныя, царственныя имена!... Самъ храбрый капитанъ Ранцовъ, впродолженіи всей своей жизни, кромѣ *Устава о пѣхотной службѣ* и *Таинственнаго Монаха* Рафаила Зотова, ничего не читавшій, бредилъ теперь съ утра до ночи своею ролью *Тѣни* и обѣщалъ режиссеру золотую цѣпочку къ часамъ, если онъ его „на настоящую актерскую точку поставитъ.“ По счастливой случайности, роли приходились по вкусу и по способности почти каждаго изъ актеровъ. Княжна была идеальная *Офелія*. Въ игрѣ Гундурова съ каждымъ днемъ все шире и глубже выяснялся изображавшійся имъ характеръ, съ каждой пробой становился онъ все сдержаннѣе, нервнѣе,—*инсистивнѣе*, какъ выражался князь Ларіонъ... *Полоній*-Акулинъ былъ превосходенъ. Чижевскій былъ самъ *Лаертъ*, пылкій, ловкій, блестящій, и каждый разъ вызывалъ рукоплесканія товарищей, когда, въ сценѣ *возмущенія*, вбѣгалъ, требуя кровавой мести за смерть отца“, и звенящимъ, какъ натянутая струна, голосомъ восклицалъ:

„Оба мира
Зову на бой,—и будь со мной что̀ будетъ!“...

Надежда Ѳедоровна-*Гертруда* не портила, хотя нѣсколько мямлила и, съ непривычки, не знала, куда дѣвать руки. Въ знаменитой сценѣ съ сыномъ, она была холодна и холодила Гундурова, что̀ приводило его въ отчаянье. — „Погоди“, утѣшалъ его Ашанинъ,—„я вотъ ее въ самый день представленія самымъ жестокимъ образомъ разогорчу, и она будетъ тебѣ нить отъ начала и до конца роли“... Онъ и не предчувствовалъ, какъ пророчески должно было сбыться его обѣщаніе!...

Зяблинъ въ роли *Клавдіо* былъ почти хорошъ. Его Печоринскіе взгляды изъ-подъ-низу, *сдобный* голосъ и изнѣженные пріемы при разбойничьемъ лицѣ довольно близко подходили подъ типъ того лицемѣрнаго сластолюбца, игрока и бражника, „благочестивымъ видомъ сумѣвшаго обсахарить скрытаго въ немъ дьявола“, какимъ Шекспиръ изобразилъ *Гамлетова* отчима. Но, этого сахара перепускалъ онъ подчасъ уже столько, что „фанатикъ“ Вальковскій не выдержалъ однажды и крикнулъ ему изъ кулисы: „да что̀ вы, батюшка, *злодѣя* играете, или патоку сосете?“—на что̀ Зяблинъ только уныло плечами повелъ и глянулъ на бывшую тутъ княгиню, а она, въ свою очередь, обиженно вздохнула, глянула на князя Ларіона и проговорила, раздувъ ноздри: „ne remarquez vous pas, Larion, que ce monsieur est très mal élevé?... Самъ „фанатикъ“ въ *„молодой роли“ Розенкранца* былъ невыразимо смѣшонъ и потѣшалъ Ашанина до истерики: онъ сжималъ губы сердечкомъ, щурилъ глаза, подбоченивался фертомъ и напускалъ удали и молодечества тамъ, гдѣ ни по характеру лица, которое онъ игралъ, ни по смыслу положенія и тѣни не требовалось чего-либо подобнаго.—„Эко чучело, эка безобразина!“ хохоталъ Ашанинъ послѣ каждаго выхода его на сцену. Но Вальковскій не смущался: „погоди, братъ“, отвѣчалъ онъ ему съ торжествующей улыбкой,—„пріѣдетъ Василій Тимофѣевъ, онъ меня не хуже тебя красавцемъ распишетъ!“ Василій Тимофѣевъ былъ театральный парикмахеръ, большой искусникъ своего ремесла и закадычный другъ Вальковскаго, возлагавшаго на него на время своихъ отсутствій по театри-

камъ „всѣ свои дѣла,—а въ томъ числѣ и надзоръ за „Маргорелькой“, ужасно рябою и столь же легковѣрною швеей, которую „фанатикъ“ готовилъ на сцену, на роли свѣтскихъ кокотокъ...

Извѣстно, что ничто такъ скоро и коротко не сближаетъ молодежь, какъ любительскіе спектакли. Короткости между нашими актерами содѣйствовало еще и это ихъ совмѣстное житье въ Сицкомъ, въ богатомъ, привольномъ домѣ, гдѣ каждому предоставлялось брать на свою долю настолько удовольствія, насколько хватало у него на это силъ и желанія. Княгиня Аглая, въ подраженіе своимъ англійскимъ образцамъ, предоставляла гостямъ своимъ полную свободу:—они цѣлымъ обществомъ, дамы и мужчины, катались верхами, удили рыбу, ѣздили по вечерамъ въ дальнія прогулки, въ которыхъ не всегда принималъ участіе князь Ларіонъ, а сама хозяйка никогда. Лѣнивая и отяжелѣвшая, она почти не выходила изъ своего будуара, гдѣ съ утра до вечера пила чай въ компаніи неизбѣжнаго Зяблина, и куда, разумѣется, никому не приходила охота итти ее тревожить. Только по утрамъ Лина являлась съ „bonjour, maman“, цѣловала ей ручку,—и почти тотчасъ же уходила. Мать почти никогда не говорила съ ней, не потому, чтобы имѣла какія-нибудь причины недовольства ею, а просто потому, что не находила предметовъ разговора съ дочерью. — „Elle est trop sérieuse“, повѣряла она „бриганту“, вздыхая и томно улыбаясь,—„elle n'a pas d'enjouement dans le caractère, comme moi“!... Потомъ приходилъ князекъ, сынъ ея, разодѣтый какъ на картинкѣ, съ mister Knocks'омъ, который ни на какомъ, кромѣ англійскаго, языкѣ не говорилъ, и котораго она, и съ воспитанникомъ его, отпускала также очень скоро, потому что никакъ не могла сказать ему того, что̀ хотѣла, — да Ольга Елпидифоровна по нѣскольку разъ въ день забѣгала къ ней подъ разными предлогами, тѣша ее своими *жантильесами*. Смышленая барышня, отчаявшись вернуть себѣ расположеніе князя Ларіона,—онъ вовсе пересталъ даже говорить съ нею,—заискивала и юлила теперь передъ княгиней болѣе, чѣмъ когда-нибудь... Въ то же время она всячески набивалась въ наперсницы къ „другу своему, Линѣ“, и хотя

это ей очень мало удавалось,—княжна, какъ она ни билась, не дѣлала ей никакихъ *конфидансовъ*, — она сама отъ себя, изъ злости къ „противному старикашкѣ“, употребляла всякія усилія и средства, чтобы „сближать“ Лину съ Гундуровымъ: старалась находить случаи, когда-бъ они могли быть подолѣе вмѣстѣ; искусно отводила тѣхъ, которые могли бы помѣшать ихъ бесѣдѣ, когда представлялись такіе случаи; распоряжалась такъ, чтобъ нашему герою непремѣнно досталось мѣсто подлѣ княжны на линейкѣ, которая везла ихъ въ лѣсъ или на тоню, на Оку... Княжна, повидимому, не замѣчала этихъ услугъ и даже большею частью не пользовалась тѣми „удобными“ случаями, которые ловкая особа доставляла ей въ возможномъ изобиліи,—но не всегда же она отъ нихъ уходила, не всегда же находила силу избѣгать ихъ... Иногда, на-лету, глаза ея встрѣчались съ глазами Сергѣя,—съ глазами, полными безконечной мольбы,—и безвластно шла она занять подлѣ него мѣсто въ экипажѣ, и долго потомъ ѣхали они, молча и не смѣя уже болѣе поднять глазъ другъ на друга. И что бы въ эти минуты могли они другъ другу сказать? За нихъ говорила вся эта молодая природа, что цвѣла и пѣла вокругъ нихъ, окропленная живительною влагой, озаренная солнцемъ весны: широкая даль рѣчнаго разлива, сладкій шелестъ молодыхъ дубовъ, соловей, урчавшій въ кустѣ дикой малины, мимо котораго, когда на померкавшемъ небѣ загоралась первая звѣздочка, проѣзжали они на возвратномъ пути въ усадьбу...

XXIV.

Они ѣхали такимъ образомъ однажды рядомъ, въ большомъ обществѣ. Сидѣвшій спиною къ нимъ по другой сторонѣ линейки Духонинъ, вдохновленный красотою вечера, читалъ нѣмецкіе стихи сосѣдкѣ своей, Надеждѣ Ѳедоровнѣ:

— Ich hatte einst ein schönes Vaterland.
Das Eichenbaum
Wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft,—
Das war ein Traum,—

донеслось до слуха ихъ.

— Это изъ Гейне... И прелестно! молвилъ Гундуровъ.

Духонинъ продолжалъ:

— Es küsste mich auf deutsch, und sprach auf deutsch:
(Man glaubt es kaum
Wie schön es klanh) „ich liebe dich“...
Das war ein Traum!...

— Здѣсь... *въ отечествѣ*, лучше! проговорила вдругъ Лина какъ бы про себя, какъ бы отвѣчая на какой-то свой собственный, не выговоренный вопросъ.

У Гундурова забилось сердце,—онъ вспомнилъ тотъ первый ихъ разговоръ,—это былъ теперь для него отвѣтъ на то, до чего еще безсознательно допытывался онъ тогда...

— *Лучше*, Елена Михайловна? повторилъ онъ, стараясь заглянуть ей въ лицо,—лучше?...

Но она не отвѣчала его взгляду. Ея синіе, задумчивые

глаза глядѣли впередъ на бѣдное селеніе, на которое они держали путь; хилыя очертанія его почернѣвшихъ соломенныхъ крышъ вырисовывались уже отчетливо изъ-за пригорка въ багровыхъ лучахъ заката...

— Да, сказала она, не оборачиваясь и откидывая вуаль, которую вѣтеръ прижималъ къ ея лицу,—тамъ, въ Германіи, въ Европѣ,—все такъ узко... Покойный папа говорилъ: тамъ перегородки вездѣ поставлены... А здѣсь... Здѣсь какимъ-то безбрежьемъ пахнетъ...

— У васъ удивительныя свои выраженія, княжна! воскликнулъ Гундуровъ.

Она опять улыбнулась, все также продолжая не глядѣть на него.

— Я знаю, я очень не хорошо говорю по-русски; я совсѣмъ еще по-писанному говорю... Но съ вами—голосъ ея чуточку дрогнулъ,—я не могу говорить не по-русски...

— Вы удивительное существо, Елена Михайловна! съ юношескимъ восторгомъ заговорилъ Сергѣй; — вы, воспитанная на Западѣ, въ чужеземныхъ обычаяхъ и понятіяхъ, вы какимъ-то чуднымъ внутреннимъ чутьемъ проникаете въ самую глубь, въ самую суть предмета... Да, въ Россію надо *вѣрить! Тамъ* все сказано, все отмѣрено, вездѣ столбы и „перегородки“ поставлены, и народы дожидаютъ, задыхаясь, въ путахъ бездушной, тѣсной, матеріальной, переживающей себя цивилизаціи... Наше будущее „безбрежно“—какъ это вы прекрасно сказали!—какъ и наша природа. Намъ, славянскому міру, суждено сказать то послѣднее слово вѣчной правды и любви, на какое уже не способенъ духъ гордыни и себялюбія западнаго человѣчества...

— А пока, засмѣялся вдругъ Духонинъ, прислушивавшійся со своего мѣста къ ихъ разговору,—а пока, любезный другъ, соберемся мы сказать это слово, мы, какъ оказывается, и самовара-то нашего выдумать не умѣли, и „народы“ наши (онъ повелъ при этомъ рукою на жалкую деревушку, мимо которой проѣзжали они,) живутъ чуть-ли не безпомощнѣе и плачевнѣе, чѣмъ это „западное человѣчество“ въ пору каменнаго вѣка.

Гундуровъ досадливо обернулся къ нему:

— Не среди мраморныхъ палатъ царственнаго Рима, молвилъ онъ съ сіяющими глазами,—не мудрецами, вѣровавшими въ его вѣчность, найдена была та божественная истина, что̀ должна была спасти и обновить погибающій міръ: возглашена была устами нищихъ рыбаковъ далекой страны, которую точно также за бѣдность ея и невѣжество презирали кичившіеся богатствомъ своимъ и культурою избранные счастливцы того вѣка!

Духонинъ нѣсколько опѣшилъ передъ этимъ неожиданнымъ, горячимъ доводомъ.

— „Блаженъ, кто вѣруетъ, тепло ему на свѣтѣ," молвилъ онъ съ натянутою усмѣшкою.

Лина въ свою очередь обернулась къ нему.

— Въ этомъ, кажется, все и есть, промолвила она застѣнчиво.

— Въ чемъ это, княжна?

— Въ томъ... чтобъ *вѣрить*.

Онъ засмѣялся и развелъ руками.

— Дѣйствительно, намъ только это и остается, потому что иначе я бы могъ, въ pendant къ не очень смиренному, сказать кстати, пророчествованію друга моего Гундурова о нашемъ великомъ будущемъ, привести то, что̀ говорятъ про насъ на этомъ „погибающемъ и изживающемъ," по его мнѣнію, Западѣ; „fruit pourri avant d'être mûr."

— Да, я это слышала, тихо сказала Лина, между тѣмъ какъ Сергѣй опускалъ глаза, чтобъ не выдать того чувства восторга и счастія, которыми исполняло его ея видимое единомыслiе съ нимъ; — но тѣ, которые это про насъ говорятъ теперь, вѣдь у нихъ было тоже свое прошлое, и не всегда хорошо было въ этомъ прошломъ: были войны, и разореніе, и невѣжество, и рабство, какъ у насъ. Но, сколько я знаю, ни одинъ изъ этихъ народовъ не отчаявался въ своемъ будущемъ, а шелъ впередъ, надѣясь и вѣря, что со временемъ станетъ все лучше и лучше...

— Конечно, быстро возразилъ Духонинъ,—потому что каждый изъ нихъ чувствовалъ въ себѣ серьезные жизненные задатки для такого лучшаго будущаго.

Она какъ бы съ невольнымъ упрекомъ покачала головой.

— А у насъ ихъ нѣтъ? И мы, въ самомъ дѣлѣ, „fruit pourri“, прежде чѣмъ еще созрѣли? Но тогда намъ остается только отказаться отъ самихъ себя и отдаться въ руки первому, кто захочетъ взять насъ и передѣлать на свой ладъ...

— Отлично, Елена Михайловна, отлично! вскликнулъ Гундуровъ.—Ну-ка, Духонинъ, кому будетъ вамъ угодно поднести насъ: Нѣмцамъ, Шведамъ, католической Польшѣ, или всѣмъ ужь имъ разомъ, на дѣлежъ?

— Выводъ вашъ, однако, княжна; я прошу вывода! сказалъ на это засмѣявшись московскій *западникъ*.

Лина заалѣла, замѣтивъ, что всѣ на линейкѣ примолкли, прислушиваясь къ ея словамъ.

— Все то же, что я уже сказала, промолвила она, опуская глаза, — Россія, мнѣ кажется, можетъ ждать великаго будущаго только отъ тѣхъ, кто будетъ твердо вѣрить въ нее, а не отчаяваться въ ней.

— Кладу предъ вами оружіе, княжна, сказалъ Духонинъ полусерьезно, полушутя, — противъ этого аргумента возраженія сейчасъ не придумаешь.

Сергѣй ничего не сказалъ, но онъ едва удержался, чтобы не соскочить съ линейки и тутъ же на-ходу припасть къ ея ногамъ...

Долго еще потомъ звенѣло волшебнымъ звукомъ въ его ухѣ каждое изъ сказанныхъ ею словъ въ этомъ разговорѣ, и повторялъ онъ ихъ съ сладостнымъ замираніемъ сердца.

„Она чувствуетъ по-русски, а мыслитъ по-европейски“, опредѣлялъ онъ себѣ Лину въ тѣ рѣдкіе часы, когда самъ онъ былъ въ состояніи *думать* о ней, а не *чувствовать* ее, — „такихъ еще у насъ долго не будетъ женщинъ... да и не однѣхъ женщинъ“... Онъ былъ правъ: тщательное, подъ руководствомъ просвѣщеннаго отца, воспитаніе за границей, серьезное чтеніе, постоянное общеніе съ высокообразованными умами, находившимися въ близкихъ сношеніяхъ съ княземъ Михайлой,—все это сказывалось въ ней чѣмъ-то не легко выражающимся словами, но проникавшимъ ее всю, какъ запахъ иныхъ, отборныхъ духовъ, чѣмъ-то невыразимо тонкимъ,

нѣжнымъ, идеальнымъ въ помыслахъ ея, въ рѣчи, въ каждомъ изъ ея движеній. Въ ней угадывалось—именно *угадывалось*—присутствіе той высшей культуры ума и сердца, что̀ такъ мало походитъ на казовую русскую образованность, на русское воспитаніе *спустя рукава*, скользящія по поверхности предметовъ и явленій и не умѣющія сладить ни съ какимъ дѣломъ и ни съ какимъ чувствомъ. И именно потому, можетъ быть, что въ ней такъ мало было русскаго воспитанія, чувствовала себя такъ *русскою* Лина; потому именно, что не скользила она по поверхности вещей, а привыкла съ-молоду вдумываться въ нихъ, ей было такъ „узко въ Германіи...“ и полюбить могла она только сына этой ея бѣдной, темной—и съ юныхъ лѣтъ неотразимо манившей ее къ себѣ своимъ „безбрежьемъ“—родины...

XXV.

Утромъ, 20-го числа, только-что послѣ перваго завтрака, исправникъ Акулинъ, еще наканунѣ вечеромъ уѣхавшій встрѣчать графа, подскакалъ на взмыленной тройкѣ къ широкому крыльцу Сицкаго. — „Ѣдутъ, ѣдутъ!“ прытко выкидывая изъ телѣги свое грузное тѣло, кричалъ онъ сдавленнымъ, будто только-что сорвался съ веревки, голосомъ слугамъ, выбѣжавшимъ въ сѣни на топотъ его лошадей,—„князю доложите, княгинѣ... сейчасъ прибудутъ... вотъ и коляска ихъ видна“...

Изъ-подо *льва*, дѣйствительно, выѣзжала и мчалась къ дому четверня подъ коляскою *графа*.

Предувѣдомленный князь Ларіонъ вышелъ ему навстрѣчу...

Тотъ, котораго въ то время коротко и многозначительно въ предѣлахъ Москвы бѣлокаменной и на всемъ пространствѣ кругомъ просто называли „графомъ“, былъ лѣтъ шестидесяти съ чѣмъ-то генералъ, нѣсколько тучноватый, безусый— по формѣ Александровскаго времени, которой онъ не хотѣлъ измѣнить и въ новое царствованіе,—и лысый, по выраженію Ольги Елпидифоровны, какъ арбузъ. Эта совершенно голая голова съ тремя подвитыми вверхъ волосиками на самомъ затылкѣ, отвислыми какъ рыбьи жабры щеками, небольшими глазками и выступавшею добродушно впередъ нижнею губою, давала ему совершенно видъ стараго китайца; но въ общемъ выраженіи его облика было то, что-то *свое*, самостоятельное и достойное, чѣмъ Александровскіе люди замѣтно отличались отъ удачливыхъ *служакъ* той эпохи, къ которой относится нашъ разсказъ. *Графъ* былъ то, что называется *сынъ своихъ*

дѣлъ: бѣдный армейскій офицеръ, воспитанный, какъ самъ любилъ говорить, „на мѣдную полушку," онъ счастливою случайностью выдвинутъ былъ весьма рано впередъ и еще въ пору Отечественной войны считался дѣльцомъ. Сорока съ небольшимъ лѣтъ отъ роду онъ былъ уже большой человѣкъ въ служебной іерархіи, богато женатъ, получилъ графскій титулъ... Но въ годы аракчеевской силы онъ одинъ изъ весьма немногихъ имѣлъ мужество не *кланяться* временщику, въ буквальномъ значеніи этого слова,—а чрезъ нѣсколько лѣтъ затѣмъ съ министерскаго поста вышелъ въ чистую отставку вслѣдствіе того, что одно изъ его представленій не получило чаемаго утвержденія. О мелкомъ своемъ происхожденіи и первоначальной бѣдности онъ говорилъ всегда съ какою-то особенною гордостью, а тому, первому своему, давно умершему начальнику, который вывелъ его изъ темныхъ рядовъ арміи, онъ въ любимомъ своемъ имѣніи, подъ окнами своего кабинета, поставилъ въ саду бронзовый памятникъ, съ надписью: „моему благодѣтелю."

Таковъ былъ человѣкъ, который, пробывъ въ отставкѣ цѣлыхъ 18 лѣтъ, призванъ былъ снова затѣмъ на высокую должность, которою онъ правилъ теперь,—и правилъ, какъ правили въ тѣ блаженныя времена,—съ произволомъ трехбунчужнаго паши и съ мудрою простотою Санхо-Пансы на островѣ Баратаріи.

Онъ вылѣзъ изъ коляски вслѣдъ за выскочившимъ впередъ чиновникомъ, сопровождавшимъ его, и принялся лобызаться съ княземъ Ларіономъ.

— Здравствуй, очень радъ тебя видѣть;—онъ говорилъ короткими, словно остриженными фразами, съ полнымъ отсутствіемъ всякихъ вводныхъ и придаточныхъ предложеній:—нарочно заѣхалъ; потолковать надо! Мѣста все знакомыя,—онъ глянулъ кругомъ,—въ одиннадцатомъ году были у твоего старика; съ графомъ Барклаемъ; тогда онъ еще княземъ не былъ. Что княгиня? спрашивалъ онъ, подымаясь на лѣстницу.

Все это говорилось, точно онъ акаѳистъ читалъ, подъ рядъ, безо всякаго повышенія или пониженія голоса, при чемъ его

китайское лицо сіяло добродушнѣйшею и самодовольнѣйшею улыбкою.

— Она васъ ждетъ, отвѣчалъ князь; — но прежде всего вопросъ: не хотите-ли позавтракать?

Тотъ пріостановился на ступенькѣ и приподнялъ обѣ руки ладонями кверху.

— Не хочу. Никогда не завтракаю. Что племянница?

— Слава Богу!

— Милое дитя! тѣмъ же акаѳистомъ пропѣлъ *графъ*.

— Cher comte, soyez le bienvenu chez moi, заголосила княгиня, встрѣчая его въ первой гостинной, гдѣ висѣлъ „*portrait d'ancêtres*“—но, вспомнивъ, что „cher comte“ ни слова не понималъ ни на какомъ иностранномъ языкѣ, предложила ему завтракать по-русски.

Онъ опять поднялъ обѣ ладони кверху и опять повторилъ то же.

— Не хочу, никогда не завтракаю! А, милое дитя! И онъ пошелъ навстрѣчу входившей въ гостиную княжны; — какъ ваше здоровье?

Лина присѣла; онъ пожалъ ея тонкія руки своими обѣими, пухлыми, какъ у попа въ богатомъ приходѣ, руками.

— И шалунья тутъ же? пропѣлъ онъ опять, узнавая Ольгу Елпидифоровну, вышедшую вслѣдъ за княжной;—когда опять въ Москву? А отцу сказали, что я поручилъ?

— Сказала, прошептала барышня, и тутъ же глянула ему въ глаза своимъ забирающимъ взглядомъ.

Онъ умильно улыбнулся и погрозилъ ей пальцемъ.

— Шалунья!... Шажковъ! кликнулъ онъ черезъ спину пріѣхавшаго съ нимъ чиновника,—исправника!

Толстый Елпидифоръ стоялъ, въ ожиданіи, въ передней, крестя себя по животу и шепча отъ времени до времени: „пронеси, Господи!...“

Онъ какъ бомба влетѣлъ, по зову, въ гостиную! и вытянулся въ дверяхъ, будто аршинъ проглотилъ.

— Исправникъ, запѣлъ *графъ*,—говорила тебѣ дочь, что я поручилъ?

— Точно такъ, ваше сіятельство! еле-слышно прошепталъ онъ сквозь засохшее отъ страха горло.

— Помни! Будешь играть, — прогоню вонъ! А шалунью въ Москву—пѣть!... говорятъ, голосъ хорошъ! Онъ погрозилъ опять бойкой барышнѣ, стараясь какъ можно лукавѣе глянуть, въ свою очередь, въ ея искрившіеся глаза.

— Monsieur Акулинъ прекрасно на сценѣ играетъ! отрекомендовала его княгиня Аглая, на которую исправникъ глядѣлъ умоляющими глазами.

— Актеръ? Это хорошо! Графиня (онъ назвалъ по имени жену свою,) очень любитъ театръ. Что̀ играете?

— *Гамлета*, ваше сіятельство! прохрипѣлъ Елпидифоръ.

— Не знаю! И *графъ* приподнялъ свои ладони.

— C'est sérieux! объяснила Аглая,—но они еще играютъ одно такое смѣшное...

— *Льва Гурыча Синичкина*, ваше сіятельство!

— А! вспомнилъ онъ и ткнулъ пальцемъ по направленію исправника,—Живокини еще играетъ?

— Точно такъ, ваше-съ... чуть не заржалъ въ отвѣтъ на милостивый вопросъ осчастливленный Елпидифоръ.

— Хорошій актеръ! поощрительно отозвалось его сіятельство;—смѣшитъ меня!...

— Не пройдемъ-ли мы ко мнѣ? предложилъ князь Ларіонъ, все время морщившійся отъ этого разговора.

— Пойдемъ; поговорить надо!... Шалунья! Онъ еще разъ погрозился пальцемъ барышнѣ и отправился, сопровождаемый княземъ, въ его покои.

Шажкова—это былъ особый типъ московскаго чиновника, служащаго изъ-за „крестишекъ,“ нѣчто среднее между Фамусовымъ и Молчалинымъ, крѣпышокъ на пѣтушьихъ ногахъ и при пѣтушьей надменности,—Шажкова увели кормить...

XXVI.

— Я твое письмо отослалъ, какъ есть, говорилъ *графъ* въ библіотекѣ, усѣвшись въ самую спинку большаго вольтеровскаго кресла и уложивъ локти по его ручкамъ, а ножки свои сдвинувъ крестъ на крестъ; онъ очень походилъ въ этомъ положеніи на индійскаго бога Вишну.

— И апробуете? спросилъ князь Ларіонъ.

— Что же, написалъ по совѣсти,—апробую!

— Я не приму никакого мѣста, связаннаго съ какими-либо полицейскими обязанностями... Не потому, что бы я отрицалъ пользу полиціи; хорошая полиція при нашемъ невѣжествѣ—все... или почти, и долго еще будетъ *все*, слегка вздохнулъ князь,—только я на нее не способенъ... Слишкомъ хорошъ, или слишкомъ дуренъ, какъ хотите... Онъ усмѣхнулся.

— Безъ полиціи нельзя! пропѣлъ *графъ*.

— Да, но и она мертвое орудіе у нихъ въ рукахъ... Поглядите, что дѣлается кругомъ: воровство, неправосудіе, отсутствіе ума вездѣ... Вотъ зачѣмъ смотрѣть, что карать; о чемъ печалиться!... А они науки боятся и образованныхъ людей преслѣдуютъ!... Припомните мое слово, съ какою-то невольною торжественностью возвысилъ голосъ князь Ларіонъ,—здоровую мысль они теперь въ подземную трубу гонятъ; въ слѣдующемъ поколѣніи она у нихъ оттуда или взрывомъ, или гнильемъ выйдетъ!...

— Знаю! Не я! отмахнулся обѣими ладонями Вишну;—у меня въ государственномъ совѣтѣ (на его языкѣ это означало московскій англійскій клубъ,) каждый вечеръ дѣла рѣшаютъ,

приговоры... Пусть! Онъ выставилъ впередъ нижнюю губу и добродушно разсмѣялся;—опять славянофилы какіе-то есть... знаю; на Собачьей площадкѣ собираются, умные люди, государства дѣлятъ... Мнѣ пишутъ изъ Петербурга: наблюдай, чтобъ не смѣли! Я имъ пишу: вздоръ, я отвѣчаю, пусть болтаютъ! Преслѣдовать будешь,—хуже! Я мошенниковъ и шулеровъ однихъ вонъ изъ Москвы гоню!...

— До чего это доходитъ, въ какой обманъ вводятъ Государя! заговорилъ опять князь:—вотъ тутъ у насъ молодой человѣкъ есть; сосѣдъ, на профессорскую каѳедру готовился...

— Фамилія какъ?

— Гундуровъ.

— Гундуровъ? Въ Клястицкомъ гусарскомъ полку былъ одинъ Гундуровъ, маіоръ, веселая голова. Не отецъ?

— Нѣтъ, отца я зналъ, никогда военнымъ не былъ... Князь Ларіонъ разсказалъ повѣсть нашего героя.

— Пустяки! засмѣялся *графъ;*—зачѣмъ ѣздилъ въ Петербургъ? Мнѣ бы просьбу подалъ,—отпустили бы.

— Я на васъ и разсчитывалъ, съ живостью заговорилъ князь опять;—вы одни можете поправить это дѣло. А я, кашлянулъ онъ, — имѣю причины желать... Желалъ бы ему услужить...

Старикъ взглянулъ на пріятеля и словно понялъ „причины“; губы его приняли насмѣшливое выраженіе:

— Сосѣдъ? Бываетъ у васъ часто?

— Театръ этотъ у насъ затѣялся! Князь Ларіонъ сморщилъ брови...

— Отчего? Могу! Зимою Дворъ пріѣдетъ:—доложу!

— Очень вамъ благодаренъ *за него*, поспѣшилъ сказать князь;—отказъ въ паспортѣ приводилъ молодаго человѣка въ отчаяніе... Я ему совѣтывалъ... пока... по Россіи проѣхаться...

— Хорошо, пусть поѣдетъ! Ему полезно! А тебѣ я хотѣлъ сказать насчетъ тебя... Все въ твоихъ рукахъ. И сила твоя будетъ! Потому *онъ* будетъ твой (разумѣлся сильный человѣкъ, отъ котораго шли *предложенія* князю-Ларіону и съ которымъ самъ *графъ* находился въ давнишнихъ короткихъ отношеніяхъ):—породниться съ тобой хочетъ!...

— Породниться? чуть не вскрикнулъ князь Ларіонъ.

— Да, чрезъ твою княжну!

— Чрезъ Hélène?... У него сперлось дыханіе.

— Племянникъ у него, Анисьевъ графъ! продолжалъ цѣть акаѳистомъ *графъ*.

— Сынъ этой?...

— Знаю! понялъ и подмигнулъ старикъ;—шельма большая...

— И я не догадался объ этомъ въ Римѣ! съ отчаяніемъ восклицалъ внутренно князь Ларіонъ.—Этотъ Анисьевъ... началъ онъ и не могъ кончить.

— Тридцати нѣтъ, давно полковникъ, пороху не нюхалъ; очень *цѣнятъ!... Исполнитель!* Нижняя губа *графа* выставилась впередъ:—при Александрѣ Павловичѣ не такихъ выбирали! объяснилъ онъ мысль свою.

— Онъ, кажется, зимою былъ въ Москвѣ проѣздомъ, вспомнилъ князь, дрожащей рукою проводя себѣ по лбу;—я его карточку видѣлъ какъ-то. Онъ былъ у Аглаи Константиновны.

Графъ заговорилъ опять:

— Пишетъ мнѣ (все тотъ же сильный человѣкъ), что сестра его за границей съ твоей невѣсткой насчетъ этого сговорились ужь!

— Отъ меня скрыто! Въ первый разъ слышу!

— Не знаю! Ладони откинулись назадъ;—онъ пишетъ мнѣ... А все безъ тебя нельзя, ты родной дядя, опекунъ!

— А! Такъ вотъ они отчего, *предложенія!* Не служба моя нужна... государству... а роденьку къ богатой... невѣстѣ... пристроить! едва могъ говорить отъ пронимавшаго его бѣшенства князь;—торгъ мнѣ предлагаютъ: вотъ тебѣ... портфель, а... а *ее*... Такъ напишите же имъ... что... что я ни собой... ни племянницей моею, княжною Шастуновой, не торгую!... Мнѣ... отъ нихъ... ничего не нужно! Господина этого... Анисьева я не знаю и согласія моего напередъ не даю... А *тамъ*, чуть не воплемъ вылилось у него изъ груди,—я не отецъ, могутъ отдать *ее* и безъ моего согласія...

Старый Вишну невозмутимо внималъ, глядя ему прямо въ

лицо и недвижнымъ истуканомъ сидя въ глубинѣ своего кресла; только пухлые его пальцы слегка приподнимались и опускались на оконечностяхъ ручекъ...

— Какъ былъ въ двадцать лѣтъ, горячка все также! запѣлъ онъ наконецъ снова своимъ однозвучнымъ голосомъ;— сердиться зачѣмъ? Не хочешь? Сказалъ. Довольно! Я напишу ему... А теперь прощай! молвилъ онъ, разомъ подымаясь съ мѣста;—завтра въ вечеръ въ Нарцесовѣ хочу быть: тамъ у меня винокурня сгорѣла...

Князь Ларіонъ былъ такъ взволнованъ, что и не думалъ удерживать его.

— Прощай, Ларіонъ! И, выставляя заранѣе обѣ губы впередъ, старикъ подошолъ къ нему, взялъ его за оба плеча и поцѣловалъ въ обѣ щеки.

— Прощайте, почтенный другъ мой, сказалъ князь,—и благодарствуйте во всякомъ случаѣ!...

— Прощай!... Надо съ твоей княгиней проститься!...

Онъ двинулся—и вдругъ остановился:

— А что ты какъ былъ, такъ и есть,—это хорошо! Такихъ теперь мало! почему-то шепнулъ и подмигнулъ онъ князю Ларіону;—мы *настоящіе* были, вѣрные слуги! Не то, что нынѣшніе, *исполнители!* презрительно повелъ онъ губами и, покачиваясь съ боку на бокъ, бодрыми шагами вышелъ изъ библіотеки.

XXVII.

— Cher comte, неужели вы ужь насъ покидаете? томно заголосила княгиня Аглая, когда зашелъ онъ къ ней проститься въ гостиную.

— Дѣло! Надо! У меня винокурня сгорѣла! говорилъ онъ ей въ отвѣтъ, подходя *къ ручкѣ*.

— По крайней мѣрѣ, на возвратномъ пути, милый графъ, дайте мнѣ обѣщаніе пріѣхать опять; — вамъ по дорогѣ. 3-го іюня ma fille aura dix-neuf ans,—Лины рожденіе, спохватилась она,—у насъ спектакль... вы любите... Обѣщайтесь!...

— Третьяго числа? Не помню... Шажковъ! Когда намъ по маршруту мимо Сицкаго проѣзжать?

— 6-го іюня предполагается возвращеніе въ Москву, доложилъ чиновникъ;—только вы передъ тѣмъ желали провести день въ Ивановскомъ...

— Не поѣду и днемъ раньше изъ Нарцесова уѣду! Милое дитя! онъ отправился жать руки Лины въ своихъ пухлыхъ рукахъ, — хочу быть здѣсь на ваше рожденіе!... Ну, прощайте, княгиня!

— Vous êtes si gentil... вы такъ милы! голосила она, цѣлуя его въ щеку и подымаясь провожать его...

— Тутъ одна мѣщанка молоденькая изъ города—съ просьбою къ вашему сіятельству, доложилъ Шажковъ.

Онъ выставилъ свою нижнюю губу впередъ:

— Просьба? Все просьбы! О чемъ она проситъ?

— Мужъ ея выдалъ своей прежней... одной женщинѣ, запнулся чиновникъ, — два безденежныя заемныя письма на 800 рублей.

— Мошенники! протянулъ *графъ*.—Ну, теперь не имѣю время! подумавъ отвѣтилъ онъ,—скажи, чтобъ пришла, когда назадъ будемъ, третьяго числа. Я разберу!...

— Не прикажете-ли, ваше сіятельство, съ недоброю улыбочкой проговорилъ Шажковъ,—заняться до пріѣзда вашего этимъ дѣломъ Чижевскому?...

— Чижевскому? повторилъ удивленно его сіятельство;—я его отпустилъ,—къ роднымъ, на 28 дней?

— Онъ здѣсь, съ той же улыбочкой объяснилъ тотъ.

— Да, cher comte, это я виновата, вступилась княгиня,—онъ на пути заѣхалъ къ намъ, и я его удержала... il est si bon acteur!...

— Гдѣ онъ? *Графъ* сморщилъ брови.

Чижевскій, бывшій въ другой комнатѣ, вышелъ съ нѣсколько сконфуженнымъ видомъ.

— Знаетъ кошка, чье мясо съѣла! запѣлъ *графъ* полусурово, полуусмѣхаясь;—зачѣмъ прячешься?...

— Я не прячусь, съ невольнымъ смѣхомъ отвѣчалъ молодой человѣкъ.

— Я тебя отпустилъ къ роднымъ, а ты здѣсь! Отецъ ждетъ. Не хорошо!

— Я получилъ письмо, что отецъ уѣхалъ въ Крымъ купаться въ морѣ, поспѣшилъ объяснить Чижевскій.

— Купаться? Это хорошо для здоровья! одобрилъ *графъ*.—А матушка?

— И она съ нимъ уѣхала, немилосердно солгалъ тотъ.

— Играешь здѣсь на театрѣ? уже совсѣмъ добродушно спросилъ старикъ;—я посмотрю: не хорошо будешь играть,—подъ арестъ!... Возьми тутъ, у Шажкова, просьбу; одна мѣщанка подала; разбери, кого нужно, вызови къ моему пріѣзду, третьяго числа!... Ну, прощайте! И онъ пошелъ опять жать руку дамамъ и лобызаться съ княземъ Ларіономъ.

— Мимо проѣхало! щелкнулъ пальцами за его спиною Чижевскій, показывая въ то же время языкъ Шажкову, который ненавидѣлъ его также злобно и такъ же безпричинно, какъ Свищовъ ненавидѣлъ Гундурова...

— Шалунья! До свиданья! Пріѣду послушать, какъ поете!

отпускалъ тѣмъ временемъ старикъ Ольгѣ Елпидифоровнѣ, вызывающіе глаза которой производили на него, повидимому, нѣкоторое впечатлѣніе.

Князь Ларіонъ, проводивъ ее до коляски, прошелъ прямо на половину своей невѣстки.

Она уже успѣла усѣсться въ мягкія подушки дивана своего ситцеваго кабинета и собиралась пить чай въ компаніи Зяблина.

— Мнѣ надо переговорить съ вами! коротко и рѣзко проговорилъ князь, входя и останавливаясь посреди комнаты.

— Parlez, Larion! Она подняла на него свои круглые глаза, изумленная и этимъ тономъ, и еще болѣе его посѣщеніемъ: онъ никогда еще до сихъ поръ не заходилъ въ ея покои.

— Я съ *вами* желаю говорить! подчеркнулъ онъ, ни на кого не глядя.

Зяблинъ поспѣшно всталъ со своего низкаго кресла и вышелъ.

Княгиня почти испуганно глянула ему вслѣдъ.

— Я хотѣлъ васъ спросить, какъ только остались они вдвоемъ, началъ князь Ларіонъ, — братъ-ли я вашего покойнаго мужа, опекунъ-ли я его дѣтей, или нѣтъ?

— Mon Dieu, Larion, какіе странные вопросы? Она растерянно заерзала въ своихъ подушкахъ, — qui en doute, что вы дядя и опекунъ Лины и Базиля?...

— Такъ какъ же это вы, едва сдерживаясь, говорилъ онъ, — какъ же вы, потайно отъ меня, не предваривъ ни словомъ, прячась и лукавя какъ... — онъ чуть не сказалъ „какъ горничная“,—порѣшили судьбу Hélène съ этой интриганткой... и я узнаю это только теперь, чрезъ другихъ?...

Она ужасно перепугалась.

— Je vous prie, Larion, не сердитесь! Мы съ графиней Анисьевой, à Rome, говорили, c'est vrai... И я вамъ хотѣла тогда же сказать... Но она меня просила si instamment!... я, говоритъ, боюсь, vôtre beau frère me déteste, не говорите ему теперь ничего... Она меня такъ просила, Larion, ne vous fâchez pas! Я ее послушала...

— A Hélène! вскрикнулъ князь;—вы говорили съ ней?...

— Ничего не говорила, Larion, je vous jure! съ простодушнѣйшею увѣренностью въ томъ, что такъ и слѣдовало ей поступить, отвѣтила Аглая Константиновна.

Онъ съ невыразимымъ презрѣніемъ вскинулъ на нее глаза:

— Вѣдь вы же мать! Чего другаго... но *этого* — онъ ударилъ себя по груди, — можно же отъ васъ требовать!... Не видавши человѣка въ глаза, не зная, кто, *что* онъ, вы ее, вашу дочь... такое существо, какъ Hélène, — голосъ его отъ волненія зазвенѣлъ неестественнымъ звукомъ, — вы распоряжаетесь ею, какъ кулемъ муки, по вашему капризу, какъ безсловеснымъ, у котораго ни ума, ни воли своей нѣтъ...

Аглая вдругъ ударилась въ слезы.

— Mon Dieu, Larion, развѣ я не о ея счастіи думаю? Какая еще можетъ быть для нея партія лучше?... Songez donc, *кого* онъ племянникъ! Et si bien en Cour. Une carrière... Онъ будетъ непремѣнно министромъ *avec le temps*, говорила мнѣ всегда la comtesse sa mère à Rome.

— Министромъ! злобно засмѣялся князь Ларіонъ;—а если ей, Hélène, не министра нужно, а человѣка! Понимаете вы: *че-ло-вѣ-ка!...*

— Il sera bientôt général, Larion! томно вращая своими круглыми глазами, отвѣтила она на это ему.

Точно въ грудь она его чѣмъ-нибудь ткнула...

— „Она непроходимая!... Бѣдный князь Михайло!“ невольно вспомнилась ему судьба покойнаго брата.—„Несчастная“...

Онъ не договорилъ мысленно послѣдняго имени... О себѣ самомъ онъ уже и не думалъ...

— Вы его видѣли зимою, этого господина? спросилъ онъ, насколько могъ, хладнокровнѣе.

— Да, отвѣчала она, еще всхлипывая,—онъ былъ у меня съ письмомъ отъ своей матери... Его послали въ Тамбовъ pour les recrues, vous savez, за наборомъ... Онъ уѣхалъ въ тотъ же день тогда...

— И вы его теперь *ждете?* Князь Ларіонъ горящими глазами глянулъ пристально на нее.

— Я ему говорила, что третьяго іюня рожденіе Лины... и что мы будемъ въ Сицкомъ...

— И онъ будетъ? не далъ ей договорить онъ.

— Я, право, не знаю, Larion... vous êtes si singulier, принялась она опять плакать, — я съ тѣхъ поръ не имѣю никакихъ nouvelles... ни отъ него... ни отъ его матери, la comtesse...

Она безбожно лгала: съ графиней Анисьевой она была въ непрерывной перепискѣ съ Рима, а отъ сына ея, не далѣе какъ за два дня, получила изъ Симбирска письмо, въ которомъ онъ отборнѣйшими французскими фразами извѣщалъ ее, что порученіе его приходитъ къ концу, и что онъ, пользуясь ея любезнымъ приглашеніемъ, льститъ себя радостной надеждою явиться въ Сицкое, для изъявленія ей своего глубокаго почтенія и преданности, никакъ не позднѣе 2-го іюня.

Князь Ларіонъ и не сомнѣвался, что она лгала. Но ему противно было говорить съ ней, противно смотрѣть на ея жирное, тупое лицо... „И это мать *ея!*“ пронеслось у него въ мысли...

Онъ повелъ плечами и вышелъ изъ комнаты.

Вбѣжавшая въ нее почти вслѣдъ за нимъ Ольга Елпидифоровна застала свою покровительницу еще всю въ слезахъ.

— Милочка моя, княгинюшка, голубушка, вскрикнула она, кидаясь къ ней на диванъ и принимаясь цѣловать ее, — что съ вами, о чемъ вы плачете?

Та почувствовала вдругъ неодолимую потребность разсказать ей, какая она обиженная, разогорченная, несчастная женщина.

— Larion m'a fait une scène affreuse, — et pourquoi? Потому что я хочу le bonheur de mon enfant! ныла она и терла себѣ глаза кружевнымъ платкомъ.

— За Лину! тотчасъ же догадалась барышня и воспылала самымъ жаднымъ любопытствомъ узнать поводы „scène affreuse.“

— Je vous dirai tout, petite, сказала ей Аглая Константиновна,—только ты мнѣ должна дать слово, что ты ни слова никому не скажешь!

Ольга стала креститься на уголъ, что никому, никому, пока жива, не выдастъ этой тайны.

Княгиня передала ей все отъ начала, — какъ она познакомилась съ графинею Анисьевой въ Римѣ, и та „влюбилась въ Лину," и потомъ говорила ей о сынѣ, и какъ онѣ обѣ нашли, что этотъ сынъ, „qui a tout pour lui и который непремѣнно долженъ быть министромъ avec le temps", и ея дочь „feront un couple assorti",—и теперь вотъ Larion, „изъ злости къ этой бѣдной comtesse Anissief," наговорилъ ей *ужасовъ*, и что она видитъ, что онъ противится „à un mariage aussi brillant" только потому что, она, по просьбѣ графини, не сообщила ему до сихъ поръ о ихъ „projet d'alliance..."

— Вы думаете *потому*, княгинюшка? стремительно прервала ее на этомъ мѣстѣ бойкая барышня подъ новымъ внезапнымъ приливомъ той злости, которую внушалъ ей теперь князь Ларіонъ;—вы ошибаетесь: онъ и этому, и всякому другому projet de mariage Лины будетъ противиться!...

Княгиня воззрилась на нее недоумѣвая.

— Повѣрьте мнѣ, я знаю! закивала ей та;— онъ ни какого не согласится, онъ не желаетъ, чтобъ Лина вышла замужъ!

Аглая Константиновна недовѣрчиво качнула головой:

— Olga, ça-c'est une bêtise, что ты говоришь: я вѣдь знаю, Larion любитъ Лину...

— Еще бы! хихикнула барышня,—слишкомъ любитъ!...

Круглые глаза княгини растерянно заморгали: она не понимала...

— Онъ влюбленъ въ нее! скороговоркой, наклоняясь къ ней, промолвила Ольга.

— Quelle horreur! Un oncle! такъ и взвизгнула Аглая.

— Княгинюшка, милая, вскинулась съ своей стороны барышня, страшно перепугавшись вдругъ того, что только-что сказала, и тѣхъ послѣдствій, въ которыя могла вовлечь ее, по своей несомнѣнной глупости, ея покровительница,—ради Бога! ради всего святаго, чтобъ никто кромѣ васъ этого не зналъ!... Вы понимаете, я бѣдная дѣвушка... мой отецъ исправ-

никъ, онъ зависитъ отъ *графа*, а князь его другъ... А я только изъ преданности моей, изъ любви къ вамъ...

Но безграничной глупости въ русской натурѣ, какъ извѣстно, не бываетъ;—послѣ перваго взрыва цѣломудреннаго негодованія, княгиня Аглая смутно сообразила, что въ чувствѣ такого человѣка, какъ князь Ларіонъ, къ такой дѣвушкѣ, какъ Лина, „il ne doit y avoir rien de scabreux," а если онъ, дѣйствительно, „un peu amoureux de sa nièce," то это можетъ еще, пожалуй, какъ-нибудь послужить ей, Аглаѣ, въ пользу, если бы Larion вздумалъ и въ самомъ дѣлѣ упрямиться... Она поспѣшила успокоить барышню и, въ свою очередь, крестилась на уголъ, что никому не передастъ сообщеннаго ей, а Ольгу и отца ея никогда не оставитъ.

— Surtout si *la chose* reussit, многозначительно напирала она, — онъ (то есть графъ Анисьевъ) чрезъ своего дядю можетъ доставить твоему отцу гораздо лучшее мѣсто: il ne sera plus ispravnik, ma chère,—on pourra le faire gouverneur dans une province éloignée!...

Посреди этихъ изліяній послышался легкій кашель, которымъ Зяблинъ счелъ нужнымъ повѣстить о своемъ возвращеніи.

— Arrivez, arrivez! крикнула ему хозяйка, завидя его въ дверяхъ,—мы однѣ съ Ольгою.

— *Его сіятельство* давича меня такъ безцеремонно выпроводилъ... съ нѣкоторою язвительностью усмѣхнулся „бригантъ," мягко пробираясь къ нимъ, мимо всякихъ *name, dos à dos* и низенькихъ *causeuses*, которыми усѣянъ былъ кабинетъ княгини.

— Oui, и послѣ васъ il m'a fait une scène affreuse! завздыхала она опять.

Зяблинъ опустился въ кресло противъ нея, оперся подбородкомъ на обѣ руки и погрузился своими воловьими глазами въ ея бараньи глаза.

— Бѣдная! проговорилъ онъ только,—но вздохнулъ такъ, какъ могъ вздыхать развѣ одинъ Байроновской Манфредъ на своей скалѣ.

— Ça, c'est un vrai ami, Olga! томно проговорила кня-

гиня, протягивая ему черезъ столикъ съ чаемъ свою жирную руку, которую Зяблинъ благоговѣйно принялъ обѣими своими руками и принялся цѣловать палецъ за пальцемъ.

— Finissez, polisson! игриво промолвила она и отдернула ее изъ-подъ его губъ.—Онъ все знаетъ давно quant à l'affaire de Rome, кивнула она на него Ольгѣ,—mais il est discret!... И Larion объ этомъ узналъ теперь... Ему, вѣрно, сказалъ *графъ*, а тому, я теперь увѣрена, писалъ, vous savez... братъ графини, объясняла она Зяблину;—et Larion est furieux, почему я сама не пришла ему сказать тогда же, à Rome...

— Мнѣ кажется, началъ „бригантъ" своимъ, напоминавшимъ о сдобномъ тѣстѣ, голосомъ,—что судьба княжны прежде всего зависитъ отъ ея матери...

— Je crois bien! воскликнула княгиня,—sa mère, qui l'a mise au monde!

— А потому, продолжалъ онъ,—я смѣю думать, что князь... что онъ не можетъ требовать...

— Онъ ея дядя, возразила она глубокомысленно, — son propre oncle, vous savez, и *попечитель* d'après la loi...

— Дядя не отецъ, еще мягче и опуская глаза проговорилъ Зяблинъ.

Она уперлась въ него взглядомъ, какъ бы соображая что-то очень сложное.

— Вы знаете, Larion теперь въ отставкѣ, mais... il a toujours une grande position dans le monde! пришла она къ заключенію.

Зяблинъ, проводившій дни свои въ обществѣ этой умной женщины, привыкъ къ необыкновеннымъ ходамъ ея мыслительнаго процесса.

— La position графа Анисьева, мнѣ кажется, не уступитъ княжьей, слегка усмѣхнулся онъ и глянулъ на нее изъ-подъ низу. Это значило: „при такомъ зятѣ нечего тебѣ будетъ бояться своего beau frère'a",—и Аглая тотчасъ же это поняла, и все лицо ея словно озарилось сіяніемъ.

— Да, воскликнула она,—у него будетъ une position superbe! Я поставлю его домъ sur un pied anglais... Et la Cour viendra! даже задрожалъ ея голосъ.

„Неудавшійся бригантъ“ уныло подиялъ на нее очи: „а меня на кого же ты покинешь!“ говорили они. А думалъ онъ въ то же время слѣдующее: „главное, выдать скорѣе княжну замужъ и спустить Ларіона, а тамъ увидимъ, какъ я тебя изъ Москвы выпущу!“

— Вы также, mon ami, вы также въ Петербургъ переѣдете! Аглая протянула ему опять руку свою черезъ столъ;— et Olga aussi! Je vous prends avec moi, petite; vous n'êtes pas faite pour pourrir en province...

— Княгинюшка, милая, я съ вами готова на край свѣта! кинулась къ ней та на шею; въ глазахъ бойкой барышни такъ и замелькали гвардейскіе мундиры, богатые холостяки, завистливыя институтскія подруги, и дворъ,—дворъ, куда она „могла попасть *за голосъ*...“

— Но, княгиня,—вдругъ, среди упоенія этими золотыми снами, припомнилась ей дѣйствительность,—если Лина... если ей не понравится этотъ графъ и... можетъ быть, кто нибудь... другой ей нравится?...

Аглая Константиновна окинула ее свысока взглядомъ, усмѣхнулась и внушительно проговорила:

— Этого я не боюсь. Lina est trop bien née pour cela!

Барышня прикусила себѣ губу—и осторожно замолчала...

XXVIII.

Amantes—amentes *).

Князь Ларіонъ, выходя изъ апартаментовъ Аглаи Константиновны, встрѣтился съ проходившею къ себѣ на верхъ Надеждой Ѳедоровною.

— Не знаете-ли вы, гдѣ Hélène? спросилъ онъ ее.

— Она, кажется, въ свою комнату сейчасъ прошла...

— Сдѣлайте мнѣ одолженіе, сходите къ ней и спросите можетъ-ли она принять меня? На десять минутъ! примолвилъ онъ, почему-то считая нужнымъ назначить срокъ... Но у него сердце билось, какъ у юноши въ ожиданіи перваго свиданія... Онъ сложилъ на груди руки и прислонился къ периламъ лѣстницы...

— Княжна васъ проситъ! доложила, вернувшись отъ нея, Надежда Ѳедоровна.

Князь Ларіонъ медленными шагами поднялся по ступенькамъ. Послѣ многихъ, многихъ дней онъ теперь опять будетъ говорить наединѣ съ Линой... И тяжекъ для него будетъ этотъ разговоръ, онъ зналъ...

Подойдя къ ея двери, онъ, по заграничному обыкновенію, стукнулъ въ нее три раза пальцами.

—Войдите, дядя, послышался голосъ Лины.

Онъ вошелъ.

Ольга Елпидифоровна была права: комната Лины—ея кабинетъ — если не по удобству, то по строгости своего вида напоминалъ, дѣйствительно, монашескую келью. Полъ обтя-

*) Любящіе—безумные.

нутый верблюжьимъ сукномъ, ситцевыя занавѣси съ темнымъ узоромъ по бѣлому фону, простой дубовый столъ, съ большимъ на немъ портретомъ отца ея въ черной рамѣ, такой-же длинный шкафъ съ книгами, плетеные соломенные стулья приставленные къ стѣнамъ, а на стѣнахъ старинныя, пожелтѣвшія по краямъ, въ черныхъ же рамахъ, гравюры библейскаго содержанія,—все это свидѣтельствовало о странномъ душевномъ настроеніи у дѣвушки съ милліоннымъ приданымъ... Единственно цѣнные, но того же строгаго, религіознаго характера, предметы въ ея покоѣ представлялись въ виднѣвшемся изъ растворенныхъ дверей ея спальни старинномъ католическомъ, изящной венеціанской рѣзьбы, prie-Dieu, на которомъ лежала объемистая, переплетенная въ бархатъ, съ золотыми застежками книга — Евангеліе или Молитвословъ, — и надъ нимъ драгоцѣнное по работѣ Распятіе изъ слоновой кости на крестѣ изъ чернаго дерева... Въ углу той же спальни золоченая лампадка лила свой блѣдный пламень среди яркаго дневнаго свѣта предъ родовою, изукрашенною смарагдомъ и алмазомъ иконою Пречистой Матери Одигитріи, когда-то, послѣ казни Шастуновыхъ при Биронѣ, зарытой въ землю вѣрнымъ слугою и возвращенною имъ при Елисаветѣ послѣднему представителю ихъ рода. Князь Ларіонъ, которому она перешла по наслѣдству отъ отца, подарилъ ее Линѣ...

Она пошла къ нему навстрѣчу:

— Вамъ нужно говорить со мною, дядя?

— Да... я сейчасъ отъ твоей матери...

— Она не здорова? вскрикнула княжна.

— Здоровехонька! отвѣчалъ онъ, — рѣчь не о ней... О тебѣ!...

Онъ никакъ не могъ совладать со своимъ голосомъ: онъ ему измѣнялъ,—онъ чувствовалъ.

— Гдѣ бы у тебя сѣсть? сказалъ онъ, самъ въ эту минуту избѣгая ея глазъ,—у тебя во всей комнатѣ одно кресло.

— И садитесь на него, мнѣ все равно, гдѣ сѣсть.

Онъ подошелъ къ креслу, окинулъ взглядомъ комнату,— отыскивая мѣсто потемнѣе,—и придвинулъ его къ стѣнѣ за оконную занавѣсь.

Лина помѣстилась на стулъ у того же окна и ждала, сложивъ руки на колѣняхъ...

— Нынѣшней зимою, началъ князь,—былъ у твоей... у Аглаи Константиновны, графъ Анисьевъ, сынъ этой...

Она утвердительно кивнула.

— Ты его видѣла?

— Да!

— Говорила съ нимъ?

— Кажется... Да, конечно, говорила...

— Разговоръ этотъ, повидимому,—князь Ларіонъ, старался усмѣхнуться,—не произвелъ на тебя особеннаго впечатлѣнія?...

Она чуть-чуть пожала плечами.

— Этотъ господинъ прибудетъ теперь сюда ко дню твоего рожденія.

— Да? проговорила она съ внезапнымъ замираніемъ...

— И объ этомъ... объ этомъ,—невольно запинаясь, повторилъ князь,—я пришелъ поговорить съ тобою...

Словно зарница промелькнула въ спокойныхъ до сей минуты глазахъ Лины. Она выпрямилась на своемъ стулѣ...

— Твоя... Этого господина, выговорилъ наконецъ князь,—прочатъ тебѣ въ мужья!

— Ради Бога! Дядя! могла только выговорить Лина умоляющимъ языкомъ.

Онъ схватилъ обѣими своими ея свободную руку...

— Hélène, другъ мой, я понимаю... я зналъ... я хотѣлъ сказать... Ради Бога, не отчаявайся!...

— Ничего, дядя,... нѣтъ... я...

Она будто сжалась вся, закрыла на мигъ глаза, открыла ихъ, тихо высвободила свою руку...

— Говорите! промолвили ея блѣдныя губы.

Онъ собрался съ силами и тихо спросилъ:

— *Онъ* не по тебѣ, Hélène?

— Нѣтъ! твердо проговорила она и головой закачала.

— И былъ не по тебѣ... и *тогда*,—когда ты его увидѣла въ первый разъ? съ замирающимъ сердцемъ спросилъ опять князь Ларіонъ.

Она какъ бы поняла разомъ и то, что хотѣлъ онъ сказать, и то чувство, которое побуждало его къ этому вопросу. Еле замѣтный румянецъ проступилъ сквозь снѣговую блѣдность ея ланитъ.

— И тогда, дядя! какъ бы поспѣшила она успокоить его,—и тогда!...

Онъ замолкъ, судорожно, крѣпко сжавъ вѣки, какъ бы отъ солнца...

— Годъ тому назадъ, въ эту пору, помнишь, заговорилъ онъ послѣ долгаго молчанія, — мы были въ Гмунденѣ, на возвратномъ пути изъ Италіи... Какой-то невѣдомый еще людямъ уголокъ! Ни одной души знакомой... цѣлыя три недѣли! Помнишь наши безконечныя прогулки въ лодкѣ по Траунзее?...

— Помню, беззвучно отвѣчала она.

— Вѣдь лучше было тогда, Hélène, лучше?...

Она не отвѣтила.

Онъ горько, горько улыбнулся. Безумецъ, онъ могъ хоть на мгновеніе вообразить себѣ, что отъ этого воспоминанія зазвенитъ какая-нибудь струна въ ея душѣ! Прогулки по озеру въ лунныя ночи — съ *нимъ!* Онъ такой юный, милый, интересный Шиллеровскій герой...

Онъ всталъ, прошелся по комнатѣ, опять сѣлъ...

— Это рѣшено, я вижу, еще въ Римѣ, заговорила между тѣмъ Лина,—мнѣ тогда ничего не сказали, и теперь...

— Зачѣмъ тебѣ сказывать! злобно засмѣялся князь Ларіонъ;—въ *ея* просвѣщенныхъ понятіяхъ ты—вещь, или... какъ бишь это говоритъ въ *Гамлетѣ* господинъ Гундуровъ?—„звѣрь безъ разума и чувства“...

— Дядя! прервала его Лина, не подымая головы,—я васъ прошу не говорить мнѣ ничего про maman...

— Ни про...

Онъ отрѣзалъ вдругъ, какимъ-то сверхъестественнымъ усиліемъ заставилъ разомъ смолкнуть все, что въ этотъ мигъ рвалось, рѣзало и клокотало въ его груди, глядя на эту опущенную, печальную, божественную головку, и тихо заговорилъ опять:

— Hélène, мнѣ не нужно тебѣ говорить: твое счастіе во сто разъ дороже мнѣ... моей никому не нужной жизни! вырвалось у него опять съ невольною горечью; — скажи мнѣ только: въ настоящемъ случаѣ разсчитываешь-ли ты на мою поддержку?

Она отвѣчала не сейчасъ:

— Да, дядя! И поднявъ на него глаза:—все, что отъ васъ зависитъ, сдѣлайте!

Онъ опять замолкъ, опять страшнымъ усиліемъ овладѣлъ собою...

— Hélène, сказалъ онъ,—я требую полной откровенности. Иначе я не буду знать, какъ мнѣ дѣйствовать.

Плечи ея дрогнули, она быстро отвернулась къ окну.

— Анисьевъ не по тебѣ, продолжалъ князь Ларіонъ, — но... но есть... другой.

Она не отвѣчала.

— Я это предвидѣлъ... я хотѣлъ удалить его...

— Я знаю! прошептала Лина.

— И это... это уже такъ сильно, Hélène?...

— „Не спрашивайте!“ тоскливо сказали ея отуманившіеся глаза.

О, какимъ терзаніемъ терзалось бѣдное сердце князя Ларіона!...

Онъ имѣлъ еще силу усмѣхнуться, проговорить шутливымъ тономъ:

— Значитъ, мнѣ предстоятъ двѣ задачи: одного выпроводить, другаго *выправить*... Хорошо! Молись твоему Богу,— а я сдѣлаю, что могу!...

Онъ подошелъ къ ней, подалъ ей руку... Она схватила ее, прижалась щекою къ рукаву его и тихо заплакала...

Онъ наклонился, поцѣловалъ ее въ лобъ, вышелъ... выбѣжалъ изъ ея комнаты и, дотащившись къ себѣ, повалился на диванъ, какъ раздавленный...

XXIX.

Мы пьемъ въ любви отраву сладкую,—
Но все-жь отраву пьемъ мы въ ней...
Баратынскій.

Дни бѣжали за днями. Въ обычномъ теченіи жизни въ Сицкомъ ничто наружно не измѣнилось. Все тѣ же были вкусные завтраки и обѣды, тѣ же репетиціи между этими завтраками и обѣдами и прогулки послѣ этихъ обѣдовъ, все тѣ же по вечерамъ музыка, и громкій смѣхъ, и безконечные споры Духонина съ Факирскимъ о Жоржъ-Сандѣ и Louis Blanc, и брюжжавшій, къ великой потѣхѣ публики, „фанатикъ“, и толстый Епидифоръ, *отбывшій* грознаго начальника и съ легкою думой весь день теперь проводившій надъ своею ролью *Полонія*... О послѣдствіяхъ посѣщенія *графа* ничего не проникло въ публику. Бредившая Петербургомъ бойкая барышня хранила ввѣренную ей тайну даже отъ отца, — даже отъ Ашанина. А Ашаниным ъ она увлекалась съ каждымъ днемъ все болѣе... Онъ однажды поймалъ ее одну въ актерской уборной, куда побѣжала она на минуту со сцены приколоть передъ зеркаломъ сорванную имъ для нея розу къ волосамъ, — и, не говоря ни слова, обнялъ ее и страстнымъ поцѣлуемъ поцѣловалъ въ самыя губы. Она не крикнула и, какъ въ угарѣ, чуть не шатаясь, вернулась на репетицію съ неприколотою розою въ рукѣ... И съ той минуты все чувствовала она на губахъ своихъ сладость того горячаго, перваго поцѣлуя. Ночью въ кровати, среди долго не дававшихъ ей спать всякихъ честолюбивыхъ и тщеславныхъ помышленій, образъ чернокудраго красавца возставалъ

вдругъ передъ нею, какъ живой, [illegible] къ ней, и цѣловалъ ее въ губы,—и отъ этихъ воображаемыхъ поцѣлуевъ все мягко и вздрагивало подъ легкимъ одѣяломъ ея роскошное молодое тѣло.

А все же она молчала и таила отъ Ашанина то, что—она знала,—должно было пасть сокрушающимъ ударомъ на голову его друга. И самую покровительственную свою руку отняла она теперь отъ этого его друга и княжны. Не въ выгодахъ бойкой барышни было болѣе „сближать“ ихъ. Ненавистному ей князю Ларіону наносился ударъ почище, чѣмъ то, чего могла она ожидать отъ любви къ княжнѣ Гундурова. Передъ нею лично открывались новые, широкіе горизонты, и, въ виду ихъ, разсуждала она, ей слѣдовало бы даже теперь всѣми зависѣвшими отъ нея средствами „мѣшать“ этому сближенію. Но Ольга Елпидифоровна въ душѣ своей относилась къ княжнѣ съ крайнимъ пренебреженіемъ. Въ ея понятіяхъ, Лина была не что иное, какъ „вялая рыба“, безъ искорки того „огня жизни“, которымъ внутренно гордилась сама барышня, и который, дѣйствительно, горѣлъ въ ней неугасаемо какою-то вѣчно брызжущею струею;—„достаточно мнѣ“, рѣшила она, „только не *помогать* имъ, а безъ меня они ни до чего не дотолкуются!“... И она отошла отъ нихъ тѣмъ легче, что Лина не замѣчала ея измѣны, какъ не замѣчала передъ тѣмъ ея услугъ. Линѣ нечего было „дотолковываться“ съ Гундуровымъ,—они понимали другъ друга безъ словъ. Она, дѣйствительно, ему *вѣрила*, какъ „вѣрила“ *Офелія* своему *принцу*, и чувствовала, что *ея* Гамлетъ никогда не скажетъ ей: „я не любилъ тебя!“... Страннымъ чувствомъ — ничего подобнаго не бывало съ нею до сихъ поръ,—исполнена она была теперь: она словно витала внѣ времени и пространства, какъ витаютъ безплотныя души, уносилась мимо бѣгущимъ мгновеніемъ, не задумываясь, не тревожась, не заботясь о будущемъ,—объ этомъ грозномъ, исполненномъ тоски и муки будущемъ, которое надвигалось къ нимъ все ближе и ближе. Она будто забыла о немъ. Ей жадно, какъ Гундурову, хотѣлось теперь также „жить, просто жить“,—и она жила, зная, что, какъ мотыльку, ей суждено было

этой жизни лишь нѣсколько краткихъ часовъ, — и не останавливаясь на этой мысли. Когда порою глаза ея встрѣчались съ глазами Гундурова, вся душа ея выливалась въ этомъ мимолетномъ взглядѣ и, мгновенно поникая взоромъ, она замирала какимъ-то неизъяснимымъ блаженствомъ, чувствуя, что и сквозь опущенныя вѣки проникали ее лучи безконечной нѣжности, лившіеся изъ его глазъ. Когда на сценѣ она говорила о „нектарѣ клятвъ“ *Гамлета*, она знала, что эти никогда не слышанныя ею отъ *него* клятвы *онъ* повторялъ ихъ въ эту минуту въ своемъ сердцѣ, стоя за кулисой и безмолвно внимая ей, — и дѣтски-лукавая улыбка каждый разъ скользила по ея губамъ, когда выходившій тотчасъ вслѣдъ за нею Зяблинъ-*Клавдіо* начиналъ, говоря про того же *Гамлета:*

— „Любовь? О нѣтъ! Онъ не любовью боленъ“...

Однажды, проходя мимо Факирскаго, разсуждавшаго на этотъ разъ съ Духонинымъ о какихъ-то университетскихъ преданіяхъ, она услышала, какъ онъ говорилъ: „Гундуровъ, напримѣръ, Гундуровъ былъ изъ ряду вонъ студентъ!“... И съ этой минуты она полюбила Факирскаго, „растрепанный видъ“ котораго ей долго не нравился, и находила предлоги каждый день заводить съ нимъ разговоръ... Съ Ашанинымъ, съ Вальковскимъ она была необычайно привѣтлива... Она любила все, что любило *его*, что *онъ* любилъ; она перечитывала по вечерамъ мѣста поэтовъ, о которыхъ въ продолженіи дня ему случалось упомянуть; каждый день горничная ея ставила ей на столъ большой букетъ бѣлыхъ лилій, отъ сильнаго запаха которыхъ нерѣдко болѣла у нея голова, потому что однажды, гуляя съ ней по цвѣтнику, онъ сказалъ ей, что она „непремѣнно должна любить лиліи“... Она дѣвственнымъ чутьемъ своимъ чуяла, что никто послѣ отца ея не любилъ и „не могъ бы“ полюбить ее такъ нѣжно и такъ свято. Дядя?... То же чутье всегда предваряло ее противъ его чувства къ ней, говорило ей, что обѣщанная имъ теперь „поддержка“ была съ его стороны жертва, которою томился и страдалъ онъ. Онъ послѣ того разговора съ нею словно избѣгалъ ея,—избѣгалъ всѣхъ и по цѣлымъ днямъ не выходилъ изъ своего по-

коя. Мать! Но она и теперь, рѣшивъ ея судьбу, не почитала нужнымъ сообщить ей объ этомъ... Самъ братъ, Вася, этотъ мальчикъ, которымъ она одна занималась въ семьѣ, при урокахъ котораго она неизмѣнно присутствовала, котораго она всѣмъ любящимъ сердцемъ своимъ старалась оградить отъ недружелюбныхъ отношеній къ нему князя Ларіона, отъ губительнаго на него вліянія материнскаго тщеславія,—онъ не любилъ ея,—она это теперь болѣе чѣмъ когда-нибудь чувствовала,—не могъ любить этотъ холодный не по лѣтамъ, уже испорченный сердцемъ мальчикъ... Нѣтъ, „они были теперь вдвоемъ на свѣтѣ“ съ Гундуровымъ, съ этимъ случайнымъ *Гамлетомъ*, съ которымъ она познакомилась тому двѣ недѣли... „Кто же еще будетъ съ нами?“ какъ у испуганной голубки проносилось въ душѣ Лины, когда иной разъ ѣдкое сознаніе неизбѣжной дѣйствительности внезапно пробуждало ее изъ міра „грезъ любви первоначальной“.

— А гдѣ это наша милая тетушка (и какъ сказалось у нея эта „*наша*“, она сама не знала,)—Софья Ивановна? спросила она разъ Гундурова.

— А вы бы желали ее видѣть? воскликнулъ онъ, блеснувъ радостнымъ взглядомъ.

— Да. *За нею*, знаете, какъ-то такъ спокойно себя чувствуешь! отвѣчала Лина не ему, а своей мысли...

Онъ обожалъ ея „особенныя словечки“...

— Я за нею съѣзжу, если хотите?

— Съѣздите!

Онъ отправился въ тотъ же вечеръ и вернулся съ нею на другое утро. День былъ воскресный; княгиня съ княжною уѣхала въ церковь...

Софья Ивановна первымъ дѣломъ вытребовала къ себѣ въ комнату Ашанина.

— Ну что, каковы дѣла? Зачѣмъ онъ меня сюда привезъ? спросила она.

— Про то Аллахъ вѣдаетъ, засмѣялся красавецъ; онъ у меня совсѣмъ отъ рукъ отбился: ничего не говоритъ!

— Пріѣхалъ онъ ко мнѣ, съ невольною улыбкою молвила она,—руки цѣлуетъ, самъ чуть не прыгаетъ... И лукавить

началъ: давно не видѣлъ, говоритъ, соскучился... А я по глазамъ вижу,—не то! Наконецъ объявилъ, что меня-де очень всѣ желаютъ видѣть въ Сицкомъ. Кто же эти „всѣ?“ Ужь не *эта-ли Аглая* воспылала ко мнѣ страстью? Нѣтъ, сказывается, княжна просила... Милая! Что она?... И Софья Ивановна—какъ-то безотчетно потупилась.

Ашанинъ понялъ:

— На нихъ занятно глядѣть, сказалъ онъ,—точно старинный романъ читаешь, гдѣ перваго объясненія любовниковъ ищи въ десятой части!

— А вамъ бы его въ первой же главѣ хотѣлось, а во второй—раскланялись и разошлись! живо, почти сердясь, возразила Софья Ивановна, отчего онъ и пуще разсмѣялся.

— Безъ шутокъ однако, молвилъ онъ:—по моимъ ближайшимъ наблюденіямъ, Сережа княжнѣ положительно нравится!

— Ахъ! глубоко вздохнула она,—я это замѣтила еще въ тотъ разъ, когда здѣсь была... И, признаюсь въ моей слабости, умилилась на нихъ!... А какъ пріѣхала въ Сашино, да размыслила, да соображать принялась... такъ вотъ уже осьмой день не сплю, истомилась и исплакалась до одури... Такая ужь натура дурацкая, какъ бы извинялась она,—все это равно у меня, что когда гроза: ударитъ, не боюсь, а какъ издалека наступаетъ и погромыхивать начнетъ,—смерть моя!...

— Ничего, генеральша, съ бою возьмемъ! утѣшалъ ее Ашанинъ.

— Ахъ, не говорите, не шутите такъ! прервала его Софья Ивановна,—сердце мое говоритъ, а оно меня никогда не обманывало, что не добромъ это кончится... И близко это, близко! промолвила она подъ впечатлѣніемъ какого-то страннаго предвидѣнія...

Но когда она опять свидѣлась съ Линой, услыхала этотъ тихій голосъ, глянула въ эти задумчивые лазоревые глаза, тревога ея снова затихла; она опять „умилилась“ на нее... на нихъ... Ихъ тайна еще яснѣе, быть можетъ, чѣмъ на лицѣ Сергѣя, сказывалась для Софьи Ивановны въ выраженіи *этихъ* глазъ, въ проницающихъ звукахъ *этого* голоса. Въ

нихъ, во всѣхъ движеніяхъ Лины было теперь что-то совсѣмъ новое для Софьи Ивановны,—для нея самой!—что-то разнѣженное, льнущее, молящее. Она словно ютилась, словно прижималась къ теткѣ Гундурова, словно говорила ей: „да, намъ нужна твоя любовь, твоя опора!... Втроемъ, съ тобою, какою блаженною жизнью зажили бы мы!“... И пылкое воображеніе Софьи Ивановны принималось, съ своей стороны, бредить объ этой блаженной жизни *втроемъ*, и опять начинало ей казаться, что соединенными силами они будутъ въ состояніи сломить всякое препятствіе, и что никакая „Аглаина дурь“ не устоитъ передъ молящимъ взглядомъ ея дочери...

Она прожила въ Сицкомъ цѣлыхъ два дня и почти не разлучалась съ княжной. Такъ откровенно ни съ кѣмъ еще не говорила Лина, ни съ кѣмъ такъ *хорошо* себя не чувствовала. Она взяла съ Софьи Ивановны слово вернуться „за два дня до ея рожденія, никакъ не позже“. Май былъ на исходѣ; „тотъ“, она знала, долженъ былъ пріѣхать къ этому времени,—она чувствовала, что, какъ у Офеліи, у нея подъ ногами уже обламывались вѣтви...

А князь Ларіонъ все сидѣлъ у себя и не выходилъ даже къ обѣду, и по цѣлымъ часамъ шли объ этомъ разговоры между Аглаей Константиновной и Зяблинымъ...

XXX.

Утромъ, наканунѣ дня рожденія княжны, отошла послѣдняя репетиція *Гамлета*, представленіе котораго назначено было назавтра (*Левъ Гурычъ Синичкинъ* долженъ былъ итти днемъ позднѣе). На утро ожидалось много пріѣзжихъ изъ Москвы и подмосковныхъ, долженъ былъ прибыть графъ, наѣхать сосѣдство. *Vittorio* бѣгалъ какъ угорѣлый по всему дому, осматривая комнаты, назначенныя для гостей, отдавая приказанія поварамъ, посылая гонцовъ за провизіей въ городъ. Сама хозяйка, въ заботѣ о завтрашнемъ днѣ, провела чуть не весь нынѣшній на ногахъ. Усталая, послѣ обѣда она вышла на большую, открытую, съ видомъ на дворъ, галлерею-балконъ, примыкавшую къ столовой, опустилась тамъ въ кресло и объявила: „je ne bouge plus!“ Она велѣла подать сюда кофе, разставить рядомъ съ гостиной ломберные столы для желающихъ,—и общество прикочевало на это новое мѣсто.

„Фанатикъ“ былъ безъ ногъ и очень не въ духѣ: во-первыхъ, утренняя репетиція шла вяло, и притомъ, не смотря на всѣ его настоянія, товарищи его по спектаклю рѣшительно отказались, чтобы шла она въ костюмахъ, доставленныхъ наканунѣ изъ Москвы и которые они еще наканунѣ разобрали между собой и успѣли примѣрить и уладить на себѣ; во-вторыхъ, одна изъ декорацій была еще не готова, и декораторъ едва надѣялся дописать ее къ слѣдующему полудню; въ-третьихъ, храбрый капитанъ Ранцовъ, котораго режиссеръ, не смотря на всѣ усилія, никакъ не добился „поставить на настоящую актерскую точку“, отказался наканунѣ отъ своей роли *Тѣни*, а вызвавшійся замѣнить его землемѣръ Постниковъ не успѣлъ

ее еще выучить и долженъ былъ играть ее съ одной репетиціи; и наконецъ,—а это было главное,—доставшійся „фанатику“ костюмъ былъ какого-то абрикосоваго цвѣта, который, по его мнѣнію, не шелъ „красивому блондину“, какимъ онъ надѣялся появиться въ роли Розенкранца. Эта бѣда была еще поправимая, такъ какъ Василій Тимоѳеевъ, прибывшій утромъ изъ Москвы съ огромнымъ ящикомъ всякихъ париковъ и волосъ для усовъ и бороды Элсинорскаго двора, объяснилъ ему, что, молъ, „все равно, Иванъ Ильичъ, я васъ красивымъ брюнетомъ поставить могу“; но костюмъ Вальковскаго былъ еще, кромѣ того, для него узокъ, такъ узокъ, что того-гляди могъ лопнуть по швамъ, а разставить его нельзя, запасу нѣтъ,—онъ ужь пытался. Выйти въ такомъ костюмѣ „молодцомъ“ нечего было думать, встать фертомъ, рукой за эфесъ шпаги взяться,—„а ну, какъ подъ мышками крякнетъ!...“ Оставалось одно средство,—похудѣть, по возможности, дозавтра. Любовь къ „театрику“ восторжествовала въ этомъ случаѣ даже надъ его обжорствомъ: онъ за обѣдомъ почти ничего не ѣлъ, а назавтра положилъ и вовсе не обѣдать, не завтракать, а питаться однимъ чаемъ, и даже безъ булки: „авось сойдетъ маленько жиру до вечера!...“ Объ этихъ злоключеніяхъ своихъ теперь, за неимѣніемъ другаго доброхотнаго слушателя,—онъ всѣмъ своимъ соучастникамъ въ *Гамлетѣ* успѣлъ надоѣсть этими жалобами, какъ горькая рѣдька,—онъ повѣствовалъ миѳическимъ французскимъ языкомъ старушкѣ madame Crébillon, вернувшейся наканунѣ изъ Москвы, куда она ѣздила недѣли на двѣ къ какой-то заболѣвшей пріятельницѣ, содержавшей нумера на Лубянкѣ.

— Eh bien, mon cher monsieur, говорила она ему на это,—faites élargir les coutures, voilà tout!...

— Па кутюръ! фыркалъ Вальковскій,—говорю же я вамъ, что и нья па кутюръ, па!...

— Tâchez de maigrir alors, je ne vois que ce moyen-là, расхохоталась m-me Crébillon.

— Мегриръ, се са! Я и хочу къ завтраму мегриръ. Это вы правильно сказали!... Умный народъ эти Французы! заключилъ онъ, отходя отъ нея и отправляясь гулять по саду

до цыганскаго поту", все въ тѣхъ же видахъ—„мегриръ къ завтраму"...

Шѝгаревъ, въ свою очередь, потѣшалъ московскую княжну, также наканунѣ вернувшуюся изъ своей подмосковной въ Сицкое. Онъ велъ съ ней опять „серьезный разговоръ", то-есть разсказывалъ ей о братѣ. Новая варіація на эту тему состояла въ томъ, что этотъ братъ, „служившій адъютантомъ въ Чугуевѣ", былъ необыкновенный по ловкости и неутомимости танцоръ и однажды держалъ на одномъ вечерѣ пари, что сдѣлаетъ за одинъ разъ сто туровъ вальса въ залѣ, въ которой было десять оконъ въ длину и шесть въ ширину,—и выигралъ!...

— И все съ одною дамою вальсировалъ? хохотала московская княжна.

— Какъ можно! воскликнулъ Шѝгаревъ:—онъ перемѣнилъ двадцать три дамы... и двѣ изъ нихъ слегли на другой день въ постель, примолвилъ онъ, значительно взглядывая на свою собесѣдницу.

— Отъ усталости? договорила она.

Онъ только того и ждалъ:

— Нѣтъ! У одной свинка сдѣлалась, а у другой крапивная лихорадка...

На этотъ разъ княжнѣ прискучило его „оригинальничаніе", и она ушла отъ него играть въ преферансъ съ Софьей Ивановной,—которая пріѣхала „за два дня", какъ обѣщала Линѣ,—образованною окружной и Свищевымъ, который по этому случаю взялъ 25 рублей взаймы у пріятеля своего Елпидифора.

Солнце между тѣмъ сѣло, и тихая, безоблачная и безлунная лѣтняя ночь опускалась полупрозрачными тѣнями на дальнюю окрестность. Въ окнахъ флигелей, занимаемыхъ гостями, вспыхивали зажигавшіяся слугами на случай пріѣзда господъ свѣчи; пламень большаго фонаря надъ большимъ крыльцомъ дома, что̀ приходилось подъ самымъ балкономъ, отсвѣчивалъ ярко блестѣвшею искрой на уголкѣ мѣдной гербовой доски между лапами едва уже виднаго льва, и бѣлѣли

отъ того же свѣта зеленые листья розоваго куста въ клумбѣ, разбитой среди двора...

Царственная тишина ночи словно низошла и на дѣйствующихъ лицъ нашего разсказа. Общій разговоръ смолкъ; молодежь ушла подальше, на висячія галлереи, дымить папиросами; оставшіеся разбились на мелкія группы, лѣниво перекидываясь несложными рѣчами...

Зяблинъ, прильнувъ чуть не къ самому уху хозяйки, что-то горячо и настойчиво нашептывалъ ей; она внимала ему, то томно улыбаясь, то вздыхая и опустивъ глаза съ какимъ-то стыдливо-счастливымъ видомъ, перебирала кольца на своихъ коротких и жирныхъ пальцахъ... О чемъ шла у нихъ рѣчь, мы не знаемъ. Но до чуткаго еще слуха старушки Crébillon, дремавшій неподалеку отъ нихъ на диванѣ, донеслись вдругъ ясно слѣдующія слова:

— Non, говорила разнѣженнымъ голосомъ Аглая Константиновна,—я могу полюбить мужщину... je puis avoir une faiblesse pour un homme... mais changer de nom, jamais!...

Зяблинъ такъ и отпрянулъ въ спинку своего кресла...

— Pas déjà si bête, mon Aglaé! прыснула себѣ подъ носъ старая Француженка и совсѣмъ зажмурила глаза.

— Что же? говорилъ въ то же время шмыгнувшій съ галлереи, гдѣ продолжали курить недальнозоркіе Маусъ съ Ранцовымъ, Ашанинъ, подходя къ одиноко, какъ бы въ ожиданіи его, умѣстившейся въ самомъ углу балкона бойкой барышнѣ.

— Что? повторила она, передразнивая его.

— Отвѣтъ?...

— Вы просите невозможнаго! отворачиваясь и краснѣя отвѣчала Ольга.

Онъ сѣлъ близко, прямо противъ нея. Колѣни его касались ея колѣнъ.

— Вы боитесь гулять ночью?

— Я ничего не боюсь! пожала она плечами.

— Кромѣ любви? протянулъ онъ.

— Развѣ вы меня такъ любите? вскинулась она вдругъ огненнымъ взглядомъ въ самую глубину его глазъ.

— Я вамъ предложилъ... не докончилъ онъ.

до цыга
завтрам
Ш
ну, та
Сицк
есть
сост
въ
мос
что
кот
и
сі
д
і
(
(
г
к
от
бо

XXXI.

...Вся эта музыка любви...
Огаревъ.

А на противоположномъ концѣ балкона Лина и Гундуровъ пѣли свою лебединую пѣсню...

— Какъ хороша ночь! говорила она.

Она стояла, полузакрытая стоявшимъ тутъ же большимъ лимоннымъ деревомъ, отъ темной зелени котораго отдѣлялось въ сумракѣ свѣтлымъ очеркомъ ея лѣтнее кисейное платье,—стояла, слегка откинувшись затылкомъ къ угловой колоннѣ балкона.

— Да, такою ночью... Гундуровъ не продолжалъ, заглядѣвшись на нее...

Такъ прошло нѣсколько мгновеній.

— Что? спросила Лина, все не отдѣляя головы отъ колоны,—что вы начали?

— Я началъ словами, сказалъ онъ смѣясь,—которыя напомнили мнѣ совсѣмъ другое, и о своемъ я позабылъ.

— Что же напомнили? спросила она опять какимъ-то усталымъ или разсѣяннымъ голосомъ.

— Одну сцену у Шекспира, въ *Венеціанскомъ купцѣ*. Она совсѣмъ коротенькая и даже для драмы не нужная вовсе, но въ ней есть какой-то, по крайней мѣрѣ для меня, какой-то всего тебя проницающій поэтическій запахъ.... Іессика, дочь Шейлока, ушла изъ отцовскаго дома, перешла въ христіанство и вышла за Лоренцо. Они недавно женаты, безконечно счастливы... Ночь; они вдвоемъ ждутъ друзей, которые сейчасъ должны пріѣхать. Сидятъ они на скамьѣ,

въ густой аллеѣ; итальянское небо глядитъ на нихъ сквозь деревья... Сидятъ они и перекликаются, какъ соловьи. „Такою ночью“, начинаетъ то тотъ, то другой, и каждый вспоминаетъ, — онъ свѣтлыя, она темныя событія, происходившія „такою ночью“, — Крессиду и Дидону, Тизбу и Медею... „Такою ночью“, говоритъ, наконецъ, Лоренцо, „Іессика ушла отъ богача-Еврея и бѣжала за своимъ безумнымъ влюбленнымъ изъ Венеціи сюда“.—„Такою ночью,“ отвѣчаетъ она ему, „безумный Лоренцо расточаетъ Іессикѣ тысячу обѣтовъ любви, изъ которыхъ ни одинъ не оказался вѣрнымъ“. „Такою ночью“, кончаетъ онъ, „прелестная и лукавая Іессика клеветала на своего друга, который ей это прощалъ“.

Гундуровъ остановился, замѣтивъ, что княжна его не слушала. Она стояла все въ томъ же положеніи, откинувъ голову и поднявъ глаза къ загоравшемуся звѣздами небу. Лицо ея показалось ему блѣднѣе обыкновеннаго. Онъ вспомнилъ, что въ продолженіе всего дня замѣчалъ въ ней признаки какой-то сдерживаемой тревоги.

— Что съ вами? спросилъ онъ ее съ безпокойствомъ.

Лина словно проснулась, взглянула на него и тихо опустилась въ кресло, подъ темную листву дерева.

— Ничего, я задумалась... И все еще задумчивая улыбка пробѣгала по ея губамъ.

— Сергѣй Михайловичъ, заговорила она черезъ мигъ робкимъ, колеблющимся голосомъ,—вы... вы на меня не разсердитесь?...

— На васъ? вскликнулъ онъ.—Да если бы вы...

Она довѣрчиво кивнула ему головой, не давъ договорить.

— Я знаю, промолвила она, — я не о томъ... Я хотѣла спросить васъ...

— Спрашивайте, княжна! горячо вырвалось у него.—Нѣтъ ничего у меня на душѣ, чего бы я не открылъ вамъ.

— Сергѣй Михайлычъ, почти прошептала она,—я хотѣла спросить васъ: вѣрите-ли вы?

Онъ смутился въ первую минуту...

— Елена Михайловна, я полагалъ... что мои убѣжденія

вамъ извѣстны... Я Русскій: вѣрованія моего народа — мои вѣрованія.

Ее какъ бы не удовлетворилъ этотъ отвѣтъ: она обернулась на Гундурова взглядомъ, полнымъ какой-то несказанной внутренней муки:

— Да, я это знаю... Но такъ-ли вы вѣрите, Сергѣй Михайлычъ, чтобъ умѣть терпѣть и не роптать?

Онъ не успѣлъ отвѣтить.

Звонъ еще отдаленнаго колокольчика внезапно и отчетливо раздался въ эту минуту въ гулкомъ воздухѣ ночи.

— Quelqu'un nous arrive, Lina! крикнула ей со своего мѣста Аглая Константиновна съ какимъ-то особеннымъ выраженіемъ.

Княжна судорожно схватилась за перила балкона.

Гундуровъ, чуть не крикнувъ, кинулся къ ней...

— Слушайте... это... онъ ѣдетъ! проговорила она дрожащимъ шопотомъ.

— Кто „онъ"?... Ради Бога! чувствуя, что у него подкашиваются ноги, спрашивалъ несчастный.

Она не отвѣчала,—она слушала, будто приросши къ перилам этою своею судорожно-схватившею ихъ рукою...

Колокольчикъ звенѣлъ все ближе и ближе, уже ясно сливаясь съ вѣскимъ топотомъ конскихъ копытъ... И вотъ уже мѣрно и звучно звякнули они по каменной настилкѣ подъ сводомъ льва, колокольчикъ замеръ на мигъ, залился опять... Въ свѣтѣ, бившемъ отъ фонаря, мелькнула мѣдная бляха на шляпѣ сидѣвшаго бокомъ ямщика, красный воротникъ слуги на козлахъ и крутые лоснившіеся отъ пота крупы заворачивавшей кругомъ клумбы почтовой четверни.

Дорожная, помѣстительная коляска—изъ тѣхъ, что тогда назывались флигель-адъютанскими, — скрипя по песку, подкатила къ крыльцу подъ самый балконъ. Изъ нея проворно выскочилъ молодой военный въ шинели и фуражкѣ съ краснымъ околышемъ, отороченнымъ бѣлыми кантами, ловко сбросилъ съ плечъ шинель на руки выбѣжавшаго слуги и съ громкимъ вопросомъ: „княгиня дома?" быстро пробѣжалъ въ сѣни.

— Онъ! отпрянувшись отъ перилъ, обернулась съ этимъ словомъ Лина къ Гундурову,—тотъ, за кого меня хотятъ отдать замужъ!...

Онъ какъ былъ, такъ и замеръ на мѣстѣ.

Губы ея шевельнулись... Она взглянула на него влажными глазами и подняла ихъ къ загоравшимся далекимъ звѣздамъ:

— Ни слезъ тамъ, ни разлуки! вырвалось у нея, и она быстрыми шагами пошла съ балкона.

— Où allez vous, Lina? встревоженно крикнула ей опять княгиня.

— Въ мою комнату! отвѣчала она, не оборачиваясь, и исчезла.

— S'arranger les cheveux! объяснила съ лукавенькою усмѣшкой Зяблину Аглая Константиновна, не замѣчая и теперь того убитаго вида, съ которымъ слушалъ ее злополучный „бригантъ“ съ самой той минуты, когда ему стало извѣстно, до какого предѣла онъ могъ разчитывать на ея „слабость къ мущинѣ“... Но она ничего теперь и замѣтить не была бы въ состояніи: ее такъ и подмывало, такъ и уносило... „Le jeune comte, le neveu de“... далѣе этого она уже ни о чемъ думать не могла... И, тяжело поднявшись съ кресла, она собственною особой пошла навстрѣчу пріѣзжему.

— Графъ Анисьевъ! громко возгласилъ бѣжавшій доложить о немъ офиціантъ.

— Кто такой? быстро отрываясь взглядомъ отъ сыграннаго хода, спросила Софья Ивановна окружную.

Та повторила фамилію.

Софья Ивановна увидѣла входившаго незнакомаго ей военнаго, услышала ликующее привѣтствіе Аглаи: „cher comte!“...

— „Вотъ онъ, Фитюлькинъ!“ кольнуло ее какъ ножомъ въ сердце, и карты запрыгали предъ ея глазами, будто камешки въ калейдоскопѣ...

Княжна между тѣмъ прошла прямо въ покой дяди.

Комнаты его были не освѣщены; только въ концѣ ихъ, сквозь открытый настежъ рядъ дверей, свѣтили зажженныя свѣчи подъ зеленымъ абажуромъ на большомъ столѣ библіо-

теки, и князь Ларіонъ, опершись щекой объ руку, читалъ у этого стола.

Онъ поднялъ глаза, услыхавъ шаги...

— Hélène! вскрикнулъ онъ, безсознательно скидывая съ головы бархатную шапочку, которой онъ прикрывалъ, по заграничной привычкѣ, свои индѣ уже рѣдѣвшіе волосы.

— Я, дядя! отвѣчала она, останавливаясь у стола противъ него съ опущенными взглядомъ и руками.

Онъ тотчасъ же догадался:

— Онъ пріѣхалъ?

— Да, сейчасъ! отвѣчала Лина.

Съ жаднымъ восхищеніемъ, съ ноющею болью въ груди глядѣлъ на нее князь Ларіонъ:

— Ты иначе бы и не вздумала навѣстить меня, узнать, живъ-ли я еще!

— Вы отъ всѣхъ удалялись, печально проговорила она,— я думала, вы... не хотите меня видѣть...

Глаза его загорѣлись мгновенно, какъ два пылающіе угля:

— Я не хочу тебя видѣть?...

Она дрогнула подъ этимъ огненнымъ взглядомъ и невольно отшатнулась отъ стола...

Онъ это замѣтилъ, поникъ головою и тяжко, тяжко вздохнулъ:

— Скажи: не могу... не въ силахъ!... Да, мнѣ тяжело, признаюсь...

— Дядя, неужели я чѣмъ-нибудь могла?... Она не договорила.

Онъ не смѣлъ поднять снова глазъ:

— Нѣтъ, но ты знаешь... въ мои годы привычка—жизнь... Вспомни, мы не разставались два года... Я былъ для тебя... я думалъ... я надѣялся... послѣ отца единственный! говорилъ онъ прерывающимся голосомъ.

— Да, дядя, тихо отвѣтила Лина,—я васъ такъ и почитала; послѣ бѣднаго папа вы одинъ были у меня.

— А теперь, теперь, прервалъ онъ неудержимымъ возгласомъ,—развѣ я одинъ?...

— Это... совсѣмъ другое!... чуть слышно промолвила она и вся зардѣлась...

— Да, конечно, это... „совсѣмъ другое!“ повторилъ онъ какъ бы про себя, язвительно и горько усмѣхаясь;—да увѣрена-ли ты, по крайней мѣрѣ, что онъ тебя любитъ? кинулъ онъ ей почти злобно.

Она гордо подняла голову:

— „А вы какъ же полагали?“ говорилъ ея не улыбавшійся взглядъ.

Онъ смущенно глянулъ на сторону и замолкъ.

— Такъ этотъ... господинъ изволилъ прибыть, говоришь ты? началъ онъ спокойнѣе,—что же мнѣ теперь дѣлать, по-твоему?...

Вся краска мигомъ сбѣжала съ лица княжны:

— Этого я не знаю! также гордо и печально отвѣтила она;—вы мнѣ обѣщали... а тамъ какъ вамъ угодно будетъ!... Она повернулась и пошла...

— Hélène! Онъ кинулся за нею;—милая моя, я тебя огорчилъ!... Прости меня, — я боленъ, нервенъ... нервенъ сталъ, какъ старая баба, примолвилъ онъ съ натянутымъ смѣхомъ;—не уходи такъ! Дай руку въ знакъ прощанья!... Я сейчасъ сойду внизъ...

Она протянула ему на ходу руку—и скрылась въ темени неосвѣщенныхъ покоевъ.

Князь Ларіонъ прошелся раза три по комнатѣ, хрустя пальцами и щурясь съ какимъ-то мучительнымъ выраженіемъ, позвонилъ своего камердинера и принялся одѣваться.

Черезъ часъ времени Vittorio постучался въ двери комнаты княжны и на ея спросъ отвѣчалъ, что „madame la princesse mère“ послала его доложить ей, что чай поданъ.

Она сошла въ гостиную. Князь Ларіонъ уже былъ тамъ, одѣтый по-вечернему, во фракѣ, и велъ спокойно, нѣсколько свысока, бесѣду съ графомъ Анисьевымъ...

XXXI.

— Ma fille! Вы съ ней знакомы? проговорила княгиня при входѣ Лины, сладко улыбаясь пріѣзжему и въ то же время кидая искоса на дочь недовольный взглядъ за то, что она такъ медлила явиться.

Молодой человѣкъ поспѣшно всталъ и отвѣсилъ княжнѣ безмолвный и низкій поклонъ.

Она, въ свою очередь, учтиво отвѣтила ему наклономъ головы, повела взглядомъ кругомъ, какъ бы ища кого-то, и отошла къ игорному столу, за которымъ сидѣла Софья Ивановна.

Аглая Константиновна вспыхнула, какъ піонъ... Анисьевъ не моргнулъ бровью.

Онъ былъ мастеръ владѣть собою. Это и его тактъ, его необыкновенная смѣтливость выдвинули его по службѣ еще болѣе, чѣмъ покровительство сильнаго дяди... Анисьевъ родился честолюбцемъ. Внукъ выслужившагося гатчинскаго офицера, въ одинъ счастливый для него день необычайной милости пожалованнаго заразъ генералъ-адъютантомъ, графомъ и помѣстьемъ въ двѣ тысячи душъ въ Могилевской губерніи и затѣмъ забытаго въ какомъ-то совѣтѣ во все продолженіе слѣдующаго царствованія, — Анисьевъ лишился отца своего еще въ малолѣтствѣ. Отецъ этотъ, отставной гусаръ, „ёра и забіяка“ временъ Бурцевыхъ, во всю свою жизнь сдѣлалъ одно умное дѣло ,— а именно женился изъ-за пари, въ пьяномъ видѣ, на старой, но энергичной и умной дѣвѣ, матери нашего полковника,—и весьма скоро затѣмъ, допившись до чортиковъ,

умеръ, не успѣвъ домотать до конца своихъ могилевскихъ крестьянъ. Вдова его, при помощи своего брата, уже тогда состоявшаго въ большой милости, успѣла уплатить большую часть мужниныхъ долговъ. Сына на тринадцатомъ году отдала она въ пажескій корпусъ, отлично выучивъ его предъ тѣмъ французскому и нѣмецкому языкамъ и „хорошимъ манерамъ,“ — что и положило прочное основаніе для всѣхъ ожидавшихъ его впослѣдствіи успѣховъ въ петербургскомъ свѣтѣ. Въ корпусѣ товарищи, между которыми онъ никогда не былъ популяренъ, но изъ которыхъ всегда дѣлалъ, что хотѣлъ, предсказывали ему блестящую карьеру, а начальство постоянно отличало его, какъ „будущаго образцоваго гвардейскаго офицера.“ И онъ вышелъ имъ дѣйствительно,—вышелъ именно въ томъ смыслѣ, въ какомъ разумѣли это военныя требованія того времени. Завистники — а у него было ихъ не мало,— увѣряли, что первое, чѣмъ обратилъ онъ на себя вниманіе высшаго начальства, было будто бы нѣкое соображеніе о *„ленчикѣ,“* *) изложенное-де имъ на двѣнадцати кругомъ исписанныхъ листахъ, которое по разсмотрѣніи *онаго* въ особомъ комитетѣ было-де одобрено и принято къ руководству, авторъ же его награжденъ за отличіе чиномъ внѣ правилъ. Это была, разумѣется, чистѣйшая выдумка, но въ которой Анисьевъ, со свойственною ему сообразительностью, не видѣлъ ничего для себя вреднаго,—напротивъ, и самъ, смѣясь, разсказывалъ о ней во вліятельныхъ кружкахъ... На двадцать седьмомъ году отъ роду онъ взятъ былъ изъ полка въ свиту и сразу попалъ въ „дѣльные“. Скоро стали давать ему особенно важныя, то есть, щекотливыя по существу своему порученія. Молодой дѣлецъ каждый разъ выходилъ съ торжествомъ изъ затрудненій представлявшихся ему въ этихъ случаяхъ. Никогда донесенія его не оказывались противными тому, чего ожидалось отъ нихъ; никогда сужденіе о разслѣдованномъ имъ дѣлѣ не подымалось выше пониманія тѣхъ, кѣмъ оно было ему поручаемо; никогда то, что предоставлялось ему лично „уладить“ и „утушить“, не оставалось горючимъ и разлаженнымъ. У него бы-

*) *Ленчикъ*—дерево сѣдла.

ло что-то въ родѣ верхняго чутья, которымъ угадывалъ онъ безо всякихъ посторонникъ указаній, по какому-нибудь лишь оброненному слову, нечаянно подсмотрѣнному взгляду, часто даже просто по какому-то наитію, то именно, что требовалось въ данномъ случаѣ и чего можно было ожидать въ другомъ, что должно было взять верхъ надъ чѣмъ въ данное время, кто могъ „выскочить“ или „провалиться“ въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ, — и необыкновенно вѣрно сообразовался съ этимъ для своихъ личныхъ честолюбивыхъ разсчетовъ. Этому чутью соотвѣтствовала въ лицѣ его особая, частью природная, частью выработанная имъ усмѣшка, въ которой наблюдатель могъ бы разгадать смыслъ всего его характера. Улыбка эта имѣла цѣлью прежде всего дать понять тому, съ кѣмъ онъ говорилъ, что онъ имѣетъ совершенно ясное и полное понятіе о предметѣ, о которомъ заводилась рѣчь, хотя бы то было объ ассирійскихъ древностяхъ или о дендрологіи; затѣмъ—что объ этомъ самомъ предметѣ онъ имѣетъ свое личное оригинальное мнѣніе, которое онъ не почитаетъ нужнымъ высказывать, и, наконецъ, что онъ не почитаетъ нужнымъ высказывать это мнѣніе вслѣдствіе высшихъ и одному ему вѣдомыхъ соображеній. Анисьевъ достигалъ своей цѣли: изъ дѣловыхъ сношеній съ нимъ нужные ему люди выносили то впечатлѣніе, что онъ весьма солидный, способный и ловкій молодой человѣкъ, которому несомнѣнно суждено „далеко пойти“. Въ петербургскомъ офиціальномъ и свѣтскомъ мірѣ никто и не сомнѣвался въ этомъ, и графиня Анисьева была лишь эхомъ этого міра, когда въ интимныхъ бесѣдахъ съ княгинею Аглаей говорила о сынѣ, какъ о „будущемъ министрѣ“.

Успѣхи его не ограничивались службой: онъ былъ однимъ изъ самыхъ видныхъ, изъ самыхъ отличаемыхъ кавалеровъ придворныхъ и великосвѣтскихъ баловъ и *козеровъ* „избранныхъ“ гостиныхъ, танцовалъ отлично и не со *всѣми*, сыпалъ кстати фразами изъ *Revue des deux mondes*, которую читалъ неукоснительно предъ каждымъ своимъ вечернимъ выѣздомъ, рисовалъ весьма удачно благонамѣренно-остроумныя карикатуры и, по общему признанію своихъ гвардейскихъ сверстниковъ, умѣлъ „какъ никто“ носить военный мундиръ, при

самомъ строгомъ соблюденіи стѣснительной формы того времени, — тайна, и понынѣ, говорятъ спеціалисты, не каждому дающаяся. Ни у кого такъ ловко не пропускался мимо локтя толстый аксельбантъ изъ-подъ свисшаго „à la grognard“ эполета, такъ не пригнаны были „въ разъ“ суженные книзу рейтузы къ лакированному сапогу, такъ щегольски мягко не ложились складки просторнаго сюртука кругомъ высокаго и тонкаго стана. „L'extrafin de nos officiers!“ говорилъ про него самъ военный министръ, князь Чернышевъ, любуясь имъ на балѣ сквозь одноглазый золотой лорнетъ и улыбаясь по этому случаю подъ завитымъ парикомъ блестящимъ воспоминаніямъ собственнаго своего былаго.

Побѣды свои Анисьевъ считалъ дюжинами... Еще будучи камеръпажомъ, говорили злые языки, онъ былъ замѣченъ

„Блестящей Ниной Воронскою,
„Сей Клеопатрою Невы,“ *)

бывшею тогда уже сильно sur le retour, но удивительно сохранившаяся „мраморная краса“ которой могла плѣнить и не семнадцатилѣтняго юношу, и пріобрѣлъ отъ нея послѣдній лоскъ, „le dernier coup de pinceau“, той лѣниво-холодной небрежности пріемовъ, того полунасмѣшливаго, полускучающаго тона рѣчи, что̀ почитались тогда высшимъ выраженіемъ свѣтской *элегантности*, и предъ которыми клали оружіе самыя неприступныя тогдашнія *львицы*...

Но, увы, не однѣ розы цвѣли въ существованіи этого „*баловня* петербургской *фортуны*“, какъ выражались еще старички въ тѣ времена: были въ немъ и тернія, и очень колючія для него тернія. Прежде всего, онъ былъ разоренъ. Доходовъ съ дѣдовскаго имѣнія, кое-какъ сохраненнаго ему матерью, оказалось съ перваго же года поступленія его въ гвардію недостаточно для того широкаго пошиба жизни, которымъ онъ счелъ нужнымъ зажить. Молодой честолюбецъ не наслѣдовалъ ни одного изъ *забубенныхъ* свойствъ своего покойнаго родителя, но въ его раннихъ разсчетахъ этотъ

*) Евгеній Онѣгинъ. Гл. VIII.

широкій train былъ необходимъ ему для того, чтобы не только сразу поставить себя на одну ногу съ крупнѣйшими представителями тогдашней богатой гвардейской молодежи, но и попасть въ число тѣхъ избранныхъ изъ нихъ счастливцевъ, блистательное будущее которыхъ, благодаря высокому іерархическому положенію ихъ отцовъ, намѣчено было, такъ-сказать, заранѣе. „Qui ose tout, a tout“, доказывалъ онъ матери, пугавшейся его расточительности: — „кто съ самаго начала заявляетъ, что онъ бьетъ на большое, тотъ его на половину уже получилъ; чтобы и мнѣ быть тѣмъ же, чѣмъ будутъ Привислянскій и Воротынцевъ, я теперь же не долженъ уступать имъ ни на шагъ!“ И онъ не уступалъ, но не прошло пяти лѣтъ, какъ долги его уже превышали цѣнность всего его имѣнія, и онъ могъ еще держаться на желаемой высотѣ, лишь благодаря большой игрѣ, которая пока везла ему довольно постоянно. Но счастье могло со дня на день измѣнить ему, и тогда... Анисьевъ не допускалъ этого „тогда“, онъ слишкомъ вѣрилъ въ себя и свою звѣзду, не допускалъ, чтобъ онъ когда-либо могъ быть вынужденъ „скатиться на салазкахъ внизъ“, какъ выражался онъ въ тайныхъ бесѣдахъ съ самимъ собою, но ему часто приходилось очень трудно... Къ тому подходило и время: ему минуло тридцать лѣтъ, пора было ему окончательно устроиться, укорениться тѣмъ, что называется un beau parti въ этомъ петербургскомъ свѣтѣ, въ которомъ и онъ, и его сильный дядя все какъ бы еще почитались пришлыми, не имѣвшими тамъ ни преданій, ни связей родства... Но задача эта была не легка при тѣхъ условіяхъ, въ какихъ онъ задумывалъ ее: на половинѣ помириться онъ не могъ, ему нужно было и звонкое въ свѣтѣ имя, и большое состояніе. А онъ,—Анисьевъ зеленѣлъ отъ злости, когда думалъ объ этомъ,—онъ, какъ ни бился, все же былъ ни Привислянскій, ни Воротынцевъ; онъ говорилъ себѣ, кусая губы, что ему нельзя было, какъ они, „кинуть платокъ любимой русской невѣстѣ въ увѣренности, что она бросится подымать его“; онъ зналъ два-три дома въ Петербургѣ, гдѣ, не смотря на дворскую къ нему милость, на завидное его служебное положеніе, успѣхъ для него былъ бы

болѣе чѣмъ сомнителенъ... И онъ часто не безъ глубокой внутренней тревоги выглядывалъ, перекидывалъ въ умѣ, соображалъ... И вотъ однажды его мать, поселившаяся за границей экономіи ради, пишетъ ему изъ Рима, что она нашла ему „la perle des partis comme nom, fortune et distinction“, что эту *перлу* никто, къ счастью, въ Петербургѣ не знаетъ, и что она повела дѣло такъ, что заручилась заранѣе согласіемъ матери дѣвушки,—„une personne tout-à-fait impossible“, говорилось при этомъ въ скобкахъ о злополучной Аглаѣ, почитавшей графиню Анисьеву своимъ лучшимъ другомъ, которую (то-есть Аглаю) она совѣтуетъ сыну, когда онъ женится на дочери, какъ можно менѣе пускать къ себѣ въ домъ, „parce qu'elle est d'une bêtise tout-à-fait compromettante“. О князѣ Ларіонѣ упоминалось въ письмѣ, какъ о человѣкѣ, предъ „деспотизмомъ“ котораго, повидимому, преклоняется безропотно вся семья его брата, но съ которымъ графиня, какъ ни старалась, не могла сойтись: „c'est un homme fort rébarbatif“, писала она, „et souffrant évidemment d'une ambition rentrée.“ NB поставлено было вслѣдъ за послѣдними строками.

„Молодецъ maman“, сказалъ себѣ Анисьевъ, дойдя до этого NB,—„сейчасъ догадается, гдѣ дверь скрипитъ!“... Эта скрипучая дверь, сообразилъ онъ тотчасъ въ свою очередь, должна быть по возможности скорѣе „смазана.“ Этотъ неудобный дядя, „cet original à opinions avancées, котораго спустили тому два года,“—надо было „бросить скорѣе кость его голодному честолюбію.“ Весь вопросъ для Анисьева состоялъ единственно въ этомъ. Не смотря на свои еще молодые годы, онъ въ теченіе своей служебной и свѣтской жизни такъ мало привыкъ встрѣчаться съ человѣческимъ безкорыстіемъ, что ему и въ голову не пришло, чтобъ этотъ „оригиналъ“ въ вопросѣ о будущемъ племянницы могъ руководствоваться какими-либо не истекающими изъ его личнаго интереса соображеніями... Анисьевъ кинулся къ дядѣ. На его счастіе, „la combinaison Шастуновъ,“ предложенная имъ, имѣла, какъ оказалось, даже болѣе шансовъ на успѣхъ, чѣмъ могъ онъ надѣяться въ первую минуту.—„О немъ недавно вспоминали, какъ объ очень умномъ человѣкѣ,“ сообщилъ племяннику

сановный царедворецъ,—„*лично* онъ былъ всегда пріятенъ. Дай срокъ, я напомню при случаѣ“.

И онъ напомнилъ. Ко времени пріѣзда Шастуновыхъ въ Россію поступленіе обратно князя Ларіона на службу было въ принципѣ благосклонно допущено въ высшихъ сферахъ. Въ теченіе зимы Анисьевъ успѣлъ увидать Лину въ Москвѣ, околдовать ея матушку. Къ этому же времени дядѣ его стало видно, на какой постъ могъ бы быть предложенъ его новый protégé. Но въ виду разсчетовъ племянника опытный сановникъ представилъ дѣло такъ, чтобы „сначала пустить пробный шаръ,“ то-есть узнать черезъ третье лицо, насколько вообще готовъ принять князь Ларіонъ то, что имѣютъ предложить ему, а то, молъ, онъ „пожалуй откажется, скажетъ, что усталъ, старъ, такъ чтобы какъ-нибудь не компрометироваться...“ Рѣшено было послать письмо къ *графу*, въ Москву, въ которомъ бы не заключалось ничего положительнаго. Положительное, въ планахъ дяди и племянника, должно было быть выговорено лишь тогда, когда Анисьевъ увѣрится лично, что ему со стороны князя не грозитъ никакимъ затрудненіемъ; въ противномъ случаѣ дядя бралъ на себя „покоронить“ свыше одобренную „комбинацію...“ Все было разсчитано такъ, чтобы нашъ полковникъ, посланный въ концѣ зимы съ разными порученіями въ восточную Россію, могъ на возвратномъ пути быть въ Сицкомъ къ тому времени, когда письмо дяди его къ *графу* станетъ уже извѣстнымъ князю Ларіону.

XXXII.

И вотъ онъ сидѣлъ теперь предъ княгиней Аглаей во всей своей красѣ, со своимъ аксельбантомъ черезъ локоть и слегка свисшими на грудь эполетами, со своею лоснившеюся, какъ воронье крыло, коротко остриженною головой и форменными, приподнятыми крючкомъ вверхъ усами, въ лакированныхъ сапогахъ и съ запахомъ свѣжаго, продушеннаго бѣлья,—онъ совершилъ туалетъ свой на станціи предъ Сицкимъ,—сидѣлъ съ чашкою чая въ рукѣ и, слегка картавя и какъ бы вовсе не замѣтивъ холоднаго пріема, сдѣланнаго ему Линой, сообщалъ ея матери какой-то парижскій анекдотъ, вычитанный имъ наканунѣ въ московскомъ англійскомъ клубѣ въ фельетонѣ виконта де-Лоне *).

Соль этого анекдота была для княгини Аглаи недоступна, но она смѣялась на вѣру и глядѣла на разскащика совершенно посоловѣлыми отъ восхищенія глазами, гнѣваясь въ душѣ на дочь за ея „manque d'empressement“ къ этому обворожителю и въ то же время искренно сожалѣя о томъ, что она сама себя лишаетъ удовольствія его слушать...

„Успѣетъ впрочемъ!“ утѣшала себя мысленно наша княгиня и принималась снова сладко улыбаться и глядѣть на Анисьева такъ, какъ будто онъ былъ Zuckerpüppchen, сахарная кукла, которую она вотъ-вотъ и проглотитъ сейчасъ...

Князь Ларіонъ, въ свою очередь, слушалъ Анисьева, не

*) Vicomte de-Launay; подъ этимъ псевдонимомъ писала въ то время еженедѣльные фельетоны въ газетѣ *La Presse*, издававшейся Эмиль де-Жирарденомъ, жена его, извѣстная Delphine de-Girardin.

сводя съ него глазъ, и тайная недоброжелательность ихъ выраженія не ускользнула отъ зоркаго вниманія петербургскаго карьериста. Она удивила его: „неужели же *графъ* еще ничего не успѣлъ ему сообщить?“ думалъ онъ, но его изысканная любезность, повидимому, отъ этого только удвоилась.

Князь заговорилъ о Симбирской губерніи, изъ которой возвращался молодой дѣлецъ.

— Каковъ тамъ губернаторъ? спросилъ онъ между прочимъ.

— Про то старшіе знаютъ, отвѣчалъ тотъ, заслоняя уклончивость отвѣта его шутливымъ тономъ;—лично я могу только быть ему очень благодарнымъ за содѣйствіе его всякій разъ, когда оно мнѣ было нужно.

— Вы были посланы по рекрутскому набору?

Анисьевъ молча наклонилъ голову.

— Но онъ давно конченъ...

— Я имѣлъ еще другое порученіе, коротко отвѣчалъ флигель-адъютантъ;—но объ этомъ я подъ страхомъ смертной казни говорить не дерзаю, словно договорило его лицо, которому онъ мгновенно придалъ сумрачно-строгое выраженіе.

— А губернія какъ съ нимъ ладитъ?... Онъ, кажется, еще недавно туда назначенъ?

Петербургскій воинъ склонилъ слегка голову на бокъ, потянулъ усъ во всю его длину и не то небрежно, не то значительно:

— Вамъ, вѣроятно, не безызвѣстно, князь, пропустилъ онъ сквозь сверкавшіе зубы,—что эта *прапорщичья* губернія самая неудобоуправляемая губернія во всей имперіи, и что всякому губернатору было и будетъ всегда трудно съ нею ладить.

— Отчего *прапорщичья?* спросилъ, будто удивясь, князь Ларіонъ, хотя онъ очень хорошо зналъ, что̀ значило это прозвище и кѣмъ оно было дано.

— Les mauvais plaisants называютъ ее даже *безчинною*, засмѣялся графъ Анисьевъ: — дворянство тамъ все не служащее... и какъ бы пренебрегающее службой... У нихъ даже

губернскіе предводители все подъ рядъ какіе-то поручики или титулярные совѣтники въ отставкѣ; люди они всѣ тамъ очень состоятельные... и стремятся быть *самостоятельными*, продолжалъ онъ все тѣмъ же шутливымъ тономъ.

— Что же, это еще не преступленіе, молвилъ безъ улыбки князь,—если они на мѣстѣ пользу приносятъ?...

— Очень образованные люди, впрочемъ, большею частью бывшіе въ университетѣ; за границу безпрестанно ѣздятъ... Мѣстной власти тѣмъ болѣе ухо надо востро держать! промолвилъ графъ Анисьевъ съ легкимъ пожатіемъ бровей.

— Что же, *подтянуть* ихъ? И старый дипломатъ насмѣшливо посмотрѣлъ ему въ лицо.

Петербургскій воинъ будто и не замѣтилъ укола. Онъ весело тряхнулъ эполетомъ:

— Это ужь до меня не касается!... Но противъ этихъ вѣчныхъ жалобъ дворянства на самовластіе губернаторовъ у меня есть одинъ аргументъ: voyez le cercle d'attributions des préfets en France, даже въ нынѣшней, *республиканской*, Франціи! Онъ значительно подчеркнулъ слово *республиканской*.

— Франція намъ не указъ и все, что ни шло къ намъ оттуда, было и будетъ для насъ гибелью! горячо прервалъ его князь Ларіонъ. Воспитанный въ Англіи, онъ какою-то англійскою ненавистью не любилъ Францію. — Я бы попросилъ васъ объяснить мнѣ, много-ли мы выиграли отъ наполеоновскихъ порядковъ, привитыхъ къ намъ Сперанскимъ?

Блестящій полковникъ никогда объ этомъ не думалъ, да и не имѣлъ никакого яснаго представленія о томъ, какіе такіе порядки привилъ къ намъ Сперанскій. Но онъ тотчасъ же пустилъ въ ходъ свою особую улыбку, которая должна была говорить его собесѣднику, что онъ многое имѣлъ бы представить по этому поводу, но находитъ это по нѣкоторымъ соображеніямъ неудобнымъ въ эту минуту.

— Я плохой діалектикъ, князь, со скромнымъ наклономъ головы проговорилъ онъ,—а съ вами и подавно. Я позволю себѣ замѣтить только то, что сдѣланное Сперанскимъ—совершившійся фактъ и его не передѣлаешь... Анисьевъ даже

вздохнулъ, какъ бы очень сожалѣлъ, что Сперанскій именно сдѣлалъ это. — А затѣмъ остается одно, по-моему, признать то, что̀ есть, avec une obéissance passive... И онъ вздохнулъ еще разъ.

— Et vous faites très bien, cher comte, воскликнула неожиданно Аглая Константиновна, съ тревогою слѣдившая за этимъ разговоромъ, — продолжайте такъ хорошо думать et vous ferez une belle carrière!

Точно кочергою по лбу хватила она его... „Господи!“ чуть не вскрикнулъ онъ громко и покраснѣлъ по самую маковку.

„Хороши оба!“ сказалъ себѣ князь Ларіонъ, вставая съ мѣста и отправляясь къ столу, за которымъ Надежда Ѳедоровна, безъ кровинки въ лицѣ, разливала чай по чашкамъ, едва не выпуская каждый разъ чайника изъ своихъ дрожавшихъ рукъ.

— Вы, кажется, не здоровы? сказалъ онъ, замѣтивъ ея растроенный видъ.

— Ничего-съ!... Она вдругъ засмѣялась судорожнымъ смѣхомъ:—я когда-нибудь такъ за самоваромъ и умру...

Онъ поглядѣлъ на нее съ изумленіемъ...

Она долила послѣднюю чашку и выбѣжала вонъ.

Князь хотѣлъ что-то сказать, дать приказаніе... но опустился въ кресло, задумался и забылъ.

А Аглая Константиновна, едва онъ отошелъ, наклонилась къ Анисьеву, моргая бровями, и таинственнымъ шопотомъ проговорила:

— Надѣюсь, что мы васъ теперь удержимъ... на нѣкоторое время?

Онъ опустилъ глаза и поклонился.

— Завтра, вы знаете, у насъ spectacle de société... Du sérieux: *Hamlet*... Вы знаете піесу?

— *Hamlet* de Shakspeare, кто же ея не знаетъ? И онъ снисходительно приподнялъ плечи... Онъ, впрочемъ, никогда не читалъ эту „піесу“...

— Attendez! игриво подмигнула княгиня.—Lina!

Княжна подошла:

измѣнившееся лицо и, не вымолвивъ ни слова, обняла его за голову и крѣпко поцѣловала въ лобъ, какъ княжну... Потомъ усадила и сказала:

— А теперь довольно! Приди въ себя!... Авось-либо, Богъ милостивъ, устроится!... А нѣтъ,—терпи, ты мущина!... *Она* сумѣетъ терпѣть, отвѣчаю тебѣ!...

Эти слова подѣйствовали на него болѣе, чѣмъ всѣ увѣщанія Ашанина. Онъ молча подошелъ къ теткѣ и обнялъ ее.

— Вотъ такъ-то лучше, засмѣялся его чернокудрый пріятель, обнимая его въ свою очередь: — посиди-ка съ Софьей Ивановной. А то я ужь такъ и думалъ, что мнѣ завтра придется выйти на сцену и объявить публикѣ, что обѣщанное, молъ, вамъ представленіе *Гамлета* отмѣняется, такъ какъ Гамлетъ у насъ *необманно* съ ума сошелъ!".

— Вы-то ужь отъ этого никогда не сойдете! досадливо отпустила ему на это вполголоса Софья Ивановна.

Онъ пожалъ, улыбаясь, плечами, поклонился и вышелъ.

Тетка и племянникъ просидѣли вдвоемъ далеко за полночь. Когда Гундуровъ вернулся въ свою комнату, Ашанина онъ въ ней не нашелъ, и постель его стояла не смятая.

Княжна воротилась въ гостиную въ ту минуту, когда Анисьевъ подымался съ мѣста и прощался съ хозяйкой. Трехчасовая бесѣда съ нею произвела на нашего полковника то же впечатлѣніе, какъ еслибъ его, завязавъ въ мѣшокъ, спустили катиться по крутой и каменистой горѣ: онъ чувствовалъ себя буквально разбитымъ...

А она все такъ же томно и сладко улыбалась ему:

— Да, я понимаю, вы устали съ дороги, cher comte, allez vous reposer!... Vittorio васъ проводитъ! указывала она на Италіянца, почтительно ожидавшаго у дверей.

— Прежде чѣмъ проститься съ вами, княгиня, молвилъ ей блестящій воинъ,—позвольте спросить васъ, дозволено-ли мнѣ будетъ поднести завтра вашей прелестной новорожденной ящикъ конфетъ?

— Certainement, certainement, cher comte! Наша Аглая такъ и запрыгала, моргая ему и лукаво улыбаясь: — donnez toujours, она будетъ въ восхищеніи!...

Онъ тѣмъ же молчаливымъ и глубокимъ поклономъ, какъ при нервой встрѣчѣ, склонилъ предъ встрѣтившеюся съ нимъ Линой свою гладко остриженную голову, метнулъ на-ходу привычнымъ взглядомъ на исписанный пикетнымъ счетомъ столъ, за которымъ Свищовъ съ исправникомъ доигрывали шестаго короля, и, улыбнувшись нѣсколько презрительно громоздкому облику и полицейскому мундиру не замѣтившаго ухода его Елпидофора, исчезъ за Vittorio.

Лина подошла къ матери:

— Прощайте, maman!

— Я желаю вамъ сказать два слова! многозначительно раздувъ ноздри, сказала ей та на это и прошла на неосвѣщенный балконъ.

Лина послѣдовала за нею...

— Vous avez été singulièrement peu aimable avec ce charmant jeune homme! сказала Аглая Константиновна, опускаясь въ кресло.

— Я была съ нимъ учтива, какъ со всѣми, maman, тихо молвила княжна:—онъ ничего болѣе не имѣлъ права требовать отъ меня!

Аглая Константиновна нѣсколько опѣшила:—ей всегда импонировало то, въ чемъ мерещилась ей аристократическая гордость, „l'orgueil du sang,“, какъ выражалась она. „И въ самомъ дѣлѣ“, разсудила она,—„Лина не знаетъ еще ничего, она не можетъ *показать* ему первая, elle est trop bien née pour cela!...“

— Я впрочемъ, попробовала она съ другой стороны,—говорю это, жалѣя тебя!- ты не слышала, comme il cause... Онъ такъ уменъ, et si gentlemanlike!...

— Онъ мнѣ не нравится! сказала просто Лина.

Та такъ и ахнула:

— Чтò? Ce jeune comte, le neveu de... тебѣ не нравится?

— Нѣтъ! Княжна закачала головою.

— Не... нравится! едва могла говорить Аглая Константиновна:—такъ кого же послѣ этого вамъ нужно? Un prince du sang?...

— Она сама Рюриковна, ее этимъ не удивишь? язвительно засмѣялся кто-то въ темномъ углу балкона.

Это былъ князь Ларіонъ, присутствія котораго здѣсь она не подозрѣвала, и который язвилъ ее теперь въ самое ея больное, въ самое чувствительное ея мѣсто, намекалъ на это ея собственное Раскаталовское происхожденіе, воспоминаніе о которомъ, какъ неотступный призракъ, преслѣдовало ее цѣлую жизнь, цѣлую жизнь отравляло ей всю прелесть ея милліоновъ...

— Cette „Рюриковна," c'est moi qui suis sa mère, mon prince! глубоко обиженнымъ тономъ послала она ему въ отвѣтъ.

— По акту рожденія, дѣйствительно! послышался новый смѣхъ его.

Она не поняла, но почуяла, что это было опять что-то оскорбительное для нея, но на что̀ у нея не было отвѣта. Она замолкла, моргая въ темнотѣ своими круглыми глазами, словно выжимала изъ нихъ непослушныя на этотъ разъ слезы...

Лина стояла предъ нею ни жива, ни мертва, съ тяжелою головой, съ ноющею тоской въ груди:

— Неужели онъ думаетъ мнѣ этимъ помочь? допрашивали печальные глаза ея темный уголъ дяди.

Такъ прошло довольно много времени.

— Пора спать! сказала наконецъ княгиня, вставая и поднося руку свою къ губамъ дочери.—Nous en reparlerons! примолвила она ей шопотомъ и удалилась.

— Вы меня губите, дядя! подходя къ нему, сказала княжна.

Онъ не отвѣчалъ,—онъ зналъ, что она была права, но весь онъ теперь былъ желчь и злоба и чувствовалъ, что не могъ совладать уже съ собою...

Добравшись до своей комнаты, Лина, какъ была, упала на колѣни предъ своимъ prie-Dieu, уложила голову на сложенныя руки и тихо-тихо заплакала...

А рядомъ, за стѣной ея спальни, стояла у растворенаго окна своей комнаты Надежда Ѳедоровна Травкина и воспаленными отъ слезъ глазами жадно глядѣла куда-то въ синюю темень сада.

XXXIV.

Эта чудная ночь и темна, и свѣтла,
И огонь разливаетъ въ крови...
Щербина.

Въ домѣ все, повидимому, давно уже спало. Два глухо и долго звенѣвшіе удара пронеслись надъ садомъ съ высоты фронтона, подъ которымъ, со стороны обращенной на дворъ, какимъ-то таинственно мѣрнымъ ходомъ двигались по освѣщенному изнутри циферблату длинныя золоченыя стрѣлки большихъ часовъ, выписанныхъ княгиней изъ Англіи, „le beffroi du château“, какъ романически выражалась она. На звѣздномъ полотнѣ уже блѣднѣвшаго къ утру іюньскаго неба вырисовывались замѣтными очертаніями кудрявыя купы древесныхъ вершинъ. Но подъ густыми ихъ вѣтвями, въ глубинѣ аллей, словно чернильная волна катился и зіялъ мракъ настоящей ночи... Запахомъ жасмина и бузины пропитанъ былъ недвижный воздухъ, и только, казалось, соловей надъ рѣкою, да неугомонный кузнечикъ въ пахучей травѣ не дремали въ безмолвіи и безлюдьи заснувшаго сада.

Нѣтъ, не одни соловей да кузнечикъ... Чуть слышно скрипнула одна изъ дверей, выходившихъ изъ нижняго этажа въ садъ, и кто-то съ укутанною темнымъ платкомъ головой выскользнулъ изъ нихъ, оглянулся кругомъ и исчезъ чрезъ мигъ въ темени ближайшей аллеи.

Изъ окна Надежды Ѳедоровны вылетѣлъ слабый, мгновенно сдержанный стонъ... И снова замолкло все, и заливался, и щелкалъ надъ рѣкой одинъ влюбленный соловей...

Но вотъ опять новые звуки, заскрипѣли шаги по песку...

Мы здѣсь поемъ въ тиши весенней ночи
Лишь для того, чтобъ слушала насъ ты...

напѣвалъ чей-то молодой голосъ старинную дерптскую студенческую пѣсню Языковскихъ временъ.

— А вы потише! говорилъ другой густымъ басомъ,—а не то, пожалуй, и впрямь услышатъ, да спасибо не скажутъ!... Буяны, скажутъ, спать не даютъ!...

— Она не спитъ! возразилъ первый голосъ.

— А „она“ кто это?

— Княжна.

— Во! засмѣялся басъ:—вы почемъ знаете?

— А вотъ видите, наверху изъ-за деревьевъ свѣтитъ огонекъ: это въ ея окнахъ.

— А отличная, видать, она дѣвушка! какъ бы въ заключеніе мысленныхъ посылокъ проговорилъ басъ послѣ нѣкотораго молчанія.

— Прямо Жоржъ-Сандовская героиня! восторженно возгласилъ его спутникъ.

Шаги все ближе подходили къ дому...

— Кто-й-идетъ! крикнулъ вдругъ басъ, кидаясь къ кому-то, шмыгнувшему мимо его на перекресткѣ аллеи.

— Оставьте мена! послышался испуганный отвѣтъ.

— Кто вы?

— Это Надежда Ѳедоровна!... Извините, мы васъ испугали.

— А я васъ не узнаю... Такъ темно! отозвалась она.

— Это я, Факирскій! А со мною Никаноръ Ильичъ Ранцовъ.

— Зачѣмъ вы здѣсь? быстро проговорила Надежда Ѳедоровна.

— А мы съ Семеномъ Петровичемъ ко мнѣ въ Никольское ѣздили и вернулись, отвѣчалъ капитанъ; да чтобъ подъ окнами не гремѣть ночью, лошадей внизу оставили, а сами поднялись садомъ...

— Никаноръ Ильичъ, не давъ ему договорить, молвила

Надежда Ѳедоровна голосомъ, поразившимъ студента своимъ необычнымъ выраженіемъ,—пойдемте со мною!

— Куда это-съ? изумленно воскликнулъ капитанъ.

— Я вамъ скажу... потомъ... пойдемте!...

Она уцѣпилась за его руку.

— А меня не нужно? спросилъ Факирскій.

— Нѣтъ, не нужно!

— И за то спасибо! усмѣхнулся онъ про себя и пошелъ своею дорогой.

Онъ остановился у цвѣтника, разбитаго передъ большимъ балкономъ дома, отыскалъ знакомую скамейку и опустился на нее. Съ тѣхъ поръ, какъ Лина стала говорить съ нимъ, студентъ каждую ночь приходилъ садиться на эту скамейку и, опрокинувъ голову на ея деревянную спинку, неотступно глядѣлъ въ окна княжны до тѣхъ поръ, пока не исчезалъ въ нихъ свѣтъ. И благородный богъ мечтательной любви посылалъ ему за это каждую ночь одинъ и тотъ же сонъ: княжна стояла предъ нимъ на колѣняхъ и говорила ему: „возьми меня, потому что ты *народъ*, и я хочу быть *народомъ*, а онъ плакалъ и отказывался отъ нея во имя своей бѣдности, своей *святой* бѣдности“!...

— Никаноръ Ильичъ, скажите, пройдя съ капитаномъ нѣсколько шаговъ, залепетала вдругъ Надежда Ѳедоровна, — вы любите Ольгу Акулину?

— Ольгу Елпидифоровну? воскликнулъ озадаченный капитанъ...—Люблю-съ, не совру! рѣшительно отвѣтилъ онъ, подумавъ.

— Очень? Сильно?

— Даже, могу сказать, больше-съ, чѣмъ собственно жизнь свою!...

— И я, истерически зарыдала вдругъ перезрѣлая дѣва,— и я больше жизни люблю... одного человѣка!...

— Та-ак-съ! протянулъ капитанъ, не различая ея лица въ темнотѣ и размышляя: что̀ ему дѣлать—въ случаѣ она, „съ большой этой любви своей, возьметъ да и шарахнется?—Ужь, позвольте, лучше я васъ домой отведу, предложилъ онъ ей,— въ постелькѣ своей вамъ, мнительно, поспокойнѣе будетъ!...

— И этотъ человѣкъ... Она еще крѣпче уцѣпилась за его рукавъ, — въ объятіяхъ этого человѣка теперь ваша Ольга!...

— Что-о-съ? Ольга Елпидифоровна... въ объятіяхъ!... чуть не „шарахнулся“ самъ навзничь злополучный воинъ.

— Я слышала... я знаю... они здѣсь!... Я видѣла, какъ она... Пойдемте, пойдемте! восклицала безумнымъ голосомъ дѣвица Травкина, увлекая его за собой...

— О, какъ я бѣжала... и эта темнота!... Я боялась заблудиться... и все казалось—за мною гонятся!... Я не думала, чтобы все это было такъ страшно, говорила во второй бесѣдкѣ, влѣво отъ цвѣтника, порывисто дыша и дрожа отъ волненія и ночнаго холода, Ольга, прижимаясь къ плечу счастливца Ашанина.

— Чего бояться? шепталъ онъ въ отвѣтъ, отыскивая подъ ея плащемъ и обнимая ея упругій, трепетавшій подъ его горячею рукой станъ,—мы одни... и нѣтъ въ мірѣ человѣка блаженнѣе меня въ эту минуту!...

Она накрыла рукой его жадно льнувшія къ ней губы:

— Сколькимъ женщинамъ вы это говорили? И сколькихъ обманули?...

— Всѣмъ, кромѣ тебя! страстно восклицалъ онъ, перецѣловывая одинъ за другимъ нажимавшіе ротъ его пальцы.

— О, я и не изъ тѣхъ, кого обманываютъ! Я кину первая! засмѣялась она вдругъ какимъ-то побѣднымъ молодымъ смѣхомъ...—Скажите, отчего я вамъ такъ нравлюсь? молвила она, ухватывая своими его обѣ руки и дотягиваясь глазами до высоты его сверкавшихъ во мракѣ глазъ.

— Отъ того, что лучше тебя я еще не встрѣчалъ! И онъ въ свою очередь схватилъ и потянулъ къ себѣ руки ея.

— Неправда, есть много лучше, я сама знаю! Лина меня лучше!... Но такихъ, какъ я, нѣтъ,—вотъ что! Потому я свободная!... Да, я додумалась, я свободная... Развѣ другая рѣшилась бы притти сюда, къ вамъ,—къ извѣстному, опасному?... Но я пришла... И страшно въ первый разъ, а я все же пришла! Потому, я поняла, что такое жизнь... И мнѣ ее по-

давай, всю подавай! — Она засмѣялась крупнымъ, горячимъ смѣхомъ,—и я всего хочу, все хочу испытать... И все возьму, я свою силу знаю! Мнѣ все, все возможно, пока только у васъ, у мущинъ, искорки будутъ прыгать въ глазахъ, говоря со мной, я знаю!... А не будетъ ихъ, мнѣ все равно, я въ монастырь пойду, или яду приму, какъ ваша Травкина. Я такая, рѣшительная! Courte, mais bonne!... Но до этого еще долга пѣсня...

Ольга нагнулась вдругъ къ самому уху Ашанина и млѣющимъ голосомъ пропѣла:

Зачѣмъ грустить, зачѣмъ страдать?
Намъ жизнь для радости дана...

— Прелесть ты моя! воскликнулъ онъ, покрывая неудержимыми поцѣлуями ея наклонившееся къ нему лицо...

Они мгновенно оба отпрянули другъ отъ друга... Чьи-то слышные, спѣшные шаги скрипѣли почти подъ самою бесѣдкой...

Ашанинъ кинулся ко входу, загораживая его собою...

Ревнивые глаза старой дѣвы тотчасъ же признали его во мракѣ:

— Вотъ онъ! кинулась она съ крикомъ къ бесѣдкѣ. — Пустите меня, пустите!...

— Куда вамъ? спросилъ онъ, ухватываясь обѣими руками за косяки входныхъ дверей.

— Пустите! Я знаю, кто съ вами здѣсь... Пустите! визжала она и цѣплялась за его платье...

— Со мною никого нѣтъ, и я прошу васъ успокоиться! говорилъ Ашанинъ, стараясь сохранить все свое хладнокровіе.

— Вы лжете... безсовѣстный, она здѣсь! Ольга!... Берите ее! отчаяннымъ крикомъ крикнула она своему спутнику.

— Кто еще тутъ съ вами? всклинкнулъ, дрогнувъ невольно, Ашанинъ, только теперь различая недвижно стоявшую за ней темную фигуру.

— Я, капитанъ Ранцовъ! отчетливо пробасилъ капитанъ свой чинъ и фамилію,—къ вашимъ услугамъ!

— И я къ вашимъ, когда угодно! пылко воскликнулъ

московскій донъ-Жуанъ,—только *теперь*, желалъ бы я знать, что̀ вамъ отъ меня нужно?

— Я-съ... я-съ.... пробормоталъ тотъ... Не смотря на всю боль и злость, причиненныя ему тѣмъ, что̀ узналъ онъ отъ Надежды Ѳедоровны, храбрый капитанъ сознавалъ, что роль, которую онъ игралъ теперь, была не изъ самыхъ завидныхъ. Во-первыхъ, онъ впутывался въ чужую исторію, въ чужомъ домѣ... Затѣмъ, „а если тутъ не Ольга Елпидифоровна, а какая другая барышня?“ проносилось у него блаженное сомнѣніе... А если даже,—долженъ онъ былъ сказать себѣ въ заключеніе, — и сама она тутъ, такъ вѣдь онъ ей нѝ отецъ, ни братъ, и вступаться за нее, „или что другое“ онъ никакого права не имѣлъ.

— Я-съ, громко вымолвилъ онъ наконецъ, — я, конечно, ничего отъ васъ требовать не могу-съ... и только вотъ по ихъ просьбѣ... Онъ разумѣлъ Надежду Ѳедоровну, которая какъ бы отъ этихъ словъ истерически зарыдала опять.

— Я не понимаю, что̀ съ вами! попробовалъ успокоить ее Ашанинъ:—здѣсь никого нѣтъ, вы можете сами въ этомъ удостовѣриться...

Онъ искалъ выиграть время: въ бесѣдкѣ былъ другой выходъ; онъ надѣялся, что Ольга успѣетъ... успѣла уже имъ воспользоваться...

— Э, пустяки! я здѣсь! къ ужасу своему, услышалъ онъ вдругъ за собою громкій смѣхъ ея: — на что̀ я вамъ, Надежда Ѳедоровна?

— Безстыдница! могла только выговорить ревнивая дѣва.

— Что̀-о? вскрикнула бойкая особа, показываясь въ дверяхъ бесѣдки, освѣщенная брежжущимъ свѣтомъ только-что занимавшейся зари:—потому что я вышла погулять въ садъ... и встрѣтилась съ Владиміромъ Петровичемъ!... А вы кто? Какое вамъ дѣло до него, съ кѣмъ онъ и гдѣ?... Кто тутъ сейчасъ кричалъ и скандалилъ?... Кто безстыдница?... Подите, похвалитесь-ка завтра *тамъ*, у княгини, вашимъ сегодняшнимъ поведеніемъ!

— Ахъ! застонала несчастная дѣва и, какъ предвидѣлъ

это храбрый капитанъ Ранцовъ, „шарахнулась“ безъ чувствъ на траву.

— Господи, первою мыслью пронеслось въ головѣ Ашанина,—а завтра у насъ *Гамлетъ* идетъ!...

— Подымите ее! съ невыразимымъ презрѣніемъ кивнула ему на бѣдную дѣву Ольга Елпидифоровна. — Капитанъ, извольте меня домой провести!...

— Эка генеральша! невольнымъ взрывомъ восхищенія ея „молодечеству“ отозвалось на душѣ капитана среди ревниваго мученія, которое бушевало въ то же самое время въ этой воинственной душѣ.

Онъ послушно подошелъ къ ней; она взяла его подъ руку:

— Пойдемте! и быстро зашагала впередъ.

Слова упрека, состраданія и все также,—еще болѣе, можетъ-быть,—горячаго къ ней чувства просились одно за другимъ на честныя уста Ранцова. Но каждое изъ нихъ казалось ему то недостаточно вѣскимъ, то слишкомъ оскорбительнымъ для нея. И онъ шелъ безмолвно рядомъ съ нею и чувствовалъ, и говорилъ себѣ это съ какою-то злобой, что изъ ихъ переплетенныхъ рукъ не ея, а его рука дрожала теперь какъ въ лихорадкѣ...

— Конечно, Ольга Елпидифоровна, началъ онъ наконецъ въ истомѣ волновавшихъ его ощущеній, — на все то есть единственно ваша воля, и я не смѣю съ моими замѣчаніями... только очень это, если дозволите мнѣ сказать, очень мнѣ сожалительно и обидно... и я бы, кажется, этого господина Ашанина въ порошокъ смололъ!...

— Что вамъ „сожалительно“, передразнила его пріостанавливаясь Ольга, — и за что бы вы его стали въ порошокъ молоть?

— Помилуйте-съ, смущенно отвѣчалъ онъ,—какъ я васъ такъ уважалъ... и какъ вы есть... барышня, и вдругъ меня зовутъ въ свидѣтели... и вы съ нимъ ночью однѣ... въ бесѣдкѣ...

— А вы къ чему шли, послушались этой змѣи... безъ жала? Какъ вы смѣли? Она топнула на него ногой.

Онъ вздохнулъ такъ, какъ будто намѣренъ былъ взобрать въ себя воздуха до самыхъ пятокъ:

— Вамъ-съ это, можетъ-быть, дерзко съ моей стороны показалось... и я, точно, безо всякаго права... это точно, Ольга Елпидифоровна! Только если вы возьмете во вниманіе, что... что человѣкъ за васъ готовъ былъ всю жизнь свою... всю душу... все свое сердце...

— Ну, еще на копѣечку! расхохоталась она.

— И все, что̀ имѣю, до послѣдней, дѣйствительно, копѣечки, за васъ положить, продолжалъ капитанъ.

— Словомъ, весь *ранецъ?* Она прыснула новымъ смѣхомъ?

Онъ разсердился, насколько былъ лишь въ силахъ разсердиться на нее:

— Если вы на счетъ фамиліи, такъ вѣдь это перемѣнить нельзя-съ! Не чужую ношу, свою-съ, дворянскую, отъ предковъ...

— Ничего фамилія, прервала она его: — у меня у самой фамилія отъ *акулы* происходитъ... и весь вашъ ранецъ, примолвила она безъ улыбки, — я бы за одинъ ужинъ проглотила... Про Клеопатру слышали?

— Какъ же-съ: царица была такая.

— Да! И она за ужиномъ жемчужину въ милліонъ цѣной велѣла растолочь и съ виномъ выпила... И я такая же Клеопатра Акуловна!... Такъ вы это сообразите, и вашу жизнь, душу, сердце и прочее приберегите для другой. А мнѣ не нужно!...

Чуть не разрыдался бѣдный капитанъ: до этой самой минуты онъ смутно на что-то надѣялся, простодушно великодушничалъ и „прощалъ ей“ въ сердцѣ своемъ... А она сама такъ рѣшительно, такъ безжалостно отвергала его теперь... теперь, когда въ его понятіяхъ она такъ нуждалась въ другѣ, въ покровителѣ...

— Насильно милъ не будешь, Ольга Елпидифоровна... и, конечно,—съ горечью прибавилъ онъ,—другой на моемъ мѣстѣ... послѣ того, что̀ сейчасъ... другой, можетъ, и самъ бы первый... отошелъ бы... Только я, Ольга Елпидифоровна, какъ

знаю, что вы пылкая и молоды, и притомъ безъ матери... безъ примѣра... Дай Богъ, чтобы вамъ господинъ этотъ Ашанинъ настоящій мужъ былъ!... Но, какъ я его вижу, не изъ чего инаго, смѣю сказать, какъ изъ моихъ настоящихъ чувствъ къ вамъ, не надѣюсь я, чтобъ и въ половину онъ васъ такъ любилъ... какъ... я... васъ люб...

Онъ не былъ въ силахъ договорить... Они доходили къ дому, на открытое мѣсто. Она глянула ему въ лицо и какимъ-то внезапно-стыдливымъ движеніемъ поднесла руку къ прическѣ, смятой страстною рукой Ашанина... „Безъ матери, безъ примѣра!“ зазвучали еще разъ голосомъ Ранцова его слова въ ея ушахъ.

— Я его женой никогда не буду! проговорила Ольга, глядя недвижно впередъ. Двѣ крупныя слезы выкатились изъподъ ея длинныхъ рѣсницъ...

— То есть, это какъ же-съ? недоумѣло проговорилъ капитанъ:—коли-бъ онъ вздумалъ отказаться отъ своего счастья... такъ вѣдь завсегда... заставить его можно, Ольга Елпидифоровна... Завсегда можно! грозно повторилъ онъ.

— Я сама не хочу! медленно проронила она, не перемѣняя положенія.

— Какъ же вы не хотите-съ? озадаченно глянувъ на нее, пробормоталъ капитанъ.

— Такъ, просто, не хочу! Она обернулась на него, сверкнувъ, какъ прежде, блестящими, уже высохшими глазами:— ни за васъ, ни за него, чтобы никому обидно не было! Сказала-жь я вамъ, что я Клеопатра Акуловна!... Только вы этого не поймете, милый капиташка, опять разсмѣялась она,—и не нужно! А слушать моего приказа: первое — молчать, понимаете? Второе—слушаться меня всегда, во всемъ по-прежнему, а не то я съ вами говорить перестану. Слышали? И она повела на него тѣмъ знакомымъ ему соблазнительнымъ взглядомъ, отъ котораго у него замиралъ духъ и подымались щеткой всѣ волосы на головѣ.

— Слышалъ! пробормоталъ онъ, окончательно сдаваясь.

— И отлично! Вотъ вамъ въ награду! И она протянула ему свою руку:—можете облобызать!...

Здóсчастный капитанъ приложился къ ней, какъ къ святынѣ...

Она кивнула ему и исчезла.

Онъ долго глядѣлъ ей вслѣдъ...

„Эхъ, ты, судьба-мачиха!“ рѣшилъ онъ, махнувъ отчаянно рукой, и повернулъ опять къ бесѣдкѣ, гдѣ Ашанинъ тѣмъ временемъ приводилъ въ чувство чуть не уморенную имъ своею измѣной, не по лѣтамъ страстную, дѣвицу Травкину.

XXXIV.

Mich höhnt der Himmel, der bläulich und mailich—
O schöne Welt, du bist abscheulich!

Heine.

О ночь, ночь, гдѣ твои покровы,
Твой тихій сумракъ и роса?

Тютчевъ.

Князь Ларіонъ, почти вовсе лишившійся сна за послѣдніе дни, съ восходомъ солнца былъ уже на ногахъ. Онъ тотчасъ же одѣлся, по своему обыкновенію, и растворилъ окно въ садъ... Утро стояло великолѣпное... Слезинки росы сверкали алмазною пылью на стебелькахъ уже высокихъ травъ; жаворонки звенѣли въ голубомъ пространствѣ неба, и сизый туманъ шатался и бѣжалъ по заводямъ и извилинамъ дремавшей рѣки, а къ ней съ поросшаго лѣсомъ противоположнаго берега, съ вершинъ и по вѣтвямъ молодой дубовой рощи все ниже и ниже, медленно и побѣдно, спускался, словно занавѣсъ литаго золота, горячій свѣтъ восходящаго дня...

Но не было уже отклика ликовавшей природѣ въ наболѣвшемъ сердцѣ князя Ларіона.

— Еще день! вздохнулъ онъ,—еще днемъ ближе къ концу!... Когда же?... „Умереть—уснуть!“ сказалось ему словами ненавистнаго ему теперь *Гамлета:*—а жить тяжело!... Этотъ блескъ и свѣтъ... къ чему? Они ничего, ничего мнѣ не воротятъ!...

Такое же сіяющее утро блеснуло въ его воспоминаніи. Точно вчера!... А этому тридцать слишкомъ лѣтъ... Это было въ Веронѣ. Конгрессъ кончился... Онъ ѣхалъ съ собственноручнымъ письмомъ Государя къ императрицѣ Маріи Ѳеодо-

ровнѣ. „Я нарочно избралъ тебя, зная твои способности и что тебѣ хорошо извѣстно все, что здѣсь происходило“, говорилъ ему императоръ Александръ съ тою неотразимо обаятельною улыбкой, которую видѣвшій ее разъ не забывалъ уже никогда,—„vous servirez de vivant commentaire à ma lettre. Поѣзжай съ Богомъ, а службу твою здѣсь я не забуду!...“ И вотъ почтовый штульвагенъ стоитъ у крыльца занимаемаго имъ дома противъ самаго San-Zenone—одно изъ чудъ италіанскаго зодчества... Изъ-за растворенныхъ дверей храма глухо гудитъ органъ: „a noctis phantasmatis libera nos, Domine! *) доносятся до него слова католической литіи... Пока укладываютъ его чемоданы, онъ забѣгаетъ туда взглянуть въ послѣдній разъ на эти размѣры, на эти линіи, на эти дива искусства.. Австрійскій почтарь, въ высокихъ ботфортахъ и малиновой курткѣ, уже трубитъ къ отъѣзду, и жгучее италіянское солнце выкатывается изъ-за Аппенинъ и восходитъ надъ тихою Вероной. И въ блескѣ ослѣпительнаго дня мчится онъ, бодрый и радостный, по вѣчно зеленымъ равнинамъ Ломбардіи... Неудержимо кипитъ молодая кровь, горитъ голова въ избыткѣ впечатлѣній... Искусство, Государь, честолюбивыя грезы, и это солнце, эти зеленыя равнины,—а впереди, тамъ, куда мчится онъ, подъ холоднымъ сѣвернымъ небомъ, блаженство нежданнаго свиданія, восторгъ, и слезы, и палящіе поцѣлуи любимой женщины... бѣлокурой и синеокой, какъ она, какъ Hélène!...

И еще опять воспоминаніе, еще одно, какъ она, синеокое и стройное созданіе... Miss Flora, дочь одного изъ учителей Итонской школы, въ которой онъ воспитывается съ братомъ. И ей, и ему шестнадцать лѣтъ. Но она не замѣчаетъ его, не видитъ... И вотъ онъ въ воскресенье, такимъ же раннимъ іюньскимъ утромъ, пробирается къ скамейкѣ пансіонскаго сада, куда она ходитъ гулять съ отцомъ, и вырѣзываетъ на ней перочиннымъ ножомъ стихъ изъ нечитаемыхъ въ классѣ *Amores* Овидія: „Nec sine te, nec tecum vivere possum“ **),—и

*) Отъ призраковъ ночи помилуй насъ, Господи!
**) Ни безъ тебя, ни съ тобою жить не могу.

узнаютъ объ этомъ товарищи, и долго, неотвязчиво пристаютъ къ нему и дразнятъ этимъ несчастнымъ Овидіевымъ стихомъ... а miss Flora, встрѣтясь съ нимъ послѣ того, опускаетъ глаза и алѣетъ, но не такъ ало, какъ его собственныя, шестнадцатилѣтнія ланиты... О, волшебные молодые дни!...

— А теперь,—и болѣзненно сжалъ брови князь Ларіонъ,—теперь впереди одна темная могила, и до нея мука безъ перерыва и конца!...

Онъ судорожно надвинулъ на лобъ широкую круглую шляпу, взялъ трость и вышелъ совершать свою обычную утреннюю прогулку.

Онъ шелъ, опустивъ голову, мимо полей, равнодушный къ ихъ пышной красѣ, не замѣчая, какъ волнистою зыбью подъ набѣгами утренняго вѣтра переливалось предъ нимъ безбрежное море колосившейся ржи, какъ рѣяли надъ нею бѣлогрудыя ласточки, какъ перекликались перепела въ зеленыхъ овсахъ... Нѣтъ, онъ не глядѣлъ, не слушалъ, не хотѣлъ видѣть... Лучше ночь съ ея мракомъ и могильною тишью, чѣмъ эта безпощадно смѣющаяся надъ нимъ радость молодой жизни!...

Онъ досадливо приподнялъ плечами и вышелъ на пыльную дорогу, шедшую отъ Сицкаго къ пробѣгавшему отъ него верстахъ въ пяти шоссе.

Очевидно замѣтивъ его, ямщикъ мчавшейся навстрѣчу ему тройки осадилъ на всемъ скаку своихъ хрипѣвшихъ лошадей; изъ телѣги приподнялась толстая фигура исправника Акулина, замахала рукой, и до князя еще издалека донесся его офиціальный, подавленно храпящій крикъ:

— Графъ, ваше сіятельство, графъ ѣдутъ!

— Русское человѣчество! сказалъ себѣ почему-то князь Ларіонъ, продолжая итти по дорогѣ, не отвѣчая и не глядя на него...

Тройка поравнялась съ нимъ.

— А мнѣ ужь позвольте, ваше сіятельство, молвилъ изъ телѣги Елпидифоръ, прикладывая руку къ козырьку,—доскакать до дома. Ростиславъ Михайловичъ Чижевскій очень просили тотчасъ же предувѣдомить ихъ, чтобъ они могли встрѣтить графа...

— Сдѣлайте одолженіе, скачите, слегка усмѣхнулся князь,— вы мнѣ нисколько не нужны.

— Да и ты мнѣ не нуженъ, сказалъ себѣ подъ носъ Акулинъ, почтительно подымая еще разъ руку къ фуражкѣ, и помчался далѣе.

Еще черезъ полверсты нагнала князя Ларіона графская коляска. Старикъ не спалъ и бодро, съ видомъ знатока и любителя, поглядывалъ съ высоты своего сидѣнья и форменнаго галстука, подпиравшаго его широкій подбородокъ, на зеленя, мимо которыхъ бѣжала дорога... Стой! крикнулъ онъ, завидѣвъ пріятеля, захватилъ свою камышевую толстую палку подъ широкою слоновою ручкой и вышелъ изъ экипажа.

— Здорово, Ларіонъ! Онъ трижды прикоснулся къ его лицу своими пухлыми щеками. И, обернувшись къ ѣхавшему съ нимъ чиновнику, не знавшему, выходить-ли и ему, или оставаться въ коляскѣ:

— Шажкомъ поѣзжай впередъ! Портфель разбери!... Я съ Ларіономъ пѣшкомъ приду... Овсы у васъ хороши! не измѣняя тона, пропѣлъ онъ князю,—а рожь мелка будетъ! Скажи управляющему: сѣмена чаще мѣнять надобно!...

— А у васъ какъ? спросилъ князь Ларіонъ, чтобы сказать что-нибудь.

— Винокурня сгорѣла! На двадцать тысячъ убытка! Управителя въ острогъ посадилъ; пусть судятъ! Мошенникъ! не доглядѣлъ!... Что княгиня?

— Ничего!... Все та же!—Губы князя презрительно сжались.

— А именинница?... Милое дитя!... И, не дождавшись отвѣта:—изъ Петербурга ничего не получалъ?

— Ничего!... Анисьевъ этотъ здѣсь, добавилъ, помолчавъ, князь Ларіонъ.

— Пріѣхалъ? Давно?

— Вчера вечеромъ.

— Ну, и что?

Князь помолчалъ опять...

— Княжнѣ онъ не нравится, промолвилъ онъ наконецъ.

— Ну, и не надо! пропѣлъ тотъ:—милое дитя!... Ты ему и скажи: не хочетъ!...

— За то мать... разлюбезная невѣстушка моя, безъ ума отъ него!

— Пусть сама и выходитъ! засмѣялся графъ, приподнимая кверху свои ладони и съ палкою, которая, какъ видно, на эти случаи задѣта у него была ремешкомъ за большой палецъ правой руки.—Она не умная! подмигнулъ онъ князю,— а отецъ ея, я его зналъ, плутъ былъ, а умный! Покойный Канкринъ, Егоръ Францычъ, говорилъ мнѣ: „когда, батушка, умру, на мѣсто мое сажайте мошенника этого, Раскаталова! Онъ и себя, батушка, не забудетъ, и Россію по міру не пуститъ!“...

Разговоръ, какъ всегда у нихъ, перешелъ на старое общее имъ время; вспомянуты были Двѣнадцатый годъ, Тарутино, князь Михайло Илларіоновичъ и въ заключеніе „благодѣтель“—молодой герой, графъ Николай Михайловичъ Каменскій, при которомъ графъ былъ адъютантомъ и который умеръ на его рукахъ, отравленный чашкою чая изъ рукъ жены французскаго консула въ Букурештѣ...

Такъ дошли они до дому.

— Хорошо! Весь вспотѣлъ! улыбался счастливою улыбкой графъ, входя въ отведенный ему покой — Игнатъ! кликнулъ онъ своего камердинера, — оботри и причеши!... Онъ сѣлъ предъ зеркаломъ...—Я больше не завиваюсь! почелъ онъ почему-то интереснымъ знать князю Ларіону и ткнулъ пальцемъ на три сѣдые волосика, торчавшіе у него на затылкѣ.

— Я васъ оставлю, почтенный другъ, сказалъ князь, — вы, можетъ-быть, отдохнуть захотите?

— Нѣтъ, не хочу! Въ коляскѣ выспался! пропѣлъ тотъ,— а ты ступай по своимъ дѣламъ! Я своими займусь!

Чижевскій показался въ дверяхъ комнаты.

— Ростиславъ, здравствуй! Какъ играешь на театрѣ?

— Увидите сами вечеромъ, ваше сіятельство, отвѣтилъ весело молодой человѣкъ: — въ грязь лицомъ не хлопнемся, Москвы не посрамимъ!... А вы какъ съѣздили?

— Винокурня сгорѣла! Мошенникъ управляющій! Подъ

судъ отдалъ!... А просьбу мѣщанки здѣшней разобралъ? вспомнилъ онъ.

— Какъ же-съ! И всѣхъ, кого нужно, вызвалъ.

— И гдѣ они?

— Здѣсь, ваше сіятельство, еще со вчерашняго вечера, я такъ и назначилъ на случай,—какъ и вышло теперь,—вы рано сюда пріѣдете.

— Распорядительный! мигнулъ на него графъ входившему Шажкову.

Шажковъ только губами повелъ.

Цѣлый рядъ слугъ, подъ предсѣдательствомъ Vittorio, вносили въ это время въ комнату на тяжелыхъ серебряныхъ подносахъ чай, кофе, со всевозможными къ нимъ печеньями и снадобьями и полный завтракъ изъ холодныхъ блюдъ.

— Завтракать хочете? спросилъ старикъ своихъ чиновниковъ.

— Нѣтъ-съ, для меня рано, отвѣчалъ Чижевскій,—а чаю я выпью.

— И я ничего утромъ не ѣмъ, кромѣ чай пью!—ладони торжественно приподнялись, — будемъ пить чай, а ты мнѣ про мѣщанку доложи!

— Слушаю-съ.

Они усѣлись за столъ.

XXXVI.

— Просительница, началъ Чижевскій,—Ирина Михайлова, жена серебряныхъ дѣлъ подмастерья, Степана Ѳирсова, бабенка, какъ изволите увидѣть, лѣтъ двадцати и собою весьма не дурна, усмѣхнулся молодой чиновникъ.

— Замѣтилъ! подмигнулъ на него Шажкову графъ, находившійся въ отличнѣйшемъ расположеніи духа.

Шажковъ счелъ нужнымъ цѣломудренно опустить глаза.

Чижевскій продолжалъ:

— Отецъ ея покойный торговалъ въ Москвѣ, въ рядахъ, и оставилъ кой-какія деньги. Послѣ его смерти вдова его переѣхала на житье на родину свою, въ здѣшній городъ, гдѣ у нея домъ свой. Тутъ Ирина въ прошломъ году познакомилась съ теперешнимъ супругомъ своимъ и, нѣсколько противъ воли матери, вышла за него замужъ, получивъ въ приданое тысячу рублей. Мужъ же ея до этого своего брака служилъ въ подмастерьяхъ у единственнаго здѣсь въ городѣ серебрянника, Осипа Власьева, по прозвищу Зарѣза, съ женою котораго онъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ находился... въ нѣжныхъ отношеніяхъ..

— Старая она? повелъ нижнею губой графъ.

— Не молода-съ!

— Дуракъ! засмѣялся онъ.—А векселя кому даны?

— Этой вотъ самой, Аннѣ Прохоровой Власьевой, и дѣйствительно, по всей вѣроятности, должно-быть безденежные, такъ какъ по свѣдѣніямъ, которыя я затребовалъ отъ городничаго, Ѳирсовъ въ деньгахъ не нуждался, имѣетъ тутъ же

въ городѣ отца, человѣка довольно зажиточнаго, и самъ скромный, трезвый и, по всему видно, очень глуповатый малый, котораго эта madame Зарѣзъ, что̀ называется, объѣхала со всѣхъ сторонъ. А Власьевы сами, по недостатку работы въ уѣздномъ городѣ, едва концы съ концами сводятъ.

— Сколько и на какую сумму векселя? запѣлъ графъ.

— То-есть заемныя письма,—пояснилъ Чижевскій:—коммерческихъ векселей Өирсовъ, какъ подмастерье, выдавать не въ правѣ.

— Все равно, обязательства далъ! На сколько?

— Одно заемное письмо въ триста, а другое въ пятьсотъ рублей. Даны въ одинъ и тотъ же день, срокомъ на девять мѣсяцевъ, и, какъ оказывается изъ сближенія цифръ, время выдачи ихъ совпадаетъ со временемъ перваго знакомства Өирсова съ Ириной Михайловой.

— Понимаю! Мошенники! не далъ кончить графъ,—обирали его! Женился, а они ко взысканію! А полиція съ него требуетъ!...

Точно такъ. Бѣдняга страшно перепугался,—къ отцу. Отецъ кулакъ: „я за тебя, говоритъ, не плательщикъ, самъ съ деньгами, за женою взялъ“. А женѣ и подавно не охота жертвовать своимъ приданымъ въ пользу старой любезной своего супруга.

— За что̀ жертвовать?

И графскія ладони приподнялись.

— Старикъ городничій здѣшній, изволите знать, человѣкъ хорошій. Бабенка въ нему...

— А онъ же по этой части слабъ, язвительно ввернулъ на это Шажковъ.

— Въ Малоархангельскомъ полку служилъ; подъ Денневицемъ въ Тринадцатомъ году ногу оторвало. Почтенный воинъ! строго пропѣлъ ему наставленіе графъ.

— Онъ ей и говоритъ, началъ опять Чижевскій:—и самъ я вижу, каково дѣло, только ничего въ этомъ не могу,—формальное обязательство, я по закону обязанъ взыскать.

— Законъ! Старикъ презрительно засмѣялся:—законъ у

насъ для мерзавцевъ писанъ! А какъ ихъ звать, этихъ мошенниковъ?...

— Власьевы.

— Да, Власьевы... Ты ихъ вызвалъ?

— Всѣ четверо здѣсь.

— Позови всѣхъ сюда!... Разберу!...

Чижевскій вышелъ, и въ ту же дверь вошелъ графъ Анисьевъ въ полной формѣ и съ цѣлымъ иконостасомъ русскихъ и иностранныхъ крестовъ, выпущенныхъ изъ-за каждой пуговицы его блестящаго мундира. Шажковъ при такомъ зрѣлищѣ даже позеленѣлъ отъ зависти.

— Честь имѣю къ вашему сіятельству явиться, официально проговорилъ флигель-адъютантъ, и также официально, въ пяти шагахъ отъ кресла графа, склонился предъ нимъ поклономъ.

— А, полковникъ, здравствуй! запѣлъ тотъ:—знаю, что пріѣхалъ! Вчера? Рано встаешь! Это хорошо! Чай пилъ?

— Нѣтъ еще-съ, спѣшилъ къ вамъ... И съ удовольствіемъ выпью у васъ чашку, если позволите, тотчасъ же смѣняя служебный тонъ на свѣтскій и пріятно улыбаясь, промолвилъ флигель-адъютантъ.

— Садись! Будемъ говорить! Что дядя?

— Слава Богу, здоровъ, сколько мнѣ извѣстно... Я самъ теперь изъ Симбирска...

— Знаю!... Все знаю! Старикъ многозначительно взглянулъ на него.—Письмо отъ него получилъ... О тебѣ...

Блестящій полковникъ поспѣшно потупился и осторожно, но замѣтно покосился на Шажкова.

— Андрей Ѳедорычъ, обернулся на того графъ,—потрудись сказать Чижевскому, чтобы съ просителями погодилъ! Я позову, когда нужно!...

— Я, началъ онъ тотчасъ же по уходѣ чиновника,—какъ было написано въ его письмѣ, такъ я и сказалъ!

Анисьевъ слегка пододвинулся къ нему со своимъ кресломъ:

— И, смѣю спросить, какъ это было принято?

— То-есть, это ты насчетъ Ларіона хочешь знать?

— Такъ точно!... Сколько мнѣ извѣстно, въ письмѣ этомъ князю Ларіону Васильевичу должно было быть сказано...

— Было! Я ему передалъ.

— И онъ?... не договорилъ флигель-адъютантъ и нѣсколько тревожно воззрился на своего собесѣдника.

— А онъ говоритъ, невозмутимо отвѣчалъ графъ,—что онъ самъ по себѣ, а племянница его, княжна, сама по себѣ, потому ей выходить, не ему!...

Петербургскій воинъ задумчиво потянулъ во всю его длину свой шелковистый усъ.

— Какъ же вы полагаете, послѣ довольно долгаго молчанія заговорилъ онъ,—какъ долженъ я понимать эти слова?

— Ничего не полагаю! Твое дѣло! Я ему сказалъ и отвѣтъ его говорю! А больше ничего не знаю!

Анисьевъ подвинулся еще ближе.

— Позвольте мнѣ, графъ, быть съ вами совершенно откровеннымъ?—Ваша старая дружба съ моимъ дядей...

— Старая, правда! запѣлъ голосъ:—въ Десятомъ году на Дунаѣ въ одной палаткѣ спали!...

— Я еще вчера могъ замѣтить, началъ тотъ медленно и осторожно,—замѣтить, что я князю Ларіону Васильевичу не имѣю счастья нравиться... Мнѣ это очень прискорбно, конечно, но у каждаго свой вкусъ... насильно милъ не будешь!... Тѣмъ не менѣе я смѣю полагать, что князь противъ меня ничего серьезнаго не имѣетъ—и имѣть *не можетъ*, подчеркнулъ Анисьевъ:—вы меня знаете чуть не съ самаго дѣтства, ваше сіятельство, знаете, какъ я поставленъ въ Петербургѣ, о службѣ моей слышали....

— При дворѣ любятъ, знаю!

— Я полагаю поэтому, что *никакіе* родные не могутъ видѣть въ...—онъ искалъ слова и думалъ: „какъ это трудно все выразить по-русски!“—въ искательствѣ мною руки ихъ дочери что-либо... неумѣстное и слишкомъ смѣлое съ моей стороны, домолвилъ чуть-чуть надменно блестящій полковникъ.— А между тѣмъ княжна Елена Михайловна, съ самой первой минуты, когда я увидалъ ее, успѣла внушить мнѣ такое... преданное... чувство...

— Пятьсотъ тысячъ даетъ за нею мать теперь и столько же послѣ смерти, окромя четырнадцатой части въ родовомъ имуществѣ! перебилъ его неожиданно *графъ*.

Флигель-адъютанта даже въ краску бросило. Ноздри его раздулись, онъ поднялъ на старика свои засверкавшіе глаза...

Но тотъ безмятежно и невинно сидѣлъ въ своей позѣ индійскаго Вишну, скрестивъ ножки и мѣрно подымая и опуская свои ладони на оконечностяхъ ручекъ своего кресла. Никакого лукаваго намѣренія не прочелъ, или не умѣлъ прочесть прозорливый придворный воинъ на этомъ мягкомъ, одутломъ и невозмутимомъ лицѣ... „Старое чучело!“ проговорилъ онъ про себя и счелъ за лучшее беззаботно усмѣхнуться.

— Состояніе никогда не *вредно*, конечно... Но княжна такая — онъ опять подыскивалъ, какъ бы перевести „une si admirable créature,“ и перевелъ: такое *безподобное* существо, — что, смѣю увѣрить васъ, графъ, если-бъ она была и совершенная безприданница, чувства мои къ ней были бы совершенно тѣ же...

— Это хорошо! одобрилъ Вишну,—она милое дитя!...

— Мнѣ поэтому очень было бы больно, переходя уже въ минорный тонъ, началъ опять графъ Анисьевъ, — если-бъ я дѣйствительно долженъ былъ встрѣтить на моемъ, такъ сказать, пути такое лицо, какъ князь Ларіонъ Васильевичъ... къ которому я, съ своей стороны, исполненъ величайшаго уваженія... Хотя, конечно, пропустилъ онъ вдругъ тонко-тонко, словно остріемъ иголки, — хотя у князя нѣтъ отцовскихъ правъ...

Ладони приподнялись снова:

— Замѣсто отца—дядя, опекунъ его дѣтей!

— Да-съ... но у княжны *родная* мать есть, пропустило опять такъ же тонко остріе.

— Есть! Глупая женщина! такъ же однозвучно пропѣлъ опять голосъ.

Нашего полковника нѣсколько какъ будто огорошила такая откровенность...

— Можетъ быть, промямлилъ онъ, невольно усмѣхаясь

однако воспоминанію той „невозможной“ глупости,—умственныя способности княгини, и точно, не отличаются особеннымъ блескомъ... Но она *мать*, ваше сіятельство, и уже поэтому не можетъ не желать счастія своей дочери.

— И дядя племянницѣ того же желаетъ! А она сама разсудительная, сама рѣшить можетъ!

Глаза молодаго честолюбца еще разъ тревожно поднялись и погрузились въ лицо его собесѣдника.

— Вы думаете, что... что препятствія могутъ быть со стороны княжны... *лично?* подчеркнулъ онъ не совсѣмъ твердымъ языкомъ.

— Я ничего не думаю,—я только говорю!...

Анисьеву вспомнилось вчерашнее холодное обращеніе съ нимъ Лины, которое онъ тогда приписалъ застѣнчивости... Онъ сосредоточенно утонулся взглядомъ въ одну изъ пуговицъ графскаго сюртука.

— Ужь нѣтъ-ли у этого стараго шута съ его „Ларіономъ“ своего какого-нибудь на примѣтѣ? допытывался онъ мысленно.

Вишну все также безмятежно покоился въ своемъ креслѣ и слегка помаргивалъ вѣками,—его клонило ко сну...

— „А Ларіонъ тонкая бестія“, рѣшилъ прозорливый флигель-адъютантъ, „на мушку не клюетъ; съ нимъ, видно, не до cartes sur table... А впрочемъ... Надо вообще ближе изучить ситуацію!“...—Позвольте оставить васъ, графъ, сказалъ онъ громко, вставая съ мѣста,—у васъ, кажется, просители?...

— Ничего, я при тебѣ приму!

Старикъ поднялся въ свою очередь и, переваливаясь на ходу, пошелъ къ дверямъ звать Чижевскаго.

XXXVII.

Въ комнату, вслѣдъ за молодымъ чиновникомъ, вошли четыре вызванныя имъ лица, „къ личному разбирательству его сіятельствомъ“, какъ значилось на языкѣ тогдашнихъ порядковъ.

Первая изъ нихъ была просительница, молодка лѣтъ двадцати, одна изъ тѣхъ русскихъ побѣдныхъ головокъ, про которыхъ сложилась пѣсня:

Моя русая коса
Всему городу краса,

свѣжая, румяная, съ карими, заплаканными отъ волненія глазами, и сквозь эти слезы улыбавшаяся полусмущенною, полуудивленною улыбкой при видѣ этого лысаго, какъ колѣно, со своею добродушно выпяченною впередъ губой и официально приподнятыми вверхъ бровями, генерала, вершителя ея судебъ, въ которомъ она почему-то съ перваго же раза почуяла себѣ защитника и покровителя.

За нею шелъ мужъ; это былъ, какъ опредѣляла его сваха, когда высватала ему жену, „мущина въ самомъ соку, *брунетъ*, и глаза на выкатѣ“. Еще весьма молодой, но уже одутлый отъ непомѣрнаго чаепитія, *брунетъ* этотъ имѣлъ необыкновенно дураковатый и перепуганный видъ и жался за спиной жены, словно весь, всѣмъ неуклюжимъ тѣломъ своимъ, хотѣлъ уйти за ея невысокую, тонкую и юркую особу, подъ тѣнь этой ея великолѣпной русой косы, оттягивавшей своею тяжестью назадъ ея миловидную маленькую голову...

„Madame Зарѣзъ“, заимодавица, была женщина лѣтъ тридцати пяти, съ утиными носомъ и походкой, чувственно

отвислыми губами и жирною бѣлою спиной и шеей, сквозившими сквозь какую-то накинутую на нихъ вязаную косынку. Глядѣла она неподвижно впередъ маленькими, оплывшими отъ вѣчнаго лежанья глазами, равнодушная, повидимому, ко всему окружающему и прежде всего къ исходу того, за что представала теперь предъ очи грознаго московскаго владыки.

Замыкавшій шествіе мужъ ея, Осипъ Власьевъ, „серебряныхъ и иныхъ дѣлъ мастеръ“, какъ значилось на его вывѣскѣ, всклокоченная, темная и желтая фигура, съ небритымъ подбородкомъ и табакомъ подъ носомъ, въ порыжѣломъ фракѣ и засаленныхъ клѣтчатыхъ панталонахъ надъ стоптанными сапогами, выглядывалъ изподлобья травленнымъ волкомъ, бывавшимъ на своемъ вѣку и не въ такихъ передѣлкахъ. По одному виду его можно было безъ ошибки заключить, что не даромъ было дано ему прозвище „зарѣза“, и что онъ единственно замыслилъ и соорудовалъ все это дѣло векселей, выданныхъ Ѳирсовымъ его жирной супругѣ.

Всѣ они, войдя въ комнату, остановились у дверей въ выжидательномъ положеніи.

— Подойдите! крикнулъ имъ начальственный голосъ. И съ этими словами графъ всталъ въ свою официальную позу, то-есть, опершись лѣвою рукой о письменный столъ, заложилъ большой палецъ правой за послѣднюю пуговицу своего форменнаго сюртука и правую ногу молодцовато закинулъ за лѣвую.

Красивая Ирина бойко зашагала первая, за нею остальные... Чижевскій уставилъ ихъ рядкомъ, попарно, въ пяти шагахъ отъ его сіятельства.

Графъ зорко оглядѣлъ всю компанію:

— Зачѣмъ безденежные векселя давалъ? началъ онъ съ оника, останавливаясь грознымъ взглядомъ на пучеглазомъ „*брунетѣ*“.

Злополучный подмастерье пришелъ въ неописанное смущеніе: онъ засѣменилъ на мѣстѣ неуклюжими ступнями, завертѣлъ носомъ, зачесалъ въ затылкѣ...

— Отвѣчай! возгласилъ графъ, не дождавшись отъ него отвѣта.

— Отвѣчай, что молчишь! толкнувъ его сзади въ бокъ и оборачиваясь на него сверкавшими какъ звѣзды глазами, понуждала его молодая жена.

Онъ еще разъ помялся, поежился, заерзалъ рукою въ курчавыхъ волосахъ:

— Больше *по любве*, ваше сіятельство! провозгласилъ онъ наконецъ, растерянно улыбаясь...

Власьевъ презрительно дернулъ небритымъ подбородкомъ. Супруга его безмятежно перекрестила свой неожиданно зѣвнувшій ротъ.

Ладони поднялись.

— По какой *любве*? Говори!

— Потому, Осипъ Власьичъ, началъ, переминаясь съ ноги на ногу и продолжая идіотически улыбаться, злосчастный ловелась, — потому они сулились мнѣ... что за ихъ безчестіе они всегда могутъ меня въ острогъ засадить...

— Дуракъ! пропѣлъ графъ.

— Вѣстимо дуракъ! И слезы брызнули разомъ изъ глазъ молодой женщины:—онъ у меня что ребенокъ малый простъ, ваше сіятельство!

— Дуракъ! промолвила за нею, еще разъ зѣвнувъ и еще разъ перекрестивъ ротъ, „madame Зарѣзъ“.

— Дуракъ какъ есть! октавой ниже подтвердилъ и ея достойный сожитель.

— А ты какъ смѣлъ брать безденежные векселя? накинулся тутъ же на этого графъ.

— Я не бралъ-съ! уходя весь въ высокій воротникъ своего засаленнаго фрака, захрипѣлъ Власьевъ,—я даже ничего объ эвтомъ, ваше высоко-сіятельство, не знаю, опричь только что собственно я какъ свидѣтель, потому это дѣйствительно что онъ, какъ желательно ему было вступить въ первый законный, и что отецъ его въ деньгахъ ему отказывалъ, такъ онъ приходилъ къ моей, значитъ, женѣ просить, даже въ ноги ей кланялся несчетные разы, потому не съ чѣмъ ему было свадьбы сыграть, а какъ онъ, служимши у меня, значитъ, въ подмастерьяхъ...

— И кто же вамъ въ эвтомъ можетъ повѣрить! зазвенѣвъ

какъ колокольчикъ, полнымъ неудержимаго негодованія голосомъ прервала его Ирина,—когда не только чтобъ онъ просилъ на свадьбу у вашей жены, а сами вы постоянно, по нуждѣ своей, жалованье его заслуженное задерживали, и по сейчасъ двадцать шесть съ полтиной ему вами не додано! Бога вы не боитесь, Осипъ Власьичъ!...

— Чижевскій, запѣлъ голосъ, — написать городничему, чтобъ его на мѣсяцъ за рѣшетку посадилъ! Мошенникъ!.. Гдѣ векселя?

— При дѣлѣ, ваше сіятельство!

— Ты, добродѣтельная супруга!—графъ ткнулъ пальцемъ по направленію „madame Зарѣзъ“,—слушай! Ты грамотная?

— Грамотная! протянула она, сдерживая третій зѣвокъ.

— По векселямъ получи по копѣйкѣ за рубль! Ступай, распишись въ уплатѣ сполна!

— Батюшка, ваше сіятельство, спаситель вы нашъ! такъ и бухнулась ему въ ноги красавица Ирина, судорожно всхлипывая и покрывая поцѣлуями его пухлыя руки.

— Ну, ну, хорошо... не нужно! усмѣхнулся старецъ, наклоняясь подымать ее,—ты, я вижу, умная! Смотри, болвана отъ себя не отпускай! Чтобы не дурилъ безъ тебя!...

— Не отпущу никуда, ваше сіятельство! уже смѣялась она сквозь непросохшія слезы,—на привязи стану держать... Дай вамъ Царица Небесная много лѣтъ здравствовать!...

— Спасибо!... Очень радъ! Ступай себѣ съ Богомъ!... Чижевскій, съ добродѣтельной супруги расписку получи! А вексель отдай... Какъ тебя, востроглазая, зовутъ бишь?

— Ирина Михайлова, ваше сіятельство!

— Иринѣ Михайловой отдай! А мужъ дуракъ! „По любве“, говоритъ, мошенникамъ ограбить себя далъ! покатывался и заливался добродушнымъ смѣхомъ своимъ графъ.

— И вы такъ, ваше сіятельство, молвилъ ему, когда они остались одни, блестящій петербургскій дѣлецъ, внимательно и съ какимъ-то двусмысленнымъ подергиваніемъ губъ слѣдившій за всею этою сценой,—вы такъ даете себѣ трудъ сами разбирать всякую вздорную просьбу?

Ладони откинулись:

— Для нея не вздорная! Все ея состояніе!...

— Конечно... но я полагаю, что судъ... наконецъ полиція...

— Ничего не сдѣлаютъ! запѣлъ графъ.—Тамъ законъ! А по закону, она плати!... Бѣдному народу главное, чтобы не волокли по всѣмъ мытарствамъ... Онъ идетъ ко мнѣ! Потому, знаетъ, я сейчасъ рѣшу...

Флигель-адъютантъ все такъ же двусмысленно и осторожно усмѣхнулся.

— Нужно только, чтобы тутъ было и тутъ, указывая себѣ на грудь и на голову, закончилъ московскій правитель,—больше ничего не надобно!...

Съ такимъ несложнымъ разумѣніемъ юстиціи никакъ не могъ бы согласиться „серебряныхъ и иныхъ дѣлъ мастеръ“ Осипъ Власьевъ, по прозванію „Зарѣзъ“, который въ эту минуту, стоя въ другой комнатѣ у стола, за которымъ Чижевскій диктовалъ его супругѣ форму расписки на заемныхъ письмахъ, язвительно бормоталъ, косясь на стоявшую рядомъ красивую Ирину:

— Вовсе ограбили, значитъ!... И стыда въ людяхъ нѣту!...

— Точно что нѣту, Осипъ Власьичъ! пылко вскликнула молодая женщина; — что онъ у васъ почитай шесть годовъ за крѣпостнаго былъ, всю работу у васъ одинъ справлялъ, пока вы на боку лежали, да по трактирамъ проклажались, такъ вы за то насъ по міру пустить хотѣли. Это у васъ совѣсть называется! На экую сумму на себя подписать его заставили!

— Зналъ, что писалъ, не мальчикъ! фыркнулъ Власьевъ.

— Зналъ? мой-отъ теленокъ! кивнула она на стоявшаго о бокъ ея и все такъ же глупо продолжавшаго улыбаться мужа: — вы изъ него съ супружницей-то вашей Анной Прохоровной веревки плели. Онъ вамъ не то на восемьсотъ, на восемь тысячъ подмахнулъ бы зря съ простоты своей!...

— Означенную въ семъ заемномъ письмѣ сумму деньгами сполна получила, продолжалъ диктовать Чижевскій, въ то же время прислушиваясь и любуясь огненнымъ взглядомъ и бойкою рѣчью уѣздной красавицы.

— Сполна! злобно повторилъ себѣ подъ носъ Власьевъ.

— Такъ точно-съ, извольте получить! вскинулась Ирина, торопливо доставая изъ кармана платокъ и развязывая въ немъ узелокъ съ деньгами, — восемь рублевъ... „Сполна!“ примолвила она, выкладывая деньги на столъ... Ея подвижныя, прозрачныя ноздри расширились и дрожали отъ пронимавшаго ее смѣха... — А теперь все, ваше благородіе? спросила она Чижевскаго, принимая у него изъ рукъ заемныя письма мужа.

— Все! улыбнулся онъ ей.

— И домой, значитъ, теперича можно?

— Можете, красавица моя, съ Богомъ!

Она подняла на него свои блестящіе каріе глаза и вся зарумянилась:

— Спасибо на ласкѣ вашей, миленькій баринъ, вѣкъ не забуду вашей съ его графскимъ сіятельствомъ милости... Ну, кланяйся, дурачокъ! И она воззрилась на мужа съ безмѣрно нѣжною и безконечно счастливою улыбкой: — слышалъ графскій приказъ, чтобы не отпущать тебя отъ себя? И такъ ты у меня съ нонѣшня дня и будешь ходить на бичевочкѣ, не выдержала молодая женщина и расхохоталась на радостяхъ звонкимъ, ребяческимъ смѣхомъ...

— А ты больно-то не куражься! нѣсколько обидчиво проговорилъ на это „брунетъ,“ тряхнувъ своею, какъ у барана волнистою, головой.

— Ну, ну, пойдемъ... богатырь! Она подхватила его подъ руку...—Счастливо оставаться, ваше высокородіе!...

— Оченно уже вы смѣшливы стали, Арина Михайловна! презрительно поджавъ свои отвислыя губы, отпустила ей вслѣдъ „madame Зарѣзъ.“

Ирина, сверкнувъ глазами, обернулась на нее:

— Довольно отъ васъ наплакамшись, Анна Прохоровна, будетъ! Можетъ теперича и взаправду надъ вами смѣяться начнемъ!...

— Отстань! Чего вяжешься? прохрипѣлъ, толкнувъ жену въ спину, Власьевъ:—аль прежняго восхотѣла? Шлюха!...

Они изчезли.

XXXVIII.

Тревожный сонъ поздно заснувшей наканунѣ Лины прерванъ былъ рано утромъ какими-то странными, раздававшимися по сосѣдству ея спальни звуками. Она открыла глаза, насторожила ухо... Изъ-за стѣны, отдѣлявшей ея покой отъ комнаты Надежды Ѳедоровны Травкиной, дѣйствительно слышались стоны...

Княжна быстро вскочила съ постели, окутались въ свой утренній пенюаръ и въ туфляхъ, въ спальномъ чепцѣ, кинулась въ эту комнату, въ которую вела дверь изъ ея спальни.

Надежда Ѳедоровна, вся одѣтая, лежала у себя поперекъ постели, низко закинувъ голову къ самой стѣнѣ, и рыдала, какъ умѣютъ рыдать только однѣ женщины, раздирающимъ, неудержимымъ... и невыносимымъ рыданіемъ...

Лина страшно перепугалась, но не потеряла присутствія духа: налила воды въ стаканъ, приподняла, не безъ нѣкотораго труда, ея завалившуюся голову и, придерживая ее одною рукой, успѣла другою влить нѣсколько капель сквозь ея судорожно сжатые зубы.

Бѣдная дѣва пришла въ себя, узнала княжну и, первымъ движеніемъ, закрыла обѣими руками свое истрепанное, посинѣвшее отъ слезъ лицо...

— Вы!... Лина... О, какой стыдъ! новымъ стономъ вырвалось у нея изъ груди.

— Надежда Ѳедоровна, милая, что̀ съ вами? допрашивала ее княжна, сжимая ей руки и заботливо вглядываясь ей въ лицо...

— Нѣтъ, ради Бога!... На спрашивайте!... Вы ангелъ... Я не достойна вашего участія... вашего присутствія здѣсь!... порывисто, вздрагивая всѣмъ тѣломъ и покрывая поцѣлуями эти захватившія ея руки Лины, говорила дѣвица Травкина.—Я... я своими безумными слезами разбудила васъ?... Ради Бога, простите!... Простите напослѣдокъ! домолвила она черезъ силу.

— Что это значитъ? Что вы хотите сказать?... Maman?... не договорила, въ свою очередь, встревоженная княжна, искренно любившая бѣдную компаньонку и которой представилось, что это отчаяніе ея и слезы были послѣдствіемъ какой-либо *сцены* съ ея матерью наканунѣ вечеромъ, послѣ того, какъ Лина ушла изъ гостинной...

— Нѣтъ! поняла и закачала головой Надежда Ѳедоровна,—я княгинѣ... всему вашему дому вѣчно благодарна останусь!... Я сама... не могу... Я недостойная!... Я погибшее... опозоренное существо!....

Лина съ ужасомъ глядѣла на нее,—глядѣла, какъ на помѣшанную...

Надежда Ѳедоровна скользнула съ постели и неожиданно очутилась у ея ногъ:

— Вы, чистая, святая, вы не поймете!... воскликнула она, обнимая ея колѣни и прижимаясь къ нимъ своимъ истерзаннымъ лицомъ;—я недостойна дышать съ вами однимъ воздухомъ... мнѣ мѣста нѣтъ болѣе здѣсь... я уйду... уйду!...

— Вы больны, милая, у васъ горячка начинается, я пошлю сейчасъ за докторомъ! молвила княжна, пробуя поднять ее съ пола.

— Нѣтъ, умоляю васъ, никакой докторъ мнѣ помочь не можетъ!... Она сама вскочила на ноги, но отъ слабости чуть не упала опять... Княжна довела ее къ креслу у окна; она опустилась въ него, безсильная и безмолвная, уронила голову на грудь и долго оставалась такъ, безъ словъ, безъ движенія...

Она мучительно переживала мучительную ночь, измѣну любимаго человѣка, торжество и глумленіе своей соперницы, все это „безуміе свое и позоръ“... Но въ то же время перезрѣлая дѣва испытывала какую-то ѣдкую сладость въ чув-

ствѣ этой муки,—она словно любовалась этимъ „позоромъ“ своимъ. Воспитанная на нездоровомъ чтеніи французскихъ книжекъ той эпохи, исполненная воспоминаній всякихъ трескучихъ фразъ и обрывковъ болѣзненныхъ мыслей, которыя заносила она изъ этихъ книгъ въ завѣтныя тетрадки, она теперь съ какою-то гордостью думала о томъ, что и у нея свой романъ,—она двадцать лѣтъ сряду мечтала о немъ,—что и на ея долю выпало „роковое, трагическое горе...“ Какъ отнестись къ этому горю, вотъ въ чемъ состоялъ для нея вопросъ въ эту минуту. Очутившись послѣ обморока одна въ саду съ Ашанинымъ, она разыграла роль *раненой львицы*, призывая небесные громы на голову своего „коварнаго искусителя“, обѣщая ему мщеніе на этомъ свѣтѣ и вѣчную кару на томъ, но, убѣдившись, что ни единая изъ ея угрозъ не пронимала его и что „коварный искуситель“, смиренно опустивъ голову, поглядывалъ на нее такъ, что вотъ-вотъ сейчасъ и фыркнетъ ей въ носъ неудержимымъ смѣхомъ, она кинулась отъ него со всѣхъ ногъ въ свою комнату и разрыдалась со злости до истерики... Придя въ себя во второй разъ въ объятіяхъ Лины, она забыла о *раненой львицѣ* и почувствовала себя Магдалиной, самобичующеюся у ногъ „чистаго, святаго существа“... Теперь наступало третье воплощеніе „трагическаго горя“ дѣвицы Травкиной. *Оберманъ*, *Лелія* *), мрачные образы *литературы разочарованія* возставали въ ея головѣ... „Да, гордость въ страданьи!“ рѣшила она и словно вся озарилась этою мыслью: подняла голову и, улыбаясь своею обычною, презрительною улыбкой,—она считала необходимымъ презирать самое себя въ эту минуту,—обернулась на княжну:

— Скажите, заговорила она,—я вамъ кажусь очень безумною?

— Мнѣ кажется, у васъ... былъ лихорадочный припадокъ, отвѣчала Лина, нѣсколько удивленная этою перемѣной тона,—и вамъ бы нужно было...

— О, я перенесу, я перенесу! не дала ей договорить

*) Романъ Ж. Санда.

та,—я буду сильна, я останусь. Я въ безпощадной битвѣ жизни!...

И, словно эта отпущенная ею фраза придала ей, дѣйствительно, силъ, она бодро поднялась съ мѣста:

— Я васъ прошу, Лина, забыть все... что происходило сейчасъ! Все это не стоитъ вашего вниманія!... Это, какъ говоритъ Гамлетъ, приговорила она съ дѣланною шутливостью,—одни лишь „сны мои, мои злые сны!“...

Княжна взглянула на нее и поблѣднѣла.

Ей вспомнилось вдругъ, что сегодня вечеромъ „они отыграютъ *Гамлета*“,—и затѣмъ „все кончено!“...

— Сегодня наше представленіе! вырвалось у нея съ глубокимъ вздохомъ.

— Да!... Мое прощанье со свѣтомъ! театрально произнесла, въ свою очередь, Надежда Ѳедоровна и закрыла глаза себѣ рукою.

Но слова эти прошли мимо ушей Лины; она думала въ эту минуту: „а завтра, что же завтра будетъ?“...

— И какое ей до меня дѣло! желчно сказала себѣ компаньонка, не дождавшись того восклицанія ужаса и печали, которымъ, по ея мнѣнію, должна была непремѣнно отвѣтить Лина на извѣщеніе о томъ, что она, Надежда Ѳедоровна Травкина, собирается „сегодняшнимъ вечеромъ прощаться со свѣтомъ“.—Извините меня, *княжна*, подчеркнула она,—я сегодня какая-то растерянная... забыла принести вамъ мое поздравленіе со днемъ вашего рожденія!...

— Ахъ, да!... Благодарю васъ, милая! выходя изъ своей задумчивости, проговорила Лина и опять участливо глянула ей въ лицо:—вамъ легче теперь стало?

— Легче, гораздо легче! Не заботьтесь обо мнѣ, прошу васъ! Я право не стою того, чтобы вы изъ-за меня лишали себя сна. Не довольно интересный *субъектъ* для этого, домолвила дѣвица Травкина все съ тою же презрительною улыбкой по собственному адресу;—отправляйтесь въ свою постельку и постарайтесь заснуть покрѣпче! Вамъ предстоитъ сегодня тяжелый день!...

— Не позвать-ли вамъ горничную? спросила княжна.

— Нѣтъ, нѣтъ, не нужно, ничего не нужно! Я васъ сама провожу въ вашу спальню. Я вамъ сказала,—я сильна... Envers et contre tout! примолвила она почему-то по-французски, морг̀нувъ своими подслѣповатыми глазами.

Она, дѣйствительно, отвела и уложила въ постель Лину и, поцѣловавъ ее въ щеку, проговорила, натянуто смѣясь:

За все, за все тебя благодарю я!...

Княжна тихо улыбнулась ей со своей подушки...

Надежда Ѳедоровна вернулась къ себѣ, заперла за собою дверь спальни и, мрачно договоривъ себѣ, сама не вѣдая къ чему:

Устрой лишь такъ, чтобы тебя отнынѣ
Не долго мнѣ еще благодарить!—

повалилась опять на свою кровать и залилась новыми, нескончаемыми слезами... Увы, дѣйствительно, какъ говорилъ Ашанинъ, „слезъ у нея было много“. Но на этотъ разъ это были искреннія,—горькія и тихія слезы. Объ *Оберманѣ* и *Леліи* она уже не думала...

XXXIX.

Княжна начинала засыпать, когда кто-то, послышалось ей, осторожно подавивъ замокъ двери изъ корридора, вошелъ въ ея кабинетъ.

— Кто тамъ? Она приподняла голову.

— Я, ваше сіятельство, отвѣчалъ голосъ ея горничной.

— Что такъ рано, Глаша?

— Извините, княжна, отвѣчала та, входя въ спальню,—я полагала, вы еще почивать изволите... Хотѣла къ вамъ на столикъ поставить...

— Что такое?

Глаша подошла къ постели, держа обѣими руками большую плетеную крытую корзинку, обвязанную голубыми лентами:

— Супризъ-съ!... Честь имѣю поздравить со днемъ вашего рожденія!...

— Это ты меня даришь, Глаша? вскликнула удивленная Лина.

— Помилуйте-съ! ухмыльнулась дѣвушка,—всѣмъ сердцемъ желала бы, да не при моихъ достаткахъ... Это отъ молодаго графа, что вчера пріѣхали, поспѣшила объяснить она, опуская глаза, но изъ-подъ опущенныхъ рѣсницъ лукаво метнула взглядомъ на княжну.

— Отъ молодаго графа? повторила, сжавъ брови, Лина:— что это значитъ?... Какъ ты это получила?...

— Мнѣ-съ еще съ вечера мусью Витторіо приказали поставить къ вамъ на столикъ, пока еще вы не проснулись. Сказали, на случай вы спросить изволите,—что отъ молодаго

графа проздравленіе вамъ со днемъ рожденія... Это изъ Москвы, отъ Файе конфеты, я знаю-съ, добавила Глаша съ самодовольнымъ видомъ:—въ плетушкѣ бобоньйерка богатѣйшая, а въ ней конфетъ фунтовъ десять, больше будетъ-съ, насилу держу!...

Ни словечкомъ не отозвалась на это княжна и отвернулась отъ нея головой къ стѣнкѣ.

Глаша только ротъ открыла.

Наканунѣ, за ужиномъ въ *л'офисѣ*, камердинеръ флигель-адъютанта, съ которымъ она успѣла познакомиться, подмигивая и нашептывая ей всякія лакейскія любезности, отпустилъ ей между прочимъ, что „они съ бариномъ надѣются въ Сицкомъ свое счастіе получить". Глаша тотчасъ же смекнула, — а когда всемогущій въ домѣ Витторіо передалъ ей бонбоньйерку съ приказаніемъ поставить ее на столъ княжны *сюрпризомъ*, уже не сомнѣвалась, что молодой „красавецъ-графъ пріѣхалъ сватать ея барышню". Въ головѣ ея, не хуже, чѣмъ у Ольги Елпидифоровны, успѣло построиться на этой основѣ цѣлое зданіе честолюбивыхъ надеждъ, отъ которыхъ она всю ночь не спала... И вдругъ „ея княжна и глядѣть-то на его *супризъ* не хочетъ"!...

Глаша уныло поглядѣла ей въ затылокъ, вздохнула и направилась въ кабинетъ со своею „плетушкой"!...

— Еще сейчасъ приходила ко мнѣ горничная генеральши, проговорила она, не доходя до дверей, — принесла отъ нихъ записку и пакетъ къ вамъ-съ...

— Гдѣ они? Что же ты не даешь ихъ мнѣ? быстро отозвалась на этотъ разъ Лина, приподымаясь съ подушекъ.

— Извольте получить-съ!

Дѣвушка поставила корзинку на туалетный столъ и, вынувъ изъ кармана письмо и небольшое что-то завернутое въ бѣлую бумагу и запечатанное большою гербовою печатью, передала ихъ княжнѣ.

— Хорошо, молвила Лина, — а теперь оставь меня, я спать хочу!...

Оставшись одна, она поспѣшила развернуть записку.

Софья Ивановна писала ей слѣдующее:

„Милая Елена Михайловна! Желаю поздравить васъ *первая* съ наступающимъ вашимъ двадцатымъ годомъ и чтобы подарокъ мой былъ *первый* въ этотъ день. Посылаю вамъ предметъ для меня дорогой и завѣтный и разставаться съ нимъ могу только для васъ. Принадлежалъ онъ покойной моей матери, женщинѣ высокаго духа и много испытанной въ своей судьбѣ. Звали ее, какъ и васъ, Еленой. Примите въ душевное себѣ укрѣпленіе и утѣшеніе, а также въ память отъ старухи искренно васъ любящей".

„Софья Переверзина".

Запечатанный пакетъ заключалъ въ себѣ уложенный въ коробочку образокъ съ изображеніемъ Воздвиженія Честнаго Креста Святою Царицей Еленой. На задней гладкой доскѣ его золотой оправы вырѣзаны были слова: *Симъ побѣдиши!*

Лучшаго подарка и болѣе кстати не могла получить Лина. Онъ являлся какъ бы дѣйствительно „во укрѣпленіе и утѣшеніе" ея послѣ этихъ конфетъ, присылка которыхъ глубоко взволновала ее и оскорбила. Она понимала, что это не имѣло значенія простой любезности. Изъ одного тона голоса ея горничной не оставалось для нея сомнѣнія, что весь домъ уже почитаетъ ее за невѣсту этого „петербургскаго адъютанта", а самъ онъ очевидно признаетъ за собою право дарить ее, какъ женихъ, „и всѣ они въ заговорѣ съ нимъ", говорила себѣ бѣдная дѣвушка: „и maman, и Витторіо, и Глаша,—весь домъ"!...

„Симъ побѣдиши"! прочла она еще разъ теперь. Свѣтлая улыбка скользнула по ея блѣднымъ устамъ... Она вытянула изъ-за сорочки золотую цѣпочку, на которой навѣшены были ея крестъ и медальонъ съ портретомъ и волосами покойнаго отца, пристегнула къ нимъ образокъ Софьи Ивановны, поцѣловала его, перекрестилась и, уложившись щекою на руку, заснула мгновеннымъ, младенческимъ сномъ...

Но ей не суждено было досыта выспаться въ это утро. Въ началѣ восьмаго чьи-то шаги и смѣхъ въ кабинетѣ разбудили ее опять.

— Что она, еще спитъ? спрашивалъ громко кто-то.

— Почиваютъ-съ! послышался шопотъ Глаши.

— Я не сплю! сказала княжна, недоумѣвая, съ кѣмъ это разговаривала ея горничная.

— Ah! Lina! Chère!...

И съ этими словами въ спальню ворвалась дѣвушка въ широкой соломенной шляпѣ и сѣромъ бурнусѣ на плечахъ, вся запыхавшаяся и хохочущая...

— C'est moi! Не ожидала? Не узнаешь даже, кажется? И она кинулась прямо цѣловать Лину въ постели.

Это была одна изъ ея московскихъ бальныхъ знакомыхъ, княжна Женни Карнаухова, высокая и крупная особа, съ характернымъ и веселымъ выраженіемъ лица и весьма рѣшительными, почти мужскими пріемами рѣчи и движеній. Московская молодежь звала ее „добрымъ малымъ въ юпкѣ“ и „Геничкой Карнауховымъ“. Она это знала и не только не оскорблялась, но очень гордилась этими прозвищами и вмѣняла себѣ въ какую-то обязанность быть на пріятельской ногѣ со всѣмъ міромъ. Ее вообще всѣ любили и она всѣхъ любила... Она была, дѣйствительно, очень добра сердцемъ, откровенна до глупости, легкомысленна и эгоистична, какъ всѣ *добрые малые*, и совершенно наивно убѣждена была, что не было въ мірѣ существа болѣе *нужнаго* для счастья ближнихъ, какъ она.

— Какая ты хорошенькая въ постели! A croquer! хохотала она, обнимая и тормоша Лину:—вотъ если бы тебя кто-нибудь изъ нашихъ кавалеровъ увидалъ теперь, вотъ бы влюбился!... А ты и не спрашиваешь, какъ я къ тебѣ попала такъ рано?

Бѣдная княжна съ просонковъ только глядѣла на нее недоумѣвая.

— Надо тебѣ сказать, что мы только вчера пріѣхали къ себѣ, въ Высокое. Жара, пыль, духота, а мы въ городѣ сидимъ! У maman ея вѣчный mal de dos, переѣзжать не хочетъ:—безъ Овера, говоритъ, умру! Несчастному папа каждый день сцены дѣлаетъ, ко мнѣ придирается за каждый вздоръ... Un enfer, однимъ словомъ!... Наконецъ ужь Толя—она только его и слушаетъ, — уговорилъ ее! Вчера къ обѣду пріѣхали;

папа и вспомнилъ, что мы приглашены 3-го числа къ вамъ. Вотъ и собрались пріѣхать сюда къ обѣду. А сегодня Толя велѣлъ разбудить меня чуть свѣтъ. Хочешь, говоритъ, прокатиться со мною на бѣговыхъ дрожкахъ? Поѣдемъ, говорю. Вотъ мы и поѣхали. Ѣдемъ, а лошадь у насъ молодая, Толя правитъ отвратительно, чуть въ канаву не свалилъ меня... Ужь не знаю, нарочно онъ или невзначай, только проѣхали мы верстъ, я думаю, пятнадцать и очутились наконецъ въ совершенно незнакомомъ мѣстѣ. Идетъ мужикъ; Толя его спрашиваетъ: куда ведетъ эта дорога?—Въ Сицкое, говоритъ, въ княжое.—Въ какое княжое — Шастуновское, отвѣчаетъ. — А далеко отсюда?—Съ версту будетъ... Толя хлестнулъ лошадь, она вскачь, а онъ ея ужь и удержать не можетъ... Я уцѣпилась за него, едва держусь... И мы, какъ два сумасшедшіе, прискакали къ вашему крыльцу... Et me voilà!

— Очень рада! проговорила учтиво Лина.

— Рада, не рада, а я ужь отсюда не уѣду! Я не красавица, какъ ты, но и я берегу свою шкуру, comme on dit. Хоть и придется мамашину руготню за это выдержать, все равно. Пусть себѣ Толя ломаетъ шею, если ему угодно, а я за новое путешествіе на его бѣговыхъ дрожкахъ merci! Сегодня у васъ празднество... Сколько тебѣ минуло, — девятнадцать?... Поздравляю, chère! Позволь дать тебѣ это на память:

Она сняла съ пальца бюрюзовое колечко и протянула его Линѣ.

— Не стоитъ благодарности! не дала она ей выговорить слова, — c'est une petite horreur, но я умоляю тебя носить его! Она принялась опять обнимать княжну;—ни къ кому я еще не чувствовала того, что къ тебѣ. Ты такая милая! Я воображаю, примолвила она, не останавливаясь,—какіе подарки ты получишь сегодня; мать твоя такъ богата!... А, да вотъ ужь! Отъ кого? И она бросилась къ знакомой намъ плетушкѣ, стоявшей на туалетномъ столикѣ Лины, и, безцеремонно распутавъ связывавшія ее ленты, вытащила оттуда великолѣпный китайскаго лака ящикъ, полный конфетами.

Глаша, стоявшая тутъ же, замигала ей обоими глазами.

— Что̀ такое? Секретъ? громко вскрикнула княжна Карнаухова и ухвативъ двумя пальцами за щеку улыбнувшуюся Глашу:—говори, воструха, говори сейчасъ, отъ кого это, отъ кого?...

— Прикажете сказать, ваше сіятельство? хихикая, вполголоса спросила та свою барышню.

— Говори, что̀ за секретъ! послышался изъ-за спущенныхъ занавѣсовъ постели голосъ одѣвавшейся Лины.

— Отъ молодаго графа, отъ петербургскаго получили! объяснила тогда Глаша, продолжая лукаво улыбаться.

Такъ и привскочила пріѣзжая княжна:

— Молодой графъ? Петербургскій? Какой графъ? Изъ Петербурга прислалъ?...

— Нѣтъ-съ, они сами здѣсь, отвѣчала горничная.

— Кто здѣсь? топоча отъ нетерпѣнія, вскрикнула Женни Карнаухова.—Какъ зовутъ его?

— Анисьевъ по фамиліи, графъ, полко́вникъ-съ...

— Жоржъ Анисьевъ? C'est vrai ce qu'elle dit là, Lina? Женни даже перемѣнилась въ лицѣ.

— Помилуйте-съ, смѣю-ли я лгать! молвила понявшая Глаша обиженнымъ тономъ.

Княжна нервно отпихнула отъ себя конфетный ящикъ, опустилась быстрымъ движеніемъ на кресло подлѣ туалета и разомъ примолкла...

— Au fond, какое мнѣ дѣло! вскрикнула она вдругъ, какъ бы сообразивъ,—но я воображаю maman! громко и весело уже захохотала она и вскочила опять на ноги.

— Скоро ты будешь готова? крикнула она опять Линѣ, и примолвила по-англійски:—send your maid off, J have to tell you some thing *).

— Онъ сватается къ тебѣ? начала она сразу, едва остались онѣ вдвоемъ.

— Я его совсѣмъ не знаю! Лина досадливо повела плечами.

— Пожалуйста, не увѣряй, живо перебила ее княжна Карнаухова,—и не воображай себѣ, что я твоя ривалка!...

*) Отошли свою горничную, я имѣю сказать тебѣ кое-что.

Это maman себѣ вообразила и твердила мнѣ съ утра до ночи... А я всегда очень хорошо понимала, что онъ обо мнѣ не думаетъ и думать не можетъ. Ему нужно большое состояніе!... Потому что онъ со мною въ прошломъ году въ Петербургѣ два раза мазурку танцовалъ... Еще бы не танцовалъ!... Вѣдь, ты знаешь, у насъ домъ въ Москвѣ—подворье. Всѣ эти петербургскіе аксельбанты, только въ Москву ввалятся, прямо къ намъ: ѣдятъ и пьютъ, чуть не ночуютъ, пока не уѣдутъ, куда имъ надо... И все это у насъ дѣлается pour avoir, какъ говоритъ maman, des aboutissants въ Петербургѣ... И вотъ меня повезли туда, и повсюду насъ тамъ приглашали, и я на тридцати двухъ балахъ танцовала, и для этого удовольствія сдѣлали мы шестнадцать тысячъ долгу, и всѣ эти господа ужасъ какъ со мною любезны были,—а въ Москву мы вернулись ни съ чѣмъ, замужъ меня все-таки никто не взялъ, и я умру старою дѣвкой, я знаю, и maman злится на меня за это и пилитъ, несчастную, каждый день, а когда увидитъ сегодня у васъ Жоржа Анисьева, просто со свѣта меня сгонитъ!... И такая я poor soul! неожиданно всплакнула княжна,—за кого бы я хотѣла, за того меня ни за что не отдадутъ, а за кого меня мечтаютъ отдать, тѣ меня не хотятъ!...

— А тебѣ нравится... ты любишь кого нибудь, Женни? И, невольно тронутая этими словами, Лина пододвинулась къ ней.

— Люблю-ли?—крупная княжна на мигъ задумалась:—правду сказать, и сама я не знаю... Нравится онъ мнѣ, нравится, и даже очень; можетъ быть, потому именно, примолвила хмурясь она,—что maman имени его слышать не можетъ и вѣчно пилитъ меня имъ... Правда, онъ за всѣми волочится, и ничего у него за душой нѣтъ. Выходить за него замужъ я и не думаю... но еслибъ я была femme mariée, признаюсь, я не отвѣчу за себя... И она разразилась новымъ смѣхомъ.—Онъ за тобой не ухаживаетъ?

— Кто такой? спросила не понимая Лина.

— Ахъ, какая я сумасшедшая! Болтаю, болтаю и даже не говорю кто!... Онъ у васъ, играетъ съ тобою на театрѣ... И

признаюсь, — княжна понизила голосъ,—я не уѣхала теперь съ Толей домой главнымъ образомъ для того, чтобы, пока не пріѣдетъ maman, успѣть flirter un peu avec lui, договорила она, придѣлывая французское окончаніе къ непереводимому англійскому *to flirt* *)

Кто былъ этотъ счастливецъ, съ которымъ она намѣревалась *flirter* въ отсутствіи зубастой мамаши, она такъ-таки опять забыла назвать. Но Лина уже не интересовалась узнать это имя: она не понимала любви такого рода...

А Женни Карнаухова продолжала лепетать между тѣмъ:

— Скажи, душка, а у васъ съ Жоржемъ Анисьевымъ все уже кончено?

— Ничего не начиналось и кончаться нечему! спѣшила отвѣтить бѣдная дѣвушка.

— А это что же? указала ея пріятельница на ящикъ съ конфетами, — ужь если это не похоже на жениховъ подарокъ!...

— Ахъ, сдѣлай милость, избавь меня отъ этого, Женни! Возьми себѣ!...

Княжна Карнаухова подбѣжала къ ней, схватила за оба плеча и погружаясь ей глазами въ глаза:

— Такъ это ты въ самомъ дѣлѣ? Онъ тебѣ не нравится?

— Нѣтъ! такъ же рѣшительно отвѣчала ей на это Лина, какъ наканунѣ матери.

— Не нравится? повторила та,—онъ однако очень хорошъ, George Анисьевъ... Et comme il valse, chère!... Ты вѣрно слышала, что онъ много играетъ? вдругъ осѣнила ее мысль.

— Ничего я не слышала!...

— Ужасно! Въ прошломъ году у насъ онъ одному дядѣ Сергѣю тринадцать тысячъ проигралъ... Онъ съ Сухазанетомъ играетъ по десяти рублей point во что-то... Maman увѣряетъ, что его такъ любятъ à la Cour, что это ничего не значитъ, и что всѣ его долги заплатятъ... Но ты, можетъ быть, очень

*) To flirt, flirtation, нѣчто въ родѣ польскаго *романсованья*, кокетливо нѣжныя отношенія, преимущественно между дѣвушкой и молодымъ человѣкомъ.

хорошо дѣлаешь, что не хочешь итти за него: онъ можетъ разорить тебя, какъ ты ни будь богата... А твоя maman какъ? За него?... Я увѣрена!... Бѣдныя мы, вѣдь воли намъ не дано,—прикажутъ, и...

Она не договорила: — Лина, вся блѣдная, опускала голову...

— А! вскрикнула княжна, — ужь приказали!... И ты не хочешь?... Погоди же, я все обдѣлаю,—я тебя спасу!...

— Нѣтъ, ради Бога, Женни, не нужно! въ свою очередь, съ ужасомъ заговорила Лина, — ничего нѣтъ, и нечего спасать меня?...

Но та чувствовала себя уже совершенно необходимою для спасенія пріятельницы:

— Нѣтъ, нѣтъ, повѣрь мнѣ, я опытна въ этихъ дѣлахъ, не бойся! Мери Ребницъ и Варю Тростинину кто выдалъ замужъ?—Я! Съумѣла устроить, съумѣю и развести!... Ты тутъ совершенно ни при чемъ будешь... Я ему дамъ почувствовать, что не совсѣмъ деликатно мущинѣ искать руки дѣвушки, которая... Одно только, вдругъ перебила она себя: — чтобъ онъ не вообразилъ, что это я изъ ревности!... Лучше всего, если бы можно было намекнуть ему, что ты другимъ человѣкомъ занята... Но кѣмъ? Никто тебѣ не нравится, ты такая холодная и равнодушная...

Отъ этихъ словъ блѣдная княжна наша внезапно вся зардѣлась и быстро отвела лицо отъ зеркала, предъ которымъ зачесывала свои золотистые волосы. Но то же зеркало выдало все это любопытствовавшему взгляду ея услужливой пріятельницы:

— Ага, есть кто-то, есть! такъ и вскинулась она, — кто? Лина, душенька, говори скорѣй, кто, кто онъ?... И она бросилась душить ее въ своихъ объятіяхъ.

Лина не выдержала,—со вчерашняго вечера это былъ цѣлый рядъ мученій,—и чего требуетъ теперь отъ нея эта непрошеная, назойливая услужница?—она заплакала...

Женни Карнаухова нежданно опустилась предъ ней на колѣни:

— Лина, душка, ну хорошо, не говори! Я понимаю ces délicatesses du coeur... Я сама отгадаю, — это даже гораздо интереснѣе!... Только знай, что я для тебя на все готова, и довѣрься моей опытности! Я только собственную судьбу не умѣю устроить, а для другихъ у меня самая легкая, самая счастливая рука... All's well, all's well, Лина! *) утѣшала она ее, цохлопывая и цѣлуя въ перерывъ ея тонкія нѣжныя руки...

---

*) Все хорошо, все хорошо!...

XL.

Княгиня Аглая Константиновна еще причесывалась въ своей уборной, когда имѣвшая лестное право входить къ ней во всякое время Ольга Акулина, веселая и свѣжая какъ роза, вбѣжала поздравить ее съ „дорогою именинницей“ и донести, что кое-кто изъ „уѣзднаго звѣринца“ уже пріѣхали и расхаживаютъ по дому во фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ, въ ожиданіи выхода хозяйки дома.

— De vrais sauvages! презрительно вымолвила на это княгиня.—Надѣюсь, они не воображаютъ, что я измѣню для нихъ заведенный въ моемъ домѣ порядокъ? Пусть ждутъ, ils sont faits pour cela! произнесла дщерь бывшаго цѣловальника съ величественностью, которой могъ бы позавидовать „великій король,“ Louis Quatorzième du nom.

— А Надежда Ѳедоровна не тамъ? спросила она, разумѣя гостиную.

При звукѣ этого имени лицо барышни нѣсколько повело...

— Старикъ графъ также пріѣхалъ! поспѣшила сказать она, пропуская вопросъ безъ отвѣта.

— Да, мнѣ докладывали;—j'éspère que le cher prince mon beau-frère его встрѣтилъ, промолвила Аглая, раздувъ ноздри: она до сихъ поръ не могла переварить вчерашнюю „Рюриковну“ князя Ларіона.

— Онъ пріѣхалъ очень рано и уже принималъ какихъ-то просителей, сообщила барышня, — завтракалъ у себя, а теперь, сказалъ мнѣ monsieur Шажковъ, отдыхать легъ...

Хозяйка успокоилась, и мысли ея перенеслись къ другому, любезному ей предмету:

— Et le jeune comte, ты не знаешь, что онъ?... N'est ce pas qu'il est charmant, petite?... Я не понимаю, какъ это mademoiselle la princesse ma fille...

Она пріостановилась, вспомнивъ о горничной, которая вся красная отъ натуги затягивала въ эту минуту послѣднюю петлю корсета, обнимавшаго обильныя красы княгини, и тяжело вздохнула, не то отъ нажима этого корсета, не то отъ досады на „mademoiselle la princesse ma fille“...

— Я его видѣла, поспѣшила объявить Ольга (она тотчасъ же догадалась, что Лина успѣла наканунѣ дать понять матери, что Анисьевъ ей не нравится), я съ нимъ встрѣтилась... нечаянно... въ корридорѣ... Онъ выходилъ отъ графа... И такой magnifique, княгинюшка, въ своемъ чудесномъ мундирѣ, серебряное шитье, въ ботфортахъ... Сколько у него крестовъ, princesse,—я просто ахнула! Такой молодой et si bien décoré. Это просто прелесть такой—она хотѣла сказать „такой женихъ“, но по примѣру своей покровительницы, тоже въ виду горничной, пріостановилась и сказала:—такой молодой человѣкъ!

— Je crois bien! И княгиня качнула вверхъ головой, смотрясь въ трюмо, предъ которымъ облекали ее теперь въ блѣдно-зеленое съ синими лентами платье, — сочетаніе цвѣтовъ, начинавшее уже въ то время почитаться возможнымъ.

— Ah, oui, chère petite, сказала она, расправляя въ то же время тонкимъ маленькимъ гребешкомъ свои густыя черныя брови, очеркомъ которыхъ „en arc de Cupidon“, какъ она выражалась, очень гордилась въ свое время наша Аглая;—спроси у моей Lucrèce (въ это классически-цѣломудренное имя перекрещена была ею первая ея горничная, распрорусская Лукерья, незамужняя мать троихъ дѣтей,) картонъ съ платьемъ изъ Парижа и вели отнести княжнѣ, чтобъ она надѣла его сегодня вечеромъ: послѣ театра будутъ танцовать probablement. Скажи, что это мой подарокъ къ ея рожденію... Allez y vous-même, petite, уже сплошь по-французски и шопотомъ поручала она Ольгѣ,—и такъ отъ себя шепни ей, что ея мать, конечно, не ограничилась бы такимъ мизернымъ подаркомъ, что ты навѣрное знаешь, что у меня готова была для нея къ

сегодняшнему дню une parure en turquoises et diamants, un cadeau de six mille roubles argent! проговорила княгиня, почему-то даже надменно и строго взглянувъ при этомъ на неповинную барышню,—но что я его сегодня не дамъ ей... Она знаетъ почему!... Я положила qu'elle ne l'aura que le jour de ses fiançailles!... Si non, я его отдамъ вотъ его будущей женѣ! сказала она, увидавъ входящаго къ ней съ утреннимъ „bonjour“ сына.

— Что ты моей женѣ отдашь, мама? полюбопытствовалъ узнать одиннадцатилѣтній Basile.

— Un cadeau de six mille roubles, mon cher, если ты будешь умникъ и сдѣлаешь une belle carrière, какъ графъ Анисьевъ.

— Который вчера пріѣхалъ? Я знаю, мама. Онъ флигель-адъютантъ?

— Да, suis son exemple!...

— А я, мама, я буду очень богатъ, very, very rich?

— Да, Basile! Vous êtes un grand nom de Russie; ты долженъ быть богатъ pour le soutenir.

— А вотъ, возразилъ мальчикъ,—Лина и Семенъ Петровичъ говорятъ, что богатство это ничего, а надо самому...

— Что „самому“?

— I can't say't properly, mam' *), но это они говорятъ, что надо все самому, умнымъ быть и учиться...

— Monsieur Факирскій, это натурально,—княгиня сжала губы, — il n'a rien... Онъ долженъ самъ. Конечно, Basile, надо быть умнымъ и учиться... mais la fortune pour un grand nom... Quant à Lina, vous savez, таинственно прошептала она, нагибаясь къ барышнѣ, — у нея есть эти идеи! И глубокомысленная Аглая перебрала многозначительно пальцами предъ лбомъ:—она sous ce rapport совершенно въ отца... ce pauvre Michel! вздохнула чувствительная дама.—А ты радъ, что будешь богатъ, Basile? обратилась она опять къ сыну.

— Ужь конечно, твердо отвѣчалъ онъ, — потому я все могу себѣ купить и всѣмъ приказывать!...

*) Я не умѣю сказать это ясно, мама.

— Только надобно хорошо умѣть свои счеты вести, прервала его наставительно маменька, — потому что все можно потерять... Comme cela est dejà arrivé avec la fortune des Шастуновыхъ, que j'ai sauvée! обернулась она опять къ Ольгѣ.

— Мама, вскрикнулъ Basile, Vittorio должно быть a pickpocket! *) Я ему приказалъ на мои деньги купить a great box **) для чаю, for Lina, для ея рожденія, и онъ взялъ у меня пятьдесятъ рублей, а купилъ такую гадость, что я кинулъ ему въ носъ...

— Въ носъ? засмѣялась княгиня...—Ты не долженъ этого дѣлать, Basile: Vittorio est un bon serviteur... Et puis il est Italien, pas Russe! заключила она.

И, за такимъ заключеніемъ, Аглая Константиновна оглянула еще разъ въ трюмо свое новешенькое платье, съ нахмурившимся челомъ показала горничной на какую-то складку, затѣмъ обернулась, поцѣловала сына въ лобъ и потребовала свои кольца и браслеты.

— Мама, сказалъ ей Basile, — дай мнѣ что-нибудь подарить Линѣ;—я Vittorio скверный box сломалъ...

— Зачѣмъ сломалъ! А ты теперь пойди къ садовнику и вели ему сдѣлать un beau bouquet, и отнесешь къ сестрѣ... Un garcon de vôtre nom долженъ смолоду пріучаться savoir être galant avec les dames, пріятно улыбаясь, поучала Аглая сынка.

— Petite, окликнула она тутъ же уходившую Ольгу,—ты не видѣла monsieur Зяблина сегодня?

— Нѣтъ, не видала, княгинюшка...

— Онъ вчера такъ рано исчезъ... И сегодня не прислалъ узнать о моемъ здоровьѣ... Il envoie tous les jours, vous savez... Je ne sais vraiment pas ce qu'il a? уже томно промолвила она и даже глаза опустила.

Бойкая дѣвица, добывъ картонъ у „Lucrèce", приказала нести его за собою и отправилась къ Линѣ.

---

*) Воръ.
**) Большой ящикъ.

Она не все сказала княгинѣ: она не только видѣла „le jeune comte“, она говорила съ нимъ; она не „нечаянно“, — она въ предвидѣнномъ чаяніи встрѣтиться съ нимъ очутилась въ этомъ „корридорѣ“ въ нижнемъ этажѣ, соединявшемъ сѣни съ покоями, отведенными графу, и вдоль котораго расположены были комнаты назначавшіяся для дамъ, — удобное въ ея разсчетахъ объясненіе, „въ случаѣ чего“, ея присутствія тутъ... Какъ ни храбрилась въ минувшую ночь Ольга, какъ даже силою воли ни заставила себя заснуть она по возвращеніи изъ сада, но сонъ ея отозвался пережитою ею тамъ тревогой. Стукъ графской коляски поднялъ ее въ седьмомъ часу утра. Окна ея выходили на дворъ. Она присѣла къ одному изъ нихъ, за занавѣсъ. Черезъ нѣсколько времени она увидала старика, направляющагося къ дому съ княземъ Ларіономъ; вскорѣ за тѣмъ Анисьевъ, въ каскѣ съ развѣвающимся плюмажемъ и въ шинели, накинутой на плечи, прошелъ черезъ дворъ въ сѣни главнаго корпуса... Ольга не вытерпѣла; она всегда дѣйствовала по какому-то вдохновенію, и теперь что-то будто шепнуло ей, что ей надо дать себя узрѣть и оцѣнить Анисьеву глазъ-на-глазъ прежде, чѣмъ „наѣдетъ толпа, и станутъ его рвать на всѣ стороны“... Она тотчасъ же приступила къ своему туалету безъ пособія горничной и черезъ полчаса скользнула въ сѣни, гдѣ не встрѣтила никого, кого бы могло изумить ея раннее появленіе. На ея счастіе, блестящій флигель-адъютантъ выходилъ почти въ ту же минуту отъ графа... Все вышло чрезвычайно удачно: еще на пути по довольно темному и не широкому корридору онъ увидалъ передъ собою въ падавшей изъ сѣнныхъ оконъ широкой полосѣ утренняго свѣта женское молодое, красивое существо, съ блестящими карими глазами, съ обнаженными до локтя полными руками подъ развѣвающимися, по тогдашней модѣ, рукавами. Ольга остановилась, какъ бы изумившись и какъ бы съ намѣреніемъ дать ему пройти. Онъ поспѣшилъ снять каску и сдѣлалъ быстро нѣсколько шаговъ впередъ, лѣпясь нѣсколько бокомъ къ стѣнѣ... У самаго входа въ сѣни они очутились другъ предъ другомъ...

— Pardon! низко наклоняя голову, проговорилъ Анисьевъ.

— Pardon! промолвила Ольга Елпидифоровна.—Вы кого-нибудь искали? невинно спросила она, пуская въ то же время въ ходъ свой возбудительный взглядъ изъ-подъ слегка прижмуренныхъ рѣсницъ.

— Нѣтъ, я возвращался отъ старика *графа*, пріятно улыбаясь на этотъ взглядъ, отвѣтилъ онъ,—и не знаю, право, тѣмъ-ли ходомъ?...

— Да, и этимъ можно; другой главный входъ прямо со двора. Я сама шла, хотѣла узнать s'il a tout ce qui lui faut, прибавила нарочно по-французски и нѣсколько небрежнымъ тономъ Ольга;—княгиня еще спитъ, разумѣется...

— А вы такъ рано?... Флигель-адъютантъ еще разъ пріятно улыбнулся, глядя уже во всѣ глаза на ея алыя губы, на пышныя очертанія ея плечъ, на ея матово-бѣлыя, обнаженныя до локтя руки...

„Вотъ онѣ у него *искорки!*“ мелькнуло радостнымъ сознаніемъ своей неизмѣнной „силы“ въ головѣ Ольги...

— *Я въ Петербургѣ, въ институтѣ*, поневолѣ должна была вставать рано, громко объяснила она, подчеркивая и Петербургъ, и институтъ,—привычка осталась. Я, кажется, видѣла васъ какъ-то *тамъ* у *насъ?* Когда государь пріѣзжалъ?...

— Очень можетъ быть! Мнѣ очень лестно, что воспоминаніе объ этомъ сохранилось въ вашей памяти, изящно пропустилъ нашъ полковникъ.

Она разсмѣялась во всю ширину своего рта: ты еще, молъ, настоящимъ образомъ моихъ бѣлыхъ зубовъ не видалъ!...

— А вы теперь къ намъ сюда надолго? уже совсѣмъ фамильярно обратилась она теперь къ нему;—не на сегодняшній только день?...

Лицо Анисьева приняло тотчасъ же холодное и сдержанное выраженіе.

— Не знаю, смотря по обстоятельствамъ, сухо отвѣтилъ онъ.

Но Ольгу Елпидифоровну трудно было приводить въ смущеніе сухими отвѣтами.

— А если обстоятельства будутъ *благопріятны?* протянула она, лукаво воззрясь на него.

— Для насъ-бѣдныхъ это будетъ значить, что вы будете къ намъ *благосклонны*, отшутился онъ осторожно, и со словами: „не смѣю болѣе васъ задерживать“ и новымъ учтивымъ поклономъ, проскользнулъ опять бочкомъ мимо нея въ сѣни...

„Изъ провинціальныхъ *амишекъ;* по штату фаворитка и чиновникъ особыхъ порученій хозяйки дома!“ опредѣлилъ себѣ точно и вѣрно положеніе нашей барышни въ Сицкомъ блестящій петербургскій воинъ, выходя на дворъ и надѣвая каску.—„Mais quel morceau de roi!“ подумалъ онъ тутъ же и медленно провелъ языкомъ по своимъ глянцовитымъ усамъ.—„Ее надо будетъ приручить“, рѣшилъ онъ за новымъ размышленіемъ,—„она, кажется, можетъ быть полезна“...

„У, какой же онъ долженъ быть *фейнеръ-кондитеръ*“, рѣшила въ свою очередь Ольга Елпидифоровна, оставшись одна. „А мнѣ *такіе* всегда нравились!“ И она на мигъ задумалась.—„А какъ глупа Лина предпочитать *такому* своего этого *профессора*!“...

Таковъ былъ итогъ размышленій бойкой дѣвицы, послѣ чего она опять, никѣмъ незамѣченная, вернулась въ свою комнату, раздѣлась и на этотъ разъ проспала какъ убитая до девяти часовъ.

XLI.

А теперь она шла съ „Lucrèce“ и ея картономъ къ Линѣ, сама держа въ рукѣ завернутый въ тонкую бумагу черепаховый бюваръ, недавній подарокъ ей самой Ранцова, но который она жертвовала именинницѣ, заказавъ на него предварительно въ Москвѣ золотой шифръ Лины подъ княжескою короной.

— A, la barischnia! услыхала она веселый смѣхъ, едва успѣла отворить дверь въ кабинетъ княжны;—кому ты здѣсь *глазенаты* пускаешь, говори скорѣй?...

Она узнала Женни Карнаухову, съ которою была довольно близка, такъ какъ до пріѣзда Шастуновыхъ въ Россію гостила разъ лѣтомъ у родителей ея въ подмосковной.

— Некому, душка, некому,—ты всѣхъ отбила! И она со смѣхомъ кинулась обнимать крупную княжну. — Lina, cher ange, вотъ вамъ отъ вашей maman,—она указала на картонъ,—а это мое скромное приношеніе... Она развернула свой бюваръ.

— Quelle magnificence! снова расхохоталась княжна Карнаухова, кидаясь разглядывать его.—Признайся, не сама купила? Кто далъ тебѣ, говори, кто?

Барышня наша не сконфузилась:

— И не купила, и дали, и тебѣ завидно, что изъ *твоихъ* никто тебѣ такихъ подарковъ не подноситъ! отшутилась она, смѣясь еще громче той.—Что взяла?

— Мы люди маленькіе, насъ обидѣть легко; гдѣ намъ противъ вашихъ глазенаповъ! возразила на это Женни, уже

слегка обиженнымъ тономъ.—И, главное, вѣдь я очень хорошо знаю *кто!* Вѣдь все тотъ же, „le capitan?“... Это у Толи Французъ, monsieur Lamy, ихъ такъ называетъ: „le capitan et la barischnia“, объяснила она Линѣ, которая между тѣмъ, взявъ бюваръ изъ рукъ Ольги, благодарила ее, цѣлуя;—и вообрази, эта дура до сихъ поръ не съумѣла *окрутить-ся* съ нимъ!...

— Не *хотѣла*, а не „не съумѣла!“ презрительно сжавъ губы, отпарировала бойкая особа.

— И дура, дура, дура, тысячу разъ говорю, что дура!... Ah, ravissant, ravissant, ravissant!...

И съ этимъ крикомъ Женни бросилась со всѣхъ ногъ къ парижскому платью, которое опытная „Lucrèce“ приподымала осторожно въ эту минуту изъ картона. Она такъ и погрузилась жадными глазами въ разсматриваніе его рюшей и волановъ...

— Лина, шопотомъ сказала Ольга, воспользовавшись этимъ,—у меня есть къ вамъ секретъ... И она передала ей буквально порученіе княгини...

Печальная улыбка бродила по лицу Лины въ продолженіе этого разсказа.

— И все? спросила она, когда та кончила.

— Все...

Княжна тихо приподняла плечи:

— Maman, я удивляюсь, до сихъ поръ не можетъ понять, что это все не имѣетъ для меня никакой цѣны.

— Ну, признаюсь, заговорила было Ольга,—я бы на вашемъ мѣстѣ, кажется...

Она остановилась предъ холоднымъ, почти строгимъ, взглядомъ, который подняла теперь на нее Лина:

— А я васъ прошу, милая, если maman еще разъ заговоритъ вамъ объ этомъ, повторите ей мои слова: мнѣ не нужно никакихъ *парюръ*... а эту—она подчеркнула,—я надѣюсь *никогда* не получить... Вы моихъ другихъ подарковъ еще не видѣли? перемѣнила она тутъ же разговоръ и подошла къ большому столу, стоявшему посреди комнаты.

Рядомъ съ портретомъ покойнаго князя Михайлы помѣща-

лась теперь въ стоячей, тонкой работы золотой рамкѣ небольшая картина Месонье, въ одно, какъ въ большинствѣ его картинъ, лицо. Это былъ старикъ воинъ, въ одеждѣ временъ Тридцатилѣтней войны, остановившійся предъ образомъ Мадонны, вставленнымъ надъ низкимъ входомъ готической башни. Чувство мастерства исполненія почти невозможныхъ для масляной кисти деталей, отличающаго спеціально этого художника, исчезало почти здѣсь, чтобы дать всецѣло мѣсто впечатлѣнію, производимому выраженіемъ умиленія, разлитаго по всему облику стараго рейтара. Картина была прелестна...

— Это князя Ларіона даръ, я увѣрена, равнодушно сказала Ольга (она ничего но понимала въ живописи). — „Это онъ самого себя ей поднесъ, молится ей же, въ видѣ Мадонны, и ботфорты для этого на себя натянулъ“, мысленно договорила себѣ барышня и закусила губу, чтобъ удержать смѣхъ, пронимавшій ее при этой мысли.

— Да, дяди! подтвердила княжна, не отводя глазъ отъ холста.

— А это отъ кого? воскликнула Ольга, указывая на шесть богато переплетенныхъ въ синій муаръ томовъ съ надписью *Пушкинъ* и вензелемъ Лины на корешкѣ. „Офеліи отъ Эльсинорскаго двора“, прочла она вытисненное золотыми буквами на верхней обложкѣ перваго изъ этихъ томовъ.

Княжна съ блестящими глазами обернулась къ ней:

— Это мнѣ наши актеры прислали; такъ мило съ ихъ стороны!... Лучшаго подарка они мнѣ сдѣлать не могли.

Ольга развернула книгу и на первой бѣлой страницѣ прочла слѣдующее:

Отъ мрачныхъ грезъ души Гамлета
Зоветъ къ себѣ васъ міръ иной,
Онъ близокъ вамъ, онъ вамъ родной:
Княжна, вы „свѣтлаго“ поэта
Поймете *свѣтлою* душой!

— Ахъ, я помню, воскликнула она,—какъ вы какъ-то за кулисами разъ говорили, что у васъ въ переѣздахъ изъ-за границы пропалъ какъ-то Пушкинъ и что теперь изданіе все вышло, и вы не можете себѣ опять достать... И monsieur

Духонинъ еще восхищался вашему выраженію, что „Пушкинъ такой *свѣтлый*“... Это потому въ стихахъ у нихъ сказано... „*Профессоръ*, должно быть, сочинилъ, оттого она такъ и счастлива!“ подумала тутъ же барышня.

Она ошиблась: Гундуровъ былъ тутъ ни при чемъ. Мысль поднести Пушкина княжнѣ обществомъ всѣхъ актеровъ *Гамлета* принадлежала Духонину, который, не менѣе самого нашего героя, оцѣнивалъ „особенныя словечки“ княжны и взялся достать и велѣть переплести въ Москвѣ экземпляръ въ ту пору уже дѣйствительно почти ненаходимыхъ сочиненій поэта *). По его же мысли, каждый изъ участвовавшихъ въ подаркѣ приписалъ своею рукой къ печатному тексту, кто стихъ, кто строфу, кто цѣлое стихотвореніе Пушкина, не пропущенные тогдашнею цензурой въ печати, но которые тогда хранились въ памяти чуть не у каждаго. Молодые люди посвятили этой работѣ двѣ ночи сряду:.. Рукой Гундурова прибавлены были въ стихотворенію *Деревня* извѣстныя, опальныя тогда, строки:

Увижу-ль наконецъ народъ освобожденный
И рабство падшее по манію царя, и проч.

Ему же поручено было написать „посвященіе“ княжнѣ, но онъ не сладилъ съ нимъ: субъективное его чувство къ ней такъ и пробивалось наружу сквозь каждую накиданную имъ строку. Онъ это понималъ—и отказался рѣшительно... Попробовали было и Ашанинъ, и Свищовъ, но у обоихъ у нихъ все выходило водевильнымъ куплетомъ; ихъ забраковали. „Посвященіе“ скропалъ наконецъ землемѣръ Постниковъ, скромный молодой человѣкъ, благоговѣвшій предъ Линой, съ тѣмъ оттѣнкомъ противъ Факирскаго, что онъ видѣлъ въ ней не „Жоржъ-Сандовскую героиню“, а „святую изъ Чети-Миней“. Его стихи, не смотря на довольно плохія ихъ рифмы, были единогласно аппробованы, какъ выражающіе общее всѣмъ впечатлѣніе, производимое Линой, и за тѣмъ на вклеенномъ нарочито для этого въ книгу листѣ бристольской бумаги пе-

*) Перваго изданія.

реписаны имъ великолѣпнымъ писарскимъ почеркомъ, со всевозможными росчерками и украшеніями перомъ...

— И въ какой тайнѣ, смѣялась Ольга,—держали это они всѣ!...

Ей вспомнился при этомъ Ашанинъ... и тутъ же, невѣдомо какимъ процессомъ, пронеслось у нея въ головѣ и сказалось мысленно: „противный!“ Она сжала брови...

— Къ завтраку уже второй разъ звонили! доложила въ это время „Lucrèce“, бережно укладывавшая на стульяхъ, за отсутствіемъ дивана въ кабинетѣ княжны, ея новое платье.

— Надобно итти, тамъ ужь пріѣхали гости, сказала Лина.

На лѣстницѣ Женни Карнаухова пропустила ее впередъ и, задержавъ Ольгу за руку, прошептала ей на ухо:

— Говори, ты знаешь, *кѣмъ* она занята?

Барышня усмѣхнулась, подумала...

— Знаю! сказала она.

— Кто же, кто, говори!...

— Не могу. Угадай сама!

— И угадаю! воскликнула княжна,—а ты, дрянь, отъ меня секретничаешь!... Ну, а твой, „le capitan“, расхохоталась она опять,—здѣсь, разумѣется?

— Здѣсь! не могла не разсмѣяться и Ольга.

— Послушай, „la barischnia“, это я тебѣ серьезно теперь говорю, вспомни мое слово: tu est trop ambitieuse, — жалѣть будешь!

— Мое дѣло! отрѣзала на это дѣвица Акулина и побѣжала отъ нея въ догонку Линѣ.

XLII.

Въ столовой—Аглая Константиновна была уже тамъ,—никто еще не принимался за ѣду, ожидая новорожденную. „Эльсинорскій дворъ“ въ полномъ составѣ своемъ, съ королемъ-Зяблинымъ во главѣ, пошелъ ей на встрѣчу, едва показалась она въ дверяхъ. „Бригантъ“ шагнулъ торжественно впередъ, склонилъ голову, изящно, по-балетному изогнулъ руки и поднесъ ей въ богатомъ портбуке большой букетъ, кайму котораго составлялъ двойной рядъ бѣлыхъ розъ и лилій, а средина была набрана изо всѣхъ тѣхъ полевыхъ цвѣтовъ и травъ, которые называетъ и раздаетъ окружающимъ Офелія въ сценѣ своего безумія: васильки, павилика, ноготки, маргаритки, дикій тминъ...

— Bravo, monsieur Зяблинъ, charmant le bouquet, charmant! крикнула ему со своего мѣста княгиня.

Но, къ удивленію ея, онъ отвѣчалъ ей на это далеко не обычнымъ ему, холоднымъ, почти недовольнымъ взглядомъ, обвелъ затѣмъ глазами кругомъ, какъ бы приглашая всѣхъ ко вниманію, и, обращаясь къ Линѣ, не успѣвшей еще выговорить слова, началъ вдругъ на распѣвъ своимъ сладкимъ, напоминавшимъ о сдобномъ тѣстѣ, голосомъ:

— О роза майская, Офелія! О ты...

Это было совершенно неожиданно. Въ программѣ нашихъ молодыхъ людей Зяблинъ долженъ былъ поднести княжнѣ этотъ букетъ отъ имени ихъ всѣхъ, и только; никакой рѣчи при этомъ не предполагалось. То, что онъ былъ намѣренъ, по-

видимому, проговорить ей теперь, шло, значитъ, единственно отъ него лично, а между тѣмъ могло быть понято „остальною публикой“, какъ нѣчто сочиненное сообща, или, по крайней мѣрѣ аппробованное ими... Безпокойно, съ недовѣрчивою или насмѣшливою улыбкой на лицахъ переглянулись актеры...

— О роза майская, Офелія! О ты,
Прелестнѣйшій цвѣтокъ во всей подлунной,
Ты, что̀ тоску, и грусть, и самый адъ....

— Помилуйте, чуть не вскрикнулъ Чижевскій, — да это онъ прямо изъ моей роли валяетъ!

„Шш, шш!“ раздалось со стороны „публики“.

„Бригантъ“ будто и не слышалъ; онъ откашлянулся и невозмутимо повторилъ:

— Ты, что̀ тоску, и грусть, и самый адъ...

Онъ при этомъ показалъ рукою на грудь и пустилъ мрачнымъ взглядомъ по направленію Аглаи Константиновны.

— Все въ красоту одну преобразила,
Прими отъ насъ, прими сіи цвѣты,
Благоуханные,

и онъ провелъ рукою по лиліямъ и розамъ букета,

и свѣжіе, какъ ты!

закончилъ Зяблинъ, ткнувъ уже пальцемъ въ средину полевыхъ цвѣтовъ, и нѣжно остановилъ свои воловьи глаза на княжнѣ.

Успѣхъ привѣтствія превзошелъ всякія ожиданія его счастливаго автора. Крики „браво“ и рукоплесканія „публики“ слились съ громкимъ смѣхомъ молодежи,—но это уже былъ одобрительный, лестный для Зяблина смѣхъ...

— Очень, очень недурно-съ, говорилъ ему поощрительно Духонинъ, — и проговорено такъ щеголевато, съ этою свойственною вамъ круглотой манеръ, cette rondeur...

Зяблинъ скромно только раскланивался направо и налѣво.

— Вы меня извините, съ легкою ядовитостью отнесся онъ

къ Чижевскому,—если я позволилъ себѣ позаимствовать, дѣйствительно, нѣсколько выраженій изъ вашей роли Лаерта, почитая ихъ... подходящими къ сюжету. Но вы замѣтили, надѣюсь, что... не все же изъ вашей роли... Я, конечно, не Лермонтовъ...

— Помилуйте, я никогда васъ въ этомъ и не обвинялъ, хохоталъ въ отвѣтъ молодой чиновникъ, добродушно пожимая ему при этомъ руки...

— Il a vraiment beaucoup de talent, monsieur Зяблинъ! глубокомысленно отпустила, въ свою очередь, княгиня Аглая стоявшему подлѣ нея графу Анисьеву.

— Beaucoup, beaucoup! подтвердилъ флигель-адъютантъ, знатокомъ покачивая голову, — des images, de la pointe... de la pointe surtout! А у насъ вообще... мы какъ-то этого не умѣемъ... говорилъ онъ, внимательно слѣдя между тѣмъ взоромъ за Линой.

Она направлялась къ матери, не успѣвая отвѣчать по пути на привѣтствія и поздравленія, сыпавшіеся ей со всѣхъ сторонъ. Какъ въ туманѣ мелькнулъ предъ ней нѣсколько блѣдный, но спокойный, показалось ей, обликъ Гундурова!— она не смѣла поднять на него глазъ... Онъ также, поняла она, не пойдетъ къ ней, не станетъ привлекать на себя вниманіе въ эту минуту...

— Mercі, maman, за вашъ подарокъ! Она нагнулась къ ея рукѣ...

— C'est une bagatelle, начала было Аглая Константиновна, съ намѣреніемъ по этому случаю сдѣлать дочери нѣкоторое внушеніе, но присутствіе Анисьева ее остановило:

— А графа ты не благодаришь? указала она на него съ умиленною улыбкой по его направленію,—онъ тебѣ, кажется, прислалъ...

— Очень вамъ благодарна! сказала ему Лина и медленно повела точеною своею головкой внизъ.

— А что же ты намъ его не покажешь, le cadeau du comte? уже игриво проговорила княгиня, перекидываясь отъ дочери къ молодому полковнику лукавымъ, въ намѣреніяхъ ея, взглядомъ,—voulez vous garder ses bonbons pour vous seule?

— О, безтолковая бабища! воскликнулъ мысленно флигель-адъютантъ, между тѣмъ какъ бѣдная Лина вся измѣнилась въ лицѣ...

— Княгиня, громко, почти рѣзко заговорилъ онъ,—я сгорѣлъ бы со стыда, если бы княжнѣ вздумалось обратить серьезное вниманіе на нѣсколько фунтовъ конфетъ, которыя я счелъ себѣ дозволеннымъ поднести ей, какъ дозволено это, кажется, сегодня каждому изъ вашихъ гостей? домолвилъ онъ съ большимъ тактомъ.—Ты видишь, я не навязываюсь! говорили прямо эти слова Линѣ.

Онъ второй разъ со вчерашняго дня выводилъ ее изъ труднаго, глупаго положенія, въ которое ставила ее маменька, и еще разъ должна она была заплатить ему за это благодарнымъ взглядомъ...

— Mais... j'ai dit cela pour plaisanter, mon cher comte! съ нѣсколько сконфуженнымъ смѣхомъ промолвила Аглая.— Mettons nous à table...

— Mam, J'm very angry! *) проговорилъ, подходя въ это время къ ней съ надутыми губами, князекъ, ея сынъ.

— Qu'avez vous, Basile?

— Зачѣмъ онъ,—Basile ткнулъ пальцемъ на усаживавшагося теперь за столъ Зяблина, — зачѣмъ онъ Линѣ подарилъ букетъ, когда я хотѣлъ?

— Что-жь такое; его твоему не мѣшаетъ? И княгиня подмигнула Анисьеву съ такимъ выраженіемъ, что „n'est ce pas comme il est gentil?“...

— У меня просто, а у него съ золотомъ! указалъ Basile на портбуке, который держала Лина въ рукѣ: — я не хочу, чтобы мой былъ хуже, я его бросилъ!

И онъ, чуть не плача, отправился на свое мѣсто...

— Здравствуйте, княгиня, поздравляю съ новорожденной!

— Ахъ, chère Jenny! громко удивилась хозяйка, — откуда вы?...

— Я сейчасъ вошла...

— А maman гдѣ?

---

*) Я очень сердитъ, мама.

— Она будетъ позднѣе. Меня привезъ братъ и уѣхалъ опять. Я уже давно здѣсь, разбудила pauvre Lina чуть не съ зарею, болтала и смѣялась княжна Карнаухова, посылая въ то же время дружескіе кивки знакомой молодежи по всему протяженію стола.—Они всѣ пріѣдутъ вмѣстѣ—и съ графиней Воротынцевой...

— La comtesse Tatiana Vorotintzef-Dariine? вся покраснѣвъ отъ радости, протянула Аглая во всю его длину имя этой звѣзды тогдашняго петербургскаго свѣта.—Она будетъ сюда? Изъ своего Дарьина? сегодня?

— Да! Она обожаетъ театръ. Maman ей говорила въ Москвѣ, что у васъ сегодня будетъ spectacle de société; ей ужасно захотѣлось, и maman сказала ей, что вы навѣрно будете очень рады, если она привезетъ ее къ вамъ...

— Votre mère est charmante comme toujours!... Да садитесь, Женни, chère... Гдѣ бы вамъ лучше?... Она уже и не знала, чѣмъ угодить, куда усадить это дорогую вѣстницу.

— Я вотъ сюда сяду, merci! возгласила княжна и бухнулась на стулъ подлѣ Анисьева,—мѣсто, предназначавшееся въ мысли княгини ея дочери.

— Здравствуйте, графъ! заговорила тотчасъ же съ нимъ она:—не ожидали меня встрѣтить здѣсь?

— Тѣмъ для меня счастливѣе! отвѣчалъ онъ, учтиво наклонясь.

— А для меня тѣмъ удивительнѣе! возразила она со смѣхомъ.—Что вы здѣсь дѣлаете?

— Какъ что? Онъ, улыбаясь тоже, но холодными глазами поглядѣлъ на нее сбоку.—Какъ видите, собираюсь чай пить и любуюсь вашею вѣчною веселостью. Откуда вы ее берете?

— А вы воображали, можетъ-быть, что, увидавъ васъ здѣсь, я такъ и упаду въ обморокъ? Ошиблись! Вы не можете себѣ представить, напротивъ, какъ это мнѣ весело!...

Въ ея тонѣ было что-то, что заставило его насторожить уши.

— Что же васъ именно такъ веселитъ? спросилъ онъ.

— А то... Женни не договорила и опять принялась смѣяться.

— Давно вы знакомы въ этомъ домѣ? спросила она.

— Матушка моя очень дружна была съ княгиней за границей, счелъ нужнымъ объяснить онъ.

— И вы то же?

— Что я?

— Очень были дружны съ княгиней за границей? передразнила она его сдержанный тонъ.

— Я былъ представленъ ей нынѣшнею зимой...

— Гдѣ это?

— Въ Москвѣ.

— А! Это, когда вы у насъ такъ часто бывали?... И мнѣ объ этомъ тогда ни слова не сказали?...

— Я не смѣлъ воображать себѣ, отвѣчалъ блестящій полковникъ, пуская въ ходъ свою многозначительную улыбку,— что васъ можетъ такъ интересовать малѣйшій изъ моихъ faits et gestes...

— Ахъ, пожалуйста, вскрикнула Женни,—pas de ces airs de fat avec moi! Я нисколько въ васъ не влюблена!

— Я такою несбыточною надеждой и не льстилъ себя никогда!

— Ни я, отпустила она, взбѣшенная его хладнокровною улыбкой,—ни я... ни еще кто-то!...

— Кто же это *еще* могло бы быть? И онъ уже строго остановилъ на ней глаза.

— Не *оно*, а *она! Та*, для которой вы сюда пріѣхали! выложила ему на чистоту, смѣло выдерживая его взглядъ, крупная княжна.

„Ah, ah, cela devient sérieux!“ подумалъ флигель-адъютантъ, поводя кругомъ себя въ то же время неизмѣнившимся взглядомъ, между тѣмъ какъ Женни, отвернувшись отъ него, посылала, теперь уже слегка краснѣя, поклонъ головой и глазами Чижевскому, давно не отрывавшему отъ нея взгляда съ противоположнаго конца стола...

— Какъ хороша ваша картина, дядя, какъ я вамъ благодарна за нее! говорила, усѣвшись подлѣ князя Ларіона, Лина,

Она давно у васъ? спросила она,—и въ груди у нея болѣзненно заныло вдругъ: она только теперь, въ этомъ близкомъ разстояніи отъ него, при утреннемъ свѣтѣ, замѣтила, какъ страшно перемѣнился онъ въ эти немного дней... Кожа отвисла на впавшихъ щекахъ, угрюмо выступали посѣдѣвшія брови надъ будто убѣгавшими куда-то глазами, губы словно измѣнили своему прежнему тонкому рисунку и старчески опускались на углахъ...

— Мнѣ уступилъ ее Смирновъ зимой, отвѣтилъ онъ;—я до Мессонье небольшой охотникъ самъ... Но сюжетъ, выраженіе... Я себѣ тогда же сказалъ, что она тебѣ должна понравиться...

— Вы добрый, дядя! сказала тихо Лина, опуская глаза въ свою тарелку: ей было больно глядѣть на него...

— Ты мнѣ простила? спросилъ онъ ее черезъ мигъ еще тише и дрожащимъ голосомъ.

— За что?

— За вчерашнее?...

— Ахъ, дядя! могла только проговорить она.

— Будь снисходительна!... Тебѣ не понять... И слава Богу! точно спохватился онъ... Но сразу, вдругъ это... это тяжело...

Онъ старался улыбнуться, но рука его, державшая щипцы для сахару, никакъ не попадала въ сахарницу, словно не видѣлъ онъ ея, или пальцы его переставали уже повиноваться его хотѣнію.

Княжна взяла у него щипцы и наложила сахару въ его большую чашку.

— Спасибо!... Mon bâton de vieillesse!... И онъ засмѣялся, будто просыпаясь...—Я, кажется, вздоръ тебѣ какой-то несъ сейчасъ?... Дай срокъ,—выростемъ, поправимся какъ-нибудь! договорилъ онъ, уже совсѣмъ овладѣвъ собою.

Графъ въ эту минуту показался въ дверяхъ столовой.

— Cher comte! возгласила хозяйка, вставая съ мѣста, — мы только-что сѣли.

Всѣ поднялись за нею...

— Садитесь, садитесь! выпятивъ впередъ губы и отмахи-

ваясь ладонями, любезно приглашалъ всѣхъ московскій правитель не прерывать для него завтрака.—Никогда не завтракаю! Зашелъ только поздравить новорожденную!... Милое дитя!...

И онъ своею быстрою, переваливавшеюся походкой пошелъ навстрѣчу спѣшившей къ нему Линѣ.

— Видите, какъ сказалъ, пріѣхалъ поздравить васъ! добродушно смѣялся онъ, пожимая и похлопывая своими пухлыми руками ея нѣжныя руки, — нарочно днемъ ранѣе изъ Нарцесова выѣхалъ!

— Я не знаю, какъ васъ за это и благодарить, графъ!

Онъ откинулъ ладони назадъ:

— Нѣтъ! Я очень радъ! Милое дитя!... А, шалунья! возгласилъ онъ, замѣтивъ быстроглазую Ольгу Акулину въ многочисленной группѣ „пулярокъ“,—Ольгу, которая до сей минуты, не отрывая взора, слѣдила издали за каждымъ движеніемъ изящнаго флигель-адъютанта.

Она вскинулась съ мѣста и побѣжала на голосъ старика. Она и въ немъ, повидимому, вызывала „искорки“: его китайское лицо размякло пуще прежняго; ладони принялись уже съ особеннымъ чувствомъ трепать и гладить ея всегда горячія руки...

— Очень радъ! Сегодня играть будете?

— Завтра, ваше сіятельство! отвѣчала она, поджимаясь и выпуская ему изъ-подъ рѣсницъ убійственнѣйшій *глазенапъ*, какъ выражалась Женни Карнаухова,—къ несчастію, только завтра!...

— Завтра? Не знаю!... Надо въ Москву!... Актеры все! засмѣялся онъ опять, обводя кругомъ стола своими узенькими глазами изъ-подъ словно-напухшихъ вѣкъ... — Ашанинъ! крикнулъ онъ, узнавая его,—пустомеля! Все шалберничаешь?

— Вашими молитвами, ваше сіятельство! комически отпустилъ ему въ отвѣтъ красавецъ, пользовавшійся почему-то особеннымъ расположеніемъ старика.

— Добрый малый! расхохотался тотъ, подмигнувъ невѣдомо къ чему при этомъ Ольгѣ Акулиной.

— Любезный графъ, обратился къ нему князь Ларіонъ

громкимъ голосомъ, со свойственною ему въ иныхъ случаяхъ нѣкоторою торжественностью,—позвольте воспользоваться вашимъ присутствіемъ въ Сицкомъ, чтобы представить вамъ одного изъ даровитѣйшихъ вашихъ московскихъ молодыхъ людей, о которомъ я впрочемъ уже имѣлъ случай говорить вамъ... Сергѣй Михайлычъ! обратился онъ къ изумившемуся Гундурову...

Онъ назвалъ его по фамиліи графу.

Молодой человѣкъ подошелъ съ нѣсколько нахмуреннымъ лицомъ. Ему крайне не нравилась эта неожиданная „выставка его на удивленіе публики“...

— Очень радъ! запѣлъ голосъ, — Ларіонъ мнѣ говорилъ. Профессоромъ *хочете* быть. Это хорошо! Отца зналъ! Майоръ, въ Клястицкомъ гусарскомъ полку служилъ. Веселая голова!

— Отецъ мой никогда въ военной службѣ не былъ, сказалъ Сергѣй.

— Не былъ? повторилъ графъ и тѣмъ же акаѳистомъ, какъ бы нисколько не принявъ это обстоятельство во вниманіе, продолжалъ о майорѣ-веселой головѣ:—подъ Фершампенуазомъ, вкатилъ себѣ лишняго,—и при этомъ графъ щелкнулъ себя пальцемъ по воротнику, — полѣзъ самъ-третей на Французовъ. Такъ его тутъ и положили... Хорошій малый былъ!... Очень радъ! сказалъ онъ еще разъ и подалъ Гундурову руку, — когда что нужно, приходи ко мнѣ! Что могу — сдѣлаю! Моя графиня будетъ очень рада. Актеръ!...

— Сергѣй Михайлычъ, я вполнѣ убѣжденъ, заговорилъ опять громко и какъ-то особенно отчетливо князь Ларіонъ, съ видимымъ намѣреніемъ, чтобъ его слышали,—принесетъ со временемъ честь и заведенію, гдѣ онъ получилъ образованіе, и городу, въ которомъ онъ родился. А потому, любезный графъ, нашъ стариковскій долгъ прокладывать такимъ молодымъ людямъ дорогу, насколько это въ нашихъ средствахъ.

— Всегда готовъ, пропѣлъ старецъ. — Ну, а теперь прощайте, словно осѣняя присутствующихъ своими поповскими ладонями, повелъ онъ ими кругомъ,—гулять иду... Знакомыя мѣста! Съ графомъ Барклаемъ (онъ тогда еще княземъ не

былъ,) въ Одиннадцатомъ году были здѣсь у твоего старика, продолжалъ онъ пѣть знакомую пѣсню князю Ларіону, провожавшему его до дверей...

Князь вернулся на свое мѣсто, подлѣ племянницы.

— Ну что, „поправились?“ спросилъ онъ ее съ почти веселою усмѣшкой.

— Онъ этого стоитъ, дядя, проговорила чуть слышно Лина.

Онъ не отвѣчалъ: онъ съ большимъ усиліемъ подавилъ вздохъ, вырывавшійся у него изъ груди...

А слова его между тѣмъ обратили на Гундурова общее вниманіе.

— Скажите, княжна, зашепталъ сосѣдкѣ своей графъ Анисьевъ, — кто этотъ фениксъ, отъ котораго, повидимому, Россія должна ждать себѣ спасенія?

— А вамъ ужь и досадно, что не отъ васъ одниxъ? отрѣзала ему Женни, оборачиваясь.

Онъ помолчалъ.

— Не объясните-ли вы мнѣ, спросилъ онъ затѣмъ, — за что на меня ваши гнѣвы?

— Я вамъ сказала: я самонадѣянности не сношу.

Флигель-адъютантъ тонко улыбнулся.

— А господинъ Чижевскій не самонадѣянъ? Онъ едва замѣтно мигнулъ въ сторону молодаго человѣка, продолжавшаго переглядываться съ княжною; онъ нѣсколько знакомъ былъ съ нимъ въ Москвѣ.

Женни вспыхнула. Онъ не далъ ей время отвѣтить:

— Или это, можетъ-быть, проронилъ онъ лукаво-невиннымъ тономъ,—съ одобренія княгини, матушки вашей?

— Я васъ терпѣть не могу! чуть не взвизгнула пылкая княжна.

— Вотъ ужь до чего! протянулъ онъ тѣмъ же тономъ.

— Да, да, я не шучу... и...

— Что „и“?... Онъ глянулъ на нее исподлобья.

— Я вамъ это докажу, храбрилась Женни.

Анисьевъ улыбнулся опять.

— Благодарю. Я это запишу себѣ въ книжку.

— Что вы запишете?

— Я вотъ, изволите видѣть, княжна, очень аккуратенъ: кто что̀ мнѣ и я что̀ кому долженъ, веду счетъ до малѣйшей подробности... и никогда не забываю, добавилъ онъ уже безъ смѣха.

Женни покосилась на него:

— Вы мстить мнѣ собираетесь?

— Fi donc! И онъ красивымъ движеніемъ провелъ рукой по усамъ: — кто же „мстить?“ Раз-чи-ты-ваются, объяснилъ придворный воинъ.

Образъ грозной мамаши мелькнулъ въ головѣ расходившейся дѣвицы. Анисьевъ, она знала, могъ быть опаснымъ врагомъ для каждаго. „У нихъ въ домѣ съ нимъ возились, какъ съ дорогимъ сокровищемъ какимъ-то... И у папа съ нимъ какіе-то счеты... Maman никогда бы не простила, если бы“...

Княжна вдругъ ужасно перепугалась...

— Зачѣмъ вы со мною не откровенны? уже дружески ему улыбаясь, сказала она:

— А вамъ откровенность требуется и съ моей стороны?

Она поняла:

— Съ той—никакой нѣтъ, живо проговорила она.

— Будто?

— Она такая! подтвердила Женни, кивая.

— Почему же вы... знаете, что...? не досказалъ онъ.

— Догадываюсь...

— И... и кто же? не сейчасъ спросилъ онъ опять.

— Не знаю рѣшительно.

— „Не фениксъ-ли ужь этотъ по ученой части?“ мелькнуло въ головѣ флигель-адъютанта:—„чего добраго! У нихъ въ Москвѣ и этотъ людъ туда же, на равной ногѣ со всѣми.“ И брови его на мигъ презрительно сжались. — И никто не знаетъ? вымолвилъ онъ какъ бы вскользь, но все тѣмъ же шопотомъ.

— Вотъ эта, кажется, знаетъ, отвѣчала также княжна,— противъ насъ, наискось... въ волосахъ пунцовая роза, выдала она Ольгу Елпидифоровну. Смѣтливая барышня поймала на-лету обращенный на нее взглядъ и многозначительно

улыбнулась: она давно угадывала, о чемъ у нихъ идетъ рѣчь...

— А, эта хорошенькая?

— Quel homme vous faites! вскликнула Женни:—съ вашими теперешними намѣреніями, а „хорошенькія“ все также у васъ на умѣ...

— Эхъ, княжна, языкъ мой — врагъ мой, наставительно замѣтилъ ей на это осторожный полковникъ, озираясь...

— Ничего, никто не слышитъ... Я предваряю васъ, сочла нужнымъ сообщить ему Женни, — она пребольшая кокетка. Отецъ ея исправникъ въ нашемъ уѣздѣ...

— Il me semble, что вы будто ссоритесь avec le comte, Jenny? крикнула ей со своего мѣста хозяйка дома съ искусственнымъ смѣхомъ: ее безпокоила эта продолжительная и, какъ ей казалось, слишкомъ „интимная“ бесѣда Женни съ блестящимъ Петербуржцемъ. Она сѣтовала на то, что онъ, „par politesse exagérée“, уступилъ мѣсто подлѣ нея, хозяйки, одному старику изъ „menu fretin“, а самъ усѣлся подалѣе и теперь болтаетъ съ этою княжной, „qui n'a pas le sou de dot“, нисколько не стараясь быть „assidu près de Lina, ma fille“...

— Мы толкуемъ съ нимъ о разведеніи цыплятъ, бойко отвѣтила ей на это княжна Карнаухова,—это мое спеціальное занятіе у насъ, въ Высокомъ.

— Toujours le mot pour rire, снисходительно ухмыльнулась княгиня Аглая и поднялась изъ-за стола.

XLIII.

Анисьевъ чувствовалъ, что „невозможная маменька“ такъ и ждетъ случая „аккапарировать его, какъ вчера“, а этого онъ боялся теперь пуще всего. Кромѣ раздирающей душу скуки, „отъ которой“, какъ выражался онъ мысленно, „можно изъ окна выскочить, а если останешься живъ, первому на улицѣ встрѣчному закатить въ рожу со злости“, — онъ ясно понималъ теперь, что ея назойливое покровительство портило его дѣла хуже всякаго чаемаго имъ соперничества... А что соперникъ ему былъ, въ томъ онъ уже не сомнѣвался. Вопросъ состоялъ теперь только, „насколько серьезенъ этотъ еще невѣдомый ему ривалъ“. Насколько могло быть серьезно чувство самой княжны, его пока мало заботило: „съ этимъ справиться всегда успѣешь“, говорила ему его ранняя житейская опытность...

— А пока уйти скорѣе и подалѣе отъ этой дуры, рѣшилъ онъ.

И, едва успѣла она встать, онъ, какъ за ширмы, скользнулъ за широкую спину старика-сосѣда и исчезъ изъ вида Аглаи прежде, чѣмъ успѣла она объ этомъ догадаться.

— Гдѣ здѣсь курятъ? спросилъ онъ съ учтивою улыбкой незнакомаго ему молодаго человѣка, вышедшаго за нимъ изъ столовой.

Это былъ Свищовъ.

— Гдѣ прикажете, поспѣшилъ отвѣтить онъ съ польщеннымъ чувствомъ: — тутъ, въ домѣ, внизу хозяйка намъ fumoir устроила, но мы больше въ саду куримъ, „подъ сводомъ неба голубымъ“...

— Что же, и прекрасно въ саду: погода чудесная!

Анисьевъ направился къ лѣстницѣ.

— Прикажете папироску?

— Благодарю васъ, у меня свои, сказалъ флигель-адъютантъ, не оборачиваясь.

Свищовъ тѣмъ не менѣе побѣжалъ за нимъ...

— Ну, ma chère, шептала между тѣмъ на ухо Лины, подбѣжавъ къ ней, княжна Карнаухова,—онъ, кажется, догадывается.

Брови Лины сдвинулись:

— Кто? О чемъ?

— Жоржъ Анисьевъ... о... о твоемъ,—ну, ты знаешь о комъ... Ты вѣдь не назвала мнѣ его?...

— Женни, сказала княжна,—разъ навсегда я прошу тебя мнѣ ни о чемъ подобномъ не говорить никогда!...

— Ахъ, ma chère, если это тебѣ не пріятно, вскликнула обиженнымъ голосомъ та,— сдѣлай милость! Для меня же лучше, одною заботой меньше!

И, быстро обернувшись, она тутъ же вскрикнула и расхохоталась, чуть не стукнувшись лбомъ съ Чижевскимъ, который давно, не менѣе чѣмъ она сама, сгоралъ желаніемъ „flirter un peu“ съ нею и подкрадывался къ ней для этой цѣли...

Въ дверяхъ столовой Лина, въ свою очередь, очутилась подлѣ Гундурова. У обоихъ у нихъ забилось при этомъ радостно сердце, какъ бы при встрѣчѣ послѣ долгой разлуки. Оба они, будто по командѣ, одновременно опустили глаза...

— Я Софью Ивановну за завтракомъ не видала; вы не знаете, что съ нею? торопливо проговорила она.

— Поздно встала и жалуется, что голова тяжела, сказалъ онъ.

— Я пойду ее навѣстить.

— Вы пойдете?... Надежда Ѳедоровна сидитъ у нея...

— Такъ что же?

Онъ не отвѣчалъ. Онъ не могъ себѣ дать отчета, для чего онъ это сказалъ. Ему только смутно казалось, что въ эту ми-

нуту, когда будетъ у тетки Лина, лучше, если бы не было тамъ Надежды Ѳедоровны...

Лина мелькомъ скользнула взоромъ по его лицу и прошла мимо.

Онъ пошелъ за остальными на балконъ, въ садъ... Вальковскій гудѣлъ уже тамъ, отфыркиваясь и отплевываясь отъ только-что сдѣланнаго Ашанинымъ предложенія „итти сейчасъ на сцену и прорепетовать кое-какіе слабыя сцены.“ Старый театральный мудрецъ и суевѣръ, онъ прежде всего почиталъ, что репетиція въ день спектакля „приноситъ несчастіе,“ а затѣмъ утверждалъ уже весьма основательно, что, хорошо или дурно пойдетъ эта репетиція, она уже тѣмъ вредна спектаклю, что утомитъ заранѣе актеровъ... Ашанинъ зналъ это также хорошо, какъ Вальковскій, но проповѣдовалъ теперь совсѣмъ иное. Онъ говорилъ, что вчерашняя репетиція *Гамлета* была нестерпимо вяла, что нужна непремѣнно еще одна, хотя бы не полная проба въ костюмахъ, чтобы не чувствовать себя въ нихъ „не собою“ вечеромъ, на спектаклѣ, и т. п. Дѣло въ томъ, что ему нужна была лично эта репетиція потому, что на нее придетъ Ольга Акулина, потому что онъ найдетъ тамъ минуту для объясненія съ этимъ „своенравнымъ созданіемъ,“—Ольга Акулина, съ которой произошло что-то необъяснимое, которая, видимо, съ неотразимымъ упорствомъ отводила отъ него глаза въ продолженіе цѣлаго завтрака, — Ольга Акулина, которая сейчасъ вотъ вскинулась и стремглавъ убѣжала отъ него прочь, когда онъ подошелъ къ ней, почти дрожа отъ волненія, онъ, Владиміръ Ашанинъ!... Какъ, думалъ онъ, едва коснувшись этой сладостной чаши, оторваться отъ нея навсегда! Не допить до дна того блаженства, когда на губахъ у него до сихъ поръ еще горитъ опьяняющій жаръ ея поцѣлуевъ?... И что это, что движетъ ее теперь: стыдъ, испугъ, досада... или, просто, одно изъ тѣхъ мгновенныхъ, капризныхъ, безсмысленныхъ противорѣчій, на которыя такъ падки женскія сердца, и съ которыми такъ легко и побѣдно справлялся до сихъ поръ московскій донъ-Жуанъ? Ашанинъ не узнавалъ самого себя: онъ былъ весь полонъ какой-то, давно ему ужь невѣдомой,

сердечной тревоги... „Да не влюбленъ-ли я ужь въ самомъ дѣлѣ?“ спрашивалъ онъ себя, вызывая на уста обычную ему насмѣшливую улыбку, но не находя въ то же время прежней насмѣшки въ глубинѣ своего существа...

Онъ горячо доказывалъ необходимость репетиціи и имѣлъ за себя большинство актеровъ: театральная зала въ Сицкомъ въ эти три недѣли успѣла сдѣлаться для нашей молодежи какимъ-то отечествомъ, которому служили они вѣрой и правдой: провести все утро безъ этой службы представлялось уже имъ какъ будто страннымъ...

„Фанатикъ“ отбивался и руками, и ногами, и ругалъ пріятеля „Володькой-безобразникомъ“ и „бревномъ несмыслящимъ“, къ великой потѣхѣ окружающихъ.

— По-моему, вмѣшался въ споръ Духонинъ,—*Гамлета* и точно надо оставить въ покоѣ до спектакля. Но вотъ на счетъ *Синичкина* (онъ игралъ въ немъ князя Вѣтринскаго,) я ужь не знаю... Неужели мы его еще разъ до завтра не прорепетуемъ?...

— Это значитъ, желчно отпустилъ на это „фанатикъ“,— изморись какъ собака утромъ на *Львѣ Гурычѣ*, а вечеромъ выходи вамъ бравымъ молодцомъ въ Розенкранцѣ?

— Такъ для тебя же выгоднѣе! Спустишь жиру съ костей, красивѣе станешь! поспѣшилъ замѣтить ему Ашанинъ, тотчасъ же сообразившій, что Ольга, игравшая главную женскую роль въ *Синичкинѣ*, обязана будетъ непремѣнно притти на репетицію.

— А и то, подумалъ „фанатикъ“, мегриръ фунтика еще на два не мѣшаетъ!...—Пожалуй, сказалъ онъ, какъ бы снисходя къ общему желанію,—*Льва Гурыча* репетичку сварганить можно черезъ часокъ времени.

Гундуровъ не слушалъ эти пренія. Закинувъ руки за спину, опустивъ голову, онъ кружилъ медленно и безшумно, какъ кружатъ звѣри въ клѣткѣ, все по одному направленію, кругомъ высокобившаго по случаю праздника фонтана въ саду, близъ котораго держали совѣщаніе его товарищи по театру. Въ немъ зрѣло какое-то намѣреніе, какое-то, видимо, не легкое для него рѣшеніе. Движеніе не вызывало крови къ его

лицу; она, напротивъ, вся будто приливала теперь къ его сердцу, и молодой человѣкъ безсознательно уже нѣсколько разъ подносилъ къ нему руку, какъ бы желая остановить его нестерпимое біеніе...

Онъ вдругъ остановился, поднялъ голову, сверкнулъ загорѣвшимися глазами и быстрымъ шагомъ направился по аллеѣ къ дому.

— Куда ты, Сережа? крикнулъ ему вслѣдъ Ашанинъ.

— Надо! коротко отвѣтилъ онъ, вбѣгая на мраморныя ступени балкона...

— Все это видѣлъ и слышалъ курившій тутъ же въ аллеѣ на скамьѣ „Жоржъ“ Анисьевъ, между тѣмъ какъ Свищовъ, стоя предъ нимъ и пуская дымъ своей сигары вверхъ, какъ бы не смѣя примѣшивать ея плебейскаго запаха къ аристократическому благовонію флигель-адъютантской папироски, передалъ ему съ грубымъ хохотаньемъ и подергиваньемъ плечъ о прелестяхъ нѣкоей „Марьи Ивановны“, танцовщицы, сводившей съ ума всѣхъ тогдашнихъ московскихъ балетомановъ...

— Ахъ, за тебя, Марія,

читалъ онъ нараспѣвъ посвященные этой очаровательницѣ однимъ изъ ея поклонниковъ стихи:

Ахъ, за тебя, Марія,
Пойду въ пономари я,
И гряну съ колокольни
Во всѣ страны околь...

— Это господинъ Гундуровъ, если не ошибаюсь? безцеремонно прервалъ его на полусловѣ петербургскій воинъ.

Свищовъ небрежно закинулъ голову за плечо:

— Онъ самый!...

— Готовитъ себя въ профессоры, кажется?...

— Да... изъ педантовъ!... *Les femmes savantes* Мольера помните? припуталъ невѣдомо къ чему Свищовъ.

Анисьевъ помолчалъ, закурилъ новую папироску:

— Гундуровы, вѣдь это, кажется, старая дворянская фамилія? какъ бы проронилъ онъ затѣмъ.

— Отъ Михаила будто Черниговскаго родъ ведутъ... А я, по рожѣ его судя, такъ полагаю, что развѣ отъ Чухны какого-нибудь! хихикнулъ нахалъ.

Брюзгливая усмѣшка скользнула ему въ отвѣтъ по лицу флигель-адъютанта:

— И состояніе есть?

— Прекрасное; въ нашемъ уѣздѣ душъ пятьсотъ незаложенныхъ... Въ рубашкѣ родился, болванъ! ругнулъ по этому случаю Гундурова Свищовъ, вспоминая, что назначавшіяся на уплату процентовъ за его собственное имѣніе въ опекунскій совѣтъ деньги проиграны имъ были недавно Волжинскому, и сердито швырнулъ въ цвѣты свою еще недокуренную сигару.

— Въ здѣшнемъ домѣ его, повидимому, очень цѣнятъ? тонко ухмыляясь и взглянувъ на него вскользь, пропустилъ полковникъ.

— То-есть, это вы полагаете по тому, что̀ сказалъ о немъ графу князь Ларіонъ Васильичъ! Такъ мало-ли что̀ онъ говоритъ! На то „онъ дипломатъ и языкомъ владѣетъ, чтобъ мысль свою таить“, пропѣлъ Свищовъ изъ какого-то водевиля:—а сунься-ка вотъ тотъ къ нему съ чѣмъ-нибудь серьезнымъ...

— Съ чѣмъ же, напримѣръ? небрежнымъ тономъ спросилъ его собесѣдникъ.

Свищовъ осторожно оглянулся...

— Да хоть бы насчетъ сегодняшней новорожденной, сказалъ онъ, подмигивая.

— А! А развѣ?...

— Какъ же! Чортъ ему не братъ! Млѣетъ! Млѣемъ-то, по правдѣ сказать, всѣ мы соборнѣ, прервалъ себя Свищовъ,— поводъ пріѣзда Анисьева въ Сицкое былъ ему вѣдомъ, какъ и всему дому, и онъ считалъ нужнымъ отозваться какъ можно лестнѣе о княжнѣ предъ такимъ „претендателемъ“,—потому она дѣйствительно дѣвушка...

— Безподобная, сколько я понимаю! поощрительно подсказалъ придворный воинъ.

— Да-съ! Первый сортъ жёнь-персонъ и—въ нѣкоторомъ

родѣ Жуковскаго *Ундина!* разразился своимъ грубымъ смѣхомъ тотъ...—И мы всѣ, говорю, соборнѣ, предъ нею головами во прахъ, млѣемъ, знаете на благородномъ, такъ сказать, разстояніи... Ну, а онъ, губа-то не дура, въ серьезъ лѣзетъ!...

— Вотъ какъ! добродушно уже смѣялся Петербуржецъ.— И ему благосклонно внимаютъ? разсѣянно проговорилъ онъ, сощелкивая пальцемъ съ рукава упавшую на него табачную золу.

Свищовъ пріостановился отвѣтомъ: онъ соображалъ, что могло быть для него выгоднѣе: успокоить, или настращать этого блистательнаго „петербургскаго преторіанца“, съ которымъ ему страхъ какъ хотѣлось свести ближайшую дружбу...

— Это впрочемъ насъ не касается, нежданно для него заключилъ этотъ „преторіанецъ“, быстро подымаясь со скамьи:—дамскія тайны надо уважать, досказалъ онъ съ легкимъ смѣхомъ.

Онъ слегка потянулся, зѣвнулъ; его бѣлые зубы какъ-то весело при этомъ блеснули на солнцѣ изъ-подъ приподнятыхъ усовъ:

— Надо еще у себя кое-чѣмъ заняться!...

И, небрежно приподнявъ фуражку, онъ съ мѣста легкою и мѣрною походкой зашагалъ по аллеѣ, скрипя по песку лакированными сапогами.

Свищовъ только ротъ разинулъ.

XLIV.

Подъ нетерпѣливою, горячею рукой Гундурова дверь къ его теткѣ широко растворилась.

Надежды Ѳедоровны въ комнатѣ не было. На диванѣ предъ большимъ круглымъ столомъ сидѣла Софья Ивановна въ чепцѣ, съ невеселымъ лицомъ. Противъ нея, спиною къ двери, опираясь рукой о край стола, стояла Лина, собиравшаяся повидимому уходить.

Она обернулась на шумъ, увидѣла входящаго и поблѣднѣла, какъ листъ почтовой бумаги.

Онъ еще не выговорилъ слова, а она знала, зачѣмъ онъ вошелъ, чего онъ хочетъ, что̀ значило это еще невиданное ею на лицѣ его выраженіе.

И Софья Ивановна поняла тоже.

— Что̀ тебѣ нужно, Сережа? спросила она, вся выпрямляясь и хмуря брови, въ надеждѣ скрыть свое смущеніе.

Онъ какъ бы не слышалъ.

— Елена Михайловна, проговорилъ онъ едва дыша (онъ бѣгомъ, не останавливаясь, вбѣжалъ въ третій этажъ), между тѣмъ какъ она безсознательно ухватилась за рѣзную ручку стоявшаго подлѣ нея старомоднаго готическаго кресла и опускалась въ него, трепетная и безмолвная,—Елена Михайловна, повторилъ онъ,—то, что̀ я рѣшаюсь вамъ сказать... спросить васъ... Я нарочно при тетушкѣ... Она знаетъ... Въ этомъ недоумѣніи можно... можно̀ съ ума сойти!

Онъ остановился передохнуть. Софья Ивановна подвинулась къ столу, судорожно прижимаясь грудью къ его краю и глядя на племянника широко раскрытыми глазами въ глаза.

— Тетушка все знаетъ, повторилъ онъ, — а я не могу... Эта пытка выше силъ моихъ. Я...

— Чего же ты хочешь, Сережа? лихорадочно волнуясь, не дала ему досказать Софья Ивановна.

Лина повернула къ ней голову, какъ бы приглашая ее не прерывать его. Эта минута—она была неизбѣжна. Рано или поздно, она знала, ей надо было пережить ея муку.

— До вчерашняго дня, началъ снова Сергѣй, дѣлая непомѣрныя усилія, чтобы совладать со своимъ, то-и-дѣло обрывавшимся отъ волненія голосомъ,—между нами не было сказано ни одного слова, Елена Михайловна. Но вы, вы не могли не знать... Съ первой встрѣчи, съ перваго, кажется, услышаннаго мною звука вашего голоса я... я былъ унесенъ... Я понялъ, что вы—и уже никто никогда болѣе въ жизни... Я не говорилъ... не смѣлъ, я не знаю, что̀ сильнѣе говоритъ во мнѣ: обожаніе или благоговѣніе мое къ вамъ! вырвалось у него съ неудержимою силой.

— Къ чему это, Сережа! съ мучительною тоской въ голосѣ попыталась прервать его опять Софья Ивановна, между тѣмъ какъ Лина, недвижная въ креслѣ своемъ, неотступно и жадно глядѣла на него.

— Оставьте... чуть слышно промолвила она.

— Но то, что̀ вы сказали мнѣ вчера, княжна, когда пріѣхалъ... этотъ... петербургскій... даетъ мнѣ право... Я понялъ, ваши родные выбрали, вызвали сюда этого человѣка... Но вы? ради Бога! говорите, вы сами?...

— Я не пойду за него, твердо произнесла Лина, не отводя отъ Гундурова своихъ глубокихъ, васильковыхъ глазъ.

— Не пойдете! вскрикнула Софья Ивановна и тутъ же испуганно воззрилась на племянника.

Онъ зашатался, какъ бы ошеломленный блескомъ молніи, мгновеннымъ блескомъ провидѣннаго сквозь тьму безконечнаго, лучезарнаго счастія.

Софья Ивановна вскочила съ мѣста. Лина откинулась въ спинку своего высокаго кресла и закрыла лицо обѣими руками.

Онъ совладалъ съ собою и безшумно опустился на стулъ

противъ нея, высоко дыша и съ судорожнымъ помаргиваніемъ вѣкъ, отъ котораго все предъ нимъ двоилось и какъ бы застилалось туманомъ; но голосъ его зазвучалъ ровнѣе, мысли цѣплялись послѣдовательнѣе одна за другую.

— Мы знакомы три недѣли, княжна, а для меня будто прошли года съ тѣхъ поръ, будто ни одного дня въ жизни не было у меня безъ васъ... Въ нашихъ разговорахъ съ вами, или если случалось мнѣ при васъ разсуждать съ другими, я чувствовалъ у васъ неизмѣнный откликъ на мои слова, на мои вѣрованія... Все въ васъ говорило мнѣ о сочувствіи, о довѣріи... А довѣріе, а любовь, Елена Михайловна, не это-ли называется счастіемъ на этой землѣ?

— Да перестанешь-ли ты! сама едва сдерживая слезы, топнула на него тетка:—погляди на нее!

Блѣдныя руки Лины недвижимо теперь лежали на ея колѣняхъ; она глядѣла на Гундурова съ выраженіемъ безмѣрной печали.

„Счастіе...“ Онъ смѣлъ говорить о счастіи!... Вся тщета его увлеченія говорила ему теперь въ этихъ помертвѣлыхъ рукахъ, въ этой безотрадности взгляда. Разговоръ его съ княземъ Ларіономъ припомнился ему разомъ отъ слова до слова.

Онъ кинулся къ ней.

— Елена Михайловна, ради Бога, неужели надежды нѣтъ?

— Попробуйте! проговорила она, все глядя и какъ бы не имѣя уже силы не глядѣть на него.

— Ваша матушка?...

Она тоскливо опустила голову внизъ.

— Послушайте, милые мои, вмѣшалась Софья Ивановна,— дѣло у васъ зашло такъ далеко... Господи, могла-ли я этого ожидать... такъ внезапно! Зашло такъ далеко... Пора объ этомъ поговорить толкомъ... Ахъ, ты моя дорогая, бѣдная,— не совладавъ съ собою, кинулась вдругъ Софья Ивановна на шею Лины и залилась слезами.

— Ну, довольно, довольно! Она также быстро откинулась отъ княжны, опустилась на свой диванъ, торопливо нюхнула ихъ своей золотой табакерки и съ полными еще слезъ глазами заговорила опять:—такія сцены никуда не годны; и очень

нужно было тебѣ! погрозила она пальцемъ Сергѣю. — А я вотъ что̀, моя дорогая, сдѣлаю, обратилась она опять къ княжнѣ,—я завтра же поговорю съ вашею матушкой. У нея могутъ быть, конечно, свои виды... Но скажемъ и такъ: Гундуровы вѣдь не съ улицы, не первые встрѣчные. Сережа родомъ Шастуновымъ не уступитъ. А богатства вашего, милая, ему не нужно, да и вамъ также, сколько я могла замѣтить. Вамъ на бѣдныхъ развѣ деньги нужны,—такъ? Такъ у насъ съ нимъ всегда на это найдется... А я всегда даже боялась большаго богатства для Сережи: совѣстно какъ-то, да и человѣкъ будто при немъ глупый становится, уже смѣялась Софья Ивановна.—Такъ я все это такъ завтра вашей maman и скажу!... Ну, а если она слишкомъ заартачится, я за князя Ларіона примусь; что̀ бы онъ тамъ ни думалъ, а все же онъ пойметъ скорѣе, я такъ полагаю... Вы какъ думаете, милая?

— Дядя? сказала Лина, и слабый румянецъ зардѣлся на ея блѣдныхъ щекахъ:—онъ... да... онъ даже сегодня...

— Онъ васъ такъ любитъ!

— Да... любитъ, повторила она съ какою-то странною въ эту минуту задумчивостью.

— И если онъ будетъ знать... что это ваше желаніе?

— Онъ знаетъ.

— И что̀ же?

— Онъ... Я надѣюсь... да, молвила княжна,—онъ будетъ говорить maman,

— И прекрасно! начала было Софья Ивановна.

Гундуровъ перебилъ ее,—въ душѣ его все сильнѣе теперь росла тревога:

— Елена Михайловна, ради Бога, скажите прямо: надѣетесь-ли вы на заступничество князя Ларіона Васильевича?

Она приподняла голову:

— Да, онъ заступится!...

— И... вы надѣетесь... съ успѣхомъ?

— Нѣтъ! сказала она.

— Нѣтъ?... У него сердце упало...—А... а тогда же что̀? пробормоталъ онъ, заикаясь...

„Вотъ оно когда пришло!“ мучительно сказалось въ душѣ Лины.

— Я противъ воли maman не пойду! услышалъ приговоръ свой Гундуровъ...

Въ глазахъ у него помутилось...

— Княжна! воскликнулъ онъ съ неудержимою страстью,— но какъ же жить тогда? Вѣдь плаха, вѣдь дыба, все легче этого!...

Лина, Лина!...

Дверь распахнулась. На порогѣ ея показалась запыхавшаяся Ольга Елпидифоровна.

— Pardon, madame! извинилась она, присѣдая предъ хозяйкою покоя и, быстро обѣжавъ взглядомъ присутствующихъ, угадывая въ общихъ чертахъ смыслъ произошедшей здѣсь сцены:—Lina, chère, васъ ищутъ по всему дому, княгиня сердится: пріѣхали Карнауховы, и съ ними эта петербургская графиня. Вотъ очаровательная женщина!... Пойдемте скорѣе, пойдемъ!...

И съ новыми „pardon, madame,“ и присѣданіемъ она ухватила изнемогшую отъ волненія и тоски Лину подъ талію, подняла ее почти силой изъ ея готическаго кресла и потащила съ собой изъ комнаты.

XLV.

Бывало, бывало,
Какъ все расцвѣтало,

слышалось изъ гостиной...

За роялемъ сидѣлъ Толя Карнауховъ, студентъ лѣтъ восемнадцати, и пѣлъ романсъ. „Музыкальность“ составляла одну изъ спеціальностей его семейства, вслѣдствіе чего даже эта вѣтвь Карнауховыхъ прозывалась въ Москвѣ „придворными фаготами“, въ отличіе отъ другой, захудалой ихъ вѣтви, члены которой носили плебейское прозвище „пучеглазыхъ“, „возковъ съ фонарями“—тожь... Толя пѣлъ съ необыкновеннымъ выраженіемъ; онъ то закатывалъ до бѣлка глаза свои въ потолокъ, то поводилъ ими кругомъ съ такимъ жалостнымъ видомъ, будто просилъ у слушателей милостыни; въ соотвѣтствіе съ этимъ и голосъ его, наусканно-страстный и хриплый не по лѣтамъ, то неистово дребезжалъ на недосягаемыхъ нотахъ, то изнывалъ до такого morendo, что можно было думать—пѣвецъ и впрямь вотъ-вотъ сейчасъ свалится, бездыханный, со стула...

Матушка его, извѣстная тогда princesse Dodo, домъ которой въ Москвѣ былъ, какъ называла она его сама, „un petit coin de Pétersbourg transporté à Moscou“, а какъ звала его дочь ея Женни (представлявшая собою вообще въ семьѣ элементъ протеста и мятежа) „подворье для петербургскихъ *аксельбантовъ*“, — princesse Dodo, маленькая и сморщенная, подперевъ рукой острый подбородокъ и опустивъ еще красивые глаза въ колѣни, покачивала въ тактъ пѣнію сына исхудалою головой, повязанною кружевной косынкой à la Fanchon.

„Trop de coeur, ce garcon"! вздохнула она, когда онъ кончилъ, оборачиваясь съ грустною улыбкой на давно изсохшихъ губахъ къ сидѣвшей подлѣ нея „петербургской графинѣ"...

„Весь въ меня; потому и я — trop de coeur!" словно говорили этотъ вздохъ, эта улыбка.

Она въ свое время славилась пикантною красотой и остроуміемъ. Петербургская уроженка, по смерти сановнаго отца, переселившаяся оттуда à contre-coeur съ матерью въ Москву, она оставила на берегахъ Невы довольно большое число родства и связей, „поддерживаніе" которыхъ составляло главную цѣль ея жизни... За мужа своего, богатенькаго отставнаго весельчака и картежника, вышла она по любви. Она принесла ему въ приданое свои „aboutissants à Pétérsbourg" и свои вѣчныя болѣсти, страшно ревновала его и употребляла всякія усилія и разсчеты устраивать ему по вечерамъ „выгодную партію", чтобъ удержать его дома при себѣ. Но легковѣрный „Лоло", князь Алексѣй, супругъ ея, находилъ средство измѣнять ей и въ теченіе дня, а по вечерамъ болѣе проигрывалъ, чѣмъ выигрывалъ; крупная и бунтующая Женни, не смотря на маменькины „aboutissants", уже четвертый годъ не находила себѣ мужа ни въ Петербургѣ, ни въ Москвѣ, а съ ея собственнымъ mal de dos самъ „прелестный Александръ Иванычъ Оверъ" ничего подѣлать не могъ... Princesse Dodo чувствовала себя глубоко несчастною... Одинъ Толя, старшій изъ ея сыновей, и нравственно, и наружно созданный ею во образъ свой и подобіе, котораго готовила она на службу „по дипломатической части", представлялся ей въ видѣ спасательнаго маяка, загоравшійся пламень котораго обѣщалъ ея вѣчно больному тщеславію заблистать на всю Россію никогда еще невиданными огнями...

— Trop de coeur, ce garçon! сказала она еще разъ, не дождавшись на первый отвѣта отъ своей сосѣдки.

— Gare l'anévrisme, ma chère! умѣряя мягкостью улыбки то, что по сущности должно было прійтись не по вкусу ея собесѣдницѣ, отвѣтила ей теперь графиня.

Это была въ самомъ дѣлѣ „очаровательная" женщина...

Въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ она была *идоломъ* Петербурга въ полномъ значеніи этого слова. Въ ту эпоху замкнутости и нѣмоты ее всѣ знали: она была на языкѣ у всѣхъ, ее воспѣвали поэты, грезы молодежи полны были ею. Она была царицею, неоспоримою царицей граціи, изящества, моды. Отъ дворцовыхъ вершинъ и до бородача-купца, мимо котораго морознымъ яснымъ днемъ мчались ея сани по Невскому проспекту, все какъ бы чувствовало на себѣ обаяніе ея прелести, ея власти. „Графиня Воротынцева"—произносилось съ особенною улыбкой, какъ бы всѣмъ близкій, всѣмъ любезный лозунгъ... Разсказы о ней, ея мѣткія *слова* доносились до самыхъ глухихъ угловъ города, до далекихъ провинціальныхъ весей и селъ... Ея входа въ ложу ждали бывало въ театрѣ, какъ „букета" въ фейерверкѣ, какъ нѣчто, безъ чего ни Bressant съ Louise Mayer въ „*Le démon de la nuit*", ни эта сіяющая Михайловская зала съ ея дипломатами и министрами, съ ея свѣтскими и иными красавицами, не имѣли ни для кого ни смысла, ни цѣны, и слышно проносились сверху до нижнихъ ярусовъ, когда появлялась наконецъ она, шуршанье задвигавшихся рукъ и глухой лязгъ колецъ о бинокли, изо всѣхъ концовъ подымавшіеся на ту ложу... „Графиня Воротынцева"!...

А между тѣмъ ее даже нельзя было назвать *красавицей*, эту не высокую, смугловатую женщину, съ ея приподнятыми, какъ у сфинкса на углахъ, полустрастными, полунедовѣрчивыми темными глазами и неправильными чертами капризнаго лица... но прошло и пройдетъ еще много лѣтъ, пока другой женщинѣ достанутся въ удѣлъ тотъ успѣхъ, тѣ дани восторженнаго поклоненія, то торжество очарованія, какія дано было испытать этой блистательной и быстро минувшей жизни... „Сердца неслись къ ея престолу" не даромъ: она была живое существо среди окружавшихъ ее призраковъ и куколъ, и далеко отстоявшая отъ нея толпа угадывала, въ этой уносимой свѣтскимъ вихремъ женщинѣ, гордую независимость ея мысли, чувства и дѣлъ, и откликалась ей...

Годовой трауръ ея по мужѣ недавно истекъ. Она все время его провела въ своемъ Дарьинѣ, въ ста верстахъ отъ

Москвы, и въ первый разъ сегодня появлялась въ обществѣ. Она была одѣта очень просто, по-утреннему: въ лѣтнемъ, небѣленаго холста платьѣ, убранномъ лентами моднаго тогда цвѣта mauve, и съ такими же лентами на маленькомъ кружевномъ чепцѣ, приколотомъ надъ самою косой.

— Еще разъ, милый князь, говорила она сидѣвшему по другую ея сторону князю Ларіону,—какъ я рада васъ видѣть! Когда это вы оставили Петербургъ? Два года тому назадъ?... Два года! повторила она, и неуловимое что-то пробѣжало по ея лицу.—И встрѣчаемся сегодня здѣсь, въ тихой пристани, comme deux ermites, ayant renoncé à Satan, à ses pompes et à ses oeuvres? промолвила она съ невеселымъ смѣхомъ.

— Мнѣ давно пора, улыбнулся также невесело и князь, но вы...

— Я? Мнѣ тридцать шесть! F, i, fi, c'est fini! Къ тому же тамъ... Я никогда *туда* не вернусь! поспѣшила она досказать, какъ бы считая лишнимъ распространяться.

— Не шутя?

Она закачала головой:

— Никогда!

И странно зазвучало въ устахъ ея это восклицаніе. Въ немъ сказывалось какъ будто безповоротное и мучительное „прости“ этой исчезающей молодости, и горькая насмѣшка ея былымъ очарованіямъ, и не изсякнувшая жажда чего-то новаго, иного, еще неизвѣданнаго ею...

— А все же изъ „тихой пристани“ куда-нибудь да сбираетесь искать новыхъ бурь? спросилъ ее участливо и шутливо князь Ларіонъ:—въ какія же страны?

Она повела плечомъ:

— Chi lo sá!... *) Во всякомъ случаѣ туда, гдѣ солнце дольше грѣетъ и гдѣ дышать легче, примолвила она, освѣтивъ его горячимъ свѣтомъ своихъ умныхъ, говорившихъ глазъ.—Et vous, milord Walpole? спросила она, въ свою очередь, давая ему кличку, подъ которой онъ значился въ иныхъ петербургскихъ салонахъ.

---

*) Кто это знаетъ.

Появленіе Лины избавило его отъ скучнаго, чтобы не сказать тяжелаго для него, отвѣта... Бѣдная дѣвушка едва успѣла оправиться. Благодаря Ольгѣ Елпидифоровнѣ, быстро увлекавшей ее за собою по лѣстницамъ и корридорамъ, легкій румянецъ вернулся на ея щеки, исчезли слѣды слезъ...

— Madame la comtesse, voici ma fille que je me fais un honneur de vous présenter! съ паѳосомъ возгласила княгиня Аглая, которую князь „Лоло“, счастливый супругъ княгини Додо, потѣшалъ до сего какою-то нескончаемою московскою сплетней.

Все поднялось въ гостиной...

Графиня Воротынцева живо обернулась на своемъ креслѣ, увидала Лину и также быстро протянула ей обѣ руки.

Лина поспѣшила къ ней...

— Знаете-ли, что я васъ уже люблю! говорила ей гостья своимъ обаятельнымъ голосомъ, ласково, почти нѣжно глядя ей въ лицо и не выпуская ея рукъ.

— А васъ, графиня, вы знаете, васъ „не любить не возможно“! отвѣчала благодарно княжна двумя словами изъ извѣстнаго стихотворенія, вдохновленнаго этою прелестною женщиной,—одного изъ любимыхъ стихотвореній Гундурова.

Графиня весело замигала, продолжая любоваться ею:

— Non, vraiment, vous êtes charmante!... Садитесь подлѣ меня,—она со свойственною ей живостью откатила свое кресло назадъ и указала ей стулъ подлѣ себя,—поговоримъ!... И прошу намъ не мѣшать! замахала она Карноуховымъ, отцу и сыну, направлявшимся къ Линѣ съ цѣлью поздравленія со днемъ рожденія, между тѣмъ какъ Додо съ мѣста посылала ей ручкой въ тѣхъ же цѣляхъ привѣтственно-сердечные по намѣренію, но кисло-печальные по исполненію поцѣлуи.—Она знаетъ, что вы имѣете ей сказать, и благодаритъ васъ de confiance...

Папаша съ сыномъ расшаркались издали, смѣясь, и отошли: папаша — къ кому-то изъ сосѣдей, сынокъ — къ Ольгѣ Елпидифововнѣ, усѣвшейся за роялемъ, откуда она могла свободно и незамѣтно изучать каждое движеніе и каждую склад-

ку „неподражаемой петербургской grande dame", какъ выражалась она о ней мысленно.

— Розалинда мечты моей, мой вамъ привѣтъ и поклоненіе! произнесъ, обращаясь къ Ольгѣ Елпидифоровнѣ, нараспѣвъ маленькій и тощій Толя, топырясь на высокихъ каблукахъ, которыми онъ молодцовато прихлопнулъ одинъ о другой, раскланиваясь предъ барышней.

— Ахъ, Боже мой, засмѣялась она:—съ какихъ это поръ я ваша Розалинда какая-то?

— Нынѣ, присно и во вѣки волковъ! отвѣтилъ Толя.

— Что такое?

— Не обращайте вниманія! Это легкая побѣжка въ цвѣтникъ Шекспировскаго остроумія. Я теперь брежу Шекспиромъ! Я утопаю въ спиртѣ — разумѣй: духѣ — безсмертнаго Шекспира. Читали вы его *Love's labours lost*, о Розалинда?

— Какое это вы старье сейчасъ пѣли? перебила его Ольга:—могли бы подновить репертуаръ... И она принялась снова изучать „петербургскую графиню". — Вотъ ужь прелесть женщина, можно сказать! восхищалась она громко.—Надѣюсь, что вы отъ нея безъ ума, какъ и я?

Толя приложилъ правую руку къ лѣвому боку и отпустилъ стихами:

На небѣ много звѣздъ прелестныхъ,
— Альдебаранъ и Вега есть,—
Кого-то межъ сестеръ небесныхъ
Укажетъ сердце предпочесть?

— Это вы, кажется, у Пушкина украли? спросила его барышня черезъ плечо.

— У геніальнаго, въ нѣкоторомъ родѣ, буржуа, Александра Сергѣева? Могимъ-съ! Прикажете у самой туманной Діаны носъ откусить? Тоже всегда, конечно, съ моимъ удовольствіемъ...

— Послушайте, Анатолій Алексѣичъ, вы мнѣ надоѣли, сказала Ольга;—je n'aime pas ce ton! примолвила она такъ, какъ въ ея воображеніи должна была бы сказать это на ея мѣстѣ „она, эта петербургская царица". Вы скажите лучше: знаете ли вы графа Анисьева?

— Жоржа?

— Да, кажется, его Жоржемъ зовутъ.

— Онъ мой другъ! возгласилъ безбородый студентъ.—А вы къ чему спросили, убійственноокая Розалинда?

— Я съ нимъ познакомилась.

— Гдѣ?

— Здѣсь.

— Какъ здѣсь? вскрикнулъ онъ.

— Да, онъ вчера пріѣхалъ. И смышленая особа лукаво воззрилась на юношу. Она изъ прошлогднихъ откровенностей ей Женни очень хорошо понимала, что пріѣздъ теперь Анисьева въ Сицкое „ножъ вострый“ для Карнауховыхъ, которыхъ она въ душѣ терпѣть не могла, и ликовала про себя.

Толя вытянулъ длинное лицо, просунувъ даже между губъ кончикъ своего языка и повелъ глазами въ сторону, гдѣ сидѣла его мать. Она, ничего, видимо, еще не зная объ Анисьевѣ, расточала свои любезности и, очевидно, насчетъ ея дочери, хозяйкѣ дома, подлѣ которой усѣлась она. Женни, бывшая тутъ же въ гостиной, степенно разговаривала со старичкомъ, армейскимъ генераломъ, бригада котораго расположена въ окрестностяхъ Сицкаго.

— А гдѣ же онъ скрывается, коварный мой, но сердцу милый другъ? обратился студентъ къ барышнѣ, уже успѣвъ наладить себя на прежній шутовской пошибъ.

— Не знаю. Онъ завтракалъ съ нами, потомъ изчезъ. Я сама удивляюсь...

— Позвольте же мнѣ, о Розалинда безумной мечты, направить къ нему крылья воздружества и подошвы нетерпѣнія!

— Ахъ, сдѣлайте милость! Ступайте, ступайте и приводите его скорѣй сюда!

Онъ прошелъ мимо сестры, кинулъ ей многозначительный взглядъ, на что̀ она, понявъ, отвѣчала ему движеніемъ губъ: „что̀ мнѣ, молъ, дѣлать“, и вышелъ незамѣченный изъ комнаты.

— Et vous n'êtes pas heureuse, vous savez? неожиданно для Лины сказалось у петербургской гостьи послѣ четверти

часа бесѣды, въ продолженіе которой она, не отводя внимательнаго взора отъ дѣвушки, изучала каждую черту ея лица. — Я васъ не спрашиваю—что, какъ, почему, поспѣшила она прибавить, — но счастливые такъ не смотрятъ, je m'y connais.

— Счастіе—призракъ, говорятъ, отвѣчала, нѣсколько смущенно улыбаясь, но вся уже обвороженная своею собесѣдницей Лина.

— Я знаю, что его часто принималась искать и никогда не находила... Но оно есть же гдѣ-нибудь! усмѣхнулась и графиня:—и если только справедливость существуетъ на этой землѣ, оно должно сыскать васъ... Послушайте, я надѣюсь, мы будемъ теперь часто видаться; обѣщайте мнѣ, еслибъ я вамъ когда-нибудь могла пригодиться... Но нѣтъ, прервала себя она вдругъ,—вы не изъ тѣхъ, которымъ нуженъ чужой совѣтъ: вы въ себѣ самой каждый разъ найдете... А знаете, какъ вы похожи на вашего отца! вскликнула прелестная женщина, не договоривъ:—я его знала, когда мнѣ были ваши теперешніе годы, и онъ, я помню, оставилъ глубокое впечатлѣніе въ моей молодой душѣ... Вы любили его?

— Я вся до сихъ поръ еще полна имъ! вылилось у Лины въ отвѣтъ.—И теперь приношу памяти его въ жертву счастіе всей моей жизни! невѣдомо, быть-можетъ, для нея самой сказалось въ ея отуманившемся взглядѣ.

Графиня не успѣла отвѣтить.

— Ah, notre cher comte! раздалось на всю гостиную ликующее восклицаніе Аглаи Константиновны:—мнѣ не нужно, конечно, представлять его вамъ, графиня? молвила она гостьѣ, указывая на входившаго въ сопровожденіи Толи флигель-адъютанта.

XLVI.

Это былъ настоящій coup de théâtre. Княгиня Додо чуть не откинулась навзничь. Князь Лоло какъ стоялъ, такъ и замеръ. Какъ это нерѣдко бываетъ въ свѣтѣ, почтенные супруги, безо всякихъ основательныхъ причинъ, возводя свое горячее желаніе на степень чего-то положительнаго и несомнѣннаго, убѣждены были, что Анисьевъ давно занятъ ихъ Женни и рано или поздно долженъ жениться на ней. Анисьевъ, какъ ни былъ онъ тонокъ и прозорливъ, не догадывался объ этомъ, въ самонадежномъ убѣжденіи, что Карнауховымъ и въ голову не можетъ притти разсчитывать для дочери-безприданницы на такую звѣзду первой величины, какою онъ почиталъ себя и, не остерегаясь, держалъ себя на пріятельской ногѣ съ „добрымъ малымъ"-Женни, которая забавляла его своимъ „московскимъ laisser-aller."

Утренній разговоръ съ нею за завтракомъ и этотъ тотчасъ же имъ замѣченный переполохъ ея родителей при его появленіи поставили предъ нимъ положеніе въ совершенно ясномъ свѣтѣ. Онъ внутренно весь обозлился...

— Нужна была еще эта дурацкая компликація! пропустилъ онъ себѣ сквозь зубы, и, дружески по пути кивнувъ князю Лоло, также дружески, но съ оттѣнкомъ почтительности, должной женщинѣ, и сожалѣнія къ извѣстному mal de dos, склоняясь головой издали по адресу княгини Карнауховой, Анисьевъ, не моргнувъ на убійственный взглядъ, полученный имъ отъ нея въ отвѣтъ, прошелъ, свѣтелъ и улыбаясь, прямо къ креслу графини:

— Adorable comtesse, выговорилъ онъ громко, нагибаясь и цѣлуя ей руку,—если бы милосердые боги обѣщали мнѣ въ эту минуту безсмертіе, я бы, конечно, такъ не обрадовался, какъ встрѣчая васъ столь неожиданно здѣсь!

— Je le veux bien, засмѣялась она:—что бы вы съ нимъ сдѣлали, съ вашимъ безсмертіемъ?

— Я бы употребилъ его на сооруженіе храмовъ, гдѣ бы курились вамъ ѳиміамы de fleurs d'Italie до скончанія вѣковъ.

— Какая гадость! вскликнула графиня, un encens de coiffeur?

— Il est charmant ce jeune homme, n'est ce pas? Et tant d'esprit! уже вся расплываясь въ блаженствѣ, точно заворочала круглыми глазами Аглая Константиновна, обращаясь къ сосѣдкѣ въ невинности души своей.

Если-бъ еще хоть нѣсколько минуточекъ—и злополучная Додо успѣла бы можетъ-быть совладѣть со своимъ „trop de coeur...“ Но теперь, теперь... Нѣтъ, это было свыше силъ ея!

— Charmant! повторила она шипя: — жаль только, что у него триста тысячъ долгу! пустила она какъ стрѣлу въ сердце врага.

— Tant que ça! громко вскрикнула огорошенная на первыхъ порахъ Аглая...—„Elle ment! Она сама хочетъ выдать за него свою дочь,“ осѣнило ее какъ откровеніемъ тотчасъ же вслѣдъ за этимъ. И Аглая внезапно почувствовала себя глубоко оскорбленною:—конечно, c'est beaucoup—trois cents milles de dettes, избѣгая глядѣть на обидчицу и надменно приподымая губы, заговорила она,—si le comte вздумалъ бы взять pour femme une fille qui n'a rien... Но онъ всегда можетъ разсчитывать, что богатые родители...

Додо не дала ей кончить:

— Есть богатства, княгиня, отъ крѣпкаго духа которыхъ, отчеканила ей она, — долженъ отвернуться человѣкъ, s'il a seulement des nerfs tant soit peu délicats!

Бывшая посланница этого не ожидала. „Chez moi!...“ И въ эту минуту, когда сама „la comtesse Tatiana Vorotintzef-Dariine....“ Вся багровая, растерянная, какъ безпомощная

птица подъ неотразимымъ вліяніемъ змѣинаго взгляда, она повернула голову къ своей злодѣйкѣ...

Но змѣя выпустила свой ядъ и съ дрожащими еще отъ волненія побѣды ноздрями, забывъ свой mal de dos, бодрыми и быстрыми шагами направлялась теперь къ столу, за которымъ дочь ея занимала разговоромъ стараго и нѣсколько глухаго бригаднаго генерала.

— Какъ ваше здоровье? вызывая любезную улыбку на уста и возвышая голосъ, обратилась къ нему Додо. И тутъ же:—что̀, дождалась! шопотомъ отпустила она Женни.

Скромный генералъ привсталъ и сталъ кланяться.

— Что̀ супруга ваша, Марья Никтополіоновна? И, воззрясь опять ястребомъ на дочь:—je suis morte, а ты—pas plus de coeur qu'un marbre!

— Все печенью жалуется! вздохнулъ генералъ.

— Вы бы ей Маріенбадъ посовѣтовали; мнѣ долго помогало...—Я должна была высказать все, ce que j'ai sur le coeur, этой дурищѣ скверной,—а ты...

— „Господи, что̀ же это за мученье!“ подумала Женни.—Вы бы мнѣ хоть у чужихъ дали вздохнуть свободно! не выдержавъ, прошептала она маменькѣ, въ свою очередь, и съ громкимъ вопросомъ: „Ольга, будетъ у васъ репетиція утромъ?“ устремилась къ барышнѣ, предоставивъ maman Додо занимательной бесѣдѣ скромнаго, но глухаго генерала.

— Меня звали, но я отказалась, отвѣчала на ея вопросъ Ольга.

— Почему?

— Я въ себѣ увѣрена, а остальные какъ себѣ тамъ хотятъ!

— И они всѣ на репетиціи?

— Полагаю.

— La barischnia, душка, поведи меня туда! вскликнула Женни.

— Ничего нѣтъ интереснаго. Завтра увидишь настоящее представленіе...

— Нѣтъ, нѣтъ, приставала къ ней крупная княжна,—мнѣ именно теперь хочется... Завтра мы навѣрное здѣсь не останемся: хорошо, если она меня еще сегодня не увезетъ!—

она кивнула на мать....—Пойдемъ, Ольга, прошу тебя, поведи меня!

— Да для чего это тебѣ? спросила барышня, которой чрезвычайно не хотѣлось уходить теперь изъ гостиной, гдѣ, она надѣялась, ее пригласятъ пѣть,—а пѣніемъ ея, разчитывала она, должны были быть завоеваны ей разомъ два сердца: Анисьева и „очаровательной графини".

— Я тебѣ прямо скажу, отвѣчала стремительно Женни:— я хочу кокетничать сегодня, кокетничать à mort. Je veux faire des bêtises, нà-зло, нà-зло ей!... Семь бѣдъ—одинъ отвѣтъ!... Мнѣ хочется видѣть Чижевскаго, шепнула она ей на ухо,—пойдемъ, la barischnia!

— Послушай, сказала, подумавъ, Ольга Елпидифоровна,— я пойду съ тобою, но только съ двумя условіями.

— Что такое, говори скорѣй!

— Во-первыхъ, не надолго...

— Хорошо, хорошо! Дальше?

— Во-вторыхъ, ты отъ меня не отойдешь: мы все время будемъ подъ руку.

— Это къ чему? вскрикнула Женни.

— Потому, сказала та, хмуря брови, — потому, что я не хочу, чтобъ одинъ человѣкъ говорилъ со мной вдвоемъ...

— Кто такой? Княжна такъ и заходила вся.—Кто такой, говори!

— Ты его не знаешь... Ашанинъ тамъ одинъ... нехотя промямлила Ольга.

— Какъ не знаю! Онъ только у насъ не бываетъ... Ашанинъ,—il est si beau, ma chère!...

— Да... но я... я не хочу...

— Что онъ тебѣ сдѣлалъ?... Ты вѣрно...

— Ничего не „вѣрно"! Ольга Елпидифоровна вспыхнула вдругъ:—не хочу просто... ну, надоѣлъ...

Женни расхохоталась:

— Богъ тебя знаетъ, какая ты сумасбродица! вскликнула она и, просунувъ руку подъ руку барышни, направилась съ нею къ двери, скользя одною ногой по паркету впередъ, какъ бы собиралась танцовать.

Анисьевъ такъ и сыпалъ блестками своей изысканной французской рѣчи, быстро, легко и искусно переходя отъ предмета на предметъ, отъ свѣжаго петербургскаго анекдота къ лорду Пальмерстону, отъ „интригъ“ президента тогдашней французской республики къ „impressions poétiques“, вынесеннымъ имъ изъ прошлогодней Венгерской Компаніи... Его оживленіе и веселость вызывали не разъ улыбку на устахъ графини Воротынцевой. Сама Лина индѣ безсознательно усмѣхалась... Графиня незамѣтно откатила еще немного свое кресло назадъ:—блестящій флигель-адъютантъ и княжна сидѣли теперь другъ противъ друга подъ ея наблюдательнымъ взоромъ... Но Анисьевъ самъ все видѣлъ, все наблюдалъ; чѣмъ „комплицированнѣе“ казалось ему теперь его положеніе, чѣмъ болѣе опасался онъ,—съ одной стороны, какой-нибудь „компрометтантной глупости“ отъ „невозможной маменьки,“ съ другой—неожиданной выходки отъ княгини Додо, „ругань“ которой съ хозяйкою дома онъ отгадывалъ теперь издали по возбужденному выраженію ихъ лицъ, — чѣмъ, наконецъ, затруднительнѣе для него, послѣ всего, что онъ успѣлъ узнать утромъ, представлялся ему „подходъ“ къ главной цѣли его стремленій, къ этой нѣмой и равнодушно глядѣвшей на него дѣвушкѣ съ ея такими же нѣмыми для него глазами,—тѣмъ беззаботнѣе будто и ровнѣй звучалъ его голосъ, тѣмъ сдержаннѣе и покойнѣе глядѣлъ онъ на нее, на свою петербургскую собесѣдницу.

Онъ разсказывалъ теперь о цыганскихъ оркестрахъ въ Венгріи, яркими красками описывалъ ихъ костюмъ, ихъ бронзовыя лица, ихъ „extérieur osseux et blême comme celui d'un fakir de l'Inde“... Онъ былъ въ восторгѣ отъ ихъ чардашей...

Графиня Воротынцева поводила молча своими умными глазами на него, на Лину, на ея мать, въ которой какъ бы на выручку подходилъ въ эту минуту словно изъ земли выросшій, мрачный и въ голубомъ галстукѣ „Калабрскій бригантъ“, на княгиню Додо, нервно позѣвывавшую отъ неостывшей злости и отъ пріятности бесѣды съ глухимъ генераломъ, потомъ опять на этого блестящаго офицера съ его гладко выстриженною головой, съ его приторно книжною

французскою рѣчью изъ-подъ лоснившихся усовъ... Ей было уже все понятно... Что-то невеселое, какъ бы отъ близкаго и тяжелаго воспоминанія, змѣилось по угламъ ея губъ...

— Вы еще не знаете Петербурга? неожиданно спросила она Лину, останавливая на ней взглядъ, полный какого-то болѣзненнаго участія:

Лину почему-то будто холодомъ обдало...

— Нѣтъ, сказала она.

— Такъ вотъ онъ предъ вами! разсмѣялась графиня, кивнувъ на Анисьева,—dans toute sa séduisante horreur!

Блестящій воинъ... Онъ засмѣялся тоже...

— Это по поводу чардаша въ Дебречинѣ пришла вамъ эта мысль, графиня? сказалъ онъ только сквозь этотъ смѣхъ.

— Oh, à propos de bottes! отвѣчала она, пожимая плечами.

— И какъ же должна понять княжна этотъ загадочный отзывъ вашъ о Петербургѣ и о насъ грѣшныхъ, все также небрежно улыбаясь, спросилъ онъ:—во хвалу или въ порицаніе?

— Разумѣется въ похвалу, насмѣшливо отвѣтила графиня,—иначе она и обо мнѣ должна была бы составить себѣ дурное мнѣніе: я такъ долго сама возилась со всѣми вами!...

Линѣ не нужно было этого указанія: она свѣжимъ чутьемъ своимъ чуяла, изъ какого міра былъ этотъ благоухавшій предъ нею цвѣтокъ, и бѣдное сердце ея ныло до измоги...

XLVII.

Въ театрѣ шла не репетиція, а какое-то вавилонское столпотвореніе. Звонъ, гамъ, трескотня, визгъ и гулъ какъ изъ трубы. Въ оркестрѣ прибывшіе еще за два дня до этого изъ Москвы музыканты строили свои инструменты, сжавшись кучкой по своему обыкновенію, стрекотали подлѣ него „пулярки“ съ дебелою „окружной“, игравшею Раису Савишну во главѣ, готовясь пройти свои куплеты во *Львѣ Гурычѣ Синичкинѣ*. Около нихъ вертѣлся пѣтушкомъ Шигаревъ, напѣвая имъ подъ шумокъ всякія галантерейности, за что̀ то-и-дѣло получалъ колотушки по пальцамъ отъ руки рѣшительной Eulampe. Въ креслахъ слышался наглый смѣхъ Свищова, который громко повѣствовалъ тутъ же о томъ, какъ Шигаревъ за каждую изъ такихъ колотушекъ получалъ будто отъ той же Eulampe по пяти счетомъ поцѣлуевъ въ ламповомъ чуланѣ за сценой, куда они будто бы убѣгали послѣ каждой репетиціи... Но его никто не слушалъ; сидѣвшіе съ нимъ рядомъ и кругомъ актеры орали каждый за себя, не понимая другъ друга. Надъ ними, подъ плафономъ, какъ тысяча колокольчиковъ, звенѣли хрустальныя стеклышки большой люстры, въ которую, взобравшись на высокія лѣстницы, слуги вставляли свѣчи. На сценѣ шлепали толстые сапоги рабочихъ, слышались крики „берегись!“ стукъ и скрипъ опускаемыхъ и уставляемыхъ деревянныхъ рамъ: ставили декораціи для *Гамлета*. Вальковскій, лютый какъ звѣрь, ругался съ бутафоромъ, не озаботившимся доставить ему шпоры на сапоги для его роли Розенкранца.

— Позвольте, успокоивалъ его, подбѣгая, другъ его, режиссеръ,—на что вамъ шпоры? Сапоги со шпорами у однихъ Марцелло и Бернардо, потому что они на караулѣ внѣ дворца,—а во дворцѣ всѣ въ башмакахъ.

— А меня король въ Англію съ письмомъ посылаетъ, Гамлета казнить, забылъ ты, а? Такъ я въ Англію по-бальному поѣду, въ башмакахъ, а?...

Онъ такъ ревѣлъ, что на время все смолкло кругомъ — музыканты, рабочіе, „пулярки“, самая люстра съ своими звенящими стеклышками...

— Такъ все же-съ шпоры-то вамъ на что? доказывалъ режиссеръ.

— Какъ на что? На чемъ ѣздили-то тогда? Не въ мальпостѣ, чай? На лошадяхъ ѣздили, а?

— Въ Англію-то? Изъ приморскаго города?

Все, что было тутъ, разразилось бѣшенымъ хохотомъ.

„Фанатикъ“ плюнулъ, выбранилъ себя „дурнемъ“ и ушелъ въ кулису.

— Господа, позвольте, свѣженькое, сейчасъ курочка снесла! закричалъ Шѝгаревъ, вскакивая ногами на парапетъ, отдѣлявшій оркестръ отъ креселъ, и обращаясь лицомъ къ залѣ:—сидѣлъ я за завтракомъ рядомъ съ однимъ здѣшнимъ помѣщикомъ, фамилія ему Мудрецовъ. Вы, говорю я ему, происхожденія, надо полагать, греческаго?—Какъ же, говоритъ онъ мнѣ на это съ-оника, — я происхожу, говоритъ, отъ двухъ греческихъ мудрецовъ, Кирилла и Меѳодія!

— Браво, браво! раздался новый неистовый смѣхъ.

Шѝгаревъ соскочилъ на полъ, раскланялся, замяукалъ по-кошачьи и вернулся за новыми колотушками къ Eulampe.

Гулъ загудѣлъ съ новою силой.

Женни и Ольга, входя, заткнули себѣ инстинктивно уши.

Ихъ тотчасъ же увидѣли, подбѣжали... Чижевскій, суетившійся въ это время какъ-то особенно усердно подлѣ Глаши, смазливой горничной Лины, подъ предлогомъ пропуска ея въ кулисы съ картонами костюма Офеліи, которые она несла въ уборную своей барышни за сцену, отпрянулъ отъ нея, какъ

отъ чудовища, едва завидѣлъ крупную княжну и, состроивъ невинное лицо, пошелъ ей навстрѣчу.

Но она уже успѣла все замѣтить и тотчасъ же принялась его за это, что̀ говорится, *шпынять* и *жучить*. Она была на это большая мастерица. Чижевскій отшучивался, краснѣлъ, начиналъ сердиться, наконецъ, обернувъ противъ нея оружіе, принялся въ свою очередь дразнить ее Анисьевымъ.

Ольгѣ Елпидифоровнѣ чужія „нѣжности“ были очень мало забавны. Но она не отымала руки своей изъ-подъ руки Женни; она давно видѣла, какъ, не глядя на нее и будто горячо о чемъ-то препираясь съ Факирскимъ, подвигался, не торопясь, къ проходу между креселъ лукавый Ашанинъ... „Вотъ-вотъ сейчасъ подойдетъ онъ ко мнѣ, какъ ни въ чемъ не бывало, а самъ золъ, какъ чортъ“, думала она, „и начнетъ со смѣшковъ“...

Донъ-Жуанъ, дѣйствительно, былъ „золъ какъ чортъ“, золъ на себя за то, что у него теперь ныло и клокотало въ душѣ „изъ-за этой дѣвчонки“, за то, что не имѣлъ силы переломить себя, не имѣлъ силы „сѣсть опять верхомъ и поѣхать“... „Я буду глупъ съ нею, я чувствую!“ повторялъ онъ себѣ съ невыразимою досадой, съ злобнымъ наслажденіемъ помышляя въ то же время, какъ онъ все-таки „свое возьметъ, накинетъ ей арканъ на шею и затянетъ, затянетъ узломъ — не порвешь!“...

„Олива“ и „лавръ“, Маусъ и Ранцовъ, были уже тутъ, подлѣ нея, съ обычными фразами, со знакомыми вздохами. Никогда еще не казались они ей такъ мелки, такъ ничтожны. „Уѣздъ!“ проговорила она мысленно, и ей становилось противно. Ей вдругъ представлялось, что она, Ольга, mademoiselle Olga d'Akouline, воспитанная въ перворазрядномъ институтѣ, прирожденная Pétersbourgeoise et demoiselle du grand monde, въ первый разъ въ жизни попала въ эту глухую провинцію, въ первый разъ видитъ эти уѣздныя лица, эти смѣшные, взъерошенные усы надо ртомъ армейскаго „капиташки“, этотъ черепъ Сократа на булавкѣ, воткнутой въ истрепанный атласный шарфъ этого бѣлесоватаго „стряпчаго“... „Стряпчій!“ — и презрительно сжимались ея губы... „А вонъ тамъ

еще лисицей, бочкомъ, крадется этотъ московскій Ловеласъ... И радъ, что у него на головѣ цѣлый ворохъ волосъ торчитъ... Такой mauvais genre, и жилетъ не по модѣ"...

— Не довольно-ли, Женни? промолвила она громко и по-французски,—насъ ждутъ въ гостиной.

Обожатели ея вскрикнули оба разомъ:

— Только васъ, значитъ, и видѣли мы! завздыхалъ, ероша волосы свои, капитанъ.

— Какія вы однако сегодня жестокія! промычалъ, уходя въ свои воротнички, „стряпчій".

Ашанинъ былъ уже отъ нихъ въ двухъ шагахъ.

Olga d'Acouline медленно приподняла глаза къ плафону, какъ бы въ первый разъ замѣтивъ изображенныхъ тамъ вакханокъ и нимфъ, и небрежно, но отчетливо произнесла по-французски же:

— Не всякій день праздникъ!...

— А „праздникомъ" называется у насъ репетиція? услышала она несносный для нея теперь, насмѣшливо-вкрадчивый голосъ „московскаго Ловеласа".

Онъ стоялъ передъ ней и смѣялся... смѣялся, какъ бы не признавая то, *чѣмъ* она себя теперь чувствовала, смѣлъ смѣяться съ этимъ кудрявымъ ворохомъ на головѣ и въ старомодномъ жилетѣ... Ее взорвало...

— Не хочу, и не будетъ! сверкнувъ зрачками, отрѣзала она, не глядя на него.

— По мнѣ и лучше! хладнокровно сказалъ на это Ашанинъ, жадно въ то же время обнимая ее всю короткимъ взглядомъ.

— Это почему? спросила вдругъ, оборачиваясь, Женни.— Présentez moi monsieur! сказала она Чижевскому... Тотъ официально произнесъ его имя...

Донъ-Жуанъ почтительно склонилъ голову...

— Почему вы думаете лучше, чтобы репетиціи не было?

— Ольгѣ Елпидифоровнѣ главное въ ней—пѣніе, а я, промолвилъ Ашанинъ смиреннымъ тономъ,—у меня слухъ очень нѣженъ, я бы боялся сегодня фальшивыхъ нотъ.

Женни расхохоталась во всю мочь.

— Я никогда въ жизни не фальшивила! мгновенно вскипятившись, воскликнула барышня.

— Та, та, та! И Маріо фальшивитъ, не то, что ты!

— Я! я! едва могла говорить Ольга:—а я вотъ тебѣ покажу!

И, вырвавъ стремительно отъ нея руку свою, она кинулась со всѣхъ ногъ къ оркестру:

— Monsieur Erlanger, monsieur Erlanger!

Тонкая, сухая, съ ироническою улыбкой и узенькими, длинными усиками надъ едва намѣченною линіей губъ, голова извѣстнаго тогда дирижера Малаго московскаго театра обернулась на нее:

— Mademoiselle, à vos ordres?

— Пожалуйста, мою арію! (Она вставляла въ третье дѣйствіе *Синичкина* арію Вани *изъ Жизни за Царя:* „бѣдный конь въ полѣ палъ)".—Allegro, и начинайте съ reprise: „къ намъ пришли Поляки"... Я хочу только показать...

— Зейчатъ, зейчасъ, mademoiselle! улыбнулся онъ ей въ отвѣтъ. Музыканты съ видимымъ удовольствіемъ отыскивали свои ноты,—они уже аккомпанировали Ольгѣ наканунѣ.—О, еслибъ у насъ въ театръ былъ такой голозъ et des yeux comme ça! говорилъ онъ самъ, прищуривая на нее свои лукавосластолюбивые глазенки и вооружаясь своею палочкой.

— Начинайте, начинайте! нетерпѣливо постукивая ногой, торопила его Ольга уже со сцены.

Смычки поднялись...

Что говорится, *съ мѣста* все унесъ съ собою ея неотразимый, волшебно-страстный голосъ... Можно было все ей простить, все стерпѣть отъ нея за эти всю душу захватывавшіе и необузданные звуки... Такъ пѣть могъ только голосъ на зарѣ своей силы,—царственный богачъ, надменно расточающій свои сокровища изъ-за мгновенной прихоти... Резонансъ залы былъ великолѣпный. Словно на пылающихъ крыльяхъ разносилъ онъ этотъ голосъ въ безпредѣльную ширь... Музыканты, блестящими глазами слѣдя за пѣвицей, забыли о своихъ партіяхъ; все сильнѣе, все бойчѣй становился темпъ,—палочка Эрлангера, какъ бы помимо его воли, била неудер-

жимо по воздуху... Ашанинъ упалъ въ кресло въ какомъ-то опьяненіи.

— Я какъ Бо-жій по-солъ,

прозвенѣли, будто мѣдные колокола, одна за другой, шесть невообразимо ровно и вѣрно отчеканенныхъ нотъ,

Впереди, впере...

и, не давъ себѣ труда кончить, Ольга оборвала на полутактѣ,—и съ горящимъ лицомъ и высоко-подымавшеюся грудью:

— Что, фальшивлю! крикнула она со сцены княжнѣ Карнауховой.

— Ахъ, ты, судьба прокля... замеръ взрывъ восторга и отчаянія бѣднаго капитана Ранцова среди кликовъ и плеска всей залы...

Ольга сбѣжала внизъ и подхватила опять подъ руку Женни.

— А теперь пойдемъ, ты все теперь видѣла и слышала; сейчасъ будутъ звонить ко второму завтраку,—пора, пора!...

— Mesdames и господа, позвольте!

Къ нимъ подбѣжалъ Духонинъ:

— Извѣстно-ли вамъ насчетъ сегодняшняго обѣда?

— Что такое?

— Для актеровъ сегодня особенный столъ, къ пяти часамъ, такъ какъ, если обѣдать въ шесть со всѣми, къ восьми, когда начнется спектакль, не успѣешь ни отдохнуть, ни спокойно одѣться...

— Тѣмъ болѣе, что сегодня будутъ безъ отдыха обѣдать! сострилъ при семъ удобномъ случаѣ Шигаревъ.

— Я буду обѣдать со всѣми, объявила Ольга,—я не участвую въ *Гамлетѣ*.

— Какъ же такъ? вскликнула обиженно Eulampe,—вѣдь ты хотѣла, *для эффекта*, выйти съ нами вмѣстѣ въ свитѣ королевы. Вѣдь такъ условлено было, господа?

— Да, да, конечно! Ольга Елпидифоровна, что же это вы?

— Нѣтъ, я не хочу,—и такъ васъ много! Будетъ съ нея!

примолвила барышня, съ невольною гримасой по адресу отсутствующей Гертруды.

— А гдѣ она сама? спросилъ кто-то:—гдѣ 'Надежда Ѳедоровна? Ея не видно сегодня все утро?

— Она у себя наверху, я была у ней, отвѣчала одна изъ „пулярокъ", — она, говоритъ, была ночью очень больна и отдыхала, чтобы къ вечеру можно было ей играть...

— Пойдемъ, Женни! заторопила ее опять Ольга Елпидифоровна, топая на мѣстѣ и подталкивая ее локтемъ. Но Чижевскій снова успѣлъ завладѣть крупною княжной, у которой онъ теперь выпрашивалъ мазурку на балѣ, послѣ спектакля.

— Вѣдь вы знаете, что мнѣ за это достанется? говорила она въ отвѣтъ съ твердымъ внутренно рѣшеніемъ танцовать эту мазурку съ нимъ, во что бы ни стало.

— Да что же я такой за пугало? жалобнымъ голосомъ возражалъ онъ:—Минотавръ, людоѣдъ, Баба-Яга, чтобы меня такъ опасались?

— Хуже, хуже! хохотала Женни:—fat et suffisant! Подъ этою вывѣской всѣмъ извѣстны.

— Знаете что, княжна?

— Что?

— Мнѣ ничего не остается, какъ въ одинъ прекрасный день взять и увезти васъ!

Она разсмѣялась пуще прежняго, къ немалой досадѣ Ольги Елпидифоровны, которая не предвидѣла конца этому разговору.

— Какъ же не такъ! Увозите Линину Глашу, она, пожалуй, согласится.

— Хорошо, я увезу Глашу, а вы мнѣ дайте сегодня мазурку! предложилъ на все готовый Чижевскій.

— Ну, Богъ съ вами, возьмите! Только вотъ что: во все время, какъ будемъ сидѣть, не смѣйте смотрѣть на меня! Глаза держите все прямо предъ собой и оборачиваться ни, ни, потому что это главное—за глазами наблюдаютъ. А ротъ немножко въ сторону, ко мнѣ, и говорите! Говорить можно, кто подслушаетъ?... Ахъ, какъ петербургскіе хорошо это

умѣютъ дѣлать! вспомнила княжна съ новымъ смѣхомъ, — вотъ у Анисьева поучитесь, напримѣръ!...

— А это вы по собственному опыту знаете? спросилъ Москвичъ, прикусывая губу.

— Quel impertinent vous faites! Не хочу больше съ вами говорить!... Пойдемъ, Ольга!...

— Слава Богу! вскликнула барышня. „Въ самый разъ!“ подумала она, замѣтивъ, что Ашанинъ, оправившійся отъ нервнаго возбужденія, произведеннаго на него ея пѣніемъ, съ прежнею „противною своею улыбкой вылѣзъ откуда-то“ и направлялся опять къ ней, „сѣменя по-пѣтушьи ножками“, даже замѣтила она почему-то въ эту, очень дурную для него, минуту.

Она крѣпко прижала къ своему боку локоть Женни, чтобы „не вздумалось ей опять къ своему предмету“,—и обѣ бойкія особы выбѣжали въ корридоръ, соединявшій театръ съ главнымъ корпусомъ дома.

XLVIII.

Часы бѣжали. Отсервированъ былъ luncheon, второй завтракъ, за которымъ графъ, послѣ двухчасовой прогулки, изволилъ кушать съ большимъ аппетитомъ и чувствовалъ себя въ необыкновенно бойкомъ и галантерейномъ расположеніи духа. Онъ все время за столомъ посылалъ умильныя улыбки Ольгѣ Елпидифоровнѣ, грозилъ ей издали пальцемъ и называлъ „шалунья“, отчего она вдругъ сдѣлалась предметомъ такихъ же улыбокъ со стороны всего остальнаго мужскаго общества и кисло-сладкихъ взглядовъ со стороны большинства прекраснаго пола. Но смышленая особа держала себя на этотъ разъ безукоризненно, не замѣчала будто ни взглядовъ этихъ, ни улыбокъ и, опустивъ невинно очи, подымала ихъ лишь для скромно-благодарной улыбки по направленію благоволившаго къ ней начальства.

— Премилая особа! выразилъ по этому случаю графъ сидѣвшей о правую его руку графинѣ Воротынцевой:—поетъ прекрасно!

— Et vous savez, comtesse, de ça beaucoup! перегинаясь мимо него къ гостьѣ, многозначительно и таинственно сообщила объ Ольгѣ съ своей стороны хозяйка дома, указывая пальцемъ на свой выпуклый лобъ.

— Да? сказала графиня, вглядываясь съ мѣста въ барышню и привѣтливо улыбаясь ей, какъ только встрѣтились онѣ глазами.

— Très bien! одобрительно кивнула она затѣмъ въ отвѣтъ Аглаѣ Константиновнѣ.

Послѣ завтрака она просила представить Ольгу.

Барышня ногъ подъ собою отъ счастія не чувствовала; она млѣла и присѣдала, присѣдала и млѣла...

— У васъ, говорятъ, прелестный голосъ... Услышимъ мы васъ сегодня вечеромъ?

— Къ несчастію моему, non, comtesse! Я въ *Гамлетѣ* не играю... Но завтра я буду, буду много пѣть... А если бы вы знали, madame la comtesse,—и барышня внезапно скрестила себѣ на груди съ умоляющимъ видомъ руки,—какъ бы я была счастлива, если бы вы слышали, какъ я пою!

Въ невинныхъ грезахъ своего пылкаго честолюбія, въ этой „петербургской царицѣ“ барышня наша прозрѣвала уже лучшій для себя путь „попасть ко двору за пѣніе“.

„Петербургская царица“ словно угадала, что происходило у нея въ душѣ; она засмѣялась:

— Если вы воображаете, что я что-нибудь понимаю въ музыкѣ, вы очень ошибаетесь! Je m'entends en beaux yeux beaucoup plus qu'en musique, любезно примолвила она, глянувъ въ эти beaux yeux очарованной дѣвицы, и, поклонившись ей съ новою улыбкой, ушла въ назначенный для нея покой въ сопровожденіи княгини Додо, все еще злобной какъ сычъ и мрачный какъ воронъ.

Графъ, кушавшій кофе въ гостиной, подозвалъ и посадилъ барышню около себя,—зрѣлище, отъ коего сидѣвшая тутъ неподалеку „образованная окружная“ сочла почему-то нужнымъ закрыть лицо себѣ вѣеромъ...

— А гдѣ отецъ? невиннѣйше спрашивалъ между тѣмъ Ольгу его сіятельство.

— Онъ здѣсь, графъ! Прикажете позвать къ вамъ.

— Позовите!

Толстый Елпидифоръ, державшійся все время въ сторонкѣ, но постоянно на-чеку, выросъ какъ изъ-подъ земли.

— Дорòги у тебя хороши! Распорядительный! милостиво запѣлъ свой акаѳистъ графъ вытянувшемуся и какъ маятникъ опускавшему и подымавшему предъ нимъ свою круглую голову исправнику, приглашая въ то же время его дочь занять

прежнее свое мѣсто рядомъ съ нимъ на диванѣ:—въ одномъ только мѣстѣ тамъ, мостикъ, помнишь?

— Изволите повѣрить, ваше сіятельство, вскрикнулъ Акулинъ,—хотя изъ собственнаго кармана чини! Земля тутъ, смѣю донести, спорная, двухъ помѣщиковъ: одинъ говоритъ: „за мной не утверждено," а тотъ опять: „пусть, говоритъ, кто отымаетъ, тотъ и платитъ"!... А все то мѣсто гроша не стоитъ, одно болото... Такъ-съ, изъ гонора изъ пустаго тяжбу ведутъ... Что денегъ имъ стоитъ!...

— А деньги кому? нежданно заключилъ графъ:—судьѣ!

— Это совершенно такъ изволите говорить, ваше сіятельство, захлебнулся счастливымъ смѣхомъ Елпидифоръ... — Напоминаетъ это мнѣ-съ, заговорилъ онъ вдругъ, окидывая начальство зоркимъ взглядомъ и уже совершенно понявъ, какъ и чѣмъ его взять можно,—напоминаетъ мнѣ-съ, когда я еще въ полку служилъ...

— Въ гусарахъ былъ? прервалъ графъ, ткнувъ впередъ пальцемъ.

— Въ Герцога Нассаускаго уланскомъ полку въ ту пору штабсъ-ротмистромъ состоялъ, ваше сіятельство!

— Да.—Такъ что же?

— Стояли мы тогда въ благословенной Малороссіи...

Графъ засмѣялся, откинулъ ладони и, подмигивая сбоку Ольгѣ Елпидифоровнѣ:

— Хохлы! проговорилъ онъ.

— Такъ точно, ваше сіятельство, задребезжалъ за нимъ Елпидифоръ;—презабавный, изволите знать, народецъ. Такъ вотъ о нихъ-съ осмѣлюсь разсказать... Лежатъ это два такіе хохла въ лѣсочкѣ,—слышатъ, кукушка закуковала. Одинъ изъ нихъ и говоритъ другому: Грицко, а Грицко!—А ну?—Отто мини зозуля закуковала!—А отже сбрехавъ! говоритъ другой,—не тоби, а мини закуковала!—Кажу-жъ, мини, а не тоби... И вышелъ у нихъ изъ-за этого споръ, и оттаскали себя хохлы за чубы такъ, что у каждаго хохолъ другаго остался въ рукѣ...

— Дураки!... какъ ребенокъ уже хохоталъ графъ. Толстый

Елпидифоръ, дѣйствительно, въ числѣ другихъ своихъ талантовъ воспроизводилъ хохловъ неподражаемо.

— Вотъ-съ, ваше сіятельство, продолжалъ онъ,—и пошли они оба къ судьѣ, чтобъ онъ ихъ разсудилъ. Пришли, поклонились, разсказали.—Добре, говоритъ судья; клади кажный на столъ по карбованцю. Вытащили они по рублю, положили.—А ну-те-ка, каже, теперича почеломкайтеся! (это по-ихнему „поцѣлуйтесь“ значитъ, ваше сіятельство). Почеломкались.—Ну, каже, а теперичка идыть соби до дому! Поглядѣли хохлы на него, другъ на друга поглядѣли, въ затылкѣ себѣ почесали:—А бильше, кажутъ, ничого й не буде, панъ судія?—А чого-жъ, говоритъ, вамъ бильше! Сами видѣли! ни тоби, а и ни тоби куковала зозуля,—мини она куковала! Взялъ онъ карбованцы со стола и—положилъ себѣ въ карманъ...

— „Ни тоби“, „ни мини!“ повторилъ графъ сквозь громкій смѣхъ,—потому все судьѣ пошло. Хорошо разсказываетъ! подмигнулъ онъ снова нашей барышнѣ. И тутъ же, заложивъ большой палецъ за пуговицу сюртука:

— А что тебя губернское правленіе милуетъ? спросилъ онъ исправника офиціально шутливымъ тономъ.

Толстый Елпидифоръ игралъ уже на немъ какъ по струнамъ:

— Эхъ, ваше сіятельство, вотъ ужь у насъ гдѣ оно сидитъ, губернское правленіе! Онъ похлопалъ себя рукой по затылку:—не смѣю только утруждать...

— Ничего! Пойдемъ ко мнѣ! Я теперь свободенъ! Ты хорошо разсказываешь!... Шалунья, до свиданія! обернулся, подымаясь, старикъ къ Ольгѣ.

Она поднялась за нимъ и, словно въѣзжая своими забирающими глазами въ его китайскіе глаза:

— Я васъ обожаю, графъ! прошептала она ему.

— Шш, при отцѣ! Что подумаетъ! погрозилъ онъ ей лукаво пальцемъ на прощанье и ушелъ съ Елпидифоромъ, довольный какъ мѣдный грошъ.

Ольга поглядѣла ему вслѣдъ:

— А за это ты мнѣ папашу—полицеймейстеромъ въ Мо-

скву! рѣшила она мысленно. Она была сила:—въ этомъ она уже не сомнѣвалась теперь...

Не успѣлъ отойти графъ, какъ къ ней подошелъ Анисьевъ.

— Позвольте возобновить сегодняшнее нечаянное знакомство, сказалъ онъ, садясь на кресло подлѣ ея дивана.

Гостиная уже опустѣла; сама хозяйка ушла въ свой ситцевый кабинетъ, упросивъ Зяблина притти туда пить съ нею чай, „comme d'habitude“:—она чувствовала себя очень деморализованною послѣ схватки своей съ зубатою княгиней Карнауховой, и внезапная холодность „бригана“, этого „vrai ami“, которому она собиралась теперь „confier toutes ses peines“,—холодность, которую она въ простодушіи своемъ никакъ себѣ объяснить не могла,—была для нея очень чувствительна. „Намъ надо объясниться!“ объявила она ему, на что Зяблинъ въ отвѣтъ мрачно опустилъ голову, уныло проговоривъ: „вы желаете повернуть кинжалъ въ ранѣ? Извольте, я готовъ!“ и отправился вслѣдъ на нею...

— Вы совсѣмъ околдовали нашего почтеннаго старца, говорилъ Ольгѣ блестящій Петербуржецъ, потягивая во всю ихъ длину свои прекрасные усы и глядя на нее съ улыбкой изподлобья.

— Я его очень люблю! съ нѣкоторою уже величественностью отвѣчала по-французски барышня. Она старалась какъ можно ближе примѣниться къ пріемамъ, къ тону рѣчи „петербургской царицы“.—И къ тому онъ такой смѣшной, правда? промолвила она уже совсѣмъ по-уѣздному.

— Я его очень уважаю! сказалъ сдержанно флигель-адъютантъ.

— О, разумѣется,—и я!... Успѣли вы приглядѣться здѣсь? спросила она его вдругъ.

— Къ чему?

Ольга лукаво улыбнулась:

— Къ тому, что можетъ васъ здѣсь интересовать...

— Приглядываюсь, протянулъ Анисьевъ съ легкимъ наклоненіемъ головы и любезнымъ взглядомъ въ ея сторону.

Она совсѣмъ уже позабыла про величественность...

— Разказывайте это другимъ! расхохоталась она на всю гостиную:—я, надо вамъ сказать, умна!...

— И потому, что вы умны, вы думаете, что я не могу...

Онъ не договорилъ, остановленный выраженіемъ ея пристально остановившихся на немъ глазъ.

— Только не въ эту минуту! быстро промолвила она.

Анисьевъ опустилъ на мигъ вѣки и, принимаясь улыбаться опять:

— Вы не только умны, началъ онъ,—вы, говорятъ, всевѣдущи и всемогущи.

— А кто это „говорятъ?“.

— Слухами земля полнится...

— А слухи—съ языка Женни Карнауховой?

— Помилуйте, я никого не называю! почти испуганно всклинкнулъ полковникъ.

— И не нужно! съ новымъ смѣхомъ возразила барышня,—вы сами говорите, что я всевѣдущая... Всемогущая—нѣтъ, далеко нѣтъ! вздохнула,—но... но совѣтъ, договорила она послѣ минутнаго перерыва,—всегда могу дать и *хорошій*...

Брови Анисьева сдвинулись; онъ недовѣрчиво поднялъ на нее глаза.

— Напримѣръ? проронилъ онъ.

Она какъ бы на мигъ заколебалась...

— Сказать?

— Прошу!

— И... и не разсердитесь?

— Смѣю-ли? проговорилъ онъ учтиво.

— А если скажу,—послушаетесь?

— Смотря по тому... уклончиво сказалъ онъ.

Ольга Елпидифоровна окинула кругомъ себя бѣглымъ взглядомъ, наклонилась къ нему и прошептала:

— *Здѣсь* вы ничего не сдѣлаете!...

Анисьевъ не ожидалъ этого такъ прямо, такъ рѣшительно... „За кого она?“ пронесся у него въ головѣ вопросъ...

Она будто тотчасъ же сообразила говорившее въ немъ сомнѣніе:

— Надо, чтобъ *онъ* въ Петербургъ переѣхали, поспѣшила она досказать...—Но какъ это сдѣлать?...

— Въ Петербургъ? повторилъ безотчетно Анисьевъ, пристально глядя ей въ лицо.

— Ахъ, Боже мой, воскликнула она, — вы, можетъ-быть думаете, что я нарочно... Ну, какъ же это васъ увѣрить!... Повѣрьте хоть тому, что сама я такъ и рвусь въ Петербургъ!

— А! А развѣ и вы?...

— Да, меня беретъ княгиня...

— Вы очень дружны... съ княжной... Еленой Михайловной? съ разстановкой вымолвилъ флигель-адъютантъ.

— Д-да, съ такою же разстановкой отвѣчала барышня,— дружна... Настолько, по крайней мѣрѣ...

— Чтобы... подговорилъ онъ.

— Насколько это будетъ *для васъ* нужно! заключила она съ нѣсколько насилованнымъ на этотъ разъ смѣхомъ.

Онъ замолкъ, погруженный въ размышленіе и все продолжая избока глядѣть на нее...

— Такъ вы полагаете — въ Петербургъ? сказалъ онъ черезъ мигъ, подымая голову и съ прояснившимся взглядомъ.

— Непремѣнно! сказала барышня.

— Потому что?... онъ ждалъ отвѣта.

— Потому что, тамъ не будетъ...

— Господина Гундурова? спокойно договорилъ онъ за нее.

— Вы знаете?

Онъ утвердительно повелъ головою.

Ольга всплеснула руками:

— Ахъ, какъ пріятно, когда человѣкъ, съ которымъ имѣешь дѣло, такой умный!...

— Не трудно, сказалъ онъ съ легкимъ поклономъ и почти презрительною усмѣшкой:—это, кажется, le secret de la comédie...

— А теперь будьте еще умнѣе, вскликнула барышня, — устройте такъ, чтобы мы уѣхали въ Петербургъ!

Она въ пылу интереснаго для нея разговора присаживалась все ближе и ближе къ нему; ея круглое, полное плечо почти касалось молодаго человѣка.

— А вы, проговорилъ онъ вдругъ сдержаннымъ, еле слышнымъ шопотомъ, — а вы мнѣ будете очень благодарны, если я вамъ это устрою?

— Ужасно! вырвалось у нея при этой радостной мысли.

— Помните же! сказалъ онъ на это такъ, что барышня нежданно смутилась, и рѣсницы ея опустились, какъ бы сами собою.

Когда она подняла ихъ опять, Анисьевъ стоялъ предъ нею, стройный и изящный, и со своею спокойною улыбкой спрашивалъ ее:

— Вы не изволите знать, какой лучшій способъ отправить отсюда письмо на почту?

— Если что-нибудь нужное, живо отвѣтила Ольга,—лучше отдайте папа: онъ отошлетъ его съ нарочнымъ.

— Я бы не хотѣлъ его безпокоить, учтиво отговаривался нашъ полковникъ.

— Почему же?—Она протянула ему руку:—вѣдь мы теперь союзники?...

Онъ оглянулся, быстро прижалъ выше кисти эту обнаженную руку къ горячимъ губамъ и еще быстрѣе вышелъ изъ пустой гостиной...

Вернувшись въ свою комнату, онъ сѣлъ за столъ и писалъ вплоть до самаго обѣда.

XLIX.

Къ обѣду наѣхала въ Сицкое новая компанія гостей, преимущественно изъ тогдашнихъ московскихъ свѣтскихъ *жёнъ премьеровъ*. Пріѣхали два друга, князь Хохолковъ и Мишель Луповъ, веселые и любезные *завсегдатели* гостиныхъ и будуаровъ; пріѣхали двоюродные братцы, Костя Подозеринъ, ужасно похожій на стерлядь, соревнователь Толи Карнау хова по части пѣнія чувствительныхъ и юныхъ романсовъ, и Савва Роллеръ, побѣдитель сердецъ и умникъ, котораго прозывали „l'illustre étranger", на томъ основаніи, что родомъ былъ онъ изъ Волоколамскаго уѣзда и ни на какомъ иностранномъ нарѣчіи не объяснялся. За ними небрежною походкой, ласково улыбаясь большими сѣрыми глазами и такими же большими, мягкими губами, плелся Петя Толбухинъ, милѣйшій лѣнтяй и англоманъ, про котораго въ то время пѣлся куплетъ:

Вотъ, какъ будто съ парохода,
Master Piter Tolboukine,
Отпустила ему мода
Бакенбарды въ поларшинъ, и т. п.

Явился какой-то куда-то проѣзжавшій дипломатъ, служившій одно время подъ начальствомъ князя Михаила Шастунова, господинъ съ крючковатымъ носомъ и испитымъ лицомъ, вслѣдствіе чего графиня Воротынцева тутъ же прозвала его „un perroquet malade", — а за нимъ весьма смахивавшій на Татарченка, маленькій, черненькій артиллеристъ, состоявшій вѣчно въ отпуску, немолчный болтунъ, хрипунъ и хохотунъ, извѣстный во всѣхъ углахъ Россіи подъ кличкою „Сеньки",

лестнаго уменьшительнаго, которое суждено ему было нести отъ дѣтства и до старости лѣтъ...

Онъ и Костя Подозеринъ тотчасъ же присосѣдились къ Толѣ Карнаухову, съ которымъ и сѣли на концѣ стола, подалѣе отъ взоровъ „начальственнаго синклита“ какъ выражались они...

Пили они много, еще болѣе врали. „Mon cher, mon cher!“ то-и-дѣло среди пчелинаго жужжанія трапезовавшей толпы, взрывался неудержимо хриплый голосъ артиллериста, и графъ, знавшій всѣхъ и каждаго, взглядывалъ въ ихъ сторону и, поднявъ ладони, произносилъ своимъ акаѳистомъ: „вѣчно Сенька шумитъ, пустая башка“...

Многолюдный и безконечный обѣдъ, не смотря на это, прошелъ довольно скучно; ему не доставало того общаго, дружнаго оживленія какое вносило обыкновенно, въ будничныя трапезы Сицкаго молодое общество нашихъ лицедѣевъ. Для нихъ часомъ ранѣе сервированъ былъ особый столъ въ одномъ изъ флигелей дома. Французъ-поваръ княгини превзошелъ себя за то въ этотъ день. „Menu fretin“ уѣздныхъ сосѣдей никогда еще въ жизни не чувствовали на языкѣ своемъ вкуса такихъ соусовъ, не глатывали такихъ *come*, „въ которые чортъ его знаетъ что положено—рыба или бекасъ, никогда такъ много не приходилось имъ поглощать и жевать такъ мало... Зато князь Лоло, тонкій гастрономъ, послѣ каждаго блюда прикладывалъ пальцы ко рту и посылалъ ими знаки лестнаго одобренія по адресу хозяйки, самодовольно улыбавшейся ему въ отвѣтъ со своего предсѣдательскаго мѣста. Наша княгиня чувствовала себя опять въ вожделѣнномъ расположеніи духа. Экспликація со „vrai ami“ покончилась, надо полагать—къ обоюдному ихъ удовольствію, такъ какъ вслѣдъ за нею „бригантъ“, отправившись за актерскій столъ, сѣлъ на свое мѣсто съ особеннымъ, не то таинственнымъ, не то сосредоточеннымъ, видомъ и, замѣтивъ, что предъ его приборомъ стоитъ бутылка какого-то сотерна, строго взглянулъ на официанта и коротко отрѣзалъ: „подать мнѣ *моего* рейнвейна!“ а княгиня Аглая по пути изъ своего ситцеваго кабинета въ столовую все время, не то томно, не то стыдливо,

улыбалась стѣнамъ... Въ столовой змѣя-Додо, какъ ни въ чемъ не бывало, подошла къ ней съ восторженными комплиментами насчетъ ея великолѣпной argenterie. — „Elle vient de Storr et Mortimer!“ тотчасъ же объявила ей Аглая Константиновна, забывая свои обиды и мгновенно переносясь мыслью къ незабвенному Шиптоунткасслю... И опять теперь, сидя на своемъ хозяйскомъ мѣстѣ, насыщала она зрѣніе ослѣпительнымъ видомъ этого своего серебра, стекла и nappes damassées, мрачно почтительными физіономіями своихъ офиціантовъ, перемѣнявшихъ тарелки и разливавшихъ вина въ стаканы со внушительностью жрецовъ, совершающихъ священнодѣйствіе, золотымъ и серебрянымъ шитьемъ „de la maison de l'Empereur“ на воротникахъ обоихъ „comtes“, стараго и молодаго, восхитительнымъ „toilette parée“ своей петербургской гостьи, „la comtesse Tatiana“, и проч., и въ сладкомъ торжествѣ повторяла мысленно: „non, cela n'était pas plus cossu chez les Deanmore!“ прислушиваясь въ то же время съ достодолжнымъ вниманіемъ къ интересному разсказу сидѣвшаго одесную ея графа о томъ, какъ „его графиня“ любитъ собакъ.

По другую его руку сидѣла по-прежнему графиня Воротынцева, посадившая подлѣ себя съ другой стороны, вмѣсто имѣвшаго занять это мѣсто князя Лоло, Софью Ивановну Переверзину. Лина познакомила ихъ предъ обѣдомъ. Оказалось, что графиня много слышала прó нее отъ одной своей тетки, которую она очень любила и которая была одного выпуска изъ Смольнаго и очень дружна съ Софьей Ивановной. Онѣ съ перваго взгляда очень понравились другъ другу: свѣтская петербургская женщина оцѣнила сразу оригинальность и прямоту этой пожилой, образованной провинціалки, отъ которой такъ и вѣяло тономъ и привычками, складомъ ума старинной „bonne société“... Онѣ не переставали разговаривать между собой въ продолженіе всего обѣда, вслѣдствіе чего, едва успѣли встать изъ-за стола, вся семья Карнауховыхъ, съ Толи въ томъ числѣ, сочла нужнымъ представиться Софьѣ Ивановнѣ „en qualité de voisins“, и княгиня Додó, вызвавъ на уста очаровательнѣйшую изъ улыбокъ своихъ минувшихъ временъ, просила дозволенія посѣтить ее въ

Сашинѣ. Графъ Анисьевъ, съ своей стороны, узнавъ отъ Женни, что она тетка Гундурова, не переставалъ изучать ее украдкой во все продолженіе стола и изъ этого изученія вынесъ такого рода понятіе, что это „старуха, съ которою, пожалуй, придется считаться“...

Самъ онъ сидѣлъ, по назначенію хозяйки, между обѣими княжнами, Линой и Женни, и на этомъ жгучемъ пунктѣ велъ себя съ искусствомъ опытнѣйшаго стратега. Онъ такъ равномѣрно поворачивалъ свою глянцовитую голову то направо, то налѣво, такъ аккуратно распредѣлялъ свои улыбки между обѣими своими сосѣдками, такъ безпристрастно дѣлилъ между ними цвѣты своего остроумія, что все это могло бы быть взвѣшено на аптекарскихъ вѣсахъ, и самый зоркій взглядъ не въ состояніи былъ бы подмѣтить, на какую сторону склонялись эти вѣсы. Но стороны за то относились къ своему центру далеко не равномѣрно: добродушная Женни весело смѣялась и болтала взапуски за нимъ; его блестящія рѣчи шли мимо ушей все такъ же нѣмой и глухой теперь ко всему Лины. Она ничего не ѣла... Какой-то туманъ разстилался предъ ея глазами... Участіе петербургской гостьи, бесѣда съ нею не успокоили,—они какъ-бы еще усилили ея грусть и тревогу... „Какъ онъ долженъ страдать!“ проносилась въ сотый разъ у нея въ головѣ все та же мысль. И тутъ же приходилъ ей на память какой-то стихъ изъ ея роли Офеліи... „А затѣмъ какъ?... Забыла!... Боже мой, если я вдругъ на сценѣ не вспомню реплики“!... Она глядѣла прямо предъ собой: все въ томъ же туманѣ мелькали предъ ней озабоченное лицо Софьи Ивановны и рядомъ съ нимъ, приподнятые на углахъ, живые, темные глаза...

„Она знала папа... ей были тогда мои годы“... Дрожь пробѣжала по спинѣ Лины. Предъ нею рисовалась большая высокая комната съ уходящими въ темь углами, мраморная доска стола съ карселемъ подъ зеленымъ абажуромъ, уставленная стклянками, и рядомъ, на подушкахъ, подъ приподнятымъ пологомъ, исхудалый, тонкій, незабвенный профиль... „Искупи меня, искупи меня, грѣшнаго“! сквозь надрывающій кашель, вся замирая, разслушивала она его слова...

— Давно никто не внушалъ мнѣ къ себѣ такого сердечнаго чувства, какъ эта дѣвушка! говорила въ то же время про нее графиня Воротынцева своей сосѣдкѣ: — et pauvre enfant, я пари держу, — elle doit avoir une grosse épine à travers le coeur... Вы знаете что̀? спросила она поспѣшно, пораженная выраженіемъ лица, съ которымъ слушала ее Софья Ивановна.

— Знаю, отвѣчала та,—и съ радостью, примолвила она съ обычною своею живостью, — сейчасъ отдала бы все, что̀ остается мнѣ жить, чтобы вытащить эту занозу изъ ея... и еще другаго сердца!...

L.

Актерскій обѣдъ былъ также не веселъ. Одинъ неизмѣнный шутъ Шйгаревъ потѣшалъ „пулярокъ“ своимъ гаерничаньемъ и анекдотами, которымъ онъ, впрочемъ, самъ хохоталъ гораздо болѣе, чѣмъ его слушательницы. Зяблинъ, вообще не говорливый, пилъ теперь свой рейнвейнъ съ такимъ глубокомысліемъ, будто рѣшалъ въ головѣ задачу изъ дифференціальнаго исчисленія. Вальковскій отстранялъ нетерпѣливою рукою каждое изъ подаваемыхъ ему блюдъ, жадно вбирая въ то же время широко открывавшимися ноздрями ихъ соблазнительный запахъ, злобно вздыхая и волкомъ глядя кругомъ себя: онъ уже два раза предъ обѣдомъ примѣрялъ свой костюмъ Розенкранца, — „въ таліи ничего, сходится, а вотъ подъ мышками, того и гляди...“ — нѣтъ, онъ не имѣлъ права обжираться!... Между Духонинымъ и Факирскимъ начались было обычныя имъ пренія, на сей разъ на тему о „пресыщеніи въ любви,“ по поводу одного пользовавшагося тогда большою извѣстностью французскаго романа *Marianne*, но разговоръ не клеился, и послѣ какого-то циническаго замѣчанія вмѣшавшагося тутъ Свищова объ отношеніяхъ къ автору его, Jules Sandeau, „госпожи George Sand, позаимствовавшей половину фамиліи любезнаго для сочиненія себѣ псевдонима“, смолкъ и вовсе. Студентъ даже не вспылилъ, какъ то обыкновенно случалось; онъ былъ озабоченъ съ самаго утра, съ той минуты, когда поводъ пріѣзда „петербургскаго преторіанца“ былъ ему повѣданъ тѣмъ же Свищовымъ... Черныя тучи заволакивали теперь радужное небо соціально-романиче-

скихъ мечтаній, въ которыхъ вѣчно витало воображеніе юноши. Въ этихъ золотыхъ мечтаніяхъ онъ давно, какъ мы уже знаемъ, „отказался отъ княжны, во имя своей бѣдности, своей святой бѣдности,“ — отказался „для другаго, болѣе совершеннаго, болѣе достойнаго ея“... Онъ не сомнѣвался, что Гундуровъ любитъ ее; онъ угадывалъ „растерзанною душой“, что и она любитъ Гундурова,—и всего себя передавалъ имъ на жертву, ничего, ничего не требуя для себя, лишь бы когда нибудь она узнала и сказала бы, что онъ умѣлъ быть ей преданъ, какъ Ральфъ Индіанѣ, какъ Мазаччіо любовницѣ Гораса *) „И онъ ненавидѣлъ теперь“ всѣмъ естествомъ своимъ „этого“ раздушеннаго военнаго царедворца изъ Петербурга, „этого“ представителя офиціальной лжи и свѣтской безнравственности, пріѣхавшаго смутить свѣтлый міръ ихъ человѣческихъ отношеній.“ „Да, ты человѣкъ, тебѣ по праву участіе братьевъ твоихъ по духу, говорилъ себѣ Факирскій, участливымъ и безпокойнымъ взглядомъ слѣдя за Гундуровымъ и стараясь вычитать на его лицѣ „настоящія ощущенія его внутренняго я...“ Герой нашъ упорно молчалъ; отъ него не ускользали ни эти пытливые взгляды студента, ни едва сдерживаемая, злонасмѣшливая улыбка на нахальныхъ устахъ Свищова каждый разъ, какъ глаза ихъ встрѣчались. И участіе это, и недоброжелательность равно злили его, равно оскорбляли; въ немъ пробудилась какая-то особенная чуткость, какая-то нервная угадчивость, которой онъ не зналъ за собой до сихъ поръ. Онъ до вчерашняго дня жилъ въ какомъ-то сіяющемъ пространствѣ надъ облаками, между своею ролью Гамлета и любовью къ княжнѣ, слѣпой и глухой на все, что̀ внѣ этого происходило кругомъ его. Сегодня *внутреннія очи* его открывались будто въ первый разъ: — непрошенные и безсильные друзья, презрѣнные, но жестокіе завистники, неодолимые предразсудки, настоящее положеніе его въ этомъ домѣ, вся эта „дѣйствительность, какъ она есть“, представала теперь предъ нимъ въ неумолимо ясныхъ чертахъ. „Онъ попалъ сюда не какъ равный къ равнымъ, а въ каче-

*) *Indiana*, *Horace*, романы Ж. Санда.

ствѣ скомороха, имѣющаго позабавить на мгновеніе толпу праздныхъ свѣтскихъ людей, съ которыми у него нѣтъ ничего общаго, да и которые сами не признаютъ его *своимъ*... Онъ долженъ былъ это понять съ самаго начала,—князь Ларіонъ далъ это ему почувствовать *тогда же*, въ томъ разговорѣ послѣ первой репетиціи,—но онъ безумно увлекся тогда"... „Сама она во глубинѣ души своей", спрашивалъ онъ себя въ мучительномъ сомнѣніи, „признаетъ-ли она *законность* чувства своего къ нему? Въ собственномъ сознаніи ея не есть-ли это слабость, увлеченіе, отъ котораго она заранѣе готова отказаться *изъ послушанія* къ матери..." „Попробуйте!" сказала она ему... она на него возлагала эту обязанность; сама она не надѣялась, не думала, не бралась за такую попытку. Она и не допускала для себя возможности борьбы за это чувство... Борьбы? „Съ кѣмъ, противъ чего?" И новое смущеніе западало въ душу молодаго человѣка. „Съ матерью, противъ родительскаго авторитета!" отвѣчалъ онъ себѣ съ новою мукой... Въ правѣ-ли онъ былъ требовать, гоже-ли ему было *желать* даже, чтобъ она „пошла на это?" Куда же дѣвалось то, что было ему самому донынѣ такъ дорого, чему онъ такъ безусловно вѣрилъ до сихъ поръ? Гдѣ же эти его идеалы старорусской, христіанской, *по-божески* живущей и мыслящей семьи? Не говорилъ-ли онъ самъ ей наканунѣ, что вѣрованія его—вѣрованія его народа? А теперь что же,—бездна между словомъ и дѣломъ? Онъ самъ предложитъ ей итти съ нимъ подъ вѣнецъ безъ материнскаго благословенія...

„Ну, а нѣтъ, тогда что же? Стиснуть зубы, смириться—„смиреніе сила", приводила *она* ему слова покойнаго отца,—уѣхать скитаться по Россіи, попробовать, въ самомъ дѣлѣ, не размыкаетъ-ли его личную печаль общее народное горе?!.. Да, „но какъ же жить?" вскипало у него новымъ взрывомъ, какъ же жить безъ нея? Гдѣ та пустыня и гдѣ то горе, казалось ему, что могли бы заставить его забыть ее и это горе? Покинуть, бѣжать, потому что въ ихъ дикихъ, въ ихъ рабскихъ понятіяхъ ему нѣтъ здѣсь мѣста по табели о рангахъ! Но она его любитъ, любитъ!... Развѣ онъ при этомъ

не побѣдитъ, не осилитъ!... И губы его слагались въ презрительную улыбку; онъ пронзительнымъ, чуть не вызывающимъ взглядомъ обводилъ кругомъ стола, словно искалъ повода выместить на комъ-нибудь сознаваемое имъ оскорбленіе...

— Да что ты все молчишь сегодня? придрался онъ наконецъ къ сидѣвшему подлѣ него Ашанину, нѣмому, какъ и онъ, съ самаго начала обѣда.—О чемъ ты думаешь?

Красавецъ поднялъ на него глаза, встряхнулъ, какъ бы просыпаясь, шапкой своихъ черныхъ густыхъ волосъ и засмѣялся:

— А думалъ я вотъ сейчасъ о томъ, отвѣтилъ онъ, пристально взглянувъ на пріятеля,—что мы какъ разъ съ тобою находимся сегодня въ томъ настроеніи духа, чтобы тебѣ играть Гамлета, а мнѣ, Горація, давать тебѣ реплику.

— Ничего ты о моемъ „настроеніи“ не знаешь! досадливо отрѣзалъ ему на это Гундуровъ.

— Слушаю-съ, ваше королевское высочество, смиренно отвѣтилъ Горація.

LI.

Не успѣвъ допить послѣ обѣда своей чашки кофе, или, вѣрнѣе, успѣвъ только отъ поспѣшности обжечь имъ себѣ губы, Вальковскій, сосредоточенный, нервный и злой, какъ бывало съ нимъ предъ каждымъ представленіемъ, сидѣлъ уже въ большной мужской уборной театра за сценой, гдѣ парикмахеръ, другъ и наперсникъ его, Василій Тимоѳеевъ, съ двумя помощниками разбирали на столахъ привезенные ими изъ Москвы парики и волоса для спектакля.

— Ну, Вася, орудуй! говорилъ онъ, опускаясь въ кресло предъ однимъ изъ зеркалъ, развѣшанныхъ по стѣнамъ комнаты.

— Слушаю-съ, Иванъ Ильичъ, отвѣчалъ, подбѣгая, Василій Тимоѳеевъ не безъ нѣкотораго подобострастія, — онъ его ужасно боялся.

— А какъ изволили порѣшить насчетъ себя, торопливо примолвилъ онъ, суетясь около своихъ картоновъ: — блондиномъ или брюнетомъ прикажете васъ поставить?

Вальковскій глубокомысленно уперся взглядомъ въ зеркало.

— А ты меня среднимъ колеромъ пусти,—шантре потемнѣе, да чтобъ и не совсѣмъ черно. По костюму соображай; цвѣтъ видѣлъ, чортъ его душу знаетъ какой,—не то апельсинъ, не то крымское яблоко!

— Слушаю-съ, Иванъ Ильичъ! И тѣмъ же подобострастнымъ шопотомъ: — прикажете въ такомъ родѣ, какъ у Ивана Васильевича Самарина, къ примѣру, въ *Серафимѣ де-Лафайлѣ?* предложилъ „Вася“.

— Пожалуй! Да гляди, малюй такъ, чтобы мнѣ не хуже Володьки Ашанина быть,—настоящимъ придворнымъ красавцемъ, только въ глаза маленечко злодѣя пусти! Понялъ, а?...

Уборная тѣмъ временемъ наполнялась народомъ. Слуги вносили костюмы, бѣлье, туалетныя и умывальныя принадлежности актерокъ. Эрлангеръ съ режиссеромъ пришли послѣ обѣда прикурнуть на полчасика на имѣвшемся тутъ широкомъ и мягкомъ диванѣ. Въ углу, за ширмами, скрываясь отъ насмѣшливыхъ взоровъ, уже пыхтѣлъ толстый Елпидифоръ-Полоній, натягивая на себя трико и чулки, нарочно заказанные имъ въ Москвѣ на свои слоновыя ноги, и въ которые онъ спѣшилъ облечься, подмываемый тою же театральною лихорадкой, какою страдалъ поклонникъ его, Вальковскій. Въ другомъ углу старикъ Ѳедосѣй Гундурова уставлялъ другія ширмы кругомъ пространства, занятаго имъ для одѣванія барина, радѣя объ этомъ не столько для удобства, сколько въ видахъ приличія. Землемѣръ Постниковъ, за отказомъ Рапцова имѣвшій исполнять *Тѣнь*, шагалъ озабоченно вдоль комнаты, полугромко повторяя роль, которую едва только успѣлъ выучить. Самъ храбрый капитанъ взялся играть теперь Рейнольда, слугу Полонія, вся роль котораго состоитъ изъ дюжины кратчайшихъ репликъ въ единственной сценѣ, данной ему съ его господиномъ, но такъ тревожился за нее, такъ боялся забыть подать эти реплики вѣ-время, что и теперь пришелъ еще разочекъ до спектакля „провѣрить себя“ и репетовалъ свою сцену, стоя передъ ширмами, съ невидимымъ за ними Акулинымъ.

Въ началѣ осьмаго нагрянули и остальные актеры, а съ ними Толя Карнауховъ, вмѣнявшій себѣ, разумѣется, въ обязанность быть „страстнымъ театраломъ“. Онъ былъ *на ты* съ Чижевскимъ, нѣсколько знакомъ съ Духонинымъ и Ашанинымъ, а чрезъ нихъ перезнакомился тутъ же со всею труппой, начавъ съ главнаго дѣйствующаго лица, Гундурова, которому просилъ онъ Чижевскаго представить его, какъ „своему *сеніору* по alma mater, университету, и собрату по старушкѣ Мельпоменѣ“. Гундуровъ ничего не отвѣтилъ ему на это, холодно пожалъ протянутую имъ руку и ушелъ за ширмы,

говоря про себя: „все та же порода Анисьевыхъ"!... Злость и тоска все сильнѣе накипали на душѣ Сергѣя. „И на что имъ *Гамлетъ? Что имъ Гекуба и что они Гекубѣ?*"... говорилъ онъ себѣ съ нервною, подергивавшею губы его улыбкой. „За то же, какъ и скверно сыграю я имъ сегодня". Такая же нервная дрожь пробѣгала у него по тѣлу. Во рту было невыносимо сухо.

— Не хотите-ли вы къ намъ придворнымъ „безъ рѣчей" въ королевскую свиту, — у насъ тутъ лишніе костюмы есть? предложилъ Свищовъ Карнаухову.

— Въ самомъ дѣлѣ? Толя такъ и вскинулся.

— Впору имъ будетъ одинъ, точно! сказалъ портной, присланный съ костюмами отъ Петра Степанова, мѣряя его глазомъ.

Студентскій сюртукъ и галстухъ Толи уже летѣли на полъ.

— Николай Игнатьевичъ, заговорилъ изъ-за своихъ ширмъ Акулинъ, — не знаете, старичокъ нашъ, Василій Григорьичъ здѣсь? Я нарочно просилъ княгиню дозволить ему пріѣхать. Потому для него послушать *Гамлета*—пенсіи не нужно!

— Здѣсь, здѣсь, отвѣтилъ Свищовъ,—сидитъ, старый трубадуръ, одинъ-одинехонекъ въ пустомъ театрѣ, сіяетъ своей лысиной въ ожиданіи, когда люстру зажгутъ.

— Это Юшковъ, Василій Григорьичъ, смотритель училища? спросилъ капитанъ Ранцовъ,—первый нумеръ-старина, скажу вамъ-съ!

— Идеалистъ! засмѣялся Елпидифоръ:—Жуковскаго *Эолову арфу* читаетъ, обливается! „Владыка Морвены„... Очень это для него чувствительно...

Актеры спѣшили одѣваться. Словно полотно подъ быстрою рукой живописца, сѣроватый фонъ уборной убирался съ каждою минутой все богаче и пестрѣе яркими цвѣтами атласныхъ колетовъ и бархатныхъ мантій, бликами золота по шитью, кистямъ, эфесамъ шпагъ, мельканіемъ вѣющихъ перьевъ на высокихъ беретахъ. Самыя лица, наружности, какъ бы красивѣли и облагораживались подъ необычнымъ покроемъ иныхъ, болѣе живописныхъ временъ. Одинъ злополучный Розен-

кранцъ-Вальковскій, размалеванный по его указанію „придворнымъ красавцемъ“ и вмѣстѣ съ тѣмъ „злодѣемъ“, выходилъ, по выраженію Ашанина, „не то полишинель, не то лубочный чортъ“. Самъ Ашанинъ, въ бѣломъ пополамъ съ пунцовымъ атласномъ колетѣ и такихъ же haut de chausses, въ пунцовой бархатной мантіи и беретѣ подъ панашемъ изъ бѣлыхъ марабу, былъ невыразимо красивъ.

— Послушайте, голубчикъ, говорилъ ему торопливо Духонинъ, помѣшанный на „сценической правдѣ“, — что вы въ этомъ уборѣ заполоните на смерть сердца всѣхъ нашихъ зрительницъ, о томъ спора нѣтъ; но подумайте, годится-ли такое великолѣпіе „бѣдному, незнатному другу Гамлета?—Вѣдь это прямо въ текстѣ сказано...

— А вы объясните имъ, зрительницамъ: принцъ Гамлетъ въ траурѣ по отцѣ; такъ онъ, молъ, съ плеча своего старое платье все отдалъ донашивать другу своему, Горацію, отвѣчалъ со смѣхомъ красавецъ, откровенно любуясь на себя въ зеркало.

— Ваня, крикнулъ онъ съ мѣста Вальковскому,—вспомни, сдѣлай милость, въ сценѣ твоей и Гильденштерна съ Гамлетомъ опять въ дурацкомъ азартѣ твоемъ не наступать на Сережу такъ, что ему хоть въ кулису отъ тебя уходить приходится!

— А ты бы, отгрызся Вальковскій,—лучше за Свищовымъ глядѣлъ, когда онъ въ вашей сценѣ съ *Тѣнью* говоритъ Гамлету:

Я бѣдствія отечества предвижу, принцъ,

и въ порывѣ чувства хлопъ наотмашь принца по животу!

— А что жь это „бѣдствіямъ отечества“ мѣшаетъ? нагло захихикалъ тутъ же Свищовъ.

— А то, что я буду покорнѣйше просить васъ умѣрять необузданность вашихъ движеній, когда вы на сценѣ со мной! неожиданно для него выговорилъ ему Гундуровъ, выступая изъ-за ширмъ, за которыми одѣвался.

— Что же это такое,—наставленіе? попробовалъ было захрабриться онъ.

— Принимайте, какъ хотите! отрѣзалъ въ отвѣтъ Сергѣй, блеснувъ глазами и безсознательно дѣлая шагъ впередъ.

Изо всѣхъ концовъ уборной испуганно обернулись на него взгляды товарищей: они такъ мало ожидали отъ него этого рѣзкаго, вызывающаго тона...

Онъ былъ уже одѣтъ въ своемъ траурномъ костюмѣ Гамлета, съ неподвязаннымъ, по традиціи, спускавшимся съ одной ноги чулкомъ и длинными концами подвязки на другой, въ вырѣзномъ, низко лежавшемъ подъ свободно двигавшеюся высокою бѣлою шеей шитомъ воротничкѣ, и съ чернымъ по колѣна плащомъ, небрежно падавшимъ съ лѣваго плеча. Опущенные свѣтлые усы и легкая бородка клиномъ, удлинняя лицо, придавали ему какую-то сурово-болѣзненную вдумчивость; темный, слегка проведенный тушью, очеркъ по бровямъ и подъ нижними вѣками усугублялъ блескъ и игру зрачковъ: сѣрые глаза Гундурова казались совсѣмъ черными... Весь обликъ его въ этомъ видѣ выражалъ какое-то скорбное величіе, смѣсь прирожденной, законной горделивости и удрученія безконечною, неисходною тоской...

Съ перваго взгляда на него подъ этимъ обликомъ всѣмъ будто сказалось, что онъ имѣетъ право на эту поразившую ихъ надменную и раздраженную рѣчь...

Свищовъ не нашелъ слова отвѣтить, да и не успѣлъ бы... Вальковскій сорвался съ кресла, на которое уже одѣтаго посадилъ его опять подъ щетку Василій Тимоѳеевъ, и съ недофабренною бровью кинулся къ пріятелю:

— Сережа, гляди же, если ты теперь съ этою божественною рожей да не сыграешь мнѣ такъ, чтобы всѣхъ Гарриковъ за поясъ заткнуть, я тебя задушу!...

— А цѣпь же ваша гдѣ, Гундуровъ? подбѣжалъ къ нему съ другой стороны съ этимъ вопросомъ Духонинъ.

— Цѣпь? У меня никакой цѣпи нѣтъ, отвѣтилъ онъ, недоумѣвая.

— Помилуйте, да вѣдь это классическая необходимость для Гамлета,—цѣпь съ портретомъ на ней отца въ медальонѣ, какъ же это вы забыли? Надо бѣжать сейчасъ достать гдѣ-нибудь!...

— Не это-ли вотъ самое, что̀ требуется? спросилъ убиравшій за ширмами Ѳедосѣй,—сейчасъ генеральша прислала и съ записочкой.

Онъ подалъ ее барину. Софья Ивановна писала:

„Тебѣ нуженъ къ костюму медальонъ на цѣпи. Княжна вспомнила и посылаетъ. Береги особенно, въ немъ портретъ отца ея въ молодости".

— Ну, вотъ и чудесно! говорилъ Духонинъ, между тѣмъ какъ Сергѣй вынималъ требуемое изъ коробки, сопровождавшей записку.—Это принадлежитъ тетушкѣ вашей?

Гундуровъ судорожно, почти грубо вырвалъ цѣпь изъ рукъ Духонина, накинулъ ее себѣ на шею и засунулъ медальонъ между пуговицъ колета, въ боязни, чтобы тому не вздумалось открыть его...

Благовоспитанный Москвичъ недоумѣвая поднялъ на него глаза:

— Что̀ съ вами, Гундуровъ?

Сергѣй схватилъ его за обѣ руки:

— Ради Бога, не сердитесь!... Я... я самъ не знаю, что̀ со мною дѣлается!...

Злоба душила Свищова. Ему надо было отомстить, „взять свое" за претерпѣнное имъ сейчасъ униженіе... Онъ нашелъ:

— Ну, батенька, обратился онъ къ Карнаухову, — вотъ посмотрите на нашу Офелію! Предваряю заранѣе: сердечко на привязи держите!

Толя, которому въ это время подклеивали бороду, рванулъ головой вверхъ такъ, что вся борода осталась въ рукѣ парикмахера, и возгласилъ на распѣвъ:

Благоговѣю богомольно
Передъ святыней красоты!

— Да-съ, захихикалъ на это Свищовъ,—счастливъ этотъ преторіанецъ петербургскій,

Святыни сей ближайшій обладатель!

— Развѣ это рѣшено? тревожно воскликнулъ Толя; онъ

раздѣлялъ всѣ иллюзіи своихъ родителей относительно возможности брака сестры его съ Анисьевымъ.

— И вѣчно этотъ вашъ вздоръ и выдумки! заволновался Факирскій, одѣвавшійся въ углу рядомъ съ Шѝгаревымъ. — Откуда вы это взялѝ?

— Есть много на землѣ, мой другъ Факирскій,
Чтò и не снилось мудрости твоей!

задекламировалъ, продолжая хохотать, нахалъ. — Я полагаю, во всякомъ случаѣ, что для княжны эта „выдумка“ нисколько не обидна.

— Почему вы такъ полагаете-съ? воскликнулъ студентъ, кипятясь и избѣгая въ то же время встрѣтиться глазами съ Гундуровымъ.

— А потому полагаю-съ, что она цѣну должна себѣ знать... Да и вамъ бы, кажется, знать надлежало, юноша прекрасный, что такія золотыя пташки не про нашихъ московскихъ соловьевъ!...

— А про петербургское воронье, по-вашему? пылко вскликнулъ изъ другаго угла Духонинъ.

Свищовъ торжествовалъ:

— Э, батенька, лаяться-то всѣ мы мастера! А вы взгляните-ка на него: тридцати безъ малаго лѣтъ, — полковникъ, царскій адъютантъ, съ тверди небесной всѣ созвѣздія себѣ на грудь перевелъ... А мы съ вами ну-ка-сь?...

— Такъ вы бы... началъ было студентъ...

— Бросьте, не стòитъ! громко и презрительно остановилъ его Духонинъ.

— А будь я испанскимъ королемъ, господа, неожиданно заговорилъ Шѝгаревъ, въ ожиданіи свободнаго мѣста у зеркала, сидѣвшій, весь уже одѣтый, на диванѣ, съ поджатыми ногами и какимъ-то полотенцемъ, скрученнымъ чалмой кругомъ головы, — я бы непремѣнно для Свищова орденъ сочинилъ:

— Не американскаго-ли попугая? спросилъ тотъ, насмѣшливо оглядывая его свѣтлозеленый костюмъ.

— Жирно будетъ, не по чину тебѣ! возразилъ шутъ; —

нѣтъ, братъ, сочинилъ бы я для тебя паука большаго креста,—да паутина у тебя дрянь: комаренокъ, и тотъ насквозь ее прорветъ...

Онъ ошибался, — крылья Гундурова завязли въ этой паутинѣ. Слова Свищова, что̀ называется, добивали его. Громко, циническими устами, выговорено было о немъ теперь то, о чемъ онъ думалъ съ самаго утра,—то сужденіе, какое произнесетъ „весь свѣтъ“, когда „претензіи“ Гундурова станутъ вѣдомы этому свѣту. „Такія пташки не про московскихъ соловьевъ“, каковъ онъ, повторитъ этотъ безсмысленный свѣтъ, скажутъ всѣ эти „жалкіе“, эти „пустые люди“... А она?... Она прислала ему сейчасъ этотъ медальйонъ... Но она „должна знать себѣ цѣну!“... О, какъ это все тяжело, унизительно, обидно!..

Молодыя, чуткія сердца еще сильнѣе способны ощущать страданіе, чѣмъ радость. Чувство жгучей, невыносимой боли охватило все существо Гундурова... О, куда уйти, куда уйти отъ него!... Онъ поводилъ кругомъ моргавшими глазами, спрашивая себя, не кинуть-ли все сейчасъ, вмѣсто сцены велѣть заложить коляску, и съ мѣста отправиться въ путь подальше, подальше, гдѣ бы онъ могъ все забыть, гдѣ бы имени ея никто не произносилъ предъ нимъ.

— Господа, доложилъ входя режиссеръ,—княгиня прислала спросить: пора-ли гостямъ въ залу театра? Безъ четверти восемь!

Суета поднялась въ уборной:

— Мы сейчасъ готовы!...

— Я нѣтъ, я нѣтъ, испуганно восклицалъ Маусъ, игравшій Гильденштерна,—не могу до сихъ поръ усовъ добиться!

— Сею минутой, сею минутой! чирикалъ, мечась какъ угорѣлый по комнатѣ, Василій Тимоѳеевъ.

— „Прощай, прощай, прощай, и помни обо мнѣ!“ договаривалъ себѣ мелкою дробью изъ своей роли землемѣръ-*Тѣнь*, облеченный въ панцырь и шлемъ, украшенный двумя по бокамъ его крылами, согласно рисункамъ Ретча, и съ пристегнутымъ къ задней сторонѣ этого шлема сѣроватымъ плащемъ, окутывавшимъ его всего.

— А король-то нашъ, лорды и господа, король нашъ какъ великолѣпенъ!

Зяблинъ въ малиновомъ бархатѣ и горностаѣ, съ бриллiантами, ушитыми въ формѣ короны кругомъ полы подъ страусовыми перьями, въ цѣпи изъ изумрудныхъ кабошоновъ, на которой висѣла огромная алмазная съ изумрудами же звѣзда ордена Льва и Солнца, полученная когда-то княземъ Михайломъ Шастуновымъ въ Персіи (княгиня Аглая щедро снабдила всѣми этими драгоцѣнностями „vrai ami“ на спектакль, сказавъ ему только: „vous en aurez soin, n'est ce pas?“). Зяблинъ, сіяющій, важный и молчаливый, выступалъ какъ на пружинахъ въ своихъ королевскихъ башмакахъ.

— Браво, браво, superbe!...

— Va — a-a-a superba, va superba! заоралъ тутъ же Шйгаревъ изъ *Семирамиды*.

— Сыны волшебнаго искусства, возгласилъ Толя, подбѣгая къ столу, на которомъ стояло вино въ серебряныхъ холодильникахъ, — легкую выпивку предъ *Гамлетомъ* не учинить-ли?

— Можно, можно...

— Для куражу-съ не мѣшаетъ, примолвилъ храбрый капитанъ Ранцовъ, котораго отъ волненія начинала бить лихорадка. — Не прикажете-ли вамъ? наливая себѣ бокалъ шампанскаго, обратился онъ къ Вальковскому.

Но „фанатикъ“ не слушалъ; онъ весь поглощенъ былъ въ созерцаніе физіономіи Полонія, которую домалевывалъ Василій Тимоѳеевъ.

— Экая вѣдь придворная шельма, дѣйствительно, вышелъ! восклицалъ онъ восторженно.

— Елпидифоръ Павлычъ, просилъ подбѣгая Чижевскій, которому очень шелъ его синій съ золотомъ костюмъ,—ради Бога, не забудьте реплики въ нашей сценѣ: „тебя вѣдь ждутъ, что медлить“... А то вы приметесь каждый разъ обнимать меня...

— Разчувствуюсь—и забуду! Ужь не говорите! И толстякъ отчаянно махнулъ рукой;—ражъ ужь у меня такой! Повѣрите, такое со мной дѣлается, будто въ самомъ дѣлѣ съ род-

нымъ сыномъ разстаюсь,—плачу!... А вы, Ростиславъ Михайлычъ, сдѣлайте божескую милость, ущипните меня тутъ хорошенько за локоть!...

— Ущипну непремѣнно! хохоталъ тотъ...

— Господа, донесъ, вбѣгая опять, режиссеръ,—публика отправилась въ залу!...

— Идемъ, идемъ!...

Все двинулось изъ уборной.

— Гамлетъ,' крикнулъ Гундурову въ дверяхъ Толя Карнауховъ, мрачно насупивъ брови и ударяя рукой по своему фіолетоваго цвѣта колету,—Гамлетъ, я вамъ глубоко завидую!

— Христе Боже, благослови! бормоталъ на ходу Полоній-исправникъ, несчетно крестя себя по животу...

LII.

Красивая, высокая, веселая, съ ея блестящею люстрой и расписнымъ плафономъ, зала театра сверху до низу горѣла огнями и была уже на половину полна. Городъ отстоялъ отъ Сицкаго не далѣе какъ верстъ на десять и, пользуясь дозволеніемъ Аглаи Константиновны, склонившейся на настоятельныя доказательства нашихъ актеровъ, „что чѣмъ болѣе зрителей, тѣмъ веселѣе играть“, все, что имѣло только средства къ передвиженію, прибыло оттуда на представленіе въ Сицкое. Уѣздное чиновничество съ женами и дочерьми, — иные съ десятилѣтними ребятами,—занимали всѣ заднія ряды креселъ, перешептываясь межъ собой и то-и-дѣло оглядываясь на большую дверь противъ сцены, откуда съ боязливымъ нетерпѣніемъ ждался ими выходъ хозяйки и „всѣхъ этихъ ея аристократовъ“. Въ углу три учителя уѣзднаго училища жадно вычитывали афишу спектакля, усердно отирая платками свои страшно вспотѣвшіе лбы; они пришли пѣшкомъ изъ города со своимъ смотрителемъ. Это былъ невысокаго роста человѣкъ лѣтъ пятидесяти, казавшійся старѣе своихъ лѣтъ по глубокимъ морщинистымъ складкамъ, бороздившимъ его круглое широкое лицо подъ ворохомъ густыхъ и всклокоченныхъ сѣдыхъ волосъ, и гораздо моложе ихъ по совершенно юношескому блеску большихъ, открытыхъ, необычайно свѣтлыхъ и благодушныхъ какихъ-то глазъ. Онъ стоялъ самъ посреди небольшой группы молоденькихъ офицеровъ артиллерійской бригады, штабъ которой находился въ городѣ, и толковалъ имъ, сіяя этими своими большими юношескими гла-

зами, „о значеніи *Гамлета* въ исторіи человѣческаго творчества“. Самъ онъ уже двѣ недѣли готовился „къ торжеству“, перечтя раза три сряду строку за строкой имѣвшагося у него въ переводѣ Вронченко *Гамлета* и все, что̀ могъ онъ найти о немъ въ пыльномъ хламѣ давно забытыхъ студенческихъ тетрадокъ и старыхъ журналовъ, что̀ громоздились по окнамъ и угламъ его холостой, безпорядочной, насквозь прокуренной Жукова табакомъ квартиры...

— Вѣдь это событіе, господа, событіе, говорилъ онъ, потирая себѣ весело руки и громко смѣясь отъ предвкушавшагося имъ наслажденія,—*Гамлетъ*, исполняемый образованными людьми, — образованными, господа, не забудьте, которымъ слѣдовательно каждое слово его должно быть понятно и дорого. До-ро-го, да-съ, это именно соотвѣтствующее здѣсь выраженіе, ибо въ Шекспирѣ, какъ въ Гомерѣ, какъ въ Библіи, каждое слово лучъ солнца, въ каждомъ море свѣта и міръ мысли, господа!...

Артиллеристы сосредоточенно, съ опущенными головами, внимали ему, занятые впрочемъ не столько моремъ свѣта Шекспира, сколько тѣмъ, что ихъ батарейный командиръ, находившійся въ числѣ *гостей* и обѣдавшій въ Сицкомъ, долженъ былъ представить ихъ тутъ, въ залѣ театра, хозяевамъ дома, и какъ бы поэтому „держать имъ себя такъ, чтобы показаться не хуже какого-нибудь *пустаго* графа или князя“.

Музыканты сидѣли уже всѣ въ оркестрѣ у пульпетовъ, съ разложенными на нихъ нотами своихъ партій. Эрлангеръ, позѣвывая и усмѣхаясь тонкими губами, лѣниво переговаривался съ первою скрипкой, обернувшись къ ней въ-полоборота со своего дирижерскаго мѣста.

Въ воздухѣ струился крѣпкій запахъ только-что прокуренныхъ слугами духовъ.

— Пш... пш... донеслось изъ глубины залы...

Все разомъ въ ней обернулось на входныя двери...

Витторіо махалъ оттуда дирижеру бѣлымъ платкомъ.

Музыканты ухватились за свои инструменты. Эрлангеръ

поднялся, окинулъ глазами оркестръ, медленно приподнялъ палочку надъ своею чистенькою, гладко подчесанною головой...

Раздались первые такты полонеза *Жизни за Царя*, и подъ его звуки, подъ руку съ графомъ въ звѣздахъ на гвардейскомъ мундирѣ Финскихъ стрѣлковъ, милостиво помахивая головой направо и налѣво въ отвѣтъ оробѣлымъ улыбкамъ и поклонамъ вскочившей на ноги при появленіи ихъ публики, вошла княгиня Аглая Константиновна, величественная и счастливая, какъ царица,—вѣрнѣе же, какъ жирный котъ, любимецъ барыни, жмурящійся круглыми глазами на солнце, между тѣмъ какъ босоногая Палашка раболѣпно чешетъ ему пальцами за ухомъ... За нею, попарно, шла толпа гостей: графиня Воротынцева подъ руку съ княземъ Ларіономъ, Софья Ивановна съ бригаднымъ генераломъ, тридцатилѣтняя московская княжна съ княземъ Лоло, княгиня Додо съ командиромъ артиллерійской батареи, еще молодымъ и красивымъ полковникомъ, недавно назначеннымъ изъ гвардіи, къ которому тотчасъ же и обратились, съ полуиспуганнымъ, полувопросительнымъ выраженіемъ, глаза его юныхъ подчиненныхъ, но который съ своей стороны, чуть замѣтно сморщившись и тутъ же низко наклонясь къ лицу своей дамы, прошелъ, какъ бы не видя ихъ. Московскіе жень-премьеры отыскали себѣ также дамъ въ числѣ московскихъ помѣщицъ-сосѣдокъ, попавшихъ въ почетный легіонъ гостей ея сіятельства, и хохотъ „Сеньки“, шедшаго рядомъ съ какою-то хорошенькою блондинкой, уже гремѣлъ на всю залу... Графъ Анисьевъ, со своимъ иконостасомъ крестовъ изъ-за каждой пуговицы флигель-адъютантскаго мундира, велъ хохочущую Женни не то небрежно, не то внимательно слушая ея торопливыя рѣчи и угадывая въ то же время, по выраженію особаго любопытства въ обращавшихся на него со всѣхъ сторонъ взглядахъ, что поводъ пріѣзда его въ Сицкое не былъ тайною даже для этого мелкаго, невѣдомаго ему уѣзднаго общества...

Гости размѣстились въ первыхъ рядахъ креселъ. Въ одной изъ двухъ ложъ театра, расположенныхъ по обѣимъ сторонамъ пространства, занимаемаго оркестромъ, усѣлись князекъ и mister Ноксъ съ англійскимъ томикомъ Шекспира въ рукѣ,

по которому готовился слѣдить за представленіемъ. Въ другую ложу ушла madame Crébillon, съ тайнымъ намѣреніемъ „faire un petit bout de sieste“ въ темномъ углу ея...

— Прекрасный театръ, — лучше чѣмъ у меня! Еще старикъ князь строилъ, знаю! Вкуса много имѣлъ! пѣлъ акаѳистомъ графъ подъ тактъ заливавшагося полонеза, не садясь еще и одобрительно озираясь кругомъ.

Княгиня Аглая блаженно улыбалась.

— И какъ это удачно cette vraie draperie du portail, говорила ей, въ свою очередь, графиня Воротынцева, занимая мѣсто рядомъ съ графомъ и усаживая подлѣ себя Софью Ивановну,—мягко, элегантно и богато на взглядъ...

Вмѣсто писанной по полотну драпировки, какъ это обыкновенно водится въ театрахъ, порталъ сцены задрапированъ былъ, по мысли Ашанина, отъ самаго потолка настоящею пунцовою шерстяной матеріей, отороченною длинною бахрамой и перехваченною въ подлежащихъ мѣстахъ толстымъ, витымъ пополамъ съ золотомъ, пунцовымъ же снуромъ съ огромными на концахъ его кистями. Передній занавѣсъ былъ сдѣланъ изъ той же матеріи на сборкахъ и подбирался, какъ стора, на снуркахъ. За нимъ былъ уже другой, писанный занавѣсъ (изображавшій домъ въ Сицкомъ со стороны сада), который предназначенъ былъ къ опусканію послѣ сценъ *Гамлета*, за которыми слѣдуетъ перемѣна декорацій. Матерчатый занавѣсъ долженъ былъ опускаться по окончаніи каждаго акта.

— Лишняя роскошь! откидывая вѣеромъ ладони, отозвался графъ на похвальный отзывъ графини Воротынцевой.

Княгиня Аглая съ самодовольно-лукавою улыбкой подмигнула ему глазкомъ.

— Это у меня потомъ все на мебель во флигеля пойдетъ, сообщила она ему, какъ бы по секрету, наклоняясь къ уху его.

— Разсчетъ, это хорошо! И щеки старца запрыгали отъ веселаго смѣха.—Отца зналъ! Разсчетомъ милліоны нажилъ!... И дочь такая же! промолвилъ онъ уже съ тѣмъ особымъ оттѣнкомъ добродушія, благодаря которому не было возможно-

сти на него сердиться, и онъ съ своей стороны имѣлъ возможность говорить людямъ всегда все, что̀ ему хотѣлось...

Словно гранату взорвало предъ нашей княгиней... Опять, опять, — третій разъ со вчерашняго вечера, — объ этихъ несчастныхъ Раскаталовскихъ милліонахъ!... „И дочь такая же...“ Она, княгиня Шастунова, она—„такая же?...“ О, это ужасно, этого перенести нельзя!... „А этотъ старый шутъ какъ ни въ чемъ не бывало“...

И злополучная хозяйка, злобно кусая себѣ губы, словно вся ушла въ свое кресло, безмолвная и глухая на все, что̀ двигалось кругомъ ея...

LIII.

А по той сторонѣ занавѣса, на сценѣ, лихорадочно волнуясь, режиссеръ, уже съ крупными каплями пота на лбу и пересохшими губами, то быстро перебѣгая отъ одного лица къ другому, то внезапно пятясь ступнями назадъ, чтобы лучше судить объ общей картинѣ, устанавливалъ актеровъ, участвовавшихъ въ первомъ явленіи *Гамлета*. Какъ уже извѣстно нашему читателю, открывающая драму Шекспира сцена появленія *Тѣни* на террасѣ Эльсинорскаго дворца попала въ число урѣзокъ, предложенныхъ княземъ Ларіономъ, и представленіе начиналось прямо со сцены во дворцѣ. На двухъ поставленныхъ на возвышеніи съ высокими вырѣзными спинками готическихъ креслахъ, по лѣвую руку отъ зрителя, возсѣдали теперь рядомъ король-Зяблинъ и королева-Надежда Ѳедоровна въ брилліантовой діадемѣ на головѣ и шитой золотомъ бѣлой атласной юпкѣ подъ такою же расшитою по зеленому бархату traîne, въ которой представала на куртаги въ нѣмецкой резиденціи русская посланница Fürstin Aglaia von Schastunof. Глаза перезрѣлой дѣвы горѣли необычнымъ имъ блескомъ надъ подрумяненными щеками; „все кончено, и мнѣ все равно“, казалось, говорило не то презрительное, не то смиренное выраженіе ея поджатыхъ губъ. (Предъ нею только-что мелькнула въ дальней кулисѣ высокая фигура Ашанина, тщательно, съ своей стороны, избѣгавшаго попасть ей на глаза)... Четыре хорошенькіе мальчики-пажи (сыновья и племянники „образованной окружной“) въ голубыхъ колетахъ, поставленные попарно по обѣимъ сторонамъ королевской че-

ты, держали на рукахъ ихъ длинныя, тяжелыя бархатныя мантіи. За ними, растянутыя полукругомъ къ глубинѣ сцены, стояли, съ „образованною окружной“ во главѣ, Eulampe и остальныя пулярки въ вырѣзныхъ лифахъ и длиннохвостыхъ, разноцвѣтныхъ платьяхъ, изображая собою придворныхъ дамъ. Полукругъ замыкали Полоній съ сыномъ, а за дамами, какъ бы фонъ картины, составляла кучка „придворныхъ“, состоявшая изъ Валькovскаго, Мауса, Шигарева, Духонина съ Фавирскимъ и случайнаго новобранца, Толи Карнаухова... Вся правая сторона сцены оставлена была свободною для Гамлета, одиноко погруженнаго въ свою печаль во все продолженіе вступительной рѣчи короля и послѣдующаго разговора его съ Лаэртомъ.

— Позвольте, сударыня, попросить васъ сомкнуться немножко, суетился режиссеръ,—чтобы просвѣтовъ поменьше было: не эффектно!... А вы, господа, напротивъ, пошире маленечко... Да посвободнѣе, посвободнѣе позы-съ!... Тутъ бы-съ на первомъ планѣ, у кресла королевы...

— Чего тамъ тебѣ еще? рявкнулъ изъ кучки Валькovскій, подмываемый нетерпѣніемъ начать скорѣе.

— Да хого-нибудь изъ дамъ нужно бы...

— Ольгу поставьте, Ольгу Акулину, закричала Eulampe,—у нея настоящій, отъ княгини, придворный, шитый хвостъ...

— Да гдѣ же онѣ-съ, я ихъ не вижу? спрашивалъ торопливо режиссеръ, обѣгая кругомъ глазами...

— Она съ нами одѣвалась... Она вышла съ нами... Ольга, Ольга! заголосили разомъ всѣ *пулярки*...

— Стрекоза! фыркнулъ опять Валькovскій, не смущаясь сосѣдствомъ Акулина, отца этой „стрекозы“.

Режиссеръ прянулъ за кулису...

Не смотря на рѣшительный отказъ ея утромъ участвовать въ свитѣ королевы, Ольга Елпидифоровна послѣ разговора своего съ графомъ Анисьевымъ возгорѣла вдругъ самымъ пылкимъ желаніемъ, не дожидаясь завтрашняго торжества своего, „какъ пѣвицы“, показать себя ему сегодня же со стороны красоты, и притомъ „въ придворномъ шлейфѣ“,—такъ, меч-

тала она, „какая я буду, когда меня за голосъ ко двору“... Костюмъ же былъ давно готовъ, перешитъ и прилаженъ на нее изъ другой бывшей traîne de cour княгини Аглаи Константиновны, щедро отворившей на этотъ случай домочадицамъ своимъ тяжелые кованые сундуки, хранившіе безчисленные ея уборы... Ольга облеклась въ это темнолиловое съ золотомъ, обшитое кружевами, бархатное платье, изъ котораго свободно и высоко выступали ея круглыя плечи, приколола къ темнымъ волосамъ брилліантовую бабочку, взятую ею у княжны Лины, и съ глубокимъ внутреннимъ восхищеніемъ, улыбнувшись себѣ въ этомъ пышномъ нарядѣ въ зеркало, вышла изъ уборной вслѣдъ за *пулярками*.

Тяжесть бархатнаго шлейфа, который вмѣсто того, чтобы взять его на руку, она тянула за собою по корридору, безпрестанно оборачиваясь на него съ ребяческимъ наслажденіемъ, замедляла ея шаги. Ея подруги строились уже на сценѣ, когда она еще подходила къ обитой ковромъ лѣсенкѣ, которая вела за кулисы.

Она подобрала свой хвостъ и, обремененная имъ, медленно и неловко ворочаясь, стала взбираться по довольно крутымъ ступенькамъ...

Кто-то сверху протянулъ ей руку въ бѣлой перчаткѣ.

Она, не глядя, уцѣпилась за нее и поднялась.

— Mercі! сказала она машинально, машинально подняла вѣки...

Предъ нею стоялъ Ашанинъ, сіяя страшнымъ огнемъ устремленныхъ на нее глазъ, и красивый, какъ молодой богъ.

Такимъ показался онъ ей въ этихъ яркихъ цвѣтахъ, подъ этою мантіей, этими складками необычной, фантастической одежды... Это было что-то внезапное, непредвидѣнное и волшебное, чему она противустоять была не въ силахъ.

— Ахъ, какъ вы хороши! воскликнула она, всплеснувъ руками и восторженно глядя ему въ лицо.

— Что ты со мной дѣлаешь! едва могъ его языкъ проговорить въ свою очередь,—его била лихорадка... — Что ты со мной дѣлаешь! сказалъ онъ еще разъ, наклоняясь къ самому ея лицу и жаднымъ движеніемъ ухватывая ея руку...

— Ольга Елпидифоровна, пожалуйте скорѣе, пожалуйте! летѣлъ къ ней съ этимъ крикомъ навстрѣчу режиссеръ, чуть не сбивъ съ ногъ ламповщика, попавшагося ему навстрѣчу.

Она вырвалась и побѣжала на сцену...

Гундуровъ тѣмъ временемъ, все съ тѣмъ же нервнымъ помаргиваніемъ вѣкъ и сосредоточеннымъ выраженіемъ лица, разгуливалъ по оставленному для него свободному пространству сцены. Такъ же тоскливо было у него на душѣ, но эта тоска какъ бы все выше и выше подымалась теперь, выливаясь изъ рамокъ его личныхъ ощущеній. Она какъ бы владѣла имъ теперь безо всякой субъективной причины, безо всякаго положительнаго повода, а какъ бы произвольно избравъ его сосудомъ, изъ котораго должна была изливаться она. Онъ испытывалъ ея муку и словно припомнить не могъ, откуда налетѣла она въ его душу, какъ не помнитъ расходившаяся волна того вѣтра, что̀ наканунѣ поднялъ ее изъ глуби моря... То, что̀ предстояло ему теперь, сейчасъ, эта безконечная, безнадежная скорбь человѣка-Гамлета, это была его скорбь, онъ уже не могъ отдѣлить ея отъ того чего-то особеннаго, лично ему принадлежавшаго, изъ котораго изошла она... Тотъ, болѣе дѣйствительный, чувствовалъ онъ, чѣмъ сама дѣйствительность, міръ правды искусства захватывалъ и уносилъ его... Сквозь занавѣсъ, отдѣлявшій его отъ этихъ „людей, собравшихся глазѣть на него“, доносились сквозь звуки музыки назойливое жужжаніе ихъ „пустыхъ рѣчей“, ихъ „безсмысленный смѣхъ“... и все выше, выше подымалось въ немъ надъ этою „людскою толпой“ чувство той „человѣческой“, безконечной скорби къ правдѣ искусства. И ничего, кромѣ этого чувства, будто и не существовало никогда въ его душѣ...

„Кто снесъ бы бичъ и посмѣянье вѣка,'
Безсилье правъ, тирановъ притѣсненье,
Обиды гордаго, забытую любовь,
Презрѣнныхъ душъ презрѣніе къ заслугамъ,
Когда бы могъ насъ подарить покоемъ
Одинъ ударъ?“

читалъ онъ безсознательно громко изъ своего знаменитаго монолога, самъ какъ бы летя на крыльяхъ этихъ выговариваемыхъ имъ словъ.

— Полнехонько-съ! съ веселою улыбочкой и тѣмъ особымъ шопотомъ, которымъ говорятъ за кулисами, обратился къ нему декораторъ, стоявшій рядомъ съ занавѣщикомъ у перваго плана, откуда сквозь узкій просвѣтъ между занавѣсомъ и порталомъ видна ему была зала.

Гундуровъ почти злобно взглянулъ на него. „Къ чему эти нелѣпыя слова?“ какъ бы сказало что-то внутри его...

— Гамлетъ, на ваше мѣсто, пожалуйте! сказалъ, подбѣгая къ нему, режиссеръ, покончившій съ установкой Ольги Елпидифоровны съ ея „придворнымъ хвостомъ“ у кресла королевы.

Сергѣй занялъ свое мѣсто, скрестилъ руки, все также безсознательно, высокомѣрно и горько улыбаясь...

Режиссеръ торопливо попятился опять назадъ ступнями, окидывая теперь взглядомъ весь ансамбль скомпонованной имъ картины, и одобрительно качнулъ головой подъ заключительный тактъ тутъ же смолкнувшаго полонеза...

— Готово-съ? спросилъ онъ.

На всѣхъ лицахъ пробѣжало нервное движеніе,—то невольное и неизбѣжное движеніе страха, испытываемаго даже ветеранами сцены предъ торжественною минутой поднятія занавѣса. Никто не отвѣтилъ...

Отвѣта и не ожидалось. Режиссеръ подбѣжалъ къ занавѣсу, опущенному предъ самой будкой суфлера:

— Тутъ? прошепталъ онъ, нагибаясь къ самому полу, зная напередъ, что суфлеръ на мѣстѣ, но исполняя все по обычаю.

Занавѣсъ чуть-чуть заволновался, и изъ-подъ него выдвинулась на половину суфлерская книжка.

Режиссеръ еще разъ обернулся къ актерамъ, медленно поднялъ и опустилъ затѣмъ голову и руки, какъ дѣлаютъ это запѣвалы военныхъ пѣсенниковъ, и на цыпочкахъ выбѣжалъ въ кулису...

Перья на беретахъ „придворныхъ“ дрогнули какъ-то разомъ. Исправникъ-Полоній съ растерянным лицомъ воззрил-

ся вдругъ на Зяблина-Клавдіо. Вальковскій схватился за эфесъ шпаги. Ольга Елпидифоровна поднесла руку къ брилліантовой бабочкѣ, воткнутой въ ея косу, какъ бы справляясь, тутъ-ли она...

Три удара сапога о-полъ раздались слѣва въ кулисѣ. Медленно и безшумно взвился на своихъ кольцахъ матерчатый занавѣсъ и, съ легкимъ колебаніемъ длинной бахромы, подобрался красиво густыми фестонами подъ складки портала...

LIV.

Ta douleur est nôtre douleur à tous, Hamlet...
G. Sand.

Міръ иной,
Свободный, свѣтлый, безграничный,
Какъ рай лежитъ передо мной.
Языковъ.

Съ поднятіемъ занавѣса вся зала словно колыхнулась головами впередъ. За мгновенно наступившею тишиной пронеслось на мигъ нѣчто похожее на шелестъ вѣтра въ листьяхъ; постановка картины произвела надлежащее впечатлѣніе...

За тѣмъ всѣ глаза устремились на Гамлета.

Прежде всего такъ поразителенъ былъ этотъ одинокій траурный костюмъ противу той роскошной пестроты и блеска... Затѣмъ онъ самъ...

— C'est vôtre neveu? торопливымъ шопотомъ и не оборачиваясь спросила Софью Ивановну графиня Воротынцева, какъ бы боясь нотерять его изъ глазъ.

Софья Ивановна чуть-чуть кивнула головой. Она сама глядѣла, не переводя дыханія...

Онъ стоялъ въ-полоборота, скрестивъ руки, съ полуопущенными вѣками, ничего не видя—и видя все: тѣсную кучку слугъ, жадно толпившуюся въ глубинѣ залы у растворенныхъ дверей, ряды головъ неестественно тянувшихся впередъ, и чѣмъ ближе, тѣмъ ярче алчный блескъ направленныхъ на него зрачковъ, и выпяченную, какъ бы вопрошающую, губу лысаго старца въ серебряныхъ густыхъ эполетахъ, и приподнятые углы глазъ незнакомой ему, прекрасно и вдумчиво

вглядывавшейся въ него женщины, а за нею другіе глаза, серьезные и внимательные, не отрывавшіеся отъ него, глаза Анисьева... Онъ видѣлъ все и—ничего не видѣлъ: то, что отствѣчивалось въ его зрачкахъ, не вызывало никакого сознательнаго представленія въ его мозгу; это были какія-то точки, линіи, какія-то формы существъ, до которыхъ ему не было никакого дѣла, и которыя вмѣстѣ съ тѣмъ сливались въ одно что-то цѣлое, вѣское и подчиненное ему,—что-то, надъ чѣмъ онъ долженъ былъ властвовать и уже властвовалъ: онъ это чувствовалъ. Это что-то безличное, сливающееся въ его сознаніи, оно напередъ было уже подкуплено имъ и боялось за него теперь, какъ мать за сына,—боялось тѣхъ недочетовъ, которые могли ожидать это напередъ, на вѣру даруемое ему сочувствіе; онъ это понималъ какимъ-то особымъ, новымъ для него ощущеніемъ, какимъ-то тѣснымъ родствомъ его съ ощущеніями этой же, въ тоже время безличной для него толпы... А между тѣмъ что было у нея общаго съ тѣмъ неопредѣлимымъ состояніемъ гнетущей и блаженной тоски, съ тѣмъ небывалымъ подъемомъ всего его существа, которые таились теперь подъ его еще безмолвнымъ и понурымъ обликомъ?... „И чего они боятся?“ думалъ онъ какъ-то вскользь, — и еще презрительнѣе, еще высокомѣрнѣе сжимались его блѣдныя, нѣмыя губы...

— Сколь намъ ни драгоцѣнна память брата,
Похищеннаго смертью,

началъ король-Зяблинъ своимъ увѣреннымъ, тягучимъ, *сдобнымъ* голосомъ. Онъ исполненъ былъ важности и самодовольства...

— Исправникъ! пропѣлъ вдругъ шопотомъ графъ, узнавая Акулина подъ стариковскимъ парикомъ Полонія, и съ засіявшимъ лицомъ наклонился сообщить эту радость сосѣдкѣ своей, княгинѣ; для него какъ бы вся соль дѣла заключалась въ томъ, что вотъ, молъ, какъ хитро перерядился, а я его все-таки узналъ.

Взбѣшенная на него Аглая, не оборачиваясь, промычала себѣ что-то подъ носъ.

Клавдіо, договоривъ свое вступленіе, перешелъ прямо (о посольствѣ Корнелія и Волтиманда къ Фортинбрасу было выкинуто,) къ Лаерту:

— Мы слышали, что у тебя есть просьба къ намъ.
Скажи, чего желаешь ты? Мы поспѣшимъ
Исполнить...

Чижевскій, отдѣлясь отъ группы „придворныхъ," бодрымъ, статнымъ шагомъ своихъ длинныхъ ногъ подошелъ на близкое разстояніе отъ кресла короля, красивымъ движеніемъ сдернулъ беретъ съ головы и, почтительно склонивъ ее, заявилъ о своемъ желаніи ѣхать во Францію.

— Мой! Хорошо играетъ? запѣлъ все тѣмъ же шепоткомъ графъ, наклонясь на этотъ разъ къ сосѣдкѣ своей съ лѣвой стороны.

Графиня Воротынцева не отвѣчала.

Старецъ сложилъ ладони на животъ и, добродушно выпятивъ опять свою нижнюю губу, воззрился снова на исправника-Полонія.

— Къ тебѣ теперь я обращаю рѣчь,
Мой братъ и мой любезный сынъ, Гамлетъ!

молвилъ король.

У Софьи Ивановны ёкнуло сердце. Все, что было въ залѣ, невольно притаило духъ...

Первыя слова *Гамлета:* „Немного больше брата, меньше сына", говоримыя имъ въ сторону, сказаны были нѣсколько тихо,—ихъ не дослышали въ послѣднихъ рядахъ. Смотритель училища приставилъ обѣ свои ладони за уши: у него билось сердце не хуже, чѣмъ у Софьи Ивановны...

Но когда, въ отвѣтъ на слова дяди,

„Зачѣмъ такія облака печали на лицѣ?"

принцъ, повернувъ къ нему это свое печальное лицо, проговорилъ:

— Такъ близко къ солнцу радости—могу-ли
Одѣть себя печали облакали, государь?

по всему театру пробѣжалъ тотъ едва слышный, вырывающійся невольно, шопотъ одобренія, по которому вѣрнѣе всего опредѣляется мѣра правды въ тонѣ и намѣреніи актера.

— Такъ, такъ! Сквозь скорбь иронія, а сквозь иронію затаенная ненависть къ кровосмѣсителю дядѣ, — такъ, вѣрно! шепталъ, сіяя глазами, старикъ смотритель, оборачиваясь къ учителямъ, сидѣвшимъ за нимъ въ креслахъ.

Очередь была теперь за Гертрудой. Она тоже увѣщевала сына „оставить печаль“ и перестать „искать во прахѣ благороднаго отца“.

Никто изъ слышавшихъ ее на репетиціяхъ не узналъ Надежды Ѳедоровны. Откуда бралась у нея теперь эта натуральность и вѣрность интонаціи, откуда это что-то неожиданно-проницающее въ ея глухомъ, однозвучномъ голосѣ, какимъ всѣ его знали до сихъ поръ? Слова: „Таковъ нашъ жребій, всѣхъ живущихъ, умирать“, проговорила она такъ, что Ашанинъ, стоявшій въ кулисѣ за нею и пожиравшій оттуда глазами восхитительную спину Ольги Елпидифоровны, поблѣднѣлъ подъ своими румянами. „А ну, какъ если она и въ самомъ дѣлѣ помереть вздумаетъ!...“ пронеслось въ головѣ московскаго Донъ-Жуана...

Гамлетъ покорно склонился предъ волей короля-дяди, не согласнаго на новый отъѣздъ его въ Виттенбергъ; король за это обѣщалъ, что „въ честь ему раздастся громъ орудій“, а самъ „онъ къ облакамъ внесетъ заздравный кубокъ“, и поднялся за этими словами съ кресла вмѣстѣ съ королевой.

Тутъ произошло маленькое смятеніе. Зяблинъ, исполненный величественностью своего королевскаго званія, счелъ нужнымъ воздѣть на себя мантію, чтобъ уйти со сцены съ достодолжною помпой. Но пажики, державшіе ее, не бывъ заранѣе предварены объ этомъ, сконфузились и при томъ были слишкомъ малы, чтобы приподнять ее до плечъ его величества. Выручилъ Толя Карнауховъ: съ находчивостью и ловкостью совершенно придворными онъ выбѣжалъ изъ кучки товарищей, выхватилъ мантію изъ пажескихъ рученокъ и съ глубокимъ поклономъ возложилъ ее на датскаго владыку.

— Да это мой сынъ! раздался въ первомъ ряду креселъ

радостно удивленный смѣхъ княгини Додо, между тѣмъ какъ на сценѣ королева-Надежда Ѳедоровна сконфуженно оглядывалась, не зная, надѣвать-ли и ей мантію, или нѣтъ.

Ольга Елпидифоровна, стоявшая подлѣ ея кресла, исполнилась вдругъ, въ виду глядѣвшей на нее публики,—она была убѣждена, что главнымъ образомъ на нее смотрятъ,—неслыханнаго великодушія: она по примѣру Толи взяла мантію изъ рукъ пажей и, живописно округливъ локти, надѣла ее на плечи перезрѣлой дѣвы.

И затѣмъ дворъ, безъ дальнѣйшихъ приключеній и въ должномъ порядкѣ, вѣя перьями и шурша длинными платьями дамъ, удалился за кулисы при громѣ рукоплесканій,—имъ же подали знакъ пухлыя ладони совершенно довольнаго тѣмъ, что онъ узналъ исправника подъ старческимъ парикомъ, графа.

Гамлетъ остался одинъ...

Онъ сдѣлалъ два стремительные шага впередъ, остановился, сжалъ до боли пальцы опущенныхъ рукъ, поднялъ глаза:

— О, еслибъ вы, души моей оковы,
Испарились въ туманъ, росою пали!
Иль еслибъ ты, Судья земли и неба,
Не запретилъ грѣха самоубійства!..

Голосъ Гундурова не плакалъ, какъ заставлялъ его плакать Гаррикъ въ этомъ первомъ, удивительномъ монологѣ, который по разнообразію оттѣнковъ и силѣ драматической экспрессіи стоитъ гораздо выше болѣе всѣмъ извѣстнаго, высоко художественнаго, но резонерскаго по характеру: „Быть иль не быть“... Онъ не плакалъ этотъ молодой, звенѣвшій какъ натянутая струна и полный неожиданныхъ изгибовъ голосъ, онъ весь дрожалъ гнѣвомъ еще свѣжихъ впечатлѣній, безумнымъ отчаяніемъ свѣтлой души, на зарѣ дней пораженной первымъ и уже нестерпимымъ ударомъ...

— Два мѣсяца! Нѣтъ, даже и не два,
Какъ умеръ онъ, монархъ столь благородный!
Такъ пламенно мою любившій мать,
Что и небесъ неукротимымъ вѣтрамъ

Не дозволялъ лица ея касаться!...
Покинь меня, воспоминаній сила!
Ничтожность *), женщина, твое названье!

Такого горячаго, быстраго темпа, какимъ лились эти строки изъ этихъ молодыхъ устъ, князь Ларіонъ, „видѣвшій *Гамлета* на всѣхъ театрахъ Европы“, не слыхалъ никогда, и этотъ юный русскій диллетантъ, какъ предсказывалъ князю Ашанинъ въ первый день ихъ пріѣзда въ Сицкое, „удовлетворялъ“ его теперь дѣйствительно болѣе, чѣмъ Мекриди и Кемблъ, или тотъ Нѣмецъ, которому внималъ онъ на Веймарскомъ театрѣ изъ ложи директора Гёте. Его самого словно захватывало, словно уносило отъ личныхъ терзаній къ той общей, безконечной человѣческой скорби, — уносила эта геніальная художественная правда въ этой искренней, лишенной всякаго эмфаза, чисто русской передачѣ.

— Одинъ короткій, быстротечный мѣсяцъ!

говорилъ Гундуровъ, все сильнѣе и сильнѣе увлекаясь:

И башмаковъ еще не износила,
Въ которыхъ шла, въ слезахъ, какъ Ніобея,
За бѣднымъ прахомъ моего отца!
О небо! Звѣрь безъ разума, безъ слова,
Грустилъ бы долѣе!...

Онъ не совладалъ съ одолѣвшею его силой ощущенія; рыданіе, неудержимое дѣтское рыданіе вырвалось изъ груди Сергѣя... Онъ только успѣлъ выхватить платокъ изъ кармана и погрузить въ него свое облитое потокомъ слезъ лицо.

Опытнѣйшій актеръ не сумѣлъ бы произвести такого впечатлѣнія. Зала словно застонала вся ему въ отвѣтъ... Въ заднихъ рядахъ вскочили. „Божественно, божественно!“ всхлипывая, громко восклицалъ всклокоченный сѣдой смотритель...

---

*) *Frailty, thy name is woman.* Frailty, французское, отъ того же корня, *fragilité*, передается въ нѣмецкихъ переводахъ *Гамлета* не совсѣмъ близкимъ словомъ *Schwachheit* (слабость), а русскими переводчиками уже совсѣмъ невѣрно, словами *ничтожество*, *ничтожность*, между тѣмъ какъ, кажется, въ нашемъ языкѣ имѣется довольно близкій переводъ этого слова:— *хрупкость*.

— Онъ никогда не будетъ въ состояніи продолжать такъ! промолвила, оборачиваясь къ Софьѣ Ивановнѣ, графиня. — Я понимаю, какъ вы должны его любить! воскликнула она тутъ же, съ улыбкой заглядывая ей въ лицо.

— Я этого ожидала... Это со вчерашняго вечера готовилось! прошептала вся блѣдная Софья Ивановна.

О, если бы могъ видѣть Гундуровъ,—не видѣвшій ничего теперь, кромѣ того предъ собою, чего-то сплошнаго и безличнаго, надъ чѣмъ властвовалъ онъ этимъ блаженно-пронимавшимъ всего его чувствомъ Гамлетовской безконечной печали,—если бы видѣлъ онъ выраженіе тѣхъ лазоревыхъ, отуманенныхъ глазъ, что̀ глядѣли на него изъ-за второй направо кулисы, за которою съ падавшими на грудь длинными локонами золотистыхъ волосъ кругомъ прелестнаго лица, съ подобраннымъ на руку шлейфомъ своего придворнаго, голубаго шелковаго платья, стояла въ ожиданіи своего выхода Офелія!... Она тоже знала, *чѣмъ* вызвано было это внезапное, прорывавшееся у „ея принца“ рыданіе... Она стояла, ухватившись за раму холста, боясь упасть и не замѣчая, не слыша, какъ предлагалъ ей стоявшій подлѣ нея декораторъ сѣсть на подвинутый имъ стулъ и не „салить“ свѣжихъ перчатокъ объ эту раму...

Онъ не видѣлъ ея,—онъ успѣлъ оправиться подъ шумъ не прерывавшихся аплодисментовъ и, уже сдерживаясь, вспомнивъ, что ему еще предстояли въ этомъ актѣ двѣ сильныя сцены, дочелъ свой монологъ до конца. Заключительныя, извѣстныя слова его:

„Скорби, душа моя. Уста должны молчать!“ *)

Гундуровъ проговорилъ по традиціи Кина, приложивъ палецъ къ губамъ, значительно понизивъ голосъ и подозрительно оглянувшись кругомъ,—что̀ вышло очень эффектно и вызвало новыя рукоплесканія.

Рукоплесканіями же встрѣченъ былъ выходъ Ашанина-Го-

*) But break, my heart, for I must hold my tongue. Буквально: Но, сердце, разорвись, языкъ сдержать я долженъ!

раціо, въ сопровожденіи Свищова, игравшаго Марцелло. Не одни женскіе глаза съ живымъ удовольствіемъ привѣтствовали появленіе чернокудраго красавца подъ его блистательнымъ костюмомъ, сіявшаго какимъ-то добродушнымъ самодовольствомъ и счастіемъ жизни, нисколько не соотвѣтствовавшими теперь смыслу того характера, который имѣлъ онъ изображать, но которыя, онъ зналъ, неизмѣнно вызывали къ нему симпатіи публики каждый разъ, какъ появлялся онъ на сценѣ. Ничего другаго ему и не нужно было никогда; за то такъ и презиралъ его, какъ актера, грубый, но дѣйствительно страстный фанатикъ искусства, Вальковскій.

— Добрый малый! Хорошо играетъ! обратился съ новою счастливою улыбкой графъ къ своей сосѣдкѣ слѣва; — собою очень хорошъ!

— Д-да, отвѣтила графиня, — похожъ немножко на Итальянца съ шарманкой... но хорошъ!

Ашанинъ на этотъ разъ—что рѣдко съ нимъ бывало,— зналъ свою роль безукоризненно и велъ ее, со внѣшней стороны глядя, безупречно, то есть, подавалъ реплики безъ запинки, игралъ все время, то есть изображалъ глазами, лицомъ, движеніями вниманіе и участіе къ тому, что говорилъ онъ и что говорили бывшіе съ нимъ на сценѣ; очень вѣрнымъ тономъ передалъ Гамлету о появленіи тѣни отца его на террасѣ замка... Но это былъ „не Гораціо“, коротко замѣтилъ старикъ-смотритель, обернувшись къ товарищамъ-учителямъ, которые съ такимъ же неотступнымъ вниманіемъ, какъ и онъ самъ, прислушивались къ каждому слову актеровъ. Когда же на первый вопросъ Гамлета, зачѣмъ онъ оставилъ ученіе въ Виттенбергѣ, онъ отвѣчалъ ему:

„Изъ лѣности, мой добрый принцъ“,

съ такимъ естественно веселымъ и беззаботнымъ видомъ, что игноранты драмы принялись въ залѣ апплодировать, подкупленные этою естественностью, Вальковскій, стоявшій за кулисами рядомъ съ исправникомъ, плюнулъ и сказалъ: „свинья!“...

Свищовъ тоже старался какъ можно больше играть и, хотя ему во всей сценѣ приходилось сказать ровно три

слова, предавался отчаяннѣйшимъ тѣлодвиженіямъ и такъ нажимался при этомъ на Горація, какъ бы желая отнять у него слово и заговорить самъ, что Ашанинъ, всегда бывшій на сценѣ, какъ дома, безцеремонно отпихнулъ его наконецъ отъ себя локтемъ, вслѣдствіе чего въ залѣ черненькій артиллеристъ, прозывавшійся „Сенькой“, рявкнулъ вдругъ громкимъ хохотомъ, тутъ же впрочемъ остановленнымъ энергическими шт! его сосѣдей.

По окончаніи явленія Гундуровъ и Ашанинъ побѣжали въ уборную надѣвать сапоги, въ которыхъ они должны были явиться въ сценѣ съ *Тѣнью*.

— Княжна вышла! сказалъ по пути красавецъ;—слышишь, какъ отбиваютъ себѣ тамъ руки?...

Вся эта „отбивавшая себѣ руки“ толпа зрителей глядѣла теперь на появившуюся Офелію, какъ будто каждый изъ нихъ былъ страшно въ эту минуту влюбленъ въ нее. Ея тихая, безплотная какая-то прелесть неотразимо чаровала все и всѣхъ...

— Ангелъ съ гробницы самого Шекспира! не успѣла она еще отворить ротъ, вскликнулъ восторженно смотритель, опредѣляя этимъ то ощущеніе какой-то скорбной нѣжности, которое вызывала она въ немъ.

„Très distinguée!“ думалъ въ то же время графъ Анисьевъ, внимательно, въ свою очередь, смотря на княжну и представляя себѣ тотчасъ же, какое она будетъ производить лестное для него впечатлѣніе на маленькомъ балѣ въ Эрмитажѣ...

Княгиня Аглая недовольными глазами глядѣла на туалетъ дочери:

„Le corsage trop plat, pas de jeu d'épaules! Безъ меня никогда одѣться не съумѣетъ!...“

— Какъ мила! шептали въ то же время во всѣхъ углахъ залы.

Замѣтная для зрителя въ минуту выхода ея изъ кулисы подъ руку Лаерта нѣкоторая робость въ ней не исчезла съ первыми выговореными словами, какъ это часто случается на театрѣ, но какъ бы опредѣлила свой характеръ: то былъ не страхъ дебютантки, а природная робость той идеальной,

болѣзненно-чуткой и нѣжной натуры, той „*sweet* Ophelia“, какою изобразилъ ее Шекспиръ. Сотни не отрывавшихся отъ нея глазъ не смущали ея,—она ихъ не видѣла...

Ей и не изъ-за чего было смущаться: она не играла роли, она чувствовала такъ себя самое въ томъ, что̀ вложено Шекспиромъ въ уста дочери Полонія. Съ перваго дня репетиціи, со своею крайнею добросовѣстностью, она у всѣхъ, кого считала компетентнымъ, спрашивала совѣта, указаній, поправки того, что̀ казалось ей иной разъ неточно или неудачно выражаемымъ ею,—и никто ни разу не нашелъ случая ее поправить... Да, она была сама Офелія; тѣ едва тронутыя геніальною кистью черты, которыми намѣчены ея чувство и отношенія къ Гамлету, дорисовывались ея наружностью, выраженіемъ глазъ ея и устъ, тѣми неуловимо нѣжными оттѣнками задержекъ и прерываній голоса, съ какими давала она свои короткіе отвѣты на торопливыя, безпокойныя допытыванія отца...

„Онъ о любви мнѣ говорилъ, но такъ
Былъ нѣженъ, такъ почтителенъ и робокъ...“

Да, этотъ онъ, „почтительный и робкій“, онъ говорилъ ей о любви, а она ему всѣмъ сердцемъ внимала,—вотъ что̀ сказалось разомъ въ душѣ каждаго изъ зрителей. Графиня Воротынцева, не отрывая отъ нея глазъ, поймала руку Софьи Ивановны и крѣпко сжала ее,—она знала все теперь... Анисьевъ закусилъ губу... Аглаю Константиновну словно кольнуло что-то. „Est ce bien convenable ce que dit là Lina, что ей, дѣлали des déclarations d'amour?“ тревожно вдругъ пронеслось въ ея многодумной головѣ, и въ недоумѣніи она стала торопливо отыскивать глазами князя Ларіона, сидѣвшаго одиноко въ крайнемъ креслѣ перваго ряда, у ложи, гдѣ безмятежно почивала madame Crébillon. Но выраженіе его лица показалось ей въ эту минуту такимъ страдальческимъ и растерянным, что она совсѣмъ перепугалась и, заворочавъ своими круглыми глазами, уперла ихъ въ толстые эполеты графа, словно просила у нихъ теперь совѣта и помощи. Но блаженный владѣлецъ этихъ эполетъ весь поглощенъ былъ въ

созерцаніе комической, переряженной фигуры исправника-Полонія, который, юрко переступая на своихъ толстыхъ ногахъ, подмигивая, пришептывая и покряхтывая, читалъ свои практическія сентенціи отъѣзжающему сыну и допрашивалъ дочь, при чемъ его подвижное, плутовато-наивное лицо удивительно передавало малѣйшій оттѣнокъ, намекъ, каждое намѣреніе произносимыхъ имъ словъ. По всей залѣ пробѣжалъ неудержимый смѣхъ, когда онъ, остерегая Офелію отъ „свѣтящейся, но не грѣющей страсти“ Гамлета, склонилъ неожиданно голову на бокъ, поднялъ обѣ руки и полушопотомъ, какъ бы весь сомлѣвъ отъ почтительности, произнесъ:

Принцъ молодъ, и ему, какъ принцу,
Простительно,

и тотчасъ затѣмъ, обернувшись на дочь, задвигалъ грозно пальцемъ по воздуху и примолвилъ:

Тебѣ-жь, Офелія, никакъ!

— Смѣшной! пропѣлъ графъ, съ расплывшеюся отъ удовольствія физіономіей повертываясь къ княгинѣ, и ничего ему не сказали ея вопросительные, глупо ворочавшіеся глаза...

LV.

Гундуровъ между тѣмъ сидѣлъ въ уборной одинъ, въ ожиданіи перемѣны декораціи (всѣ остальные актеры толпились за кулисами, любуясь Офеліей и Полоніемъ)... Странное дѣло, онъ, самъ себѣ не отдавая отчета въ этомъ, какъ бы избѣгалъ княжны. Онъ какъ бы боялся вернуться къ своему я, къ своимъ субъективнымъ ощущеніямъ, спуститься съ высоты того душевнаго настроенія, которое владѣло имъ теперь... Все, что̀ проговорено было имъ сейчасъ тамъ, на тѣхъ доскахъ, предъ тѣми людьми, жадно глядѣвшими на него, все это онъ переживалъ, перечувствовалъ опять, вспоминая каждое слово, жестъ свой, голосовой оттѣнокъ, и какъ на такомъ-то мѣстѣ онъ заранѣе зналъ, что ему зааплодируютъ, и каждый разъ именно на этомъ мѣстѣ ему аплодировали... и какъ вырвались у него неожиданно эти слезы, и онъ не смутился, и боялся только, какъ бы, утирая ихъ платкомъ, не размазать себѣ лицо, и это вдругъ такъ чудесно вышло... А впереди сколько еще такихъ мѣстъ ему предстоитъ, гдѣ непремѣнно, непремѣнно...

Звонъ колокольчика къ перемѣнѣ донесся до него со сцены.

Занавѣсъ съ изображеніемъ дома и сада въ Сицкомъ упалъ предъ зрителями; на сценѣ на мѣсто пилястровъ залы выдвинулись кулисы съ вырѣзными вѣтвями деревьевъ, опустилось въ глубинѣ прекрасно написанное полотно освѣщеннаго Эльсинорскаго замка съ дальнимъ видомъ моря, *практикабль* рѣшетки мигомъ окружилъ террасу... Гундуровъ побѣ-

жалъ на сцену... Предъ нимъ на пути успѣли только мелькнуть голубое платье и чьи-то глаза, какъ бы недоумѣло глядѣвшіе на него изъ кулисы...

Явленіе съ *Тѣнью* прошло весьма удачно. Постниковъ не тянулъ,—чего было испугался Гундуровъ,—и произвелъ требуемое впечатлѣніе ужаса. Всѣ вѣскія мѣста и переходы Гамлета „вытанцовались“, по выраженію Вальковскаго, у нашего героя отлично. Публика уже всецѣло завоевана была имъ, и въ наступившемъ затѣмъ антрактѣ старикъ-смотритель, сіяя своими юношескими, влажными отъ волненія глазами, доказывалъ окружавшей его публикѣ изъ города, что Мочаловъ былъ „*чудный*, крупный, но неотесанный алмазъ, а этотъ высокодаровитый и всесторонне развитый образованіемъ юноша — граненый брилліантъ, блескъ котораго далъ ему, Василію Григорьеву Юшкову, возможность заглянуть въ остававшіяся для него невѣдомыми до сихъ поръ душевныя глуби Гамлета-Датчанина“...

По окончаніи акта Сергѣй напрасно искалъ глазами за кулисами мелькнувшее предъ нимъ голубое платье; его уже тамъ не было... Онъ ушелъ опять въ уборную, — ему было ужасно жарко, хотѣлось пить, перемѣнить бѣлье...

Тамъ ждали его непритворные восторги Вальковскаго и надутыя, какъ мыльный пузырь, безсодержательныя и неотступныя фразы Толи, и рукожатія, и поздравленія, и протянутые отовсюду бокалы, — весь этотъ гамъ и пѣна молодаго увлеченія, радости, удачи... И здѣсь, чувствовалъ онъ опять, онъ былъ центръ всего этого возбужденія; какъ тамъ надъ толпой онъ властвовалъ,—властвовалъ „во имя благороднѣйшихъ и возвышеннѣйшихъ задачъ человѣческаго духа“, думалъ онъ, выражаясь мысленно привычнымъ ему языкомъ профессорской лекціи,—властвовалъ, въ дѣйствительности, въ силу успѣха, предъ которымъ все клонитъ голову, и котораго не переноситъ никто...

Свищовъ былъ не въ силахъ перенести успѣхъ нашего героя.

Онъ морщился, дергалъ плечомъ, фыркалъ, сообщая въ углу всякія критическія замѣчанія объ игрѣ Гундурова прія-

телю своему, исправнику, который, въ своемъ качествѣ „актера въ душѣ“, выслушивалъ, разумѣется, съ удовольствіемъ колкости и брань по адресу собрата по искусству. Гундуровъ отгадывалъ, что говорилось о немъ по сдержаннымъ улыбочкамъ Акулина, по ядовитымъ взглядамъ, которые кидалъ на него Свищовъ. Громко произнесенное Свищовымъ имя, ненавистное имя графа Анисьева, донеслось до его слуха... Ему опять стало гадко до тошноты. О, какъ вся эта „мерзость и ложь дѣйствительности“ была далека отъ только-что испытанныхъ имъ блаженныхъ ощущеній, „правды искусства!“...

Онъ вышелъ изъ уборной въ корридоръ, изъ котораго одна дверь выходила въ садъ, отворилъ ее и очутился на воздухѣ. По небу бѣжали темныя тучи, собирался дождь... Гундуровъ въ своемъ костюмѣ Гамлета опустился на каменное крылечко, вбирая въ грудь уже полный влажности ночной воздухъ...

За кулисами между тѣмъ, въ глубинѣ сцены, на которой оставались одинъ только декораторъ съ рабочими, и ставилась новая перемѣна для втораго дѣйствія, Ашанинъ прерывающимся отъ волненія голосомъ и съ низко наклоненною къ ней головой велъ торопливую бесѣду съ Ольгой Акулиной. Онъ маневрировалъ предъ тѣмъ такъ ловко, что она, по уходѣ изъ кулисъ всѣхъ остальныхъ актеровъ, очутилась въ полутемномъ углу у послѣдней занавѣси, а онъ стоялъ предъ ней, застилая ее отъ взглядовъ ламповщиковъ и рабочихъ и не давая ей возможности уйти иначе, какъ когда самъ онъ посторонится и дастъ ей дорогу.

— Вы знаете, говорилъ онъ, — что я безумно, безумно, да... Я... никогда еще такъ сильно... безумно люблю тебя. И вы тоже, казалось... Я не виноватъ, что вчера эта дура... А ты сегодня... За что? Я чуть съ ума не сошелъ... Оля, Олечка, прелесть моя!...

Она держала предъ собою руку, какъ бы готовясь оттолкнуть все ближе и ближе надвигавшееся къ ней лицо его. Но полная грудь ея высоко приподымала шитый золотомъ лифъ ея придворнаго платья, и будто такимъ же золотомъ сверкавшія искры пробѣгали въ ея карихъ, широко раскрытыхъ и влажныхъ глазахъ... Она вся еще была подъ обаяніемъ того

волшебнаго міра, въ который чувствовала себя вовлеченною съ той минуты встрѣчи съ Ашаниным у лѣсенки на сцену... Этотъ міръ, сказывалось и ей, былъ лучше, выше дѣйствительности; это былъ міръ ея первыхъ институтскихъ мечтаній, ея романсовъ и любимыхъ французскихъ романовъ, съ ихъ замаскированными женщинами, шелковыми лѣстницами, блескомъ скрещенныхъ шпагъ и „роковыми" страстями подъ бархатомъ и атласомъ. Онъ будто воочію теперь осуществлялся для нея этотъ міръ, вѣялъ изъ-за этого раскрашеннаго полотна, изъ-за этихъ задернутыхъ голубоватою кисеей таинственно мерцающихъ лампъ. Предъ нею стоялъ и жегъ ее пламеннымъ взглядомъ „безумно" любившій ее красавецъ, ловкій, пылкій и отважный, точь-въ-точь тотъ герой въ *La Dame de Monsorreau* *), которымъ она еще недавно восхищалась...

— Ахъ, какъ вы хороши въ этомъ костюмѣ! говорила она ему опять, какъ бы не умѣя теперь ничего болѣе сказать и дѣлать, какъ говорить это и любоваться имъ...

— Ты хороша, какъ сама красота, Оля, божество мое! воскликалъ онъ;—ты опять моя, ты меня любишь... Ты придешь опять, да?... Сегодня ночью, сюда, въ театръ... Я все изучилъ: тебѣ сверху изъ твоей комнаты прямо только спуститься по лѣстницѣ въ корридоръ, я буду тамъ ждать тебя... Во всей этой части флигеля ни сторожа, ни живой души нѣтъ... Да, ты придешь, придешь?...

Онъ изъ-подъ мантіи обнялъ своимъ атласнымъ рукавомъ ея упругую талію, притянулъ къ себѣ...

Она безмолвно, все шибче и шибче дыша высокою грудью, потупила свои влажные глаза...

— А теперь только разъ, разъ! шепталъ онъ, чувствуя, какъ у его груди билось ея сердце...

Губы ея прижались къ его губамъ...

— А теперь довольно, пустите... пусти! вскликнула она вдругъ,—могутъ замѣтить!...

Она отпихнула его, выпростала шлейфъ изъ угла, подо-

*) Романъ А. Дюма

брала его на руку и побѣжала прямо, вдоль кулисъ, еще не отдавая себѣ ясно отчета въ томъ, что дѣлала. Она остановилась у передней занавѣси и приникла пылавшимъ лицомъ къ просвѣту, сквозь который видна была зала.

Прежде всего кинулся ей въ глаза блестящій флигель-адъютантъ. Онъ стоялъ въ первомъ ряду, спиной къ сценѣ, и разговаривалъ съ „петербургскою царицей“. Онъ нѣсколько разъ повертывалъ голову и, усмѣхаясь, какъ бы ожидалъ, показалось ей, не увидитъ-ли онъ ея именно тутъ, на томъ мѣстѣ, откуда она глядѣла на него...

Она долго такъ, нѣсколько сгорбившись и осторожно выдвигая чуть-чуть голову въ просвѣтъ, стояла у этой занавѣси. За нею, наклонясь надъ ея спиной, какъ бы для того, чтобы видѣть тоже, стоялъ Ашанинъ и пьянѣлъ отъ близости ея роскошнаго, съ запахомъ свѣжести и ириса молодаго тѣла...

Ольга какъ-то внезапно выпрямилась, обернулась,—Ашанинъ посторонился... Она прошла на пустую сцену, остановилась...

— Послушайте, сказала она тихо и оглядываясь,—я васъ обманывать не хочу, я не приду... Я не могу! быстро примолвила она, глянувъ на его оторопѣвшія черты, на его побѣлѣвшія губы,—не могу! сказала она еще разъ,—я вамъ ужь говорила, я такая... капризная. Вы красивый, да, вы мнѣ нравитесь... но у меня другое, совсѣмъ другое, вы мнѣ только мѣшать будете!... Я васъ прошу, пожалуйста, не сердитесь, но я не могу, не могу!... И вы мнѣ больше никогда, никогда не говорите!...

И, какъ птица съ мѣста, она разомъ вскинулась, повернулась и, подобравъ шлейфъ, со всѣхъ ногъ побѣжала со сцены.

— Ольга, гдѣ ты была? Я шла искать тебя, вскликнула бѣжавшая ей навстрѣчу по корридору Eulampe.

— Ахъ, тамъ все этотъ Ашанинъ со своими глупостями! засмѣялась ей въ отвѣтъ барышня.

— Нѣтъ, душка, расхохоталась, въ свою очередь, рѣши-

тельная „пулярка“,—онъ такой восхитительный сегодня, ему сегодня все можно!...

Ольга перебила ее:

— А прочія гдѣ?

— Въ уборной, тамъ чай поданъ...

Онѣ пошли туда. Но въ то же время раздался колокольчикъ, призывавшій актеровъ на сцену ко второму дѣйствію. Изъ уборной вышла Офелія, участвующая въ первомъ его явленіи, и прошла молча мимо Ольги.

— Какъ вы блѣдны, Лина! вскрикнула барышня, воззрясь на нее,—вы не румянились?

— Нѣтъ, коротко проговорила княжна,—мнѣ и надо быть блѣдной...

„Да“, подумала, поглядѣвъ ей вслѣдъ, Ольга,—„она тутъ говоритъ отцу, что ее перепугалъ сумасшедшій Гамлетъ... Но она и сама по себѣ разстроена... И этотъ тоже!“ добавила она мысленно, замѣтивъ входившаго изъ сада въ корридоръ Гундурова, „видно, плохо приходится!...“

И она безсердечно усмѣхнулась...

LVI.

Второе дѣйствіе прошло почти до конца еще удачнѣе перваго: лицедѣи наши стояли теперь твердо на ногахъ и между ними и зрителями чувствовалась уже та незримая, но живая связь, при которой все выходитъ у актера какъ бы само собою, ладится и говорится ловко, естественно и эффектно, а зритель какъ-бы самъ дѣлается участникомъ въ томъ оживленіи, какое видитъ онъ предъ собою на сценѣ. Полоній не сходитъ съ подмостковъ въ продолженіе всего этого втораго дѣйствія, и Елпидифоръ Павловичъ Акулинъ имѣлъ тутъ полную возможность разыграться на просторѣ, окончательно очаровать начальство и показать себя во всемъ разнообразіи оттѣнковъ его роли въ этомъ дѣйствіи, начиная со сцены со слугой, котораго Полоній отправляетъ въ Парижъ „съ хитрымъ наставленіемъ“, какъ „сторонкой, да обходомъ, да уловкой всю истину провѣдать о Лаертѣ“ (причемъ храбрый капитанъ Ранцовъ два раза сбился съ реплики), и кончая забавными разглагольствіями его о сумасшествіи Гамлета изъ-за любви къ его дочери, сначала въ сценѣ съ нею (гдѣ княжна была прелестна,)—и потомъ въ разговорѣ съ королемъ и королевой. Его неподдѣльное оживленіе, искренность его комизма сообщались зрителямъ и возбуждали въ нихъ какое-то ликованіе. Зала отвѣчала смѣхомъ чуть не на каждое его слово; графъ веселился, какъ ребенокъ, а старикъ-смотритель съ блаженною улыбкой на лицѣ то-и-дѣло оборачивался на своихъ учителей, одобрительно кивая и подмигивая.

Сцена съ актерами и слѣдующій за нею монологъ Гамлета (что онъ Гекубѣ, и что ему Гекуба“) принадлежали къ тѣмъ

мѣстамъ роли, надъ которыми Гундуровъ наиболѣе работалъ, и которыя казались ему настолько имъ „осиленными“, что онъ монологъ часто и вовсе пропускалъ на репетиціяхъ, какъ вещь совсѣмъ готовую и которую, молъ, не стоитъ повторять. Вальковскій, особенно любившій это мѣсто и знавшій издавна, еще съ Москвы, какъ читалъ его Сергѣй, съ особеннымъ наслажденіемъ готовился прослушать его теперь „въ настоящемъ видѣ“... Но ожиданія его сбылись не совсѣмъ. Весь предыдущій разговоръ съ отцомъ Офеліи и актерами герой нашъ велъ очень хорошо, съ требуемою ироніей и сдерживаемымъ чувствомъ глубокой внутренней горечи. На слова Полонія, что онъ актеровъ „угоститъ по достоинству“, отвѣтъ Гамлета: „Нѣтъ, прими ихъ лучше, ибо если каждаго принимать по достоинству, много-ли останется, кто не стоилъ бы оплеухи?“ вылился у него съ такимъ ѣдкимъ презрѣніемъ, что нашего исправника, на котораго въ эту минуту вольно или невольно Гундуровъ прямо уставился глазами, всего даже покоробило, тѣмъ болѣе, что въ заднихъ рядахъ креселъ, гдѣ сидѣли городскіе жители, раздался смѣхъ и громкіе аплодисменты, въ которыхъ толстый исправникъ имѣлъ основаніе видѣть какъ-бы нѣкоторую гражданскую демонстрацію противъ него. Но съ перваго стиха монолога Гундуровъ не попалъ въ тонъ, взялъ минóромъ и слишкомъ высоко. Нужнаго crescendo не вытанцовалось. Чтобы поправиться, ему нужно было передохнуть, дать паузу послѣ словъ: „А я“, за которыми идетъ самоосужденіе и самобичеваніе Гамлета („Ничтожный я, презрѣнный человѣкъ“), но онъ сконфузился, сознавая, что предыдущее говорено было все невѣрно, и продолжалъ безъ передышки, какъ-бы уже съ тѣмъ только, чтобы договорить скорѣе до конца. Вышло крикливо и вмѣстѣ съ тѣмъ вяло. Когда онъ кончилъ, послышались рукоплесканія, но ему было совершенно понятно, что это была учтивость одна, а не заслуженное одобреніе. Онъ, злобно кусая себѣ губы, выскочилъ въ кулису, едва упалъ предъ нимъ занавѣсъ, и прямо наткнулся на стоявшаго тамъ Вальковскаго, который глядѣлъ на него съ такимъ видомъ, будто сейчасъ готовился побить его.

— Что, братъ, скажешь, скверно? невольно вырвалось у Сергѣя.

— Не Гамлетъ, а губошлепъ какой-то вышелъ у тебя, вотъ и весь тебѣ сказъ! свирѣпо отпустилъ ему въ отвѣтъ „фанатикъ", отворачиваясь отъ него и уходя.

У Гундурова зарябило въ глазахъ. Онъ схватился рукой за кулису... Ему въ эту минуту совершенно ясно представилось, что „теперь все, все пропало!..." Онъ „обезчещенъ, опозоренъ" въ глазахъ всѣхъ, всей этой толпы... Какъ онъ смѣется теперь надъ нимъ этотъ... этотъ... „петербургскій преторіанецъ!" безсознательно повторялъ онъ внутренно прозвище, которымъ Свищовъ обозначилъ графа Анисьева... О, трижды проклятъ будь тотъ день, когда онъ послушался Ашанина, пріѣхалъ сюда, отдалъ себя на всѣ эти муки,—муки эти представлялись ему чѣмъ-то большимъ, страшнымъ, съ какими-то чудовищными клещами, захватившими каждый закоулокъ его существа,—но что вмѣстѣ съ тѣмъ въ тысячу разъ легче было, казалось ему, переносить, чѣмъ это вотъ сейчасъ самому себѣ нанесенное имъ „поруганіе"...

— Сережа, поди сюда! сказалъ ему чей-то голосъ.

— Что тебѣ нужно? вспыльчиво огрызся онъ, узнавая Ашанина, котораго только-что внутренно предавалъ проклятію.

Но тотъ такъ настойчиво повторилъ „пойдемъ!" глядя на него всѣмъ горячимъ блескомъ своихъ черныхъ глазъ, что Гундуровъ, молча, какъ-бы подъ магнетическимъ вліяніемъ, послѣдовалъ за нимъ.

Они дошли до лѣсенки, спускавшейся со сцены.

— Куда же это, ко всѣмъ имъ? спросилъ останавливаясь Сергѣй, разумѣя уборную.

— Нѣтъ, пойдемъ въ садъ.

— Я ужь тамъ былъ, безсознательно пробормоталъ Гундуровъ.

— Погоди меня тутъ минуточку, промолвилъ Ашанинъ, выводя его на знакомое уже Сергѣю крылечко:—я сейчасъ!...

Онъ исчезъ и чрезъ мигъ вернулся съ бутылкой шампанскаго въ одной рукѣ и стаканомъ въ другой.

— Выпей! сказалъ онъ, наливая.

Тотъ отстранилъ рукой стаканъ:

— Не хочу!

— Выпей, тебѣ нужно! настаивалъ красавецъ.

— Какая нужда? Съ горя, что-ли, пьянствовать! закричалъ Гундуровъ.

— Ничего не пьянствовать! Я бутылку цѣлую сейчасъ выпилъ залпомъ,—хоть-бы въ одномъ глазу. А нервы подвинтить тебѣ надо. Пей, говорю! Вальковскій—дуракъ, ты на слова его плюнь, а подвинтиться тебѣ все-таки надо. Пей!...

Гундуровъ глянулъ на него, протянулъ руку и осушилъ стаканъ до дна.

—. Ну, вотъ и хорошо! сказалъ Ашанинъ.—Больше тебѣ не нужно... А теперь слушай!

Свѣжій-ли воздухъ ночи, или это сейчасъ выпитое имъ вино, но Гундурову дѣйствительно словно полегчало. Онъ оперся головой объ обѣ ладони, приготовясь слушать.

— Не повезло намъ здѣсь съ тобою, Сережа, заговорилъ нежданно его пріятель, и спьяна-ли, или отъ глубоко прохватившаго его чувства — Гундуровъ не былъ въ состояніи разобрать въ эту минуту,—слезы слышались въ его голосѣ;— не повезло намъ, повторилъ онъ,—я это вижу и готовъ бы теперь, кажется, руку себѣ отрубить дать, чтобы ни ты, ни я никогда не пріѣзжали сюда...

— Отвратительно!... И все ты! вскакивая съ мѣста и схватываясь за голову, вскликнулъ взрывомъ Гундуровъ, котораго отъ этого живого эхо только-что пережитыхъ имъ ощущеній съ новою силой подняло всего опять.

— Ну да, я, одинъ я! Виноватъ, каюсь!... Только ты погоди, дай мнѣ сказать... Мнѣ, можетъ-быть, твоего не легче... А ты только выслушай!

— Что тамъ еще слушать!

— А вотъ! Ты мнѣ что вотъ въ третьемъ дѣйствіи говоришь:

„Я за то тебя люблю,
Что ты терпѣть умѣешь. Въ счастьи,
Въ несчастьи равенъ ты, Горацio!“

Хорошія эти слова, или нѣтъ, по-твоему?

— Ну, хорошо, знаю, довольно! крикнулъ на это Сергѣй.

— А если знаешь, такъ этого только и нужно... Честь нашу соблюсти намъ нужно! пояснилъ Ашанинъ, махнувъ какъ-то неестественно рукой.

— Это какъ-же ты разумѣешь „честь соблюсти?“ спросилъ Гундуровъ, хмурясь и внезапно краснѣя.

— Очень просто — по... покончить надо! сказалъ красавецъ, какъ-бы съ нѣкоторымъ затрудненіемъ шевеля языкомъ,—отрѣ... Фу, ты, Боже мой! прервалъ себя онъ, вскакивая съ мѣста въ свою очередь,—неужели я пьянѣть начинаю!... Такъ нѣтъ же, этого не будетъ, не хочу *ей* и этого удовольствія доставить, чтобы нарѣзался я изъ-за нея!... Не думай этого, Сережа, я въ полномъ разсудкѣ говорю тебѣ: да, покончить, отрѣзать... ножницами, понимаешь, все разомъ... нож-ни-цами... Ты знаешь что?... ни тебѣ, ни мнѣ надежды нѣтъ... порѣшили насъ, понимаешь?... Она сказала: „Не могу“... не могу! подчеркнулъ онъ со злобнымъ хихиканьемъ,—ну и чортъ съ ней! Гордость нужна, Сережа, мы съ тобой не хуже какихъ-нибудь...

Дверь изъ корридора поспѣшно отворилась вдругъ, и въ ней показался режиссеръ.

— Сергѣй Михайлычъ, пожалуйте! Сейчасъ занавѣсъ, третій актъ. Всѣ ужь на сценѣ; вашъ выходъ во второмъ явленіи.

Ашанинъ мигомъ встрепенулся:

— Ступай, ступай, Сережа, а за меня не бойся, не сконфужусь! Только ты себя подвинти...

Гундуровъ поспѣшилъ за режиссеромъ. Онъ вдругъ опять почувствовалъ себя всецѣло Гамлетомъ, „порѣшеннымъ“, ледянымъ, закаменѣлымъ Гамлетомъ...

LVII.

Онъ сталъ въ кулисѣ направо, въ ожиданіи своего выхода. На сценѣ уже занимали свои мѣста готовые начинать король и королева, Полоній съ дочерью и Розенкранцъ съ Гильденштерномъ. Княжна въ своемъ голубомъ платьѣ стояла къ нему спиной. При этомъ видѣ сердце ёкнуло у Гундурова; онъ тутъ-же нахмурился и опустилъ глаза... Она, въ свою очередь, какъ-бы отличивъ легкіе шаги его въ шумѣ двигавшихся за кулисами всякихъ тяжелыхъ ступней, быстро повернула голову въ его сторону. Но въ то же время режиссеръ ударилъ въ ладони, взвился занавѣсъ,—и Офелія съ опущенными руками и рѣсницами замерла на своемъ мѣстѣ.

Подозрительный Клавдіо, смущенный признаками умопомѣшательства племянника, пригласилъ его, по совѣту Полонія, съ цѣлью дать ей свиданіе съ принцемъ, при которомъ король съ ея отцомъ—„законные шпіоны“—будутъ незримо присутствовать,

> „Чтобъ разсудить потомъ по разговору,
> Любовь-ли къ ней свела съ ума Гамлета,
> Иль что̀ другое“.

Безмолвно выслушиваетъ она двойную волю владычныхъ надъ нею лицъ, государя ея и отца, какъ-бы только покорствуя ей, какъ-бы безучастная сама къ тому, что̀ имѣется въ виду этою волей, равнодушная съ-виду къ тѣмъ причинамъ Гамлетова безумія, изъ которыхъ всѣ, кромѣ одной, должны на самомъ дѣлѣ растерзать ей сердце... Только подъ конецъ сцены, когда предъ уходомъ своимъ королева обращается къ

ней со словами („Убитая горемъ“ Надежда Ѳедоровна произнесла ихъ съ большимъ чувствомъ):

— Офелія, дай Богъ,
Чтобъ красота твоя была причиной
Безумства сына моего! Надѣюсь,
Что качества души твоей прекрасной
Его на путь обычный возвратятъ
Для счастья насъ обоихъ!—

у Офеліи вырывается одна коротенькая фраза, освѣщающая мгновеннымъ свѣтомъ все, что происходитъ въ эту минуту въ душѣ ея:

„Королева,
Я бы хотѣла, чтобъ случилось такъ!“ *)

Лина произнесла эту фразу почти шопотомъ, внезапно для нея самой дрогнувшимъ голосомъ, но выраженіе его было такъ трогательно,—но то, чего искала эта бѣдная, любящая душа Офеліи, сказалось въ немъ такъ неотразимо, что графиня Воротынцева еще разъ молча пожала руку своей сосѣдкѣ, Софьѣ Ивановнѣ, Анисьевъ впился глазами въ княжну, князь Ларіонъ закрылъ глаза рукой и принялся слегка тереть ихъ, какъ-бы давая отдохнуть зрѣнію, утомленному яркимъ освѣщеніемъ сцены.

Гундуровъ не слушалъ... или не хотѣлъ слушать. Онъ весь поглощенъ былъ своею ролью; ему сейчасъ приходилось выходить со знаменитымъ „Быть или не быть“...

Онъ вышелъ, закинувъ лѣвую руку за спину и прижимая большой палецъ правой къ губамъ; обнаженная голова его была низко опущена, небрежно подвязанная мантія, чуть держась на плечѣ, падала до самой земли, длинные волосы спускались на грудь. Жадно глянула на него изъ-за своей книги Офелія, сидѣвшая у третьей кулисы на противоположной мѣсту его выхода сторонѣ сцены, и невыразимою тоской захолонуло ей сердце. „Боже мой!“ проговорила она про себя, невольно прижмуривая вѣки.

*) Madam, I wish it may. У Полеваго совершенно не точно: „Если-бъ я могла...“

— Великолѣпенъ! послышалось въ заднихъ креслахъ чье-то вырвавшееся неудержимо восклицаніе, и тутъ же за нимъ вслѣдъ послѣдовавшее энергическое „шт“ со стороны учительской компаніи, пока Гамлетъ медленными шагами подвигался къ рампѣ... Мертвая тишина объяла разомъ залу.

Прочелъ Гундуровъ монологъ дѣйствительно „великолѣпно“. Онъ опять—онъ это понималъ,—парилъ надъ толпой и держалъ ее въ своей власти всѣмъ этимъ высокимъ подъемомъ мысли, которой онъ былъ выразителемъ. Онъ былъ теперь хозяинъ каждаго оттѣнка своего голоса, каждаго движенія своего. Онъ торопилъ или сдерживалъ падавшія изъ устъ его слова, замолкалъ и начиналъ снова, не заботясь о томъ, какое онъ впечатлѣніе произведетъ на зрителей, и зная въ то же время напередъ, что онъ именно скажетъ такъ, какъ нужно для наибольшаго на нихъ впечатлѣнія. Божественная сила вдохновенія уносила его снова на своихъ безплотныхъ крылахъ...

— Умереть—уснуть...
Уснуть?

повторилъ онъ, оборвалъ и, послѣ длинной паузы, уронивъ усталымъ жестомъ скрещенныя руки, самъ поднялъ голову и, глядя впередъ недвижными, какъ-бы потухшими, глазами, заговорилъ опять:

— Но если сонъ видѣнья посѣтятъ?
Что̀ за мечты на смертный сонъ слетятъ,
Когда стряхнемъ мы суету земную?...

Вышло это необыкновенно эффектно. Мурашки побѣжали по спинамъ зрителей. Даже блестящій петербургскій флигель-адъютантъ не могъ удержаться отъ возгласа одобренія и, наклонившись къ уху сидѣвшей подлѣ него Женни Карнауховой, прошепталъ: „Безподобный въ самомъ дѣлѣ актеръ этотъ господинъ профессоръ!“ Впечатлительная Женни не отвѣчала: она не отрываясь глядѣла на Гундурова и говорила себѣ, что, „конечно, Чижевскій est baaucoup plus beau въ своемъ синемъ костюмѣ, но что она понимаетъ, что можно влюбиться и въ *этого*“.

Лина ничего себѣ не говорила, но, чѣмъ глубже входилъ Сергѣй въ свою роль Гамлета, чѣмъ сильнѣе увлекало ее самое его исполненіе, тѣмъ больнѣе и больнѣе захватывала грудь ея невыразимая тоска.

Но вотъ онъ кончилъ и, взглянувъ мелькомъ на нее, проговорилъ въ сторону:

— Прелестная
Офелія!... О нимфа, помяни
Мои грѣхи въ твоихъ святыхъ молитвахъ!...

Взрывъ апплодисментовъ, вызванный монологомъ, замеръ разомъ вслѣдъ за этими словами Гамлета. Всѣ, знакомые и незнакомые съ драмой, почуяли, что насталъ самый интересный, самый „занимательный“ моментъ ея.

Офелія тихо поднялась съ мѣста и подошла къ нему, къ рампѣ...

— Мой добрый принцъ,
Какъ провели вы эти дни? Здоровы-ль вы?

Онъ глядѣлъ на нее... но она не узнавала этихъ глазъ...

Благодарю покорно, я здоровъ,

отвѣчалъ ей Гамлетъ, — настоящій, не то безумный, не то безсердечный, безпощадный Гамлетъ...

Руки у нея дрожали. Она занесла ихъ на затылокъ, отомкнула фермуаръ, закрѣплявшій концы жемчужнаго ожерелья, тремя длинными нитями спускавшагося ей на грудь, и, перекинувъ ихъ черезъ голову, протянула Гамлету:

— Уже давно желала я отдать
Вамъ то, мой принцъ, что вы на память мнѣ
Когда-то дали. Я прошу васъ взять
Это теперь обратно.

Онъ отвернулся, хмурясь:

— Я не возьму.
Я никогда и ничего вамъ не дарилъ.

„Точно все это въ-правду, въ-правду!“ проносилось все тревожнѣе въ головѣ Лины.

Она печально закачала головой:

— Нѣтъ, ваша свѣтлость знаетъ хорошо,
Что вы меня дарили—и *съ словами,*
Которыхъ сладкій запахъ придавалъ
Вещамъ двойную цѣну. Запахъ тотъ
Теперь изчезъ *). Возьмите же назадъ!
Для сердца благороднаго не дорогъ
Подарокъ отъ того, кто насъ не любитъ.

Но все такъ же сурово, все такъ же безпощадно глядѣлъ на Офелію Гамлетъ.

— А, а, заговорилъ онъ, согласно съ тѣми пропусками и замѣнами, которые, какъ извѣстно читателю, слажены были въ кабинетѣ князя Ларіона въ первые дни постановки *Гамлета* въ Сицкомъ: „Ты безкорыстная красавица?“

— „Что хотите вы сказать, принцъ?“

— „А то, что красота и безкорыстіе не совмѣстны. Я любилъ тебя когда-то.“

О, какъ знакомъ былъ ей тотъ оттѣнокъ его голоса, съ которымъ онъ произносилъ *это* до нынѣшняго дня! Какъ часто ночью, просыпаясь внезапно, казалось ей, что этотъ голосъ стоялъ надъ ней, шепталъ надъ самымъ ея ухомъ эти знакомыя ей слова: „я любилъ тебя,“ и она засыпала опять, счастливая и улыбающаяся, повторяя: „да, любилъ... *любитъ*“...

А теперь ни тѣни тѣхъ прежнихъ, сокровенныхъ звуковъ... Боже мой, что же это такое, что такое?...

Она всею глубиной своихъ глазъ глянула ему прямо въ лицо и проговорила, едва сдерживая пронимавшую ея дрожь:

---

*) And, with them, *words of so sweet breath comos'd*
As made the things more rich: *the ir per fume lost,*
Take these again.

Этотъ поэтическій оборотъ Офеліиной рѣчи или вовсе не передается въ русскихъ переводахъ, или передается слабо и неточно, какъ у Кронеберга:

Дарили вы съ словами,
Которыхъ *смыслъ* цѣну вещей удвоилъ.
Букетъ изчезъ,—возьмите-жь ихъ назадъ.

— „Ваша свѣтлость, дѣйствительно, заставили меня вѣрить этому.“

Онъ понялъ (и у него были руки холодны какъ ледъ, но въ ушахъ его, словно звонъ погребальнаго колокола, стояли слова полупьянаго Ашанина: „надо отрѣзать ножницами... надежды нѣтъ!“)... И онъ въ отвѣтъ ей все такъ же глядѣлъ на нее безцвѣтными, свинцовыми глазами:

— „А не надо было вѣрить... Я не любилъ тебя!“

Она безсознательно поднесла руку къ груди, закинула назадъ голову и замирающимъ голосомъ произнесла:

— „Тѣмъ болѣе я была обманута!“...

Шопотъ одобренія пробѣжалъ по залѣ изъ конца въ конецъ ея, но никто не заплескалъ: лихорадочное любопытство оковывало зрителей. „Совсѣмъ даже на театръ не похоже, а точно правда,“ какъ бы сказывалось въ сознаніи каждаго.

Княгиня Аглая, красная какъ кумачъ, глядѣла на дочь, растерянно моргая круглыми глазами.—„Mais c'est tout à fait inconvenable ce rôle de Lina, une demoiselle qu'on a trompée“! разсуждала она мысленно,—„que va penser le jeune comte et puis cette princesse Dodo qui est si méchante!“ Ей страшно было пошевелиться: она такъ и ждала удара не съ той стороны, такъ съ другой...

А блѣдный Гамлетъ въ растрепанной одеждѣ, съ падавшими на лобъ волосами и выраженіемъ холоднаго отчаянія на лицѣ, говорилъ въ это время на сценѣ:

— „Ступай въ монастырь! Зачѣмъ создавать на свѣтъ грѣшниковъ? Я самъ пополамъ съ грѣхомъ человѣкъ добродѣтельный, однако могу обвинить себя въ такихъ вещахъ, что лучше бы мнѣ на свѣтъ не родиться. Я гордъ, мстителенъ, честолюбивъ, готовъ на зло, и только воли у меня не достаетъ сдѣлать все дурное, что могу придумать дурнаго... Къ чему такимъ тварямъ, какъ я, ползать между небомъ и землею? Мы обманщики всѣ до одного; не вѣрь никому изъ насъ! Иди въ монастырь! Прощай!“

Онъ быстрыми шагами отошелъ отъ нея къ выходу.

„Гордъ, золъ, мстителенъ!“ словно ударами молота отзывалось въ потрясенномъ существѣ Лины:—да, онъ съ утра

избѣгалъ меня. Онъ не можетъ простить, что̀ я ему сказала утромъ... Но, Боже мой, неужели онъ не понимаетъ, не понимаетъ?...

И, всплеснувъ руками, она тѣсно, крѣпко прижала ихъ къ груди и воскликнула по тексту роли:

— О, исцѣлите его, власти небесныя!

Но Гамлетъ еще не кончилъ, ему надо было добить ее своими жестокими уколами...

— Когда ты выйдешь замужъ, вотъ тебѣ въ приданое мое проклятіе, заговорилъ онъ опять, такъ же быстро возвращаясь на нее и заглядывая ей прямо въ лицо растерянно тусклыми глазами: — будь чиста какъ ледъ, бѣла какъ снѣгъ, ты не уйдешь отъ клеветы. Ступай въ монастырь! Прощай! Или если ты непремѣнно хочешь выйти замужъ, выбери пошляка; умные люди знаютъ, какихъ чудовищъ вы изъ нихъ дѣлаете... Поди! Ни слова!... Это свело меня съ ума.. Въ монастырь! И скорѣе! Прощай!

Онъ кинулся со сцены, не помня себя, съ чувствомъ чего-то ужаснаго, нечеловѣческаго, будто только-что совершеннаго имъ...

— Splendid indeed! раздался на всю залу горловой голосъ мистера Нокса, все время сидѣвшаго уткнувшись носомъ въ своего карманнаго Шекспира, рядомъ съ воспитанникомъ своимъ, зѣвавшимъ во всю мочь.

— Сережа, Гаррикъ, богъ, очарованіе! хрипѣлъ Вальковскій, бросаясь къ пріятелю съ раскинутыми руками. Тотъ его толкнулъ въ грудь такъ, что „фанатикъ“ чуть не свалился, и побѣжалъ, самъ не зная, куда несли его ноги.

— Да онъ просто удивительный актеръ, вашъ племянникъ! всклинула подъ гулъ поднявшихся рукоплесканій княгиня Додо, сидѣвшая по другой рукѣ Софьи Ивановны Переверзиной.

— Онъ мнѣ противенъ! нежданно для нея самой, съ сердцемъ отрѣзала на это та, не отрывавшаяся глазами отъ Офеліи.

Княгиня Додо разсмѣялась. Она не поняла...

А Аглая Константиновна, все такая же красная и растерянная, шептала въ то же время своему сосѣду:

— Я нахожу очень глупо совѣтовать дѣвушкѣ итти въ монастырь! и я, certainement, никогда не позволила бы моей дочери. Une jeune personne comme il faut должна выйти замужъ, и не за „пошлякa“, comme dit ce monsieur, а за умнаго et un homme bien né.

— Это театръ, а не настоящее! пропѣлъ ей на это въ утѣшеніе графъ, какъ съ амвона.

Лина стояла одна на сценѣ, держась рукой за высокую спинку готическаго кресла. У нея двоилось въ глазахъ... Она начала:

— О, что за благородный омрачился духъ!
Утѣха, цвѣтъ и упованье царства,
Ума и нравовъ образецъ,—все, все погибло!...
А мнѣ, ничтожнѣйшей, мнѣ суждено,
Весь нектаръ клятвъ его вкусивши, видѣть,
Какъ свѣжей юности краса исчезла,—
Цвѣтокъ весны, подъ бурею увядшій!
О, горе мнѣ! Что видѣла я прежде—
И что теперь!

У нея едва хватило силы договорить до конца... Занавѣсъ упалъ. Она добралась до кулисы, опустилась на стулъ, случившійся тутъ, и, улыбаясь чрезъ силу, чуть слышно проговорила кинувшимся къ ней изо всѣхъ угловъ съ испуганными лицами актерамъ:

— Ничего, ничего, устала немножко... но, ради Бога, стаканъ воды!...

Зала тѣмъ временемъ стонала отъ восторженныхъ кликовъ и плесковъ.

LVIII.

Что думалъ, что чувствовалъ въ это время князь Ларіонъ? Каждое слово, каждый жестъ племянницы рѣзали ему какъ ножомъ сердце. Предъ нимъ за этимъ разыгрывавшимся на сценѣ разрывомъ Шекспировскаго Гамлета съ Офеліей проходила новая перипетія той интимной любовной повѣсти, отъ которой онъ вотъ уже сколько времени проводилъ безсонныя, мучительныя ночи. Онъ это угадывалъ въ каждомъ этомъ словѣ, въ каждомъ взглядѣ Лины, въ оттѣнкахъ голоса Гундурова, которые и князь Ларіонъ, какъ Лина, не узнавалъ теперь. Онъ не зналъ, какъ могла знать это Софья Ивановна, что приключилось между ними, но для него было очевидно, что то глубокое внутреннее страданіе, которое прозрѣвалъ онъ за игрой Лины, она испытывала его въ эту минуту не изъ-за Гундурова, а чрезъ него... И въ возмущенномъ сердцѣ своемъ князь Ларіонъ не умѣлъ бы сказать себѣ теперь, за что онъ болѣе ненавидѣлъ этого, стоявшаго предъ нимъ мрачнаго, „увядшаго подъ бурею“ Гамлета: за то-ли, что такъ беззавѣтно любила его Офелія, или за то, что его безпощадное отреченіе отъ нея находило у него такіе искренніе, такіе настоящіе звуки?...

Онъ одинъ съ Софьей Ивановной среди всей этой залы понималъ, какой смыслъ давало словамъ Офеліи личное чувство Лины; понималъ, что она изнемогала, договаривая ихъ,— и онъ, едва дождавшись окончанія слѣдовавшаго за этимъ монологомъ разговора Клавдія съ Полоніемъ, послѣ котораго падалъ занавѣсъ и слѣдовалъ довольно продолжительный пе-

рерывъ предъ сценой театра, поднялся съ мѣста и исчезъ за дверью, которая мимо ложи, гдѣ безцеремонно продолжала похрапывать старушка Crébillon, вела въ корридоръ, а изъ него на сцену.

Наступившій перерывъ былъ назначенъ заранѣе временемъ подавать чай, и процессія слугъ выступала въ это время въ залу изъ глубины большихъ входныхъ дверей, неся чай со всѣми принадлежностями на великолѣпныхъ серебряныхъ подносахъ и двигаясь впередъ стройными рядами по тремъ проходамъ,—между креслами, среднимъ и боковыми вдоль стѣнъ, у которыхъ оставалось еще настолько пространства, что въ нимъ могли быть приставлены напередъ столики и стулья для тѣхъ, кто желалъ пить чай съ наибольшимъ удобствомъ.

Театральная зала чрезъ мигъ обратилась въ салонъ. Составились кружки, группы.

— Albo dies notanda lapillo, какъ говоритъ Горацій, день, который слѣдуетъ отмѣтить бѣлымъ камнемъ! горячо объяснялъ старикъ смотритель собравшимся кругомъ него учителямъ;—да, нынѣшній вечеръ я почитаю лучшимъ днемъ моей жизни; эта Офелія, господа, цѣлое откровеніе!...

Его манишка и длинные концы высоко повязаннаго бѣлаго галстука были еще влажны отъ слезъ, капавшихъ на нихъ изъ его глазъ въ продолженіе всей предыдущей сцены. Нѣжный голосъ княжны, ея Перуджиніевская головка вызывали изъ глубины его души всѣ лучшія воспоминія, всѣ заоблачные идеалы той романтической поры, которой принадлежалъ онъ еще всѣмъ существомъ своимъ, обливаясь и понынѣ слезами, какъ въ дни молодости, надъ „Минваною“ Жуковскаго, по разсказамъ о немъ исправника Акулина...

— Mon cher, mon cher... Louise Mayer... Rachel! слышались въ другомъ концѣ залы гоготъ, хрипъ и неизбѣжный смѣхъ черненькаго артиллериста, носившаго прозваніе „Сеньки.“

Къ усѣвшейся съ чашкой за столикъ у самаго оркестра графинѣ Воротынцевой, съ непроницаемымъ выраженіемъ на красивомъ лицѣ, съ загадочною улыбкой подъ прикрученными, лоснящимися усами, подошелъ графъ Анисьевъ. Княгиня Додо,

завидѣвъ его приближеніе, быстро отвернулась отъ графини, съ которой только-что бесѣдовала, и обратилась съ какимъ-то разговоромъ къ Софьѣ Ивановнѣ, безмолвной, сосредоточенной и не двигавшейся со своего кресла.

— Признаюсь, началъ флигель-адъютантъ,—я никакъ себѣ представить не могъ, чтобы спектакль любителей могъ дойти до такого совершенства. On y goûte les émotions d'une véritable scène et...

Графиня не дала ему кончить. Прелестная женщина еще вся была подъ дѣйствительнымъ впечатлѣніемъ тѣхъ „émotions", о которыхъ онъ говорилъ, но свойство которыхъ у него, она понимала, далеко не походило на то, что чувствовала она сама. Она прямо глянула въ лицо Анисьева и быстрымъ шопотомъ проговорилъ ему въ отвѣтъ:

— C'est qu'il s'y joue un véritable drame, mais vous n'en êtes par le héros, je suis bien fâchée de vous le dire.

Онъ даже не моргнулъ, какъ ни досадливо въ первую минуту кольнула его тщеславіе эта неожиданная откровенность, глянулъ ей, въ свою очередь, прямо въ глаза и, учтиво наклоняясь, проговорилъ отчетливо и съ нѣкоторымъ какъ-бы бравурнымъ оттѣнкомъ въ выраженіи:

— J'en serai le paladin, madame la comtesse!

— Въ самомъ дѣлѣ? вскликнула она, проницательно уставясь на него: — въ такомъ случаѣ я возвращаю вамъ мое уваженіе.

И она, засмѣявшись, протянула ему руку. Онъ галантно прикоснулся къ ея перчаткѣ своими раздушенными усами и, улыбаясь съ весело-беззаботнымъ видомъ:

— Повѣрьте, графиня, сказалъ онъ громко, какъ-бы съ намѣреніемъ, чтобы разговаривавшія подлѣ нихъ княгиня Додо и Софья Ивановна Переверзина могли его слышать,— повѣрьте, что чортъ не такъ черенъ, какъ рисуютъ его вообще.

— Ah, mon Dieu, кто это рисуетъ здѣсь un si affreux personnage? игриво воскликнула, направляясь въ это время къ своей почетной гостьѣ, княгиня Аглая Константиновна.

— Вы слышали, милый графъ, о комъ онъ сейчасъ го-

ворилъ?... продолжала она жантильничать, обращаясь къ сопровождавшему ее графу.

— Слышалъ! тотчасъ же нашелся отвѣтить тотъ:—пустяки, никакого чорта нѣтъ: однихъ дѣтей пугаютъ!

И онъ осклабился во всю ширину своего добродушнаго, оголеннаго лица.

Графиня Воротынцева расхохоталась какъ ребенокъ.

— Браво, графъ, вы сдѣлали удивительное открытіе! Я тоже всегда была того мнѣнія, что чорта нѣтъ, и даже въ дѣтствѣ никакихъ его когтей ни роговъ не боялась...

Ея подвижное лицо вдругъ перемѣнило выраженіе:

— Оттого, можетъ-быть, домолвила она, слегка сжимая брови, — я такъ и не нравилась тѣмъ, кто думалъ меня пугать ими.

Старикъ лукаво подмигнулъ ей:

— Потому всегда была умная и язычекъ ни предъ кѣмъ не уступалъ!

Онъ ее ужасно потѣшалъ всегда.

— Вотъ мы съ вами всегда были друзья, снова засмѣялась она, — а вы на меня клевещете. Я только никогда не терпѣла—ни чтобы прижимали, ни чтобы кланялись, и всегда откровенно говорила это.

— Знаю! Все знаю! Милая женщина! протянулъ онъ, взявъ ее руку и принимаясь похлопывать по ней своими пухлыми ладонями.

Онъ также тѣшился какъ ребенокъ отъ сознанія, что онъ такъ любезенъ, и находчивъ, и остеръ, и ведетъ такой свѣтскій разговоръ съ этою „милою женщиной“...

А княгиня Аглая сондировала тѣмъ временемъ блестящаго петербургскаго воина.

— Я увѣрена, cher comte, qu'en parlant du diable, вы думали о дурныхъ совѣтахъ, que ce prince Hamlet donne à la jeune personne dont ma fille joue le rôle? спрашивала она его, стараясь улыбаться какъ можно тоньше и глядѣть на него какъ можно глубже.

— „Дурные совѣты“? повторилъ онъ, не понимая или

притворяясь, что не понимаетъ:—какіе же это совѣты, княгиня?

— Вы слышали: чтобъ она шла въ монастырь et toutes sortes de bêtises semblables!

Анисьевъ весело засмѣялся:

— Смѣю думать, княгиня, что въ числѣ дурныхъ совѣтовъ, которые можетъ подавать monseigneur le diable, ему еще никогда не приходило въ голову направить кого-либо именно въ монастырь.

Она нѣсколько опѣшила, но приняла тутъ же таинственно глубокомысленный видъ и заговорила, значительно понижая голосъ:

— Нѣтъ, cher comte, я говорю вамъ это потому, что, entre nous, Лина... она и такъ... Elle a sans cela le goût de la vie dévote.

Эти слова заставили его на мгновеніе призадуматься. „Еще клинъ“! промелькнуло у него въ головѣ. Но онъ, все такъ же невозмутимо улыбаясь, слегка нагнулъ голову и примолвилъ:

— Что же, княгиня, это такой вкусъ, предъ которымъ можно только преклониться.

— Ну да, cartainement, поспѣшила она сказать на это,— я сама, je tiens beaucoup moi même à ma religion, но вы знаете, не надобно, comme on dit, черезъ край.

Анисьевъ беззаботно повелъ плечами:

— Не буду съ вами спорить, княгиня, но я въ жизни держался всегда золотаго правила: „vivons et laissons vivre“ и никогда не раскаивался въ этомъ.

LIX.

Still better and worse.
Ophelia

Лины за кулисами князь Ларіонъ уже не засталъ. Тамъ толпилось много народа, шла большая суетня, слышались громкіе разговоры, крики, смѣхъ. Весь Эльсинорскій дворъ былъ тутъ въ сборѣ, въ ожиданіи общаго выхода его въ сценѣ *театра*. У первой кулисы одиноко и задумчиво стоялъ Гундуровъ, скрестивъ руки и безцѣльно глядя на сцену... Князь Ларіонъ, невольно сжавъ брови, быстро прошелъ мимо него: ему менѣе всего было желательно въ эту минуту быть поставленнымъ въ необходимость говорить съ нимъ, „подносить ему комплименты на счетъ его игры". Но Гундуровъ не замѣтилъ его, не обернулся. Замѣтилъ Ашанинъ, стоявшій неподалеку и двинулся прямо къ князю.

— Вы бы желали видѣть княжну, ваше сіятельство? спросилъ онъ, тотчасъ же сообразивъ все. (Лицо у него еще было красное, хотя онъ только-что цѣлое ведро воды велѣлъ себѣ вылить на голову, но пьяное возбужденіе успѣло уже совершенно соскочить съ него).

— Да. Ея здѣсь нѣтъ?

— Она прошла къ себѣ въ уборную. И, предупреждая вопросъ, который князь Ларіонъ какъ-бы медлилъ выговорить:—У нея, кажется, голова немножко закружилась, промолвилъ Ашанинъ съ успокоивающею улыбкой.

— Какъ бы пройти къ ней? сказалъ на это торопливо князь, кивнувъ на загромождавшую проходъ толпу актеровъ, не замѣчавшихъ его.

— А вотъ тутъ чрезъ сцену. Позвольте, я васъ проведу.

Онъ вывелъ князя въ актерскій корридоръ и указалъ въ глубинѣ его отдѣльную уборную Лины.

„Я опять, кажется, маху далъ, думалъ онъ тѣмъ временемъ:—и бѣдовый же этотъ Сережа, право! У него сейчасъ трагедія выходитъ. Какъ бы имъ только теперь обоимъ хватило силы дотянуть до конца представленія... А какъ божественны были они оба сейчасъ!...

Князь стукнулъ пальцами въ дверь уборной.

— Кто тамъ? послышался голосъ. Но это былъ не голосъ Лины, и вслѣдъ за вопросомъ въ полуотомкнувшейся двери показалась соблазнительная фигура дѣвицы Акулиной.

— Ахъ, князь! Сейчасъ, сейчасъ! вскрикнула она и исчезла опять за прихлопнутою ею дверью.

Цѣлая вѣчность прошла затѣмъ, казалось князю Ларіону...

Наконецъ въ корридоръ вышла опять барышня, старательно затворяя за собою дверь.

— Къ Линѣ нельзя теперь, объяснила Ольга Елпидифоровна, не совсѣмъ смѣло глядя на князя, который вотъ уже третья недѣля какъ „не хотѣлъ ее знать:“—она... поправляетъ свой туалетъ и проситъ васъ зайти къ ней потомъ...

— Что значитъ „потомъ?“ прервалъ ее князь.

— Послѣ сцены, которая сейчасъ пойдетъ, когда она вернется опять сюда; но она васъ проситъ при этомъ...

Князь опять не далъ ей докончить:

— Она не здорова? вскликнулъ онъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, князь, не бойтесь ничего! Она только немножко устала, ей надо совершенно успокоиться, торопливо объяснила барышня и какимъ-то загадочнымъ тономъ, который и бѣсилъ, и безпокоилъ въ то же время князя Ларіона.

— При ней никого нѣтъ? вскликнулъ онъ еще разъ.

— Ея горничная и я, князь, проговорила съ достоинствомъ барышня;—ей и не нужно никого; она, я вамъ говорю, сейчасъ выйдетъ на сцену; ее только безпокоитъ одно, чтобы вы, а особенно княгиня, не подумали, что съ нею что-нибудь случилось; она такъ и просила вамъ сказать, чтобы вы зашли

къ ней послѣ этой сцены, потому что, говоритъ, ей можетъ-быть нужно будетъ попросить у васъ одного совѣта.

Князь воззрился не нее пристально и тревожно. Но Ольга Елпидифоровна глядѣла такою невинностью, что онъ тотчасъ же понялъ, что продолжать съ нею разговоръ безполезно.

— Хорошо, скажите ей, я приду,—коротко отрѣзалъ онъ, сухо поклонившись и уходя.

Въ концѣ корридора ждалъ его Ашанинъ и провелъ прежнимъ путемъ черезъ сцену до дверей залы. Но князь не вернулся на свое мѣсто въ креслахъ, а зашелъ въ ложу m-me Crébillon, проснувшейся къ чаю, и усѣлся рядомъ съ нею.

Эрлангеръ между тѣмъ подалъ оркестру знакъ своею палочкой. Заиграли какой-то маршъ, въ продолженіе котораго гости успѣли допить свои чашки, а слуги отобрать и унести ихъ обратно тѣмъ же торжественнымъ шествіемъ. Зрители разсѣлись по своимъ мѣстамъ. Красная занавѣсь подобралась еще разъ на своихъ фарфоровыхъ кольцахъ. Гамлетъ вышелъ на сцену, читая наставленіе актерамъ, которыхъ изображали Постниковъ, Духонинъ и Факирскій. За этимъ слѣдовала сцена съ Горація, а за нею, при звукахъ снова раздавшагося марша, вышла торжественнымъ шествіемъ къ представленію королевская чета, въ сопровожденіи всего своего двора.

Полоній велъ подъ руку дочь... Князь Ларіонъ весь обратился въ зрѣніе.

Княжна шла бодро, со спокойнымъ лицомъ и легкою краской на этомъ лицѣ (Ольга Елпидифоровна убѣдила ее подрумяниться передъ выходомъ); выраженіе глазъ ея было настолько печально, насколько это требовалось для Офеліи въ эту минуту. Все обстояло, какъ слѣдуетъ, и княгиня Аглая, благосклонно взглянувъ на дочь, подумала даже: „cela fera très bien à la cour“ и самодовольно улыбнулась.

Клавдіо и Гертруда заняли свои королевскія кресла налѣво отъ зрителей. По сторонамъ ихъ стала толпа „пулярокъ“ и ближе всѣхъ къ авансценѣ Ольга Елпидифоровна, которую капитанъ Ранцовъ, преобразившійся въ придворнаго безъ рѣчей и стоявшій тутъ же рядомъ съ Толей Карнауховымъ, пожиралъ совершенно осоловѣлыми отъ страсти глазами. *Гора-*

tiо-Ашанинъ, вмѣстѣ съ Розенкранцомъ и Гильденштерномъ, перешли на другую сторону сцены, у кресла, занятаго Офеліей.

Гамлетъ направился къ ней. Какъ болѣзненно забилось у нея опять сердце!...

— Сядь подлѣ меня, любезный сынъ! крикнула ему Гертруда съ своего мѣста.

— Нѣтъ, матушка, отвѣчалъ онъ ей въ-полоборота, — тутъ есть магнитъ, который тянетъ меня къ себѣ.

И пока Полоній, съ комическимъ подмигиваніемъ кивая на него, шепталъ королю: „Ого, слышали?“ онъ, съ опущенными глазами и насилованною улыбкой проговорилъ, остановившись предъ Офеліей:

— Позволено-ли мнѣ будетъ присѣсть у вашихъ ногъ?

— Если вамъ угодно, ваша свѣтлость, проговорила она, такъ же, какъ онъ, не подымая глазъ.

Онъ сѣлъ на полъ, рядомъ съ ея кресломъ, въ классической позѣ, приподнявъ угломъ правое колѣно и ухватившись за него обѣими руками.

— А какое наслажденіе, продолжалъ иронически Гамлетъ,— покоиться у ногъ прелестной дѣвушки!

— Что вы хотите сказать этимъ? спросила Офелія.

— Ничего, коротко отрѣзалъ онъ въ отвѣтъ.

— Вы веселы, принцъ? И глубокій вздохъ вырвался у нея безсознательно при этомъ.

— Кто? Я?

— Да, вы, ваша свѣтлость.

— О, само собою, я вашъ единственный шутъ!...

„Нѣтъ, это невозможно, невозможно!“ говорила себѣ мысленно Лина, трепетно прислушиваясь къ его голосу: „что же думаетъ онъ обо мнѣ, Боже мой!“...

Изъ-за занавѣси, отдѣлявшей театръ отъ сцены, выскользнулъ Факирскій въ костюмѣ актера.

— А, вотъ и *прологъ*! молвилъ Гамлетъ.

— Для нашего представленія
Просимъ вашего снисхожденія.
Не потеряйте терпѣнія!

прочелъ актеръ.

— Что же это такое? засмѣялся принцъ:—прологъ или надпись кольца?

— Да, оно кратко, молвила Офелія.

— Какъ женская любовь, злорадно подчеркнулъ Гамлетъ.

„Какъ мужская развѣ, какъ твоя любовь!“ протестовала вся душа Лины...

— Что съ вами, ради Бога? прошептала она, какъ только раздернулась занавѣсь театра, и Духонинъ—театральный король,—громко и съ напыщенностью, нѣжно устремивъ глаза на подругу свою, образованную окружную“, заговорилъ:

— Ужь тридцать разъ звѣзда ночей средь облаковъ
Собой означила двѣнадцать мѣсяцовъ
Съ тѣхъ поръ, какъ насъ союзъ любви и Гименея
Сердцами съединилъ и т. д.

Она все время ждала этой минуты; она пересилила лихорадку, пронявшую ее вслѣдъ за первою ея сценой съ Гамлетомъ, чтобы подъ шумъ разговора на театрѣ имѣть возможность обмѣняться нѣсколькими словами съ Гундуровымъ; она не хотѣла видѣть дядю прежде этого; отъ этого, казалось ей, зависитъ все ея будущее...

Сергѣй это предчувствовалъ; онъ зналъ напередъ, что именно теперь, когда онъ будетъ сидѣть у ея ногъ во время представленія, она будетъ просить его объясниться, и что ему надо будетъ отвѣтить... Что отвѣтить? Зналъ-ли онъ самъ, что происходило въ немъ? способенъ-ли онъ былъ разобраться среди хаоса ощущеній, бурею ходившихъ въ его душѣ? Онъ, казалось ему, умеръ-бы сейчасъ съ наслажденіемъ у этихъ ногъ, лобызая слѣды этого нѣжнаго, чистаго и страдающаго за него созданія,—онъ понималъ, онъ видѣлъ, что она безконечно страдала,—но въ то же время вся желчь и отчаяніе, неотразимо влекущія Гамлета наносить неповинной Офеліи ударъ за ударомъ, кипѣли въ его груди. Никогда такъ не благоухали для него поэтическій обликъ и душевная прелесть этой Офеліи, и чѣмъ нестерпимѣе была для него мука мысли о разрывѣ съ нею, тѣмъ злѣе и безпощаднѣе готовъ онъ былъ терзать ее вмѣстѣ съ самимъ собою новыми муками...

Онъ перемѣнилъ позу, какъ подобало, чтобы слѣдить за

представленіемъ. Онъ полулежалъ теперь спиной къ публикѣ и опираясь на ладонь правой руки. Онъ въ этомъ положеніи могъ видѣть только сбоку лицо княжны, но могъ удобно и неслышимо для другихъ говорить съ нею.

— Со мною то, княжна, промолвилъ онъ на ея вопросъ,— что я будто самъ себѣ читаю отходную теперь.

— Зачѣмъ вы это говорите! быстро возразила она.—Ничего еще не кончено...

— Да, желчно сказалъ онъ на это,—пока я для здѣшнихъ хозяевъ только актеръ на сценѣ, случайный скоморохъ, меня отсюда не выгонятъ,—не такъ-ли?

— Зачѣмъ вы это говорите! повторила она съ безмѣрною тоской:—развѣ я тоже...

Она не договорила и вся вспыхнула подъ своими румянами.

Въ другую минуту онъ прыгнулъ бы съ пятаго этажа за это слово. Теперь оно показалось ему лишнею каплей яда въ кубкѣ и такъ уже отравленныхъ надеждъ его.

— Вы, княжна, горько и торопливо прошепталъ онъ,— вы „должны знать себѣ цѣну“, вы „не про такихъ соловьевъ“, какъ какой-нибудь несчастный магистрантъ, „безъ положенія въ обществѣ“, какъ я.

— Кто это вамъ сказалъ? Глаза ея блеснули. Она тутъ же отвернула ихъ по направленію *театра*, встрѣтившись взглядомъ съ глазами Анисьева, усѣвшагося теперь за спиной ея матери и неотступно глядѣвшаго на нее.

— Все равно кто! Вы сами сегодня утромъ предрекли мнѣ, чего я въ правѣ ожидать.

— Что поняли вы изъ моихъ словъ, что? замирая прошептала она въ свою очередь, все также продолжая глядѣть на представленіе.

— Понялъ, что былъ сонъ, а теперь настало пробужденіе, язвительно подчеркнулъ Гундуровъ.—Виноватъ, они кончаютъ, сейчасъ моя реплика, промолвилъ онъ тутъ же, останавливая этими словами всякое возраженіе съ ея стороны.

Она и не возражала.

Злодѣй Луціано, изображаемый Факирскимъ, подкрался

тѣмъ временемъ къ спящему театральному королю и, проговоривъ діаконскимъ басомъ:

Волшебный ядъ, спѣши докучну жизнь пресѣчь
И порази его, какъ будто вражій мечъ!

наклонился къ нему, представляя, что вливаетъ ему въ ухо отраву... Клавдіо-Зяблинъ, въ избыткѣ усердія, не дождался слѣдующихъ за этимъ объяснительныхъ словъ Гамлета и вскочилъ съ мѣста съ растерянным выраженіемъ на лицѣ. Но это придало только болѣе оживленія сценѣ. Княжна, боясь пропустить свою реплику, крикнула совсѣмъ уже испуганнымъ голосомъ: „Король встаетъ!“ Полоній въ свою очередь, позабывъ о двухъ слѣдующихъ за этимъ фразахъ Гамлета и королевы, кинулся впередъ, отчаянно махая руками: „Прекратите представленіе! Огня, огня, огня!“ И все бывшее на сценѣ, за исключеніемъ Гамлета и Горація, въ настоящемъ безпорядкѣ, тѣснясь и набѣгая другъ на друга, исчезло разомъ за кулисами...

Гундуровъ приподнялся на колѣняхъ съ пола и, еще не вставая на ноги:

— А! раненый олень лежитъ,
А лань здоровая смѣется,

началъ онъ и, не докончивъ, залился истерическимъ, нескончаемымъ хохотомъ... Онъ не былъ въ силахъ сдержать себя, свои до-нельзя возбужденные нервы... Ашанинъ испугался не на шутку:

— Что съ тобою? довольно, Сережа, успокойся! шепталъ онъ по-театральному, подходя къ нему и не зная, что дѣлать...

Эффектъ для зрителей вышелъ поразительный. Загремѣвшимъ „браво!“ не предвидѣлось конца, какъ и этому надрывающему смѣху Гамлета.

— Даже страшно! проговорила графиня Воротынцева.

Софья Ивановна сидѣла, сжавшись, вся заледенѣлая отъ страха.

— Одинъ заснулъ, другой не спитъ,
И такъ на свѣтѣ все ведется,

договорилъ, справившись наконецъ съ собою, Гундуровъ, поднялся на ноги и, самъ не отдавая себѣ въ этомъ отчета, мгновенно съ высоты сцены обвелъ всю залу изъ-подъ сжатыхъ бровей какимъ-то надменнымъ, повелительнымъ взглядомъ, какъ бы приглашая ее ко вниманію.

Все смолкло разомъ. Только графъ Анисьевъ, чуть-чуть улыбнувшись, промолвилъ мысленно:

— Mâtin! Quel air de matamore!

Представленіе пошло своимъ чередомъ. Въ ложѣ m-me Crébillon князя Ларіона уже не было.

LX.

О ты, послѣдняя любовь,
Ты и блаженство, и безнадежность!
Тютчевъ.

— Лина, Лина! кричала, бѣжа за нею въ догонку по коридору съ распущеннымъ хвостомъ шлейфа, Ольга Акулина.

Княжна не отвѣчала, добралась до своей уборной и опустилась на стоявшую тамъ кушетку, прижмуривъ глаза и безсильно уронивъ руки на колѣни.

Ольга вбѣжала за нею:

— Вамъ опять дурно, Лина?

— Нѣтъ, нѣтъ... сейчачъ пройдетъ... Это у меня съ утра, я вамъ говорила... Мнѣ не дали выспаться сегодня... Я опять немножко устала, вотъ и все, говорила черезъ силу княжна, стараясь объяснить свое изнеможеніе самою обыкновенною причиной.

Настоящую причину тонкая барышня знала очень хорошо, съ той минуты, когда застала утромъ Лину съ Гундуровымъ въ комнатѣ его тетки, но не почитала нужнымъ давать это понимать княжнѣ. Она хлопотала теперь только о томъ, чтобы показать ей какъ можно болѣе дружбы и заботы и, какъ выражалась она мысленно, „не насиловать, а вызывать“ этимъ ея довѣріе.

— Ну, конечно, это ничего и сейчасъ пройдетъ! поддакивала она ей;—вы бы еще выпили fleur d'orange, оно вамъ помогло [illegible] этимъ.

[illegible]ете-ли, я сейчасъ къ княгининой Лукерьѣ

Ильинишнѣ сбѣгаю? предложила горничная Лины, Глаша, находившаяся тутъ:—у нихъ есть капли, лавровыя прозываются, гораздо пользительнѣе супротивъ флердоранжа; княгиня завсегда употребляютъ противъ невровъ.

— Laurier cérise, сказала Ольга, — да, да, это очень хорошо! Сбѣгай, Глаша!

Глаша побѣжала и тутъ же вернулась:

— Князь Ларіонъ Васильевичъ къ вашему сіятельству, спрашиваютъ, могутъ-ли васъ видѣть!

— Дядя? молвила прибодряясь Лина: — проси, проси!... Мнѣ надо будетъ поговорить съ нимъ, Ольга, примолвила она.

— Это, значитъ, мнѣ удалиться надо? тотчасъ же перевела нахмуриваясь барышня.

— Не сердитесь, прошу васъ, милая! поспѣшила сказать княжна.

— Сердиться! Я! всклинкула Ольга Елпидифоровна, тотчасъ же принимаясь улыбаться;—развѣ я не своя у васъ въ домѣ? Можете не стѣсняться!

— Она подобрала свой хвостъ и направилась къ двери. Пропустивъ въ нее входившаго князя Ларіона, она вышла въ корридоръ и тутъ же шмыгнула въ сосѣднюю большую общую дамскую уборную, въ которой она предъ этимъ одѣвалась съ „пулярками“, и гдѣ въ эту минуту не было никого. Изъ маленькой уборной Лины вела туда прямо дверь, запертая теперь на замокъ, но сквозь которую она надѣялась услышать весьма удобно разговоръ дяди съ племянницей.

— А это не мѣшаетъ на всякій случай! рѣшила въ головѣ своей барышня.

— Hélène, ты больна? первымъ словомъ сказалось входя у князя Ларіона. И онъ быстрыми шагами подошелъ къ ней.

— Нѣтъ, дядя, нѣтъ, совсѣмъ не больна, спѣшно заговорила она, — а сердце немножко жметъ, какія-то ноги слабыя... Вы знаете, у меня и въ Ниццѣ это бывало, когда...

— Когда ты чѣмъ-нибудь душевно была разстроена! досказалъ князь.

— Нѣтъ, нѣтъ, просто отъ движенія, или когда не высплюсь... И я теперь хотѣла просить васъ объ одномъ...

— Что̀ такое, говори скорѣе?

Онъ придвинулъ къ кушеткѣ стулъ и сѣлъ, тревожно глядя ей въ глаза.

— Вотъ видите, у меня тамъ, въ слѣдующемъ актѣ, сцена сумасшествія и пѣть надо...

— Ну да, знаю!

— Но я боюсь... Я чувствую, у меня силъ нѣтъ, я могу остаться совсѣмъ безъ голоса... Что̀ же тогда?

— Не пѣть, не выходить, выкинуть вонъ совсѣмъ! пылко вскликнулъ на это князь Ларіонъ.

— Но какъ же сдѣлать, дядя? Вѣдь это всѣ знаютъ, ждутъ, это испортитъ спектакль...

— Да что̀ же дороже? прерывая ее, почти кричалъ онъ:— твое здоровье, или этотъ безсмысленный спектакль, за который... за то только, что̀ я его дозволилъ, слѣдовало бы меня, слѣпаго безумца, повѣсить!...

— Дядя, за что̀ же вы себя браните, пролепетала Лина, болѣзненно моргая вѣками:—чѣмъ представленіе наше виновато, что у меня здоровье такое дрянное?

— Здоровье! повторилъ онъ. И, мгновенно стихая, заговорилъ тихо и печально:—Hélène, что̀ мнѣ нестерпимо больно, это то̀, что я лишился всякаго твоего довѣрія, всей твоей прежней дружбы ко мнѣ!...

Она глядѣла на него, вся смущенная... Онъ продолжалъ:

— Зачѣмъ таишься ты отъ меня, для чего скрываешь?... Неужели я тебя не знаю, неужели ты могла думать, что я не понялъ, не отгадалъ все... Здоровье? сказала ты. О, моя бѣдная! развѣ я не вижу, что не физическая оболочка, а вся бѣдная душа твоя измучилась въ продолженіе этого проклятаго спектакля... Я не знаю, что̀ у васъ предъ этимъ происходило съ *нимъ*,—князь какимъ-то судорожнымъ движеніемъ махнулъ рукой,—но вѣдь онъ все время тамъ кололъ, мучилъ, терзалъ тебя, не такъ-ли?

Она не выдержала:

— Мучилъ, терзалъ! чуть слышно повторила она и, прижавъ обѣ руки къ лицу, съ глухимъ рыданіемъ откинулась головой въ спинку кушетки.

Князь Ларіонъ скользнулъ со своего стула внизъ, припалъ къ ея колѣнямъ и, оторвавъ эти блѣдныя руки ея отъ лица, сталъ покрывать ихъ жадными, безумными поцѣлуями...

— Дядя, что вы, что вы дѣлаете! вскликнула въ ужасѣ Лина, порывисто вставая съ мѣста и падая снова въ полномъ безсиліи.

Онъ всталъ, провелъ безотчетно рукой по растрепавшимся волосамъ и лихорадочнымъ голосомъ промолвилъ:

— Я склонился къ твоимъ ногамъ, какъ сдѣлалъ бы это предъ древней мученицей, идущею на смерть... съ тѣмъ, примолвилъ онъ въ неудержимомъ порывѣ своей страстной натуры,—чтобы растерзать потомъ ея палача!...

— О, ради Бога, дядя, прошептала Лина, сжимая руки,— не говорите такъ!

— Да скажи ты мнѣ, вскрикнулъ онъ, сверкая глазами,— за что ты его любишь?... За что, Hélène? повторилъ онъ мягче, сдерживая себя и снова садясь подлѣ нея.—Вѣдь онъ гордый, холодный человѣкъ, не смотря на кажущуюся способность къ увлеченію. Недаромъ онъ такъ хорошо играетъ Гамлета, добавилъ князь Ларіонъ съ улыбкой, скорившею его губы на сторону:—они всѣ такіе, эти здѣшніе ультра-Руссы и Славяне, насмотрѣлся я на нихъ; у нихъ прежде всего голова, уставъ, доктрина, они страсти не вѣдаютъ и не допускаютъ...

— Я и не хочу „страсти!“ какъ бы вырвалось у княжны.

— Не хочешь! повторилъ онъ,—да, ты ее боишься.—Онъ еще разъ горько улыбнулся.—Ты хочешь страдать и переносить безропотно и безмолвно, и чтобы тотъ, кого ты любишь, точно такъ же любилъ тебя, страдалъ и переносилъ—и молчалъ... Только Гамлетъ твой, на бѣду, не рыцарь нѣмецкой баллады, а Москвичъ въ до-Петровской мурмолкѣ новѣйшихъ ученій... Мнѣ невѣдомо, повторяю, что, какое объясненіе происходило между вами, но, очевидно, онъ знаетъ, что твоя мать имѣетъ для тебя избраннаго ею жениха и не склонна промѣнять его на господина Сергѣя Михайловича Гундурова, и онъ дѣлаетъ тебя отвѣтчицей за это оскорбленіе его безграничнаго московскаго самолюбія... Хорошъ влюбленный! закончилъ,

вставая, князь Ларіонъ со злобнымъ, перерывистымъ хохотомъ:— нѣтъ, Елена Михайловна, такъ не любятъ!...

Его рѣчи жгли ее: ей нечѣмъ было опровергнуть ихъ...

— Какъ же любятъ, какъ, скажите! проговорила она съ безмѣрною тоской.

— Какъ? повторилъ онъ, быстро оборачиваясь на нее и окутывая ее такимъ огненнымъ взглядомъ, что Лина почувствовала его сквозь опущенныя вѣки и невольно дрогнула.— Я не знаю, какъ въ состояніи любить эти умники вашего поколѣнія. Но знаю, что, будь я на его мѣстѣ, я съумѣлъ бы добыть тебя, хотя бы для этого нужно было моря́ плавмя-переплыть и взрывать горы на воздухъ! Ты была бы моею женой, имѣй я противъ себя сто тысячъ матерей и всѣ силы земныя имъ въ придачу!

— И принудили бы меня, вымолвила Лина, подымая на него съ мучительно вопрошающимъ выраженіемъ свои лазоревые глаза,—принудили бы нарушить завѣтъ, мольбу умирающаго отца, вашего брата...

— Нѣтъ отца, нѣтъ матери, нѣтъ посторонних чувствъ для того, кто любитъ! тѣмъ же страстнымъ тономъ рѣчи продолжалъ князь Ларіонъ:—есть кумиръ, которому безъ возврата отдается все, что до этого могло быть свято и дорого: долгъ, спокойствіе, вѣрованія, жизнь...

— Это не любовь, а грѣхъ и преступленіе! прервалъ его трепетный голосъ Лины.

— Хотя бы такъ, хотя бы преступленіе...

Онъ не договорилъ. Его возбужденіе какъ бы вдругъ смирили безпорочные звуки этого голоса, но желчь еще не улеглась въ немъ.

— Все зависитъ, какъ смотрѣть на вещи... Въ данномъ случаѣ вы, кажется, можете быть спокойны оба, промолвилъ онъ тономъ шутки, плохо скрывавшимъ злое намѣреніе его словъ:—твой Гамлетъ, очевидно, никакого преступнаго дѣйствія отъ тебя не потребуетъ... Но за то, повидимому, и отъ него особыхъ жертвъ ты ожидать не полагаешь... Все это впрочемъ безполезные разговоры, оборвалъ князь,—отъ нихъ никакого прока, кромѣ того, что ты, кажется, еще болѣе раз-

строилась... Появляться тебѣ на сцену въ этомъ состояніи совершенно не возможно. Надо объ этомъ сейчасъ сказать режиссеру...

Лина тревожно задвигалась.

— О, если-бъ я чувствовала хоть немножко больше силы... Что подумаютъ? Сочтутъ капризомъ, или, хуже, что я въ самомъ дѣлѣ больна; maman испугается, не будетъ знать, что дѣлать. Всѣ эти гости... Я для всѣхъ буду un trouble-fête.

— Вздоръ! сказалъ князь Ларіонъ:—девять десятыхъ этихъ гостей и не догадаются, что изъ драмы выкинута сцена. Твоя мать, если не сказать ей, что ты больна, никогда объ этомъ не подумаетъ. Что касается до твоихъ „капризовъ“, то ces messieurs et dames, играющіе съ тобою, надѣюсь, настолько должны были тебя узнать, чтобы быть увѣренными, что ты на безсмысленные капризы не способна, подчеркнулъ онъ. — А чтобы вообще никакимъ толкамъ повода не подавать, совѣтую тебѣ, когда ты совершенно отдохнешь, переодѣться въ твою toilette de soirée и притти въ залу къ концу представленія.

— Ко всѣмъ туда? воскликнула испуганно Лина.

— Нѣтъ; войди въ ложу къ M-me Crébillon, чтобы тебя видѣли только. Этого достаточно... Что это такое? прерывая себя, спросилъ князь, указывая на пузырекъ, который вернувшаяся Глаша протягивала въ эту минуту своей барышнѣ.

— Для невровъ капли, ваше сіятельство, отвѣтила горничная.

— Ну, вотъ и хорошо... для „невровъ“, повторилъ съ невольною усмѣшкой князь. — Успокойся, Hélène, а я сейчасъ переговорю съ режиссеромъ.

И онъ, холодно кивнувъ племянницѣ, вышелъ изъ уборной.

По его уходѣ Лина еще долго лежала недвижимо на своей кушеткѣ. На нее нашла какая-то апатія, временный застой всякаго чувства и помысла. Глаза ея были закрыты, и Глаша подумала, что она спитъ. А въ головѣ ея княжны проносились въ это время механическимъ процессомъ мозга какіе-то туманные очерки лицъ и картинъ, обрывки какихъ-то фразъ, смыслъ которыхъ она уловить не могла... „Seule

au monde“, прошепталъ вдругъ безсознательно ея языкъ... Она силилась понять, связать это съ чѣмъ-то, что опять уходило отъ нея въ какую-то неуловимую даль... „Seule au monde“... Да, у maman на столѣ желтая книжка... „Seule au monde“... *).

---

*) Романъ того времени, г-жи де-Бавръ или Сувестра подъ этимъ заглавіемъ.

LXI.

Ольга Елпидифоровна изъ-за тонкой двери, за которою прижалась она, не проронила ни единаго слова изъ разговора дяди съ племянницей... Онъ взволновалъ ее и какъ бы даже тронулъ отчасти. Въ ея подвижномъ воображеніи, не способномъ останавливаться долго ни на одномъ изъ испытываемыхъ ею впечатлѣній, пронесся цѣлый рядъ торопливыхъ помысловъ самаго разнорѣчиваго свойства. На мигъ что-то въ родѣ жалости въ княжнѣ сказалось въ ней. „Несчастная эта Лина однако“, подумала она,—„три у нея воздыхателя, и ничего изъ этого не выходитъ: одинъ — дядя родной, другой желаетъ получить ее только изъ-за денегъ, а третій и любитъ, да взяться не умѣетъ... Впрочемъ сама она ничего не умѣетъ“, рѣшила тутъ же барышня, „только терпѣть и страдать по-нѣмецки; онъ (то-есть князь Ларіонъ) совершенную правду сказалъ ей: кто чего сильно хочетъ, для того нѣтъ препятствія... Онъ бы ее, дѣйствительно, со дна морскаго добылъ... А, право, этого старика можно серьезно полюбить за его страстность“... И при этомъ на такое же краткое мгновеніе пронеслось въ головѣ Ольги, что вѣдь могла же *она* быть на мѣстѣ Лины, что *ей* могъ говорить все то, что она сейчасъ слышала, этотъ князь, этотъ „важный человѣкъ“. Но все это предъ нею впереди, — Ольга не сомнѣвалась въ этомъ: она сказала себѣ, что ей надо une position dans le monde, и она добьется ея. Ей бы только попасть въ Петербургъ. Она теперь видѣла вблизи настоящую grande dame и поняла, какую именно tenue надо имѣть въ этомъ большомъ

свѣтѣ. Нѣтъ, — барышня всѣмъ тѣломъ обернулась на большое трюмо, стоявшее въ уборной, и съ широкою улыбкой оглянула себя тамъ съ ногъ до головы, — не съ такими глазами и плечами (въ неотразимости побѣды этихъ плечъ надъ каждымъ даннымъ мущиной барышня вѣрила такъ же твердо, какъ въ то, что солнце каждый день выходитъ съ одной стороны и уходитъ съ другой), и при ея умѣ (въ умѣ своемъ Ольга Елпидифоровна была такъ же непоколебимо увѣрена, какъ въ томъ, что лѣтомъ растетъ трава, а зимой выпадаетъ снѣгъ), можно „остаться на бобахъ“ (дѣвица Акулина мысленно далеко не всегда выражалась элегантно). Чѣмъ лучше ея Сашенька Василинина и Ольга Чубейко, ея институтскія подруги? А одна за генерала—и не простаго, а гвардейскаго,— другая даже за графа, молодаго и богатаго, вышли... А теперь, когда она „умѣла такъ умно сдѣлать“, что этотъ вліятельный петербургскій „favori de la cour“, этотъ „neveu de son oncle“, какъ говоритъ княгиня, ея союзникъ, чего не въ правѣ она ожидать для себя!... И, подъ напоромъ новаго охватившаго ее ощущенія, она, блистая глазами, вскинула головой по направленію Лининой уборной и проговорила чуть не вслухъ: „А вотъ мы еще посмотримъ, mademoiselle la princesse, кому изъ насъ двухъ болѣе повезетъ въ жизни!... Понавѣдаться однако, что она тамъ дѣлаетъ?“

Выбравшись на цыпочкахъ изъ уборной, барышня наша направилась къ комнатѣ Лины.

— Шт! зашукала, идя ей поспѣшно на встрѣчу, Глаша, едва успѣла Ольга отворить дверь, — започивали, кажется!...

Княжна не спала, но она нисколько не жаждала въ эту минуту присутствія Ольги: она не откликнулась.

— Ну, и прекрасно, и не буди, пусть себѣ спитъ! молвила барышня, отступая въ корридоръ.

Глаша вышла за нею:

— Не знаю только, когда имъ переодѣться потребуется, это когда они *сумасшедшую* изъ себя представлять будутъ, пояснила она смѣясь,—чтобъ успѣли. Главное насчетъ цвѣтовъ. Потому все болѣе настоящіе. Нашъ учитель (она разумѣла Факирскаго) съ землемѣромъ однихъ этихъ васильковъ

да маргаритокъ нанесли съ поля копну цѣлую, такъ это же каждый цвѣтокъ особо ужь на княжнѣ прикалывать понадобится...

— Авось и не понадобится! прервала барышня словоохотливую горничную и безъ дальнѣйшихъ объясненій побѣжала за кулисы.

LXII.

Тамъ опять тѣсно толпилась вся трупна нашихъ любителей, безмолвно и внимательно прислушиваясь къ раздавшимся со сцены голосамъ Гундурова и Надежды Ѳедоровны.

— Что̀ идетъ? спросила Ольга, подходя къ одной изъ группъ.

— Идетъ божественнѣйшій перлъ человѣческаго творчества, о Розалинда! пустилъ ей напыщенно въ отвѣтъ стоявшій тутъ Толя Карнауховъ,—идетъ сцена Гамлета съ матерью, и оба они великолѣпны!...

— Позвольте, господа, позвольте! послышался въ то же время шопотъ торопливо пробиравшагося въ тѣснотѣ режиссера, — выходъ *Тѣни* сейчасъ; позвольте пройти! *Тѣнь*! Гдѣ *Тѣнь*?

— Здѣсь я, здѣсь! отвѣчалъ голосъ землемѣра Постникова, только-что успѣвшаго опять преобразиться въ свой костюмъ призрака, съ его крылатымъ плишакомъ и длинною сѣрою мантіей.

— Пожалуйте, пожалуйте поближе! Господа, mesdames, ради Бога, не высовывайтесь такъ, васъ видно зрителямъ, и пройти вѣдь нельзя! охрипшимъ и растерянным голосомъ молилъ несчастный режиссеръ, обливаясь потомъ.

А со сцены все рѣзче и суровѣе доносились упреки Гамлета матери:

— Гдѣ былъ твой умъ? Гдѣ былъ разсудокъ?
Или слѣпая ты была, когда
Въ болото смрадное разврата пала?...

Не говори мнѣ о любви: въ твои лѣта
Любовь уму послушною бываетъ...
Когда и старость падаетъ такъ страшно,
Что-жь юности осталось? Страшно,
За человѣка страшно мнѣ!...

— Вотъ ужь правда! чуть не громко фыркнула Ольга Елпидифоровна подъ-ухо храбраго капитана Ранцова, благодаря которому удалось ей найти удобное мѣсто впереди, между второю и третьею кулисами.

— Чего-съ? оторопѣло спросилъ капитанъ.

— Что въ ея годы объ амурахъ давно пора забыть! пояснила барышня, смѣло воззрившись при этомъ въ лицо своему обожателю, и тутъ же пустила избока „глазкомъ“ на Ашанина, стоявшаго отъ нея въ двухъ шагахъ и неотступно глядѣвшаго на сцену.

Бѣдный капитанъ весь покраснѣлъ отъ воспоминанія и опустилъ глаза. Ни одинъ мускулъ не дрогнулъ на лицѣ красавца: онъ будто и не слыхалъ задорныхъ словъ барышни, не замѣтилъ даже ея сосѣдства...

„А какъ золъ-то внутренно, какъ золъ!“ промолвила она мысленно и слегка закусила себѣ губу, не то, чтобы не разсмѣяться этой внутренней его „злости“, не то отъ досады, что онъ ея наружно не показывалъ.

— О Гамлетъ,
Ты очи обратилъ мнѣ внутрь души,

говорила между тѣмъ Надежда Ѳедоровна—Гертруда, и съ такимъ задушевнымъ, захватывающимъ выраженіемъ, что сама барышня вдругъ вся обратилась во вниманіе:

— И я увидѣла себя въ такихъ кровавыхъ,
Въ такихъ смертельныхъ язвахъ... Нѣтъ спасенья!...

Она и Гундуровъ неслись какъ на тучахъ, на мрачныхъ тучахъ проникавшаго ихъ обоихъ чувства безнадежной скорби и отреченія...

— Убійца,
Злодѣй, рабъ, шутъ вѣнчанный, воръ,
Укравшій жизнь у брата и его корону

Тихонько утащившій подъ полой,
Бродяга... И этому злодѣю,
Стыдъ женщины, супруги, матери забывъ,
Могла отдаться ты!...

говорилъ онъ ей, задыхаясь отъ внутренняго волненія:

— Ахъ, замолчи! Какъ острые ножи,
Слова твои мнѣ сердце растерзали!
Умолкни, ради Бога, сынъ мой!

проговорила она въ отвѣтъ, простирая къ нему руки, поразительно вѣрнымъ движеніемъ тоски и отчаянія, и упала въ кресло, закрывъ себѣ лицо этими руками.

„Господи!“ пронеслось въ головѣ Ашанина,—„да изъ нашего представленія, дѣйствительно, какая-то трагедія для всѣхъ насъ вышла!“

И въ первый разъ со вчерашней ночи что-то жуткое, ѣдкое, уколъ совѣсти по отношенію къ этому бѣдному, оскорбленному имъ созданію, такъ неожиданно трогательно передающему теперь свою роль Гертруды, примѣшалось къ поглощавшей его всего до сихъ поръ мысли объ Ольгѣ Акулиной.

Онъ мотнулъ головой и ушелъ изъ кулисы подальше и отъ нея, и отъ этой „растерзанной“ матери Гамлета...

А „трагедія“ въ это время грозила принять весьма комическій оборотъ. Изъ кулисы вышла *Тѣнь*, сдѣлала медленно шагъ впередъ, другой... остановилась...

Гамлетъ въ неописанномъ ужасѣ схватилъ себя за голову:

— Спаси меня, закрой меня крылами
Сонмъ небожителей святыхъ!..
Чего ты хочешь, образъ благородный?
Ты не съ укоромъ-ли явился къ сыну
За медленность его въ отмщеньи? Говори!

— Не позабудь!...

заговорила *Тѣнь*, попыталась двинуться еще на шагъ—и не могла. Что-то тамъ, въ кулисѣ, держало ее за край мантіи; мантія эта теперь представляла видъ натянутой острымъ угломъ полы садовой палатки... Режиссеръ, замѣтивъ, кинулся на-земь отрывать ее отъ гвоздя въ деревѣ кулисы, за кото-

рый зацѣпилась она. Но было поздно: неопытный землемѣръ испуганно обернулся назадъ—взглянуть, что̀ его тамъ держитъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ рванулъ тѣломъ впередъ. Дешевая матерія плаща не выдержала, и добрая половина его осталась на жертву гвоздю... Черненькій артиллеристъ такъ и покатился со смѣху въ своемъ креслѣ. „Шт! шт!“ отвѣчали ему изо всѣхъ угловъ залы... Окончательно растерявшійся Постниковъ замеръ, какъ рыба, не слыша суфлера и забывъ все, что̀ слѣдовало ему сказать далѣе... Такіе эпизоды убійственны для настроенія и актеровъ, и публики... Къ счастію, Гундуровъ былъ такъ возбужденъ ролью, что внезапное отупѣніе *Тѣни* смутило его лишь на нѣсколько секундъ, и, перескочивъ чрезъ нѣсколько фразъ и слѣдующую за ними реплику королевы, онъ воскликнулъ, весьма находчиво измѣняя слова два въ текстѣ:

— О, не гляди *безмолвно* такъ и странно!
Поколебать мою рѣшимость можешь ты...

Надежда Ѳедоровна, въ свою очередь, не сбилась отъ этого, и горячая сцена между сыномъ и матерью пошла тѣмъ же нервнымъ, лихорадочнымъ, захватывавшимъ зрителей ходомъ... Только злополучная *Тѣнь* никакъ не рѣшилась теперь тронуться съ мѣста, будто все еще пришпиленная къ своему гвоздю, и только послѣ троекратнаго, отчаяннаго въ своемъ шопотѣ, взыванія режиссера изъ кулисы: „Да уходите же, уходите, ради Бога!“ двинулась къ выходной двери скорымъ маршемъ, не совсѣмъ пригожимъ для призрака...

— Онъ совсѣмъ сконфузился, бѣдняга, пробормоталъ скороговоркой режиссеръ стоявшему теперь подлѣ него Вальковскому, тревожно слѣдя за уходившимъ: — того гляди, еще спотнется на-ходу о ноги Полонія!

Вальковскій ничего не отвѣтилъ. Онъ глядѣлъ чернѣе тучи и вслѣдствіе этого „безобразія“ порваннаго плаща *Тѣни*, и потому, какъ узналъ онъ сейчасъ, что Офелія охрипла, а сцена сумасшествія „похѣрена“... „Уложили, значитъ, совсѣмъ спектакль“, повторилъ онъ себѣ подъ-носъ въ мрачномъ отчаяніи...

Землемѣръ-*Тѣнь*, благополучно миновавъ ноги Полонія, вышелъ въ двери задней декораціи, а оттуда пустился опрометью въ мужскую уборную, гдѣ, сорвавъ шлемъ свой съ головы, кинулся лицомъ внизъ на диванъ и залился горчайшими слезами. Въ ушахъ бѣднаго молодаго человѣка невыносимо гудѣли этотъ чей-то хриплый, раздавшійся между зрителями хохотъ и послѣдовавшіе вслѣдъ за нимъ со всѣхъ сторонъ *шт*, которые онъ въ тревогѣ своей объяснялъ не какъ протестъ противъ такого неумѣстнаго смѣха, а какъ настоящее *шиканье* по его адресу... „О, Боже мой“, стояло коломъ въ его головѣ,— „попасть въ такой знатный домъ, выйти на сцену предъ такими аристократами и показать себя имъ такимъ пошлякомъ!...“

Полоній между тѣмъ, огромное туловище котораго смогъ только на половину вытащить изъ-за ковра пронзившій его шпагою Гамлетъ, лежалъ, видимый по поясъ зрителямъ и съ головой за этимъ ковромъ,—и чувствовалъ себя очень неловко. Его одолѣвала пыль, отъ которой ему, мочи нѣтъ, какъ чихнуть хотѣлось, и онъ дѣлалъ неимовѣрныя усилія, чтобъ удержаться отъ этого. „Кабы не пузо проклятое, ничего-бы“, разсуждалъ онъ самъ съ собою,—„а то вѣдь, всего его, какъ гору встряхнетъ, на всю залу хохотъ подымешь... На счетъ графа это даже и въ линію вышло-бы, потому для него, что Шекспиръ, что балаганъ,—одинъ толкъ; потѣшился бы, лишній бы разъ спасибо сказалъ... да предъ прочими совѣстно, предъ искусствомъ...“

— О мать моя, прости мнѣ,

говорилъ въ это время Гундуровъ, и, звенѣвшій, какъ мѣдная струна, въ безпощадныхъ упрекахъ матери голосъ его зазвучалъ вдругъ теперь безконечно нѣжными, болѣзненно проницающими нотами. Онъ подошелъ къ ней, схватилъ ея руку и прижался къ ней блѣднымъ лицомъ своимъ:

— Прости!
Я былъ къ тебѣ жестокъ, безчеловѣченъ,
Но это отъ любви. Такъ надо было!...

— О, какъ это хорошо, какъ хорошо! раздалось въ зад-

нихъ рядахъ громкое восклицаніе совершенно обезумѣвшаго отъ восторга старика-смотрителя...

Но вотъ и конецъ сцены.

— Спокойной ночи!

проговорилъ Гамлетъ матери и отошелъ къ трупу Полонія:

— А этого я спрячу дурака...
Что молчаливъ такъ сталъ,

молвилъ онъ, склоняя слегка надъ нимъ голову и усмѣхаясь скорбно ироническою усмѣшкой,—

Такъ скроменъ, такъ угрюмъ, скажи, пріятель,
Ты цѣлый вѣкъ болтавшій безъ умолку?

Онъ наклонился, схватилъ Полонія за ноги и нервнымъ движеніемъ, самъ себѣ не отдавая въ томъ отчета, дернулъ его впередъ съ такою силой, что у исправника въ глазахъ позеленѣло и парикъ слетѣлъ съ его головы.

— Пойдемъ! Съ тобой что много толковать!...
Спокойной ночи, матушка!

договорилъ Гамлетъ, не выпуская изъ рукъ эти высоко приподнятыя имъ ноги Полонія, которыя сжималъ онъ, что есть мочи, всѣми мускулами своихъ пальцевъ, и кивая вполоборота изнемогшей отъ словъ его королевѣ...

— Занавѣсъ, занавѣсъ! отчаянно крикнулъ, махая руками, режиссеръ, увидавъ со своего мѣста, что еще немножко, и Полоній предстанетъ безъ парика и весь истерзанный на лицезрѣніе публики.

— Сергѣй Михайлычъ, да отпустите, ради Бога! раздался вмѣстѣ съ шумомъ падающаго занавѣса судорожный хрипъ толстаго Елпидифора, тщетно пытавшагося приподняться на рукахъ и высвободить свою голову изъ-подъ мотавшагося по лицу его края ковра, подъ которымъ оно какъ-разъ очутилось.

Гундуровъ разжалъ руки, и пятки исправника шлепнулись объ полъ...

— Браво, браво! Гамлета, Гамлета! неистово кричали тѣмъ временемъ въ залѣ.

— Одолжили! жалобно завылъ Полоній, тяжело приподымаясь съ земли съ помощью приспѣвшаго къ нему режиссера. Онъ выхватилъ платокъ изъ кармана и принялся, мотая и головой, и руками, отчаянно чихать и сморкаться.

— Ради Бога, извините меня! бормоталъ сконфуженно Сергѣй.

— Да вы никакъ ссориться вздумали! крикнулъ, кидаясь къ нимъ, Вальковскій. — Сережа, да понимаешь-ли ты, что это такой актеръ, такой, что ему всѣ пальчики перецѣловать можно!... А ты, братъ, я тебѣ скажу, это послѣднее „Спокойной ночи, матушка“, сказалъ такъ, что тебѣ Мочаловъ въ подметки не годился бы! Такъ прошла сцена, такъ прошла!... И Надежда Ѳедоровна... Кабы только не этотъ чортъ-землемѣръ!... А знаешь-ли ты, перемѣняя вдругъ тонъ, могильнымъ голосомъ заговорилъ онъ,—знаешь-ли, что Офелія тю-тю?

— Что такое? Гундуровъ весь поледенѣлъ...

— Говорятъ, охрипла, пѣть не можетъ: не выйдетъ болѣе! Понимаешь-ли ты, все *сумасшествіе* вонъ! Половину драмы и такъ ужь выкинули, а наконецъ и совсѣмъ доканали!

И онъ даже плюнулъ отъ избытка негодованія.

— Она сама... не хочетъ? черезъ силу выговорилъ Сергѣй.

— Онѣ у себя въ уборной, не выходили... не совсѣмъ себя хорошо чувствуютъ, кажется, шопотомъ объяснилъ ему режиссеръ, отирая рукавомъ градомъ струившіяся со лба его капли.

— За... занемогла?

— Не должно быть, чтобы настоящимъ образомъ больны, а такъ, можетъ, разстроились какъ-нибудь. Извѣстно, существо нѣжное, цвѣточекъ настоящій... Я впрочемъ ничего не знаю, поспѣшилъ осторожно добавить закулисный дипломатъ,— а только князь Ларіонъ Васильевичъ сами приходили за кулисы въ началѣ этого дѣйствія и сказали мнѣ, что княжна охрипла, и что ея двѣ сцены въ четвертомъ актѣ придется выкинуть...

— Гамлета, Гамлета! продолжали стонать въ залѣ.—Гертруду, Гертруду! присоединился къ этому новый вызовъ.

— Сергѣй Михайлычъ, я прикажу сейчасъ занавѣсъ, просятъ-съ... Господа, mesdames, позвольте со сцены! засуетился опять режиссеръ, относясь къ толпѣ актеровъ, хлынувшей тѣмъ временемъ изъ-за кулисъ.

— Не надо! вскликнулъ нетерпѣливо и озираясь Гундуровъ:—Надежда Ѳедоровна ушла, я безъ нея не выйду!

— Онѣ тутъ, сейчасъ были... Королева, Надежда Ѳедоровна! За кулисами, должно быть, уйти далеко не успѣли...

Онъ кинулся за нею.

Она, дѣйствительно, съ дрожащими отъ усталости ногами пробиралась за кулисы, слабо улыбаясь на сочувственные ей возгласы и плески „пулярокъ", визжавшихъ и прыгавшихъ по пути ея. Въ узкомъ проходѣ за сценой она прямо натолкнулась на Ольгу Акулину.

— Извините! учтиво промолвила Надежда Ѳедоровна.

Ольга небрежно кивнула головой въ отвѣтъ и прижала къ колѣнямъ свою бархатную юбку, чтобы дать ей пройти.

Она прошла... и остановилась.

— Простите мнѣ, Ольга Елпидифоровна! нежданно проговорила она, низко склоняя предъ нею голову.

Ольга вспыхнула вся:

— Что это значитъ?

— Я прошу васъ простить мнѣ, повторила та,—если вы почитаете меня въ чемъ-нибудь виноватою предъ вами.

— Къ чему вдругъ эти объясненія? фыркнула свысока барышня.

— Къ тому, Ольга Елпидифоровна, что мы, вѣроятно, никогда уже болѣе не встрѣтимся съ вами... на сценѣ—на сценѣ жизни, договорила Надежда Ѳедоровна такимъ разбитымъ и смиреннымъ голосомъ, что наша дѣвица уставилась на нее растерянными глазами.

„Что она", проносилось у нея въ головѣ:—„рисуется, или въ самомъ дѣлѣ?..."

— Надежда Ѳедоровна, пожалуйте, пожалуйте, публика

проситъ! кричалъ, несясь къ ней со всѣхъ ногъ, режиссеръ:— васъ и Гамлета... Пожалуйте!...

— Нѣтъ, нѣтъ, не нужно! я не хочу... не пойду! испуганно отмахивалась она.

— Нельзя-съ, никакъ нельзя, неучтиво противъ публики, пожалуйте! настаивалъ онъ.

— Ступайте, ступайте, Надежда Ѳедоровна, васъ зовутъ, хлопаютъ ужасъ какъ: Гертруду, Гертруду! Гундуровъ безъ васъ выходить не хочетъ... Ступайте! оглушалъ ее съ другой стороны крикъ налетѣвшихъ со всѣхъ сторонъ „пулярокъ“...

Къ рампѣ, рука-объ-руку, подошли блѣдный какъ полотно Гамлетъ и зелено-желтая подъ своими румянами его мать...

LXIII.

Представленіе съ этой минуты быстро пошло къ концу. Вѣсть, что княжна болѣе не появится, что она настолько не хорошо себя чувствуетъ (никому, какъ предвидѣлъ это князь Ларіонъ, въ голову не пришло, чтобъ это было съ ея стороны капризомъ), что сцены безумія Офеліи, которыми такъ восхищались наши актеры на репетиціяхъ, должны быть выкинуты, вылила какъ бы цѣлый ушатъ холодной воды на сценическое возбужденіе ихъ. Всѣ какъ бы вдругъ почувствовали, что интересъ спектакля теперь изсякъ весь и что его надо поскорѣе кончить.

Положено было вслѣдствіе этого изо всего четвертаго дѣйствія оставить сцену *возмущенія*, въ которой Лаертъ, во главѣ народа, является требовать мести за смерть отца, и слѣдующее затѣмъ объясненіе съ королемъ. О судьбѣ Офеліи зрители должны были узнать изъ коротенькаго сообщенія Горація королевѣ въ началѣ акта о постигшемъ ея безуміи и изъ разсказа самой королевы о ея смерти, въ концѣ дѣйствія. Такъ какъ изъ послѣдняго дѣйствія изъята была еще ранѣе сцена *на кладбищѣ*, составляющая болѣе половины его, то изъ него также уцѣлѣла въ сущности лишь большая сцена *поединка*, съ предшествующимъ ей разговоромъ Гамлета съ Горація и Озрикомъ. Осталось такимъ образомъ спектакля всего на какія-нибудь сорокъ минутъ, включая сюда и перемѣну декораціи между актами.

Чижевскій своею статною наружностью и горячею рѣчью произвелъ въ своей роли Лаерта — одной изъ благодарнѣйшихъ для сколько-нибудь даровитаго жёнпремьера,—надлежащее впечатлѣніе на зрителей и получилъ не мало аплодис-

ментовъ. Пылкая Женни окончательно влюбилась въ него на этотъ вечеръ, и все время, глядя на его оживленное лицо и быстрые каріе глаза, особенно ярко сверкавшіе изъ-подъ надвинутаго на лобъ темносиняго берета съ обматывавшимся кругомъ большимъ бѣлымъ перомъ, говорила себѣ, что если-бъ онъ тутъ же послѣ спектакля, въ этомъ костюмѣ, подвелъ ее къ дорожной каретѣ и сказалъ: „хотите сейчасъ въ Америку?“ она бы крошечку прижмурилась, сказала бы „au petit bonheur!“ вскочила и—поѣхала бы съ нимъ...

Девять десятыхъ аристократическихъ гостей княгини Аглаи Константиновны, какъ предвидѣлъ это князь Ларіонъ, и не догадались о сдѣланныхъ въ драмѣ урѣзкахъ, но непоявленіе Офеліи въ данную, лихорадочно ожидавшуюся имъ минуту повергло старика-смотрителя, а за нимъ всю его учительскую компанію, въ настоящее отчаяніе.

— Милосердые боги, шепталъ старикъ, нещадно теребя дрожащими отъ волненія пальцами свои всклоченные волосы,— кто же имѣлъ жестокость лишить насъ этой божественной сцены, и какъ она сама, эта фея, эта эльфа, этотъ поэтическій сонъ наяву, какъ она рѣшилась отнять у насъ это наслажденіе!... Господи, да ужь не дай Богъ, не случилось-ли чего съ нею? волновался онъ все болѣе и болѣе.

— Вотъ она, вотъ! прошепталъ за нимъ одинъ изъ учителей.

Онъ привскочилъ съ живостью осьмнадцатилѣтняго юноши:

— Гдѣ она? Что вы?

— Въ ложѣ налѣво, вотъ... въ обыкновенномъ платьѣ...

Въ ложу madame Grébillon вошла, дѣйствительно, Лина...

„Дядя правъ“, рѣшила она, прійдя въ сознательное состояніе послѣ долгаго забытья, въ которомъ оставили мы ее,— „надо имъ показаться, а то подумаютъ, я, и Богъ знаетъ какъ, не здорова.“ И, поднявшись съ кушетки, она, къ немалому удивленію Глаши, приказала ей собрать всѣ нужныя принадлежности туалета и итти за нею наверхъ въ ея комнату, переодѣваться.

— Готово, все здѣсь, ваше сіятельство, молвила поспѣшно

Глаша, указывая на газъ, кисею и живые цвѣты къ ея костюму безумной Офеліи.

— Нѣтъ, нѣтъ, я на сцену ужь болѣе не выйду, оставь платье здѣсь, только цвѣты захвати, отвѣчала она, подавляя вздохъ,—я надѣну то платье, которое подарила мнѣ сегодня maman къ вечеру: оно вѣдь у меня тамъ, въ комнатѣ... Скорѣе, пожалуйста, Глаша!

Ей хотѣлось уйти скорѣе, пока всѣ актеры еще на сценѣ; ее мучила мысль, что надо было бы съ ними объясниться, просить извиненія за слабость свою, усталость...

Ольга Елпидифоровна, первая, разумѣется, кинувшаяся въ ея уборную по окончаніи 3-го дѣйствія, не застала ея уже тамъ.

Къ слѣдующему антракту княжна была готова и спустилась въ театръ по большой лѣстницѣ, все такъ же избѣгая встрѣчи съ товарищами своими по представленію.

Князь Ларіонъ, давно и тревожно ожидавшій ее, поспѣшно всталъ при ея появленіи, предлагая ей знакомъ занять его мѣсто напереди ложи.

— Ахъ, нѣтъ, дядя, пожалуйста!... смущенно прошептала она, отступая...

Но ее уже всѣ успѣли замѣтить, всѣ глаза устремились на нее. Княгиня Додо, вызвавъ на лицо свое сладчайшую изъ своихъ древнихъ улыбокъ, приподняла высоко руки и, усиленно кивая острымъ подбородкомъ, зааплодировала ей кончиками пальцевъ. „Офелія, браво!“ рявкнулъ напрямикъ, увидавъ это, Сенька Водоводовъ. За нимъ грянула вся остальная публика...

— Это шипы успѣха; нечего дѣлать, подойди, Hélène! проговорилъ съ насилованною усмѣшкой князь Ларіонъ, взялъ ее легонько за локоть и подвелъ къ рампѣ ложи.

Она хотѣла остаться еще Офеліей и въ своемъ toilette de soirée. Золотистые волосы ея обвивала, падая сзади длинными концами своими до самаго пояса, та же гирлянда изъ полевыхъ цвѣтовъ, что̀ предназначалась для ея сцены безумія; васильки и маргаритки, нарванные для нея въ полѣ Факирскимъ и Постниковымъ, обильно раскидывали свои синіе и бѣлые

лепестки по серебристо-легкой ткани ея парижскаго платья изъ шелковаго газа; она держала въ слегка-дрожавшей рукѣ букетъ, поднесенный ей утромъ нашими актерами и сохранившійся свѣжимъ подъ мокрымъ платкомъ, которымъ велѣла она тщательно покрыть его Глашѣ тогда же... Въ этой четыреугольной вызолоченной рамкѣ ложи, отдѣляясь отъ ея темномалиноваго фона свѣтлымъ пятномъ своего воздушнаго облика, со своею тонкою, полусклонившеюся головкой и робкою улыбкой на сомкнутыхъ устахъ, она на всѣхъ произвела впечатлѣніе какого-то очаровательнаго изображенія весны, молодости, поэзіи,—задумчивой и неотразимой поэзіи...

Сама Аглая Константиновна возчувствовала это обаяніе и, обернувшись къ флигель-адъютанту, сидѣвшему за ея кресломъ, самодовольно прошептала ему:

— N'est ce pas qu'elle est fort bien ma fille?

— Adorable! отвѣтилъ онъ съ искреннимъ увлеченіемъ.

Она многозначительно и лукаво скользнула взглядомъ по его лицу и ухмыльнулась, довольная, какъ школьникъ пряникомъ.

Онъ чуть-чуть улыбнулся тоже:

„Ты, милая моя", думалъ онъ", хуже медвѣдя басни; десять враговъ лучше, чѣмъ твое усердство... Я воображаю поэтому, какъ тебѣ понравится штука, которую я намѣренъ выкинуть тебѣ завтра!"...

И онъ погрузился въ глубокое размышленіе.

По той сторонѣ занавѣса появленіе Лины — о чемъ мигомъ распространилось между нашими актерами,—произвело настоящее ликованіе. Княжна была общею любимицей, кумиромъ всѣхъ и каждаго. Вѣсть о томъ, что она занемогла, не можетъ болѣе играть, возбудила къ тому же между „пулярками" ужасную боязнь за предстоявшій балъ, который могъ не состояться вслѣдствіе этого нездоровья „de la fille de la maison". Какъ запрыгали онѣ за то теперь, какъ завизжали, какъ кинулись неизбѣжнымъ гуртомъ къ просвѣту между занавѣсомъ и порталомъ съ противоположной ея ложѣ стороны кулисъ, откуда явственно могли видѣть Лину, какими радостными кивками, какими широкими улыбками на свѣжихъ

деревенскихъ лицахъ привѣтствовали онѣ ее оттуда, насѣдая другъ на друга и рукоплеща изо всей силы рукъ!..

Ольга Елпидифоровна глядѣла тоже на княжну, но съ инымъ чувствомъ. Она любовалась ея нарядомъ и злилась на нее за него. Это было именно „une toilette de saison", пригодное для лѣта, не слишкомъ нарядное и не слишкомъ „простенькое" платье. Ольга же должна была надѣть на этотъ самый вечеръ настоящій бальный туалетъ, — платье той же Лины, надѣванное ею разъ въ Москвѣ прошлою зимой и перешедшее отъ нея къ барышнѣ въ числѣ многихъ другихъ „défroques Лины", какъ выражалась свысока Аглая Константиновна о каждомъ разъ-надѣванномъ туалетѣ дочери. „И это сейчасъ замѣтятъ, и онъ (все тотъ же графъ Анисьевъ), и эта петербургская grande dame, и догадаются, что я только и могу порядочно одѣваться съ плеча этой княжны aux grands sentiments. Господи, когда же я буду въ состояніи одѣваться сама, какъ я хочу!"... Впрочемъ, тутъ же утѣшила себя барышня: „мой туалетъ все-таки гораздо эффектнѣе этого, и я буду въ немъ такая gentille, что всѣ мущины съ ума сойдутъ по мнѣ!"... И, объявивъ кругомъ, что она въ послѣдней сценѣ участвовать не намѣрена и что „могутъ тамъ убивать другъ друга безъ нея", она торопливо побѣжала къ себѣ наверхъ облекаться въ это, дѣйствительно, черезчуръ „эффектное", изъ бѣлаго тюля, отдѣланное пунцовымъ бархатомъ, платье и въ вѣнокъ изъ большихъ пунцовыхъ розъ, которыя чрезвычайно шли къ характеру ея вызывающей красоты.

— Подвинься, Сережа, шепнулъ Ашанинъ Гундурову въ минуту, когда занавѣсъ поднялся еще разъ, и они вдвоемъ должны были выйти на сцену; — ты слышишь, княжна въ залѣ, все обстоитъ благополучно.

Но это пріятельское ободреніе не было въ состояніи поднять настроеніе Сергѣя на тотъ уровень всецѣлаго самообладанія, или горячаго сценическаго увлеченія, при которыхъ равно, хотя разными путями, актеръ овладѣваетъ своимъ зрителемъ. Словно пудовыя вериги оттягивали ему плечи, глаза его заволакивалъ какой-то туманъ, языкъ съ трудомъ воро-

чался въ гортани, руки не слушали его и какъ бы сами собою падали устало внизъ послѣ каждаго усилія его поднять ихъ. Сцена съ Горація, въ которой Гамлетъ вернувшійся изъ Англіи является особенно возбужденнымъ и какъ бы совершенно готовымъ „казнить злодѣя, замышлявшаго погубить его“, и слѣдующій за этимъ разговоръ съ Озрикомъ, гдѣ онъ ѣдко преслѣдуетъ своими насмѣшками эту придворную „стрекозу“ и „сороку“, прошли крайне неудовлетворительно; въ двухъ мѣстахъ онъ даже спуталъ реплику и чутъ не сбилъ съ толку Шйгарева, актера бывалаго и никогда не терявшагося на подмосткахъ. Шйгаревъ-Озрикъ вывезъ всю сцену на своихъ плечахъ. Онъ представлялъ собою совершенную противоположность исправника-Полонія. Насколько тотъ былъ кругловато-грузенъ, широко-смѣшонъ, „фальстафенъ“ по наружности, какъ выразился про него старикъ-смотритель, настолько птичье, худое и узкое лицо Шйгарева, его короткое туловище и длинныя, поджарыя, какъ спицы, ноги напоминали забавно тощій обликъ изможденнаго танцмейстера; насколько въ исполненіи Акулина за льстивою и суетною болтовней Полонія можно было разпознавать прирожденную ему плутоватость и смѣтливость, развитую долгимъ навыкомъ придворной жизни, настолько Шйгаревъ умѣлъ изобразить въ Озрикѣ типъ чистокровнаго царедворца, лишеннаго всякой способности самобытнаго сужденія, сознательно убѣжденнаго, что мнѣніе владычнаго надъ нимъ лица, каково бы оно ни было, должно быть непререкаемо, и что вся его задача въ жизни состоитъ лишь въ томъ, чтобъ эти мнѣнія сильныхъ міра повторять и поддакивать имъ какъ можно почтительнѣе, глубокомысленнѣе и щеголеватѣе... Пустѣйшій шутъ въ дѣйствительной жизни, Шйгаревъ на сценѣ превращался въ серьезнаго, тщательно отдѣлывающаго каждое мѣсто своей роли комика, которымъ нельзя было не любоваться. Любовался имъ особенно петербургскій флигель-адъютантъ, изо всего числа предстоявшихъ зрителей имѣвшій, въ своемъ качествѣ homme du métier, наиболѣе возможности судить, насколько царедворецъ Озрикъ былъ вѣренъ дѣйствительности...

Нервное изнеможеніе Гундурова, которое не могло не

быть замѣченнымъ публикой и приписывалось большинствомъ ея простой физической усталости, нашло какъ бы себѣ объясненіе въ словахъ Гамлета предъ сценой поединка, въ которыхъ, помимо ея воли, выливается у этой чуткой натуры сознаніе предсмертной тоски, охватившей ее: „Ты не можешь себѣ представить, какъ мнѣ тяжело на сердцѣ; это вздоръ, а между тѣмъ какое-то грустное предчувствіе,—женщину оно могло бы испугать“... Слова эти у Сергѣя сказались отъ души: ему, дѣйствительно, было невыносимо тяжело... И вслѣдъ за ними глаза его совершенно безсознательнымъ движеніемъ направились на мигъ въ сторону ложи, въ которой княжна, смущенная сдѣланною ей овацiей, усѣлась теперь въ полутьму за объемистымъ туловищемъ m-me Crébillon, упросивъ дядю занять свое прежнее мѣсто. Она въ свою очередь съ напряженнымъ вниманіемъ глядѣла на Гамлета. Взгляды ихъ встрѣтились... Трудно сказать, какимъ новымъ ощущеніемъ отозвалось это во внутреннемъ сознаніи нашего героя, но онъ какимъ-то мгновеннымъ усиліемъ скинулъ съ себя свинцовую тяжесть, лежавшую до этой минуты неодолимымъ гнетомъ на всемъ его существѣ... Словно послѣднимъ сіяніемъ освѣтило эти предсмертныя минуты Гамлета. Глаза его блеснули; пробужденная внезапно энергія и спокойная рѣшимость сказались въ отчетливыхъ звукахъ его голоса, когда, въ отвѣтъ на предложеніе Горацiо пойти сказать королю, что Гамлетъ не расположенъ въ эту минуту фехтовать съ Лаертомъ, онъ произнесъ: „Нѣтъ! Я смѣюсь надъ предчувствіями; и воробей не погибнетъ безъ воли Провидѣнія... Никто не знаетъ, что теряетъ онъ, такъ что за важность потерять рано? Будь, что будетъ!“

„Будь, что будетъ!“ мысленно повторила Лина, болѣзненно прижмуривая вѣки отъ острой боли, которая вдругъ заколола у нея въ полости сердца, и осторожно, чтобъ не замѣтили этого сосѣди ея въ ложѣ, поднесла къ этому мѣсту руку, нажимая ею, сколько было у нея силы.

LXIV.

Конченъ пиръ, умолкли хоры,
Опорожнены амфоры,
На главахъ вѣнки измяты..

Тютчевъ.

The rest is silence.

„Все остальное молчаніе“, проговорилъ *Гамлетъ* свои удивительныя послѣднія слова...

— Покойной ночи, милый принцъ! Спи мирно
Подъ хоры ангеловъ святыхъ!

прочелъ надъ опрокинувшимся навзничь тѣломъ его Горація-Ашанинъ. Занавѣсъ упалъ. Драма отыграна.

Послѣдовало все то, что̀ неизмѣнно слѣдуетъ за этимъ въ любительскихъ спектакляхъ: вызовы „всѣхъ, всѣхъ“, суетня на сценѣ, выходъ труппы стадомъ предъ рампу, крики „браво“ и „charmant,“ женскіе покровительственные кивки и воздушные поцѣлуи снизу, неестественно почтительные поклоны поощряемыхъ сверху, топотня мужскихъ ногъ, оглушительный говоръ и неизбѣжный хохотъ безъ смысла и конца.

Лина скользнула къ двери ложи, едва упалъ занавѣсъ.

— Ты куда, на сцену? спросилъ въ догонку ей князь Ларіонъ.

— Нѣтъ, пройтись, мнѣ жарко...

И она убѣжала въ корридоръ отъ этихъ криковъ и вызововъ.

Не поклонами и благодарными улыбками—проклятіями готовъ былъ отвѣчать Гундуровъ со своей стороны на шумные восторги рукоплескавшей ему толпы. Съ этими, сейчасъ

выговоренными имъ, послѣдними словами Гамлета отыграна была и его роль въ Сицкомъ: „молчаніе“ дѣйствительно должно было наступить для него послѣ этихъ трехъ недѣль испытанныхъ имъ здѣсь блаженства и муки; — одна только эта мысль стояла у него въ головѣ теперь.

А онъ кланялся тѣмъ временемъ вмѣстѣ съ товарищами своими по спектаклю, глядя прямо предъ собою, ни на комъ не останавливая взгляда и ясно различая въ то же время необычно разстроенное лицо тетки, упиравшейся на руку все той же, незнакомой ему, привлекательной женщины съ приподнятыми, какъ у сфинкса, углами глазъ, пристально устремленныхъ на него. Софья Ивановна дѣлала ему какіе-то знаки головой, которые онъ понялъ тотчасъ же, какъ приглашеніе притти переговорить съ нею какъ можно скорѣе.

Но менѣе всего чувствовалъ онъ въ этомъ потребность. Не „говорить съ людьми“, уйти какъ можно дальше отъ нихъ, „въ пустыню“, „во мракъ“ тянуло его теперь опять...

Вызовы наконецъ смолкли; занавѣсъ упалъ въ послѣдній разъ. Все побѣжало со сцены. Гундуровъ не торопился; онъ опустился въ кресло, на которомъ только-что пронзенъ былъ имъ шпагой Клавдіо-Зяблинъ, опустилъ голову и забылся.

— Сережа, что же ты? молвилъ Ашанинъ, внимательно наблюдавшій за нимъ все время,—переодѣваться пойдемъ!

— Куда? отвѣтилъ онъ какъ съ просонья.

— Въ уборную. Куда же?

— Нѣтъ, я не пойду. Ступай переодѣнься, а когда кончишь, пошли Ѳедосѣя къ намъ въ комнату; я тамъ...

— А пока-то что же ты?

— Мнѣ воздуху хочется; я выйду въ садъ.

Но онъ не вышелъ и, опустивъ снова голову, забылся еще разъ въ своемъ креслѣ.

Рабочіе начинали гасить лампы. Длинныя тѣни побѣжали отъ кулисъ. Запахло чадомъ, копотью и ламповымъ масломъ. Какое-то надрывающее запустѣніе охватывало этотъ міръ писаннаго полотна, полный сейчасъ жизни, звуковъ, опьяненія... Вотъ мѣсто, гдѣ онъ сидѣлъ у *ея* ногъ во время представленія, гдѣ онъ былъ съ нею „такъ жестокъ, безчеловѣ-

ченъ"... Вотъ и тотъ, уже потонувшій въ темени уголъ за первою кулисой, откуда онъ глядѣлъ на нее въ день считки *Гамлета*, и въ первый разъ глаза ея остановились на немъ... Все это „пережито",—и нѣтъ, нѣтъ уже всему этому возврата...

— Пойдемъ, Сережа, говорилъ возвращаясь Ашанинъ: — Ѳедосѣя я отправилъ къ намъ въ комнату съ твоимъ платьемъ, а я ужь заодно съ тобою...

Гундуровъ поднялся молча. Они спустились въ корридоръ, а оттуда въ садъ.

Небо расчистилось. Миріады звѣздъ глядѣли сквозь прогалины тихо шатавшихся надъ головами ихъ листьевъ...

На поворотѣ къ ихъ флигелю Гундуровъ повернулъ вправо.

— Куда же ты? крикнулъ ему пріятель.

— Ашанинъ, сдѣлай милость, оставь меня хоть на минуту одного, отвѣтилъ онъ, останавливаясь съ едва сдерживаемымъ нетерпѣніемъ.

— Я нисколько не намѣренъ навязывать тебѣ свое общество, Сережа, возразилъ тотъ,—но ты знаешь, что насъ всѣхъ ждутъ тамъ, наверху, что изчезать намъ въ эту минуту неудобно и неучтиво, что, наконецъ, главное, ты подашь этимъ поводъ Софьѣ Ивановнѣ серьезно безпокоиться...

— Я все это знаю, тоскливо перебилъ его Гундуровъ, — и успѣю явиться туда во-время и никому безпокойства не причиню. Но дай ты мнѣ, ради Бога, передохнуть на свободѣ одному, дай притти въ себя, собраться съ мыслями...

— Какъ знаешь, Сережа, вздохнулъ Ашанинъ, — только если ты чрезъ полчаса не вернешься переодѣться, я, воля твоя, пойду искать тебя съ фонаремъ.

Но Гундуровъ, не дослушавъ его, ушелъ въ темень боковой аллеи.

LXV.

Толпа гостей княгини исчезала за большою входною дверью театральной залы. Здѣсь оставались еще кое-кто изъ городской публики, ожидавшей, когда пройдутъ „всѣ эти аристократы“, чтобы выйти на свободѣ въ большія сѣни дома, гдѣ ожидали ее, въ свою очередь, дремля и сопя на лавкахъ въ темномъ углу за лѣстницей, невзрачные слуги и кухарки съ барскими шинелями и бурнусами на колѣняхъ. Смотритель Юшковъ со своими учителями держался у самаго выхода, почтительно и со счастливою улыбкой на устахъ отвѣшивая старомодные поклоны каждой изъ проходившихъ мимо него паръ избраннаго общества Сицкаго: онъ считалъ долгомъ учтивости выразить этимъ благодарность хозяевамъ дома „за высокое эстетическое наслажденіе, которое дозволено ему было вкусить“...

— Погодимъ, шепталъ онъ своимъ молодымъ сослуживцамъ, державшимся вообще гораздо болѣе сдержанно, чѣмъ онъ, и наровившимъ теперь уйти скорѣе,—авось-либо удастся и кого-нибудь изъ превосходнѣйшихъ исполнителей увидать вблизи: Гамлета, божественную Офелію... Душа такъ и проситъ излиться предъ ними...

Судьба, какъ видно, не хотѣла отказать ему въ этомъ удовольствіи. Божественная Офелія вышла въ эту минуту въ залу изъ боковой двери подлѣ ложи, въ которой предстала она въ послѣдній разъ его „очарованнымъ взорамъ“,—вышла, остановилась на мигъ, замѣтивъ эту еще неуспѣвшую разойтись публику, и робко, замедляя шаги, двинулась наконецъ мимо креселъ.

Старый энтузіастъ обдернулъ жилетъ, провелъ торопливо рукой по вороху сѣдыхъ своихъ кудрей и, отдѣлясь шага на два отъ своей компаніи, браво сталъ на пути княжны, глядя на нее во всѣ свои большіе, голубые, восторженные глаза.

Она поняла, что этотъ незнакомый ей старичекъ съ добродушнымъ и чрезвычайно симпатичнымъ лицомъ хочетъ непремѣнно lui faire son petit bout de compliment, и что этого избѣгнуть нельзя, и со своею тихою улыбкой подошла къ нему, привѣтливо кланяясь увѣнчанною полевыми цвѣтами головкой.

Онъ торопливо и низко склонилъ голову, въ свою очередь, шаркнулъ при этомъ ножкой и заговорилъ:

— Княжна Елена Михайловна, не осудите невѣдомаго вамъ *индивидуя* за несоблюденіе, быть-можетъ, принятыхъ въ высшемъ свѣтѣ приличій, а примите во вниманіе лишь то неодолимое побужденіе, которое даетъ ему смѣлость навязаться вамъ, такъ-сказать, со своимъ разговоромъ... Смотритель ***скаго уѣзднаго училища, Василій Григорьевичъ Юшковъ, поспѣшилъ онъ объявить ей свое званіе и еще разъ шаркнулъ ножкой.

— Я очень рада, пролепетала княжна.

Онъ глядѣлъ на нее восхищенными глазами... Ему такъ много, много хотѣлось бы сказать ей... Но онъ боялся ей наскучить, да и при томъ волненіи, которое одолѣвало его, онъ чувствовалъ, что не найдетъ надлежащихъ словъ.

— Не смѣю утруждать васъ долгою рѣчью, княжна Елена Михайловна, торопливо проговорилъ онъ: — объемлющее меня чувство вылью, такъ-сказать, въ двухъ краткихъ словахъ: я *видѣлъ* Шекспировскую *Офелію*, видѣлъ *васъ*, — могу теперь умереть спокойно!

Въ этой преувеличенности, въ этомъ необычномъ для ея уха эмфазѣ выраженія слышалась такая внутренняя искренность, что Лина почувствовала себя глубоко тронутою. Она протянула ему руку.

— Благодарю васъ за ваши добрыя слова! Я ихъ, конечно, принять на свой счетъ не смѣю; я почти въ первый разъ играла на сценѣ, и если вышло хорошо, то просто потому,

кажется, что такая ужь роль... Каждая, я увѣрена, на моемъ мѣстѣ сыграла бы точно такъ же, какъ я...

Старикъ почтительно приподнялъ ея руку, чуть-чуть прикоснулся вытянутыми губами къ облегавшей ее перчаткѣ и такъ же почтительно опустилъ ее.

— Каждая? повторилъ онъ и—закачалъ головой.—Нѣтъ-съ! осмѣлюсь возразить вамъ. *Типъ*, наружный, такъ сказать, смыслъ Офеліи извѣстенъ, дѣйствительно, и его, пожалуй, передать въ состояніи каждая образованная и даже просто смышленая театральная актриса. Но вы-съ, вы дали намъ *душу* Офеліи прозрѣть, княжна Елена Михайловна, а за нею и собственную вашу душу... Тутъ-съ не искусство одно, тутъ нѣчто еще высшее говоритъ въ человѣкѣ и человѣку...

Лина вся зардѣлась вдругъ и сжала на мигъ болѣзненно брови.

Онъ замѣтилъ и очень смутился... Но она замѣтила это, въ свою очередь, и поспѣшно проговорила:

— Я рада, что вы на меня не сердитесь.

— За что̀ это, помилуйте! Онъ руками всплеснулъ.

— За то, что я не доиграла Офеліи, лишила васъ удовольствія дослушать ея роль до конца... Но я не могла, право; я осталась безъ голоса, говорила Лина, подымая на него свои смущенные и печальные глаза, — мое здоровье не особенно крѣпко.

— Не дай Богъ! Да хранитъ васъ весь сонмъ ангеловъ небесныхъ! вырвалось испуганно изъ груди старика-смотрителя... И со смерти князя Михайлы, никакой еще человѣческій голосъ не звучалъ для Лины такъ безкорыстно, такъ отечески нѣжно...

— Какой вы добрый! воскликнула она, въ свою очередь, въ невольномъ порывѣ... Они были теперь одни въ опустѣвшей окончательно залѣ. Онъ совершенно растерялся, заморгалъ вѣками, подъ которыми уже проступали крупныя капли слезъ...

Дверь подлѣ ложи, изъ которой вышла Лина, отворилась опять широко и шумно, и изъ нея вылетѣла во всей пунцо-

вости своихъ розъ, бархата и торжествующаго вида неизбѣжная Ольга Акулина.

— Лина, вы еще здѣсь? Какъ я рада, мы войдемъ туда вмѣстѣ! крикнула она ей черезъ всю залу. — И никого, кромѣ васъ, продолжала она, оглянувшись и застегивая на ходу длинную бальную перчатку (она разсчитывала застать еще хвостъ знакомой ей уѣздной публики, которой была далеко не прочь пустить лишній разъ пыль въ глаза своимъ трескучимъ туалетомъ)... Ахъ, Василій Григорьичъ, здравствуйте! проговорила она свысока, подходя къ разговаривавшимъ и не отрываясь взглядомъ отъ своей перчатки,—я не знала, что вы попали также въ число нашихъ зрителей. Какъ вы находите, не правда-ли, очень удалось?

— Чрезвычайно, сударыня, отвѣтилъ старикъ, знавшій ее давно по городу и далеко не питавшій сочувствія къ ея самонадѣянности и претензіямъ;—ваше участіе въ драмѣ было въ особенности замѣтно, насмѣшливо промолвилъ онъ въ видѣ шутки.

Она громко разсмѣялась:

— Мое участіе... Меня вѣдь только для виду пригласили выйти на сцену сегодня. А вотъ къ завтраму я сама приглашаю васъ сюда, на мой бенефисъ. Я играю въ *Львѣ Гурычѣ Синичкинѣ* и много пою. Услышите, не раскаетесь!...

Старикъ поклонился холодно и молча.

Барышня покосилась на него:

— Или, можетъ-быть, колко отпустила она,—послѣ княжны вы почитаете меня уже совершенно не стоющею вниманія.

Этотъ намекъ на его какую-то будто-бы искательность задѣлъ старика за живое; онъ даже покраснѣлъ весь:

— Напрасно, милостивая государыня, вы такъ полагаете: вниманія заслуживаете вы вполнѣ и отъ каждаго, а въ древнемъ мірѣ могли бы, смѣю думать, даже большую извѣстность пріобрѣсти.

— Это что же такое „въ древнемъ мірѣ?“ Вы всегда какими-то притчами выражаетесь! молвила пренебрежительно Ольга.

— А то это значитъ, сударыня, что въ мірѣ языческомъ,

въ противность тому, чему научило насъ христіанство, женская личность превозносима была почти исключительно за ту внѣшнюю, такъ сказать, тѣлесную, прелесть, коею могла она отличаться отъ другихъ, а не за тѣ высшіе, духовные дары, которые для насъ составляютъ ея лучшее украшеніе.

Отвѣчать на этотъ урокъ грубостью барышня наша въ присутствіи Лины не посмѣла. Она почла за лучшее разсмѣяться еще разъ:

— Ну да, да, извѣстно, вамъ все „крылья нужны, въ лазурь неба уноситься", какъ говоритъ мой отецъ... Пойдемте, Лина, насъ давно наверху ждутъ! не ожидая отвѣта, воскликнула она, продѣвая руку подъ руку княжны.

Лина тихо высвободила свою.

— Я надѣюсь, Василій Григорьичъ, сказала она,—что наше знакомство такъ не кончится. Если не завтра, то вы быть-можетъ найдете въ другой день время посѣтить насъ? Я была бы очень рада.

Онъ глянулъ на нее вдругъ снова увлажившимися глазами.

— Княжна Елена Михайловна, проговорилъ онъ,—позвольте мнѣ отклонить такое лестное для меня ваше предложеніе.

— Почему такъ? удивилась Лина.

— Человѣкъ я темный, забытый въ своемъ углу, княжна, да и самъ, почитай, забывшій въ немъ и то малое, что̀ зналъ (онъ печально махнулъ рукой); для барскихъ палатъ, а тѣмъ паче для высокообразованныхъ лицъ интереснаго собою ничего представить не могу... Но повѣрьте, что мнѣ до послѣдняго вздоха хватитъ воспоминанія о томъ, что̀ дали вы мнѣ перечувствовать и прозрѣть въ нынѣшній божественный вечеръ...

— Я съ вами не могу спорить, сказала Лина,—но мнѣ очень будетъ жаль, если я васъ болѣе не увижу...

Юный восторгъ засіялъ опять въ его большихъ голубыхъ глазахъ.

— Княжна, если бы когда-нибудь и чѣмъ-нибудь я могъ вамъ послужить, завѣряю васъ Всемогущимъ Создателемъ, что

во всякое время дня или ночи стану у вашего порога ждать вашихъ приказаній.

— Не приказаній, нѣтъ... Но ваши слова я буду помнить. Спасибо вамъ! промолвила вдумчиво Лина, протягивая ему руку еще разъ, и, не давъ ему поцѣловать ее, дружески сжала его твердые старческіе пальцы.

— Странная какая вы, Лина, говорила ей Ольга Елпидифоровна вслѣдъ за этимъ разговоромъ, подымаясь рядомъ съ нею по лѣстницѣ, — на что вамъ нуженъ этотъ старый трубадуръ?

— Кто такой? спросила сжимая брови княжна.

— Да этотъ блаженный философъ нашъ, Юшковъ. Его всѣ такъ въ городѣ называютъ: „трубадуръ", а не то еще „Эолова арфа"... Вы такія ужь были съ нимъ любезныя!...

— Это вамъ не нравится? молвила сухо Лина.

— Ахъ, Боже мой, вскрикнула обиженно барышня,—мнѣ совершенно все равно! Только я нахожу, что онъ совсѣмъ не вашего общества и ужасно скучный со своими „такъ-сказать" и нескончаемыми фразами. Конечно, у васъ свои особенныя понятія, но у него вѣдь другаго разговора нѣтъ, какъ „идеалъ", „искусство", „Пушкинъ", „долгъ челов."...

Она оборвала на полусловѣ, сообразивъ, что все это подходило именно къ тѣмъ „понятіямъ", которыя значились у нея въ головѣ подъ общимъ заглавіемъ: „grands sentiments" княжны Лины Шастуновой.

Княжна молчала. Она никогда не входила ни въ какія разсужденія съ Ольгой Елпидифоровной...

А „старый трубадуръ" тѣмъ временемъ, скрыпя широкими сапогами по крупному песку краснаго двора Сицкаго, въ компаніи своихъ учителей, говорилъ имъ растроганнымъ и дрожащимъ шопотомъ:

— Не отъ міра сего эта Офелія, господа, не отъ міра сего!...

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

Stanford University Libraries
3 6105 015 016 699

PG
3467
.M327
1885
v.4

DATE DUE

STANFORD LIBRARIES
SEP 1 1987

Stanford University Libraries
Stanford, Ca.
94305